



*Михаил Шукhin*

ДИРЕКТ  
ШУКУНОВСКОЙ  
ЛИТЕРАТУРНОЙ ПРЕМИИ  
ГУБЕРНАТОРА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

**ЯМЩИНА**







**ЛАУРЕАТ  
ШУКШИНСКОЙ  
ЛИТЕРАТУРНОЙ ПРЕМИИ  
ГУБЕРНАТОРА АЛТАЙСКОГО КРАЯ**



*Михаил Шукин*  
ЛАУРЕАТ  
ШУКШИНСКОЙ  
ЛИТЕРАТУРНОЙ ПРЕМИИ  
ГУБЕРНАТОРА АЛТАЙСКОГО КРАЯ **ЯМЩИНА**

*Книга подготовлена по заказу и при финансовой поддержке  
Правительства Алтайского края  
в рамках губернаторского издательского проекта*

**Шукин М. Н.**

Щ 95 Ямщина / Михаил Шукин ; М-во культуры Алт. края, Алт. краев. универс. науч. б-ка им. В. Я. Шишкова. — Барнаул ; Новосибирск : ООО «ЭКСЕЛЕНТ», 2022. — 416 с. — (Лауреаты Шукшинской литературной премии губернатора Алтайского края).

ISBN 978-5-93856-608-8

Роман Михаила Шукина «Ямщина», отмеченный литературной премией имени В. М. Шукшина, посвящен прошлому Сибири. Автор рисует широкую панораму жизни сибиряков конца девятнадцатого века. Ямщики, купцы, деревенские жители, каторжники, переселенцы — все они явлены на страницах романа ярко, живо и образно.

Захватывающий сюжет, замечательный авторский язык повествования, историческая точность в деталях вызывают неизменный читательский интерес к произведениям Михаила Шукина.

Книга адресована широкому кругу читателей

ISBN 978-5-93856-608-8

ББК 84(2Рос-Рус)6-4

© М. Н. Шукин, 2022  
© КГБУ «Алтайская краевая  
универсальная научная библиотека  
им. В. Я. Шишкова», 2022

**Шукшинская литературная премия** губернатора Алтайского края учреждена в 2007 году.

Имя В. М. Шукшина для Алтая является знаковым. Талантливый русский писатель, внесший большой вклад в отечественную и мировую культуру, родился и вырос на этой благословенной земле, всю свою жизнь поддерживал связь со своей малой родиной, в литературных и кинематографических произведениях запечатлел ее образ и образы ее жителей. Не случайно в крае существует многолетняя традиция проведения Шукшинских дней на Алтае, а также Шукшинского кинофестиваля.

Литературная премия имени В. М. Шукшина посвящена его памяти. Она присуждается за прозаические произведения, продолжающие лучшие традиции отечественной литературы, вышедшие отдельными изданиями или опубликованные на страницах литературно-художественных журналов в течение трех лет, предшествующих году присуждения премии; претендовать на ее получение вправе авторы, чьи произведения актуализируют проблемы национального самосознания, обретения высокого смысла человеческой жизни, проповедают идеалы гуманизма, справедливости, доброты, нравственности.

Премия имеет статус Всероссийской. Ее лауреатами стали:  
в 2007 году — Виктор Потанин (г. Курган),  
2009 — Иван Евсеенко (г. Воронеж),  
2011 — Михаил Еськов (г. Курск),  
2014 — Анатолий Кирилин (г. Барнаул),  
2016 — Михаил Тарковский (п. Бахта, Красноярский кр.),  
2018 — Владимир Костин (г. Томск),  
2019 — Игорь Корниенко (г. Ангарск, Иркутская обл.)  
2021 — Михаил Шукин (г. Новосибирск).

С 2011 года книги Шукшинских лауреатов издаются в крае отдельной серией. В настоящей книге представлено произведение Михаила Николаевича Шукина.

## ОБ АВТОРЕ

Михаил Николаевич Шукин — российский писатель-прозаик, член Союза писателей РФ, главный редактор журнала «Сибирские огни» (с 2014 года). Родился 3 октября 1953 года в с. Мереть Сузунского района Новосибирской области. После восьмилетки поступил в Новосибирский книготорговый техникум. Много позже окончил факультет журналистики Уральского государственного университета, Высшие литературные курсы при Союзе писателей СССР.

Еще семнадцатилетним Михаил стал сотрудником районной газеты «Новая жизнь» в рабочем поселке Сузун. Сюда же вернулся и после армии. Затем работал в Новосибирской областной газете «Советская Сибирь», а в качестве собственного корреспондента журнала «Огонёк» по Западной и Восточной Сибири и газеты «Литературная Россия» объездил весь сибирский регион. Именно тема Сибири определила его дальнейшую писательскую деятельность, став основной в его творчестве. Для описания истории сурового края и быта его жителей Михаил Шукин, по сути, создал жанр художественного повествования — исторического, приключенческого, краеведческого и семейно-бытового одновременно, что нашло отклик и признание у широкого круга читателей.

С 1982 года было издано более сорока книг: «Дальний клин» (1982), «Имя для сына» (1986) «Обороны и сохрани» (1987), «Жестокий спрос» (1988), «Грань» (1990), «Белый фартук, белый бант» (2013) и другие.

В серии «Сибириада» (издательство «Вече», Москва) фактически вышло собрание сочинений писателя: романы «Ямщина», «Конокрад», «Черный буран», «Несравненная», «Лихие гости», «Осиновый крест урядника Жигина», «Покров заступницы», «Грань», «Каторжная воля».

Знать, помнить и «беречь свое, кровное, родное, а не заимствованное» — жизненное кредо Михаила Шукина, пи-



сателя и гражданина. В начале девяностых годов он стал одним из создателей и главным редактором «Сибирской горницы» — журнала, резко отличающегося своей патриотической направленностью, следованием нравственным православным ценностям, уважением к отечественной истории. А в 2005 г. — инициатором создания в Новосибирской области издательского проекта «Будаговская библиотека», названного по имени одного из отцов-основателей Ново-Николаевска—Новосибирска, просветителя Г. М. Будагова. В серии «Будаговская библиотека» выходят книги, посвященные истории города, области, Сибири и России. В том числе книга Шукина «Встречь солнцу. Рассказы об истории Сибири».

Михаил Николаевич является членом гуманитарно-просветительского клуба «Зажги свечу», ведет большую просветительскую и патриотическую работу в школах области, привлекая к ней и коллег по литературному цеху. За эту деятельность и издание юношеского журнала «Отчий мир» М. Н. Шукин признан победителем Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя» (2007).

Михаил Николаевич Шукин является лауреатом литературных премий:

- Всесоюзной премии имени Николая Островского, Премии Ленинского комсомола (за роман «Имя для сына»);
- Литературной премии «Карамзинский крест» (за роман «Ямщина») (2009).
- Литературной премии им. В. Г. Распутина (за роман «Каторжная воля») (2018).
- Шукшинской литературной премии Губернатора Алтайского края (2021).

# РОМАН

## Часть первая

### 1

Полозья плетеной кошевки весело резали голосистый снег. Ходкая тройка пыхала паром, бойко рассыпала по лесной дороге стукоток копыт. С полудня накалился мороз, вошел в раж и настырно полез под волчью полсть, добираясь до ног через боярковые пимы. Дюжев ворочался, кряхтел, глубже запихивал ноги в сено, но пальцы, отмороженные еще по молодости, все равно немели, и по телу проскакивал крутой озноб, окатывал спину гусиными пупырышками. Ресницы смерзались, борода взялась куржаком, как лошадиная холка. Дюжев выпростал руки из собачьих мохнашек, отломил наледеневшие на усах сосульки, зябко передернул плечами — студено! Выскочить бы сейчас из кошевки, пробежаться, разгоняя кровь для сугрева, да не тут-то было: отбегал Дюжев. С позапрошлого года он хворал грудью и маялся, досадуя на немощь, тяжелой одышкой.

«Оно и вправду народ бает, — невесело размышлял Дюжев. — Когда дитя падат, ему Бог перинку стелет, а старый шмякнулся — ему черт борону подсовыват». Борону не борону, а крепко оплошал в позапрошлом годе именитый томский купец Тихон Трофимович Дюжев. Возвращался он из магазина пешком до дома — поразмяться хотелось, целый день просидел за столом, приводя в порядок счета. Потемки уже напозли, звезды высыпали. Дюжев идет, любитесь, от трудов праведных отдыхает. Вдруг чует — кони в спину храпят. Озирнулся — нате вам: варнаки-кошевичники! Выглядели богатую шубу, кинулись за добычей. Варнаков потому называли кошевичниками, что промышляли они на легких, плетеных кошевках и гонких тройках. Вылетят из-за угла, как черти крылатые, накинута аркан на одинокого бедолагу и — гей-гей! — за город. Там обдерут, как липку, и бросят голодным волкам на поживу.

Так вот, озирнулся Дюжев и присел. Аркан прямо над головой свистнул — мимо! Дюжев крутнулся, поймал летящую веревку правой рукой, а тут и коровья глыза, для упора, под ногой оказалась. Уперся и сдернул на землю кошевичника, который аркан бросал. Ну уцелел, славуге навуге, беги домой без оглядки, чтобы подол у шубы заворачивался. Так нет, не тот нрав у Тихон Трофимыча. Решил еще и поучить варнака. Подскочил к нему — и раз да другой — по сопатке. А больше не успел. Кто знал, что следом еще одна тройка летела с таким же темным народом. Эти не промахнулись, в аккурат на шею аркан навесили. Дюжев только и успел обеими руками за него ухватиться, обергегся, чтобы горло удавкой не захлестнуло. Бухнулся плашмя на снег, да со всего маху, и пошел бороздить улицу грудью. Трах, трах, по ухабам, по глызам — сама смертушка в ухо повизгивает. Но попался на свертке одинокий столб, Дюжев изловчился и успел закатиться за него. Шваркнуло его о столб головой, чуть руки вместе с арканом не вынесло. Дерево затрещало, а натянутый аркан ослаб. Дюжев подхватился на ноги и — в темный переулоч, что есть духу. Когда отбежал и опаматовался, увидел, что веревку в руках держит, а на конце веревки груз болтается. Подтянул — а это задок от кошевки. Конец аркана к задку был привязан, вот и выломило. Бычьа, надо сказать, сила со страху проснулась.

А грудь Дюжев зашиб. По докторам ездил, бабки-знахарки лечили — без толку. На ровном месте, в неторопком шаге задыхался. Куда еще хуже!

Он шевельнулся, стараясь удержать ускользящее тепло, взбодрился, отгоняя невеселые думки, и вслух бедовым голосом высказал:

— Ничо-о, детинка с сединой завсегда пригодится!

— А? — обернулся с облучка ямщик. — Чего сказывашь, Тихон Трофимыч?

— Да заморозил ты меня, Митрич, до самого гузна. Пошевели лошадаок, пошевели. Не Ваньку-косоротого везешь — Дюжева!

— Эт мы можем! — добродушно отозвался Митрич, привстал с облучка и раскрутил над головой кнут. — Уй-ю-юй!

От визга кони прижали уши и коренник перешел в галоп, а пристяжные, не сбиваясь с рыси, надали ходу. Быстрее

замелькали сосны, ветер кольнул в лицо морозными иглами, и Дюжев наглухо закрылся воротником шубы. Раззадорился Митрич, расшевелил коней, тройка неслась, как ласточка, оставляя за собой клубки белесого пара. Длиннохвостая сорока сорвалась с ветки, застрочила в сторону Огневой Заимки, заполошно тараторя во все горло, что важный гость уже на подъезде.

Тройка вынесла на горушку; Митрич, подсигивая на облучке, заорал благим матом, пужнул коней для полного разгона, пошире расставил ноги и приосанился — в деревню въезжали, требовалось форс держать.

## 2

Мелькнула поскотина, мелькнули крайние избы. Любопытные бабы в окошки высунулись. Тройка подмахнула к крестовому шестистеннику и вздыбилась, жестко осаженная Митричем. Васька, работник, мухой слетел с крыльца, настезь распахнул резные ворота — пожалуйста, Тихон Трофимыч! Васька забыл в попыхах шапку нахлопнуть, выскочил космачом, и рыжие кудри вольно метались над беззаботной головушкой. Глаза из-под кудрей — как два костерка голубеньких. Дюжев увидел Ваську, повеселел и проворно выбрался из кошевки. К работнику он благоволил, прощал пройдохе за удаль и резвость разные выходки, а тот скалился, горел глазами и рад-радехонек был, что хозяин приехал. Взлетел на крыльцо, двери в сени и в дом поочередно открыл — милости просим!

В доме, в светлой горнице, уже пыхтел самовар, лежали на столе, рядом с моченой брусникой, золотые шаньги. Старая стряпуха Степановна повадки и вкусы хозяйские давно выучила — знала, что с дороги Тихону Трофимычу первым делом чай подавай и шаньги с брусникой.

Дюжев влез в теплые пимы, нагретые на печке, осилил с разгону стаканов пять чаю и отвалился на спинку гнutoго венского стула — добро! Оглядел горницу, и так на душе ласково, тихомудро сделалось, что невольно подумал: а больше-то, пожалуй, ничего и не надо в жизни.

В Томске у Дюжева, кроме двух магазинов, был еще и свой каменный дом, но он не любил там подолгу жить и, едва выдавались свободные дни, сразу же торопился в Огневу Заимку.

Очень уж народ ему здешний глянулся: сплошь ямщики, на бичике живут, а повадки — оторви да брось. Он и сам такой был, Тихон Трофимыч, — рисковый.

Васька притулился у порога на табуретке, ждал приказаний. Молви слово — он кудрями тряхнет, на одной ноге вертанется и все сделает. Надо будет — звездочку умыкнет с неба. А чего же это приказчика не видно, Вахрамеева?

— Гундосый-то наш где?

Вахрамеев говорил в нос, но звали его гундосым не столько за говор, сколько за характер: нудный был мужик, тяготивный.

— А он на выселках. Там мужики совет держат, расейским судьбу решают.

— Каку таку судьбу? Говори толковей!

— Расейские к нам прибились, парочка. Стали в общество проситься. Мужики подумали и отказали. На выпаса с пашней поскупились — так говорили. А я думаю, голь плодить не хотят. Их двое, расейских-то, мужик и девчонка соплива, дочка, стало быть. Отказали, значит. А они, расейские, за ночь срубешко на выселках поставили и печку из голышей склали. А крыши нет, и труба не выведена. Вот и рядятся наши. Одни говорят — обычай надо соблюсти, принять в общество, раз за ночь жильё сробили, други противятся — не до конца, дескать. Крыши нет, и труба, опять же, не выведена. Думаю, однако, подерутся. Отпусти до выселок, Тихон Трофимыч! Без меня кака драка!

— Сиди, не пелься! Драки ему захотелось. Возьму вот бич да сдерну с тебя охотку.

Васька тряхнул кудрями и потупил глаза. Красна девка, да и только. Если бы не знатье, взаправду поверил бы, что парень робеть умеет.

— Ты космы-то не разваливай, а принеси мне шубу и шапку. Пойдем — глянем, кака така судьбина.

На выселках толпился народ. Мужики, издали завидя Дюжева, расступились. Шуметь перестали. Дюжев прошел, отвечая на здравствования, увидел сруб, сложенный из неошкуранных сосновых бревен. Без мха в пазах, без дверей и окон, сруб стоял на стесанных плоских сутунках, положенных прямо на стылую землю. Внутрь можно было проникнуть, лишь

поднырнув под нижний венец. До крыши руки плотника не дошли, но матицу из крепкой, прогонистой лиственницы он положить успел. Обтекая ее, из сруба тянулся дым.

— Неча им тута делать, пушай дальше гребутся!

— Неладно, мужики, получается: стены есть, дым идет, а мы гоним.

— На готово-то все горазды!

— Они чо, корову у тебя увели, базлаешь...

— Корову не корову, а земли им выдели, покос отведи, и под ту же саму корову выпас надо.

— Да земли-то у нас хоть заглонишь. Пусть вон чашшобу чистят да сеют.

— На-а-ак, раздухарился...

Мужики судили-рядили, а Дюжев не вмешивался. Знал, что слово его окажется не последним, и потому хотел сначала глянуть на расейских — что за люди? Подошел к срубам, наклонился к нижнему венцу и окликнул:

— Эй, сердешные, покажитесь! Где там запрятались?

Мужики стихли. В срубке зашевелились, и наружу высунулись, пятками вперед, исшорканные бродни. «Скоро обживаться, — приметливо усмехнулся Дюжев. — В чалдонску обувку перемахнулся».

Разъезжая по большим и малым сибирским трактам, он досыта нагляделся на переселенцев. Видел, как тянулись они с весны и до первого снега на подводах, груженных домашним скарбом, мокли, голодали, мерзли; бывало, и помирали, но редко заворачивали обратно: земля манила, а еще пуще — вольная жизнь на этой земле. После царского освобожденного указа река переселенцев растеклась, как в половодье, и достигла самых дальних углов холодных пространств. Шли переселенцы обычно гнездами, по три-четыре десятка семей сразу, а эти только вдвоем оказались. Что за причина?

Дюжев с любопытством уставился на мужика, который вылез из-под сруба и выпрямился во весь рост, а после низко, но с достоинством поклонился обществу. В густой бороде, уже обметанной сединой, торчали крошки сосновой коры и смолевые щепочки, прилетевшие из-под топора. Красные глаза слезились — видно, нахватался в срубке едучего дыма.

— Откуда пожаловали? — весело спросил Дюжев.  
— Рязанские мы, — глухо ответил мужик. Развязал и потуже затянул на себе веревочную опояску.

— А в Рязани пироги с глазами! — бойкой скороговоркой передразнил Васька. — Их ядят, а они глядят!

— Цыть! — окоротил его Дюжев. — Тебя не спрашивают, так ты не сплясывай! А чего одни?

— Наши по осени у Тюмени осели. А мне там не по сердцу. Дальше тронулся. Баба и ребятишек двое примерли, лошадь околела. С дочкой остался. Здесь желаем остановиться. Тут мне по сердцу. Явите милость, господа хорошие, разрешите остаться.

Мужик приложил широкую ладонь к груди, к старому ветхому шабуру и еще раз, по-прежнему низко, с достоинством, поклонился.

— А как ты без коня хозяйствовать станешь? На себе пахать? — спросил кто-то из несговорчивых мужиков.

— У меня руки есть. — Расейский раскрыл ладони, испятнанные желтыми буграми мозолей, посмотрел на них, словно прикидывал, на что они годны, и добавил: — Они и выручат.

Из-под сруба вылезла совсем еще молоденькая девка. Крутые щеки у нее были измазаны в саже, а круглые глаза так и резали по мужикам сердитыми искрами, словно желали сказать: люди вы али нелюди, неужто нам места на земле не дадите?

Дюжев увидел девку и пугливо шагнул назад. Рука сама дернулась отмахнуться крестным знаменем. «Марьяша?!» — чуть не сорвалось с языка. Но вовремя опамятовался, придержал руку и прикусил язык. «Да ты спятил, парень, откуда Марьяше быть, она там осталась...». Встряхнулся, чтобы вида не показывать, носком пима в снег потыкал и, стараясь не глядеть на девку, повернулся к мужикам. Сказал, не выказав удивления:

— Труба не выведена, зато матица положена. По совети надо судить. Матица — она всю избу держит. Верно, нет ли, толкую?

— Верно... — вразброд отозвались мужики.

— Тогда и приговор вынесем — пускай живут. Поимеем уважение, работа-то чистая, без подвоха. А я от себя два ведра вина выставлю, на общество. То скажете после — Дюжев, мол, ради смеху нам насоветовал.

— Не скажем...

— А и впрямь — жаль христовеньких...

— Пускай живут...

— Девка-то вон кака баскяшша, хоть и чумаза.

— Ничо, отмыть, так твоему дурню вровень, однако, будет.

— Да я в потемках-то сам ишшо померюсь!

— Гы-ы...

Дюжев перемог соблазн и на девку не обернулся, не посмотрел. Домой заторопился. Васька, след в след, поспедал за ним.

«До чего похоже! Капошная прямо, капля в каплю. Ровно с того света вернулась, чтобы мне показаться. Марьяша... Может, и впрямь вернулась? Окстись, парень, не съезжай с ума!»

Снег под пимами похрупывал, и Дюжеву чудилось, что на каждые три шага под ногами у него выговаривалось: «Марь-я-ша...»

Сердито передернулся, сбрасывая наваждение, крепким, хозяйским голосом позвал:

— Васька!

— Тут я!

— Баню готовь!

### 3

Баня — отрада души и тела. Жить без бани Дюжев не мог. Когда его одолела хворь, он затосковал. При самом малом, чутешном паре, сидя у дверей на низкой лавке и не помышляя даже забраться на полоч, он все равно задыхался, начинал кашлять и в конце концов выскакивал с матерками в холодный предбанник: будто медом по губам помазали, а поесть не дозволили. Одевался как попало, выходил на улицу, и мир перед ним представлял кургузым и блеклым, совсем не таким, как после пара и веника, когда округа распахивается до бесконечности, являясь в такой нови, словно только что сотворил ее высокий промысел.

Будто кусок жизни украли.

А выручил хозяина Васька, гораздый на всякую выдумку. Вровень с полком вырубил в стене бани дыру, и — приходи, кума, любоваться! Пока горели дрова и нагревалась каменка, дыра была накрепко заткнута тряпками. Но вот баня накалилась, выстоялась. Готово! Дюжев раздевался в предбаннике, набирал в грудь побольше воздуха и нагишом нырял на полоч. Выталкивал тряпки и просовывал голову в дыру. Васька, карау-

ливший на улице, махом напяливал старый треух на голову хозяина, шею обматывал ему башлыком, а остальное пространство, чтобы и щелочки не осталось, затыкал теми же тряпками.

И повторялось всегда одно и то же, как и в сегодняшней вечер.

Васька присел, снизу вверх заглянул в лицо Дюжеву.

— Все ли ладно, Тихон Трофимыч?

— Все ладно. Гони!

Васька не шевелился. Баня для него — хуже каторги. А за здорово живешь он на каторге отбывать не желал. Хоть и махонькую, а должен поймать выгоду. Как примерз, сидя на карточках. Дождался, когда сухой пар припечет хозяина.

Дюжева пронзило нестерпимой чесоткой, он засучил по полку ногами и, хорошо зная Васькины повадки, заорал:

— Чо надо? Чаерез проклятый, душегуб! Говори сразу, не томи!

Васька только этого и ждал, затараторил:

— Тихон Трофимыч, дозвожь на Игреньке в Шадру проехать! Там у них гулянье будет. Я тихо-тихо, тише мышки поеду.

— Макашешек веселить! Креста на тебе, Васька, нет! Парь, зараза! Парь!

— Так я запрягу Игреньку-то в воскресенье? В Шадру проехать?

— Запрягай, лихоманец! Парь, зараза!

Васька подпрыгнул, скинул от радости заячью петлю и нырнул в предбанник. Шапку на голову, чтобы уши от жары не свернулись, на руки — легонькие рукавицы. Господи, благовослови, дай силы каторгу вынести!

Рванула каменка крутящимся паром, чуть крышу не снесло. До самого нутра ожгло жаром. Разлапистый березовый веник прошелся вприпляс по дюжевской белой спине, обметанной на лопатках коротким и рыжим волосом. Э-а-х! Пошло-поехало!

— Под-дай! Ишшо поддай! У-у-у! — рычал Дюжев, и рык его, схожий с медвежьим, широко, далеко разносился в стоялом морозном воздухе. Над переулками, над избами и дальше — за поскотину, за речку Уень, до самой середины урмана. Вся Огнева Заимка, вся округа слышала, как парится Дюжев.

— У-у-у! Пуще! Жарь пуще!

Васька задышался, смахивая с лица обильный пот напополам с соплями, и — жарил! Прыгали в глазах цветастые

кругляши, пол из-под ног уползал, колени сами собой подсекались. Пасть бы на четвереньки и ходу-ходу из бани, но Дюжев, не зная удержу, базлал с улицы:

— Пуще, заррраза! Бздани!

Каменка бухала, принимая на себя хлебный квас, отрывала невыносимый жар, и чудилось, что еще немного, еще один ковшик — и баня улетит в небо вместе с парильщиками.

Но баня устояла. Вытерпел и Васька. Досыта напарил Дюжева, выполз следом за хозяином на улицу, плюхнулся в сугроб и по-собачьи стал хватать снег — только шип пошел, как от железяки, накаленной в горне.

Не беда, мыслил Васька, очумелость пройдет, а в воскресенье он снимет пенку, покрасуетя в соседней Шадре на Игреньке, пустит пыль в глаза кому следует.

#### 4

Печкой неба не нагреешь. Да была бы печка как печка, а то смех один: из камня-голыша сложена, задень нечаянно — и завалится. А еще дым досаждал, насквозь прокоптивший одежду. Но Роман Званцев не отчаивался, не позволял тоске спеленать сердце. Хлопал себя по бокам, бегал по срубам из угла в угол и верил: утрясется потихоньку, умолотится и наладится. Главное — мужики согласие дали. А к иному прочему он сам руки приложит. Избу поставит, пашню засеет, Феклушу замуж определит за хорошего человека, а состарится — станет внучат тетешкать.

«Бог нас повел, Бог и остановил», — думал он с благодарностью, истово веря, что охраняет их с дочкой вышняя сила. Все к тому складывалось.

На постоялом дворе в Шадре — это последняя деревня на тракте перед Огневой Заимкой — Роман ослаб духом и пригорюнился. Как ни крути, а кругом выпадал клин: жену с ребятами схоронил, от своих оторвался, лошадь потерял и оказался в чужом краю никому не нужным. Как дальше жить, куда брести? Одни потемки маячат.

Он сидел на лавке в дальнем углу постоялого двора, баюкал на плече голову сморившейся в сон Феклуши и готов был

вот-вот уронить мужичью слезу. А вокруг суетня, стук-грюк. Двери хлоп да хлоп. Одни обозы уходят, другие приходят. Ямщики в необъятных тулупах вваливаются, чаю требуют — скорей, скорей. Ведерные самовары пыхтят без продыху, а все равно мало. У потолка пар мутный слоится, овчиной пахнет, сеном. Тут же, за столами, торговый народишко гоношится, куплю-продажу ладит, до множества раз по рукам бьет, пока в цене не договорится — гул стоит, будто вороны на вспаханное поле весной налетели.

И нет никому дела до горького бедолаги, притулившегося в углу.

Роман прикрыл глаза, чтобы слезу не сронить, понурился. И тут его тронули за плечо. Он вскинулся и видит: стоит старушка в черном, на монашку смахивает. Платок низко повязан, глаз не видать, а лицо ветхое, до того скукожилось, что одна морщина на другой лежит, а третья их обнимает. Зипунишко ношенный-переношенный, весь в заплатках, даже палка, на которую опиралась старушка, и та была старой: обшоркалась до черноты, в иных местах сучки от сухоты выпали.

— Ты не печалуйся, — заговорила старушка. — Не печалуйся, родненький. Дорога у тебя верная впереди лежит, только остановись вовремя. Как услышишь — колокола звонят, на том месте и оставайся. Там и добро найдешь. А боле никуда не гонись. От добра добра не ищут.

Роман глазами хлоп-хлоп — а старушки след простыл. Будто и не было. Уж не поблазнилась ли она?

Феклуша голову подняла, спрашивает:

— Батюшка, а чего старушка сказывала?

Он таиться не стал, передал дочери услышанные слова и тут же, не поднимаясь с лавки, решил: дальше надо ехать, до упору.

В Огневу Заимку добрались они с попутным обозом уже ночью, при луне. Обозники покормили лошадей, тронулись дальше, а Романа с Феклушей ссадили. Ямщик зауросил, словно его блоха укусила, и выпрягся. Понес чепуховину: кони приморились, дорога дальняя, тяжесть лишняя на санях, а потому слезайте — и никаких гвоздей. Ясно дело — хотел хитрый чалдон лишнюю плату выжать. А какая у переселенцев лишняя плата? Доброе слово сказать да поклониться?

— Из поклона шубу не справишь, — буркнул ямщик. Разобрал вожжи, причмокнул, понужая лошадь, и даже не оглянулся, ловко запрыгнув на сани.

Истаял за поскотиной скрип окованных полозьев, послышалось напоследок приглушенное фырканье лошадей, и скоро все стихло. Спит деревня. Ни огонька. Одна лампада над миром светит — круглая, ядреная луна в цветастом морозном ободке.

— Пойдем, батюшка, — позвала Феклуша. — На месте ночлег не выстоишь.

И то верно. Роман зябко передернул плечами, пошел, сам не зная куда. Наугад. Решил стучаться в первую избу, проситься Христа ради под крышу. Хотя и знал, что чалдоны не шибко приветливо распахивают двери перед чужими. Места лихие, тракт рядом, а на тракте всякий народишко ошивается, и каждому в нутро не заглянешь. Так что и поплакать придется, и поклоняться. Но для Феклуши Роман на все согласен. Вот она, лапонька, как примерзла, дрожмя дрожит. «О, Господи, прости нас, грешных, явисьвою милость», — Роман и не заметил, что произнес эти слова вслух. Феклуша не слышала и спросила:

— О чем ты, батюшка? — и тут же ахнула, споткнулась на ровном месте, ухватила отца за руку. — Батюшка, гляди, свет-то какой! На бугре! Видишь?

В широком проеме меж избами вздымался высокий бугор, накрытый нетронутым целинным снегом. Он не искрил под луной, как в иных местах, а тихо и ровно светился сам. Пробивались снизу прозрачные ленты, выплывали, сменяя одна другую, и плавно поднимались вверх, связывая воедино низ и выс. Ни огонь, ни солнечный луч сравниться с этим светом не могли — так он был непорочен и чист.

Не сговариваясь, Роман и Феклуша пошли прямо на свет. У изножия бугра снег перестал проваливаться, ноги теперь ступали по незыблемой тверди, и скоро опажнуло лица ощутимым теплом. Словно невидимый кто дохнул на околевших путников, пытаясь согреть их. Свет редел, истончался, а после канул в белесой стыни, не оставляя после себя никаких следов. Но тепло не исчезло. Роман и Феклуша взошли на макушку бугра, и им, иззябшим, почудилось, что перешагнули они порог избы, жарко натопленной на ночь.

Они замерли, а в тишине явственно заговорили колокола. Сначала тихо, словно в раздумье, а после укладчивей, звонче, с захлебом, словно на светлую Пасху в далекой отсюда родной деревне.

— Батюшка, — шепотом позвала Феклуша. — Это ведь Господь нас увидел, знак дал, — она перекрестилась, словно убоявшись своей догадки, и попросила: — Не трогаться бы нам дальше, батюшка, тут бы и жить.

А Роман сам, без Феклушиной подсказки, решил: здесь. Истинную правду, выходит, старушка отмерила.

Сейчас, резво бегая в срубе, смахивая слезы, выдавленные из глаз едучим дымом, он думал о добром. Все-таки упала удача в руки: мужики смилостивились, благодаря заступному слову купца, разрешили поселиться — вот и славно. А мороз... мороз, он вертучих пугается, не достанет.

— Ты побегай, Феклуша, побегай, оно теплей будет.

— Да я, батюшка, и так не сижу. И бегала, и прыгала, разве что не плясала. Чу, батюшка, идут к нам.

Роман остановился, сбил треух на затылок. Поскрипывали неподалеку скорые шаги. Целился поздний гость, судя по звуку, напрямик к сруб. А чтобы ходьба не в скуку была, громко насвистывал — соловей да и только.

Роман поднырнул под сруб, осторожно выглянул. Луна светила исправно, и он сразу узнал парня, который высунулся сегодня с присказкой. Васька, наряженный в барнаулку и в пимы, скатанные из белой шерсти, шел, словно приплясывал. Ходуном ходила молодая сила, искала выхода. Шапки на голове не было, и рыжие кудри обнесло инеем.

— Ночевали-спали! — он дурашливо изогнулся и в пояс поклонился Роману. — Сопли-то не оттаяли?

— Ты не балаболь, — строго осек его Роман. — Над нами грех смеяться, мы люди бедные.

— Ладно, не буду, — согласился Васька. — Еще слезами заревете — куда деваться. Забирай свою чаду, поведу вас на ночевку. Хозяин послал, зовет к себе ночевать. Чо окостенел? Идти не хошь, али гордый?

— Нам гордиться нечем. А раз зовут — чего ж не пойти. Феклуша, вылезай.

Васька крутнулся на задниках пимов, плечами под барнаулкой передернул и подался к дюжевскому дому, не оглядываясь. Считал, что много чести будет для расейских, если он оглядываться станет да беспокоиться. Не махонькие, не отстанут.

## 5

Вечером, когда Дюжев отпыхался и охолонул после бани, к нему явился гость — деревенский староста Тюрин, еще крепкий старик, степенный и рассудительный. Сначала, как водится, поговорил о том о сем, неважном, и вдруг взмолился:

— Тихон Трофимыч, яви божескую милость, не заваливай ты нас дугами, гвоздей уж нету, чтобы их развешивать.

— Каки дуги? — не понял Дюжев.

— Да твои, твои, Тихон Трофимыч. Гундосый нас совсем задавил без тебя. Какую мелочь ни купишь в лавке, а он все равно дугу кладет сверху. Не станешь брать — никакого иного товару не дает. Как бы до греха не дошло — мужики у нас, сам знаешь, осерчать могут.

— погоди, погоди. Как говоришь, он торгует?

— Да вот так! Берет мужик полфунта чаю, либо китайки бабе своей на кофту, либо бутыль стеклянну — да хоть что берет! — а Гундосый внакладку еще и дугу вручает. Да нахваливат: дуга-то вон кака звонка, крашена, ей век сносу не будет. Мы их столько набрали — на внуков хватит!

— Ах ты, бородавка носатая! Додумался! Ладно, я сыму стружку! Так и скажи мужикам — сыму!

Выпроводив Тюрина, Дюжев тут же призвал приказчика для ответа. Вахрамеев неслышно вошел в горницу и закивал острой головкой. Его длинный нос с темной бородавкой на самой пипке покрылся потом.

— Ваша правда, Тихон Трофимыч, оплошка вышла, не думал, что осерчаете. А с другой стороны, плохого умысла не было...

Голос у Вахрамеева тонкий, как бабий волос тянется, и нет ему ни конца, ни порыву. Слушать его — тоска голимая.

— Тоже мне, торговец сыскался! — строжился Дюжев.

— Такая партия большая, за год бы не продать. Там и осталось совсем маленько, скоро продали бы...

— Я те продам! Еще раз кому дугу сунешь — я через хребет тебе ее переломаю!



Дюжев злился еще и потому, что оплошка с дугами вышла по его вине. А если не вилять и признаться, как на духу, — по пьяному делу. Ехал он по первому зазимку из Томска и вернулся в кабак — нутро чаем погреть. А в кабаке местный кустарь гулял. И так он песни пел, так он, сердешный, вытягивал их, будто с души снимал, что Дюжев раздернул воротник рубахи и вспомнил свою прошлую жизнь — словно в яви она восстала. Всхлипнул и перебрался к кустарю за стол.

Дальше — дело любовное. Кустарь до утра пел, а Дюжев слушал и плакал. До того растрогался, что пообещал все дуги купить, какие кустарь выгнул. И цену положил — от души.

А наутро, когда хмель вышел, прояснило: у кустаря шесть сыновей, и все они, женатые и холостые, жили с тятьей под одной крышей и все дуги гнули. Навалили их, дуг этих проклятуших, аж пять возов. Дюжев увидел — чуть не подавился с досады. Но деваться, однако, некуда: дал купецкое слово — держи.

— Ты приезжай! — говорил на прощанье кустарь. — Ты мне глянешься! А я петь люблю и работать люблю — вон сколько добра с сынами наделал!

Сани, тяжело груженные звонкими дугами, уже поскрипывали по тракту. Дюжев молчком выругался и поехал следом.

— Потачку вы мужикам даете, Тихон Трофимыч. Они скоро на шею вам сядут и ноги свесят. Жаловаться прибежали, надо же... На дугах я их разорил... — продолжал тусклым голосом тянуть Вахрамеев и указательным пальцем трогал на носу бородавку.

Дюжев глядел на него и дивился: надо же, такой образине и светлый ум достался. Приказчик помнил все, что касалось торговли. Разбуди его ночью, спроси, сколько фунтов чаю в прошлом году продали или сколько аршин мануфактуры привезли два года назад из Ирбита, да хоть что спроси — он бородавку потрогает и ответит точнехонько, по записям сверяться не надо.

Жил Вахрамеев бобылем, жалованье ему Дюжев платил справное, но и отработывал приказчик его с лихвой: копейки хозяйской не переплатит. Берег дюжевское богатство, как свое.

— Вот что, друг милый, ступай, — Дюжев махнул рукой, выпроваживая Вахрамеева из горницы. — Нечего тут разговоры

городить. Ты два десятка лишних дуг продашь, а после нам петуха пустят. Да и совесть поймечь надо — что люди скажут! Ступай, я сказал.

Вахрамеев ушел. Дюжев потоптался в пустой горнице, повздыхал, сам не зная о чем, и отправился в спальню. Пуховая перина глубоко провалилась под его тяжелым телом, обняла мягкой прохладой, и он уснул, напоследок успев подумать: «Девка-то, надо же, голимая Марьяша...»

## 6

...Двери спальни отпахнулись настезь, пестрый народишко вломился через порог в полном молчании. Лампада на божнице трепыхнулась извилистым огоньком и погасла. Сизая струйка потекла к потолку. Дюжев дернулся, пытаясь вскочить с перины, а сил — нет. Шевельнуться не может. Народишко мечется, кричит беззвучно, все целаются залезть в дальний угол. А в глазах у каждого одно-единственное — убивают! Дюжев и рад бы защитить их, а не может: лежит, как пластом земли придавленный. В открытых дверях — темь, а из нее — ружейные огоньки. Люди валяются, подрезанные пулями. И вот уже все — лежат. Темь в дверях налилась, загустела, огоньки перестали вспыхивать, и на середину спальни вышла Марьяша. Коса распущена, волосы — как спелая рожь на белом снегу исподней рубахи. Развела руками и поплыла к Дюжеву, не касаясь ногами чисто выскобленных половиц. Просторная рубаха взвихривалась, откидывая белизной темноту. Марьяша протянула руку, Дюжев дернулся навстречу, желая припасть лицом к раскрытой ладони, и пробудился.

Ошалело повел глазами, увидел: в лампаде огонь теплится, с иконы проступает суровый лик Спасителя, а в самой спальне пусто и по углам темно.

— Васька! — сдавленно крикнул Дюжев и зашелся в надсадном кашле. Его трясло.

Васька вылупился, как из-под земли. Засветил огонь, подернул сползающие исподники, наклонился над хозяином. Дюжев прокашлялся, смахнул слезы, хрипло выдохнул:

— Вина давай!

Глазом моргнуть не успел, а перед ним стоял уже графинчик зеленого стекла, глубокая чашка с моченой брусникой и лежала, посвечивая золотистой коркой, утрешняя шаньга. Вино из длинноногой рюмки Дюжев вливал в себя через силу — не хотелось ему пить, но он, желая перешибить наваждение, в один присест ополовинил графинчик. Икнул и отодвинул его от себя, Ваське:

— Пей, гулеван. Опять ночью притарашился?

— Да как можно, Тихон Трофимыч! Спал я. Как расейских привел, сразу и завалился.

— Ври шибче!

— Да ей...

— Не божись. Пошли они, расейские-то?

— Куда им деваться! Вприпрыжку кинулись, подола в веревочку завились. Спят, поди, без задних ног.

— Спят — это хорошо, — раздумчиво протянул Дюжев, все еще не избавясь от наваждения, явившегося ему во сне. — Васька, соври чего-нибудь посмешней, тягомотит меня, сна нету.

— А чего соврать-то? Я и не знаю, — простодушно оскандился Васька и тут же, вспомнив, предложил: — Разве прошлогодний случай, про гаданье...

— Давай про гаданье, все равно сна нету.

Васька переступил с ноги на ногу, словно ему подошвы жгло, зачастил бойкой скороговоркой — как горох на пол просыпал:

— В прошлом годе, на Рожество, девки у нас гадать собрались, а мы подслушали случаем. Решили они ночью в хлев забежать. К овцам. Кто барана поймает за хитро место — стало быть, свадьбу играть, а коли ярочку — жди, красавица, дальше. Вывернули мы шубы с парнями, ночи дождались и в хлев. Порты скинули и сидим, голозадые, ждем, когда ворожейки явятся. Овечек — в угол, сами к дверям поближе. Слышим — идут. У хлева остановились, оробели. Слышим, Нюрка Завалихина говорит. Вы, говорит, девки, не пугайтесь, я первая забегу. Открыла двери и шарит в потемках. Я ближе всех сидел, она меня и надыбала. Хвать-хвать по шубе и за это само место. Мне щекотно, спасу нет, я возьми да и хрюкни. Нюрка дернулась, но добычу держит, не отпускает. Шепчет: пусть

женых у меня будет красивый, добрый, а хозяйство богатое, чтоб любил меня и на руках носил. Ах, ты, думаю, губу раскатала! Еще и на руках тебя, карчу неподъемную, таскать. Отвечаю ей шепотком: а шиш с постным маслом не хошь, Нюра? И отцепляйся, говорю, от меня, я мужик живой, а не деревянный, могу и грех сочинить. Тут парни заржали — терпелка лопнула. Кэ-эк Нюрка взвилась, едва потолок макушкой не вышибла. И — в двери. Выскочила, заблажила — девки кто куда. Пырск — и нету. А Нюрку по осени и впрямь засватали, в Шадрю увезли.

Васька замолчал, а Дюжев шевельнулся — ничуть он не повеселел — и недовольно сказал:

— Кобель ты, Васька, и на уме у тебя одно — кобелячье.

Тот вздохнул и стыдливо опустил глаза.

— Иди спи.

Васька неслышно, по-кошачьи ступая на половицы, вышел. Дюжев остался один. Сон его не брал, не брало и выпитое вино. Увиденное во сне не отступало, стояло перед глазами. «Помянуть надо Марьяшу. Милостыню подать. Когда покойники снятся, поминать, говорят, надо. Как она тянулась, сердешная... И девчушка расейская на нее похожа. Неспроста это. Знак какой-то. К добру ли, к худу? Неужели судьба еще раз пытаться хочет? Не надо бы, сытый я испытаньями под завязку, не надо бы... А?»

## 7

— Свободушку я любил. Она сла-а-дкая, слаще на свете ничего нету. Как ударюсь в бега, отбегу от рудника в чернь, паду под листовенницу и плачу — уж так мне светло. Перевернусь на спину, глаза открою, и чудится: подниму руку и до неба достану. Небо на воле близеньким кажется. Здесь оно далекое, не долететь, а там рукой можно тронуть. Там... — дед поднимал кривой изломанный палец и слепо тыкал им, по памяти, в сторону черни, которая густой щетиной ползла по гористым склонам, окружая со всех сторон рудник. Рудник был старый, открытый еще при Демидове. После забрали его в царскую казну, но порядки остались прежними: работа да шпицрутены. И судьба у бергала все та же, известная: впряжешься парнишкой в работную лямку и тянешь ее до края мо-

гилы. Иные, отчаявшись, наговаривали на себя напраслину, заявляли начальству, что человека убили, ввали напропалую — кому что на ум придет. Лишь бы на настоящую каторгу попасть. Там, сказывали, легче. Начальство об умысле частенько догадывалось, и хитрованов гоняли сквозь строй, спуская шкуру до сырого мяса.

Избавлялись от работы бергалы побегими. Их ловили, вваливали на полную катушку шпицрутенов, загоняли в самые гиблые штреки, а все равно: только пригреет солнышко — и поминай как звали. Хоть ненадолго, а вольно.

Дед Дюжева, Акинфий, бегал всю свою жизнь. На спине у него живого места не было — изрублена, испорота; шутка сказать — восемнадцать тысяч шпицрутенов за долгие годы досталось. Выдержал. А вот глаза, отстояв без малого сорок лет у плавильной печи, не сберег. Под старость он уже ничего ими не видел, кроме одного — блеска расплавленного серебра. К печи Акинфия подводили под руки, приставляли к застекленному оконцу, и он, горбясь и приседая, оповещал: «Узрел, ребята...» Всегда точно угадывал тот момент, когда серебро расплавлялось и надо было открывать задвижки, раздвигать его по формам, чтобы не улетало оно без пользы в воздух.

— Воля — она там... — дед тыкал кривым пальцем, а маленький Тишка тянулся взглядом к острым верхушкам елей и лиственниц. — За нее, любушку, и пострадать не грех. Слышь, Тишка, тебе говорю — не грех за ее пострадать, она того стоит, она много стоит...

По весне, как только заголосили птицы, дед велел отвести себя за рудничный поселок. Оперся на острое плечо внука и подался спотыкающимся шагом к ближним лиственницам. Добрел, лег под одну из них и велел Тишке нарвать колбы. Помусолил беззубыми деснами сочные стебли, выпустил на бороду зеленую слюну и, слабая голосом, отослал Тишку в поселок за матерью. Когда Тишка привел мать к лиственнице, дед был уже мертв. Лежал, сложив на груди руки, и лишь один палец, кривой и порубленный, торчал отдельно, указуя в небо.

Через два дня после дедовых похорон в избенку к Дюжевым заявился будочник и объявил: отцу вместе с отроком велено

явиться к управляющему в горную контору. Управляющий, немец Риддер, знавший по-русски с пятого на десятое, но ругавшийся черным словом не хуже пьяного бергала, вышел на крыльцо, оглядел собранных семилетних мальцов, буркнул «гут» и ушагал на коротких ножках в контору. Остальное секретарь разъяснил: все мальцы для казенной работы пригодны, всем надлежит явиться завтра на разборку руды.

Когда наступил урочный час, мать не смогла разбудить Тишку. Поднимет его с топчана, а он даже глаз разлепить не может. Что делать? Не придет вовремя — палок отведают. Взяла она тогда сынка на руки и понесла на царскую работу.

Три года разбирал Тишка руду, бит был за всякую мелкую оплошность, горького нахлебался выше ноздрей. Вскоре на руднике появился новый управляющий, Пфедфер, опять же из немцев. Большой охотник по бабьему делу. Новые порядки завел, обязал женок поочередно полы мыть в конторе и у него дома. Ну, а какое мытье получалось — известно. Дошла очередь до Степаниды Дюжевой. Пришел будочник, передал приказ, а Трофим озлился и фигу ему под нос — на, выкуси! Будочник переморщился, а на другой день заявился снова. С тем же самым приказанием. Трофим поднялся с лавки, перекрестился на образа и тайком вынул из шкафчика сапожный нож.

Пфедфер стоял на крыльце и ждал. Увидел строптивного бергала, закричал, грозя карами. Трофим слушать не стал. Махом перепрыгнул все пять ступенек и всадил нож в пухлый живот управляющего. По самую тряпку, которой рукоятка была обмотана. Выдернул, и вдругорядь, тоже по самую тряпку, чтоб уж наверняка. Так и получилось. Пфедфер не успел охнуть.

Трофима — в кандалы и — в Барнаул. Военный суд после недолгого разбирательства решил: за смертоубийство управляющего Пфедфера приговорить мастерового Дюжева к наказанию кнутом — девяносто ударов. Иными словами — к смерти. Девяносто ударов, да если кнут в руках такого палача, как Козырев барнаульский, никто не выдерживал, будь человек хоть живей живучего.. Ни на что не надеясь, Трофим приготовился к смерти.

Поглазеть на забавное зрелище собрался весь чиновный Барнаул. Стоят, пересмеиваются — чужое горе не щекотит. Возле «кобылы» Козырев прохаживается. Мужичонка низко-

рослый, одно плечо ниже другого, а руки... на руки страх глянуть — длинные, чуть не до земли, ладони широкие, как лопаты.

«С половины, с трех-четырех десятков зашибет насмерть», — так все думали, глядя на Козырева.

Привели Трофима, положили на кобылу. Козырев на полный мах выкинул и взвил в воздухе кнут. С первого удара просек кожу. Кровь брызнула. А это уже какое-никакое облегчение: на мокрой спине кнут вязнет, не так сильно зашибает нутро. Начальство загомонило. Козырев словно и не слышит, стегает полегоньку. Начальство громче загомонило: так-де не наказывают, пори шибче! Козырев кривыми плечами передернул и кнут бросил: «Не глянется — сами порите! А я люблю, кто начальство режет!». За такие речи его тут же на земле разложили, вломили шпицрутенов для прочистки головы и велели пороть дальше. Козырев притворился, что испугался, стал показывать усердие. Кряхтел, тужился, вскидывал кнут со свистом, но бил вполсилы. Оберег Трофима от смерти, хоть и пришлось самому после плохой работы еще раз ложиться под березовые палки.

Трофим оклемался в лазарете, вернулся домой, и его сразу запихали в самый гиблый штрек рудника. Там и загинул вместе с пятью товарищами после обвала. Военный суд, тот же самый, что приговаривал его к наказанию кнутом, провел расследование и огласил: «За неотысканием виновных в смерти мастерового Дюжева предать дело воле Божией».

Степанида без мужа затосковала и быстро, как восковая свеча, истаяла.

Тишка остался один, а при нем — слова деда о вольной воле. Манила она, зазывала ночами, обещала: за высокой стеной черни дышится совсем по-иному. И Тишка на ее голос отозвался — ушел в бега. Его не поймали, он не погиб с голоду, и зверь его не задрал. Выкрутился парнишонко, через игольное ушко проскочил. Пристал к ватаге ревнителю старой веры, отправился с ними искать заоблачное Беловодье. Окреп, огляделся, из ватаги ушел и дальше сам, в одиночку, отправился по сибирской, никем не мереной земле.

Побывал на казачьей Омско-Семипалатинской линии, где угонял коней от киргизов, по морю Байкалу плывал с ры-

бацкой артелью, в городе Иркутске, сломя голову, носился половым в трактире, в Ишиме у богатого крестьянина муку молот на мельнице — много чего пришлось отведать. Всего не упомнишь. Как лопух, проклянувшийся у дороги и никому не нужный, Тихон Трофимыч, чтобы устоять на этой земле, гнал свой корень в самую ее глубь. Везде у него были знакомцы, везде он приходился ко двору, везде успевал примечать острым взглядом порядки, обычаи и неписанные сибирские законы. Легко ему давалось и любое ремесло: дома научился рубить, лошадей ковать, кадушки делать, полозья гнуть, пимы катать. Самоуком грамоту одолел. И когда занесла судьба к томскому купцу Кривошеину, тот обеими руками ухватился за толкового парня. Взял на работу, в дом к себе ввел, а вскоре и вовсе определил за сына, назначил старшим приказчиком. Лучше бы не назначал. Да кто тогда ведал, что впереди выпляшется...

После масленицы Тихон и Кривошеин возвращались с пушниной от остяков. Торг был удачный. Соболиные шкурки, обмененные на мануфактуру, чай, порох и вино едва уторкали в кожаные мешки. Вечером подкатили на трех подводах к постоялому двору, от которого оставалась до Томска ровно половина пути — три дневных перегона. Долго долбились в глухие запертые ворота. На стук вышел хозяин, угрюмый, рыжебородый мужик, старый знакомец Кривошеина.

— Федор, ты пошто на запорах сидишь? — поздоровавшись, удивленно спросил Кривошеин. — Боишься кого?

— Да мы уж втору неделю как в осаде живем, — отозвался Федор и настезь распахнул половинки ворот, пропуская подводы. Тут же закрыл ворота и заложил толстенный запор, вырубленный из березового комя. — Варнаки у нас объявились, каторжанцы беглые. Шалят, заразы. Вот и приходится оберегаться. Третьеводни обоз с товарами подчистую на тракте разгрохали.

Рассказывая новости, Федор помог распрячь лошадей, дал им сена, а после, потоптавшись возле саней, на которых лежала пушнина, посоветовал:

— Давай-ка товар в подклет снесем, от греха подальше. Оно, может, случая и не будет, а оберечься не помешает.

Мешки унесли в подклет и заперли.

Тихон замешкался, разглядывая хозяйство Федора, продрог и заторопился в тепло. В длинных и темных сенях, не сразу оглядевшись со света, налетел на лавку, опрокинул ее и услышал, как пискнул тонкий голос, испуганно придавленный ладошкой. Пригляделся, а перед ним девка стоит. Ойкнула еще раз и порхнула мимо, открыла двери, чтобы в сенях светлее стало, со шлепком всплеснула ладонями. Надо же! На лавке, оказывается, чашка стояла, кувыркнулась на пол, и по широким половицам густо рассыпалась крупнущая, перезревшая клюква.

— Топчутся тут, как медведи! То ли глаз нету! — строжилась девка, сердито поглядывая на Тихона, перебрасывая на спину толстую косу. Вот уж коса была! Рябенькая, будничная ленточка, вплетенная в нее, доставала до самых половиц. Рука у Тихона сама собой потянулась, чтобы такой богатый волос потрогать, но он вовремя одумался и руку с подороги отдернул.

— Чего уперся, как столб вкопанный! Ягоду собирай! Шароборятся шатуны всякие! Один разор после них! — голосок у девки сердитый, а на крутых щеках круглятся ямочки — первый признак, что нрав веселый. Да и глаза теплые. На нижней губе прилипла шелушка от кедрового ореха, кругленькая, коричневатая, как родинка.

Тихон присел на корточки, стал собирать клюкву в пригоршню. Мерзлые ягоды чуть слышно постукивали, а Тихон с девкой взглядывали друг на друга и тут же испуганно отворачивались.

— Меня Тихоном кличут, а тебя как зовут?

Девка в ответ ему сорочьей скороговоркой:

— Тебе со мной хлеба-соли не водить, так и звать не придется.

Ямочки на щеках круглятся, глаза по-прежнему теплые. Такие глаза, подумалось Тихону, в любую стынь отогреют. И он не удержался, протянул руку, дотронулся до крутого плеча. Через теплую кофту, через шаленку словно огнем ожгло. Девка дернулась, отскочила и той же сорочьей скороговоркой оттараторила:

— Хоть ты и купец, а я тебе не товар, зря не шшупай, денег на куплю не хватит! Ягоду вон собирай... — голову опустила, утишила голос до шепота: — Ты не вздумай при тятя на меня пялиться

— шибко он этого не любит. Осерчает и за ворота выставит. Хоть в ночь, хоть в полночь. И дружба с Кривошеиным не удержит.

Тут открылась дверь в сенцы, и Федор сердито крикнул:

— Марьяша! Ты где там? Пристыла?

— Здесь я, здесь, тятя! Бегу!

Выпрямилась, прижала к себе чашку с кровавой клюквой, и Тихон не удержался, еще раз протянул руку, бережно снял с пухлой губки кедровую шелушку. Положил ее в рот и с хрустом, в муку, перетер молодыми зубами. Смолой, кедром, тайгой дохнуло.

— Чо, сладко? — Марьяша рассмеялась. — А вдруг приворотная? Не боишься?

— Не-а...

Марьяша крутнулась на одном месте, коса взлетела и кончиком, рябенькой ленточкой, хлестнула Тихона по коленке. Он нагнулся, перехватить хотел, да куда там — уже двери состукали.

Лицо у Тихона горело огнем. Он вышел из сенок, зацепил в пригоршню студеного снега, утерся и даже не заметил, как снег махом растаял, скатился горячими каплями под рукава и под воротник.

Верно говорят: симпатия не пожар, но уж коль загорелась — ни водой не загасить, ни землей, ни снегом.

Вечером все постояльцы уселись за длинный дощатый стол. Кроме Тихона с Кривошеиным были еще молодой батюшка из Тобольска, ездивший крестить инородцев, почтовый чиновник и два мужика, добравшихся до Томска, чтобы подать жалобу по начальству.

— Житья от них нету, от варнаков, — наперебой, забыв про еду, рассказывали мужики. — Как завели этот порядок — старых каторжанцев на землю садить, так и началось светопреставление. Один станок держит, другой краденым торгует, а что коней уводят — про то и говорить неча. Сказывали, что шайка варначья, которая объявилась, с каторги утекла, а мы так мыслим — неправда. Из посельников она, — тут мужики притихли и заговорили вполголоса, один даже оглянулся через плечо, словно проверить хотел — не стоит ли кто сзади. — Непутевое это дело — варнаков рядом с нами селить, нет, непутевое.

— Вешать их надо — вот и весь сказ, — изрек чиновник и зевнул, забыв перекрестить рот. Зубы у него были белые, как грузди. — Вешать вдоль тракта и не снимать, чтоб другим nepовадно было.

— Я слышал, команду воинскую направляют, — добавил батюшка. — Будем надеяться, что установит она спокойствие.

— Нам все равно к начальству надо, — говорили мужики. — Из рук в руки бумагу передать, как общество велело. Оно и денег нам на расходы собрало. Нам вертаться никак нельзя.

— Бог вам в помощь, — благословил батюшка. — Пусть вас все напасти минут.

— А ружья в деревне есть? — чиновник снова зевнул, показывая ядренные зубы, и, услышав в ответ, что есть, попенял жалобщикам: — Порешили бы одного-другого, остальные бы сами притихли.

— Да разве можно людей на смертоубийство толкать? — нахмурился батюшка.

— Можно, — отмахнулся чиновник. — По всем законам можно. Эти скоты одну силу понимают.

— В том-то и завыка, что не можно! — не соглашались мужики. — Не притихнут оне. Народ аховый. Если уж порешить, так всех разом. Но мы-то люди крещены, неохота смертный грех на душу брать. Да и то сказать — одни сгинут, других пригонят...

Тихон в разговор не вникал. Слова в уши входили, а сути в памяти не оставляли. Да и какое дело ему до каторжанцев, когда летала по дому Марьяша, легкая на ногу, как ласточка на крыло. Подавала угощения, убирала грязную посуду, порхала от печки к столу и обратно — только кончик косы взметывался, едва поспевая за хозяйкой. Смотрела Марьяша, как и положено молодой девке при строгом родителе, под ноги себе, в пол. На постояльцев не глядела. Но когда отбегала к печке, оказываясь за спиной у тяти, успевала на ходу вскинуть голову, и Тихон готовно перехватывал ее быстрый взгляд, едва не подсигивая на лавке от радости. Может, шелушка-то и впрямь заговоренной была? А иначе как объяснить, что за столь малый срок парень с ума съехал?

Молодость, говорят, глазами любит, глазами же и разговаривает. Так и вели Тихон с Марьяшей скорый, на лету, никем не услышанный разговор.

«Не смотри ты на меня, люди же здесь — стыдно». — «Хочу и смотрю, какое мне до людей дело. За погляд деньги не платят. Вон ты какая баская, как же на тебя не глядеть». — «Ишь ты! Хвати, у тебя таких баских на каждом постоялом дворе по дюжине!» — «Таких еще не видывал. Ты...» — «Чего сбился? Раз уж начал — договаривай. Я, дурочка, и поверю». — «Ты... любя ты мне, Марьяша, так любя, что земли под собой не чую, себя потерял. Я ли, не я ли — понять не могу. А врать сроду не врал. Мне раньше сны снились, вроде девушка ко мне приходит. И вот вижу, что девушка, знаю, что она мне глянется, а лица не различу. И так досадно было. А тебя увидел и понял — это ты ко мне приходила». — «Мастер ты сказки сказывать...» — «Да разве это сказки, Марьяша! Я ведь тоже тебе во сне снился. Вспомни-ка, неужели не снился?» — «Ах...»

Вывернулся сковородник из рук, сковородка на ребро встала, покатила по шестку — на пол. Шарах! Картошница, в вольном жару запеченная, сверху сметаной политая, — кусками во все стороны! За столом от грохота вздрогнули, один лишь чиновник не повел глазом — зевал. Федор через плечо покосился на оплошавшую дочку и велел подавать самовар. За чаем долго не засиделся. Поднялся из-за стола, кивнул Тихону:

— Ступай за мной, парень, я тебя на ночлег определю.

У низенькой двери, ведущей в махонькую боковушку, Федор остановился и подтолкнул Тихона, пропуская вперед.

— Там свечка на полке и серянки рядом. А лучше не зажигай, а то дом ненароком спалишь. Лучше без огня спать, оно спокойней.

И дверь за Тихоном — хлоп! Защелку на пробой — звяк! И в пробой же дужку навесного замка вставил.

— Вот и ладно. Горячий ты, парень, не в меру, как я погляжу. Охолони.

Тихон нашарил на полу шубу и пролежал без сна до самого утра. Под утро на дворе разыгралась падера. Маленькое оконце боковушки быстро залепило снегом. «Господи! — безмолвно взмолился Тихон, слушая взвизги ветра. — Сделай так, чтобы ни зги, ни свету белого не видно. Пусть Кривошеин еще на день останется, непогодь переждать». Жарко просил, истово. Падера заревела в полную силу. С грохотом заходила по крыше, ударила в крепкие стены, и большой дом наполнился неясным гулом.

Отпирать Тихона пришел Кривошеин.

— Ты уж не серчай на хозяина. Он дочку один, без бабы растит. Вот и трясется над ей. Чо, поглянулась?

Тихон отвернулся и промолчал.

— А ехать нам нынче никак нельзя, — Кривошеин прислушался к падере. — С ног сбиват. Придется куковать до завтрава. Ты чего засиял, как новый гривенник? Ох, гляди, Тишка. Федор — мужик суровый, он и оглоблей отмахнет, за ним не заржавеет. Я тебе на добро советую — выбрось из головы! Он уж ей жениха присмотрел.

Куда там! Советы кривошеинские — как козе уговоры, чтоб капусту не ела.

А на улице — белый мрак. Тихон выскочил из сеней во двор, присел, чтоб никто не видел, и давай руками размахивать, давай подгонять завируху: «Пуще мети, пуще! Шибче наяривай!» Радостно ему было в сплошной круговерти, в снегу, на ветру, который пронизывал его насквозь.

Марьяшу он подкараулил в сенях, где они вчера рассыпанную клюкву собирали. Загородил дорогу. Марьяша отпрянула в сторону.

— Да ты не бойся, я ж ничего худого... — протянул руку и дотронулся до толстой косы.

Марьяша еще раз отскочила.

— Да ты не бойся...

В ответ ему — не бойкой скороговоркой, а с глубоким и безнадежным вздохом:

— Себя я, Тихон, боюсь, а не тебя. Попала в синок, и выскакивать неохота. Ты ведь снился мне, узнала я тебя... Ой, всего не расскажешь! Больше не подходи, погоди до вечера. Видишь, уже и себя не боюсь, осмелела... — она скользнула к двери, взялась за ручку, но обернулась: — Шелушка-то и впрямь заговоренная, на присуху, кре-е-пко заговоренная. А ты и попался, до самой старости будешь присушенный. Не боишься?

— Я согласный, до старости.

День прошел беспмятно, мутно. Вечером Федор снова отвел постояльца в боковушку, запер ее снаружи, потоптался у двери и объявил:

— Утречком завтра поедете. Падера не шибко зла, не заблудитесь. А ты, парень, на носу заруби: будет дорога в наши края, к дому моему не причаливай. И тебе спокойней, и мне не в тягость.

Тихон слушал Федора и думал: «Ну уж нет, хоть заплот поставь, хоть до неба его выведи — все равно умыкну Марьяшу! Тайком обвенчаемся, бухнемся после в ноги, прощенья попросим — простишь, никуда не денешься!»

В боковушке он улегся на шубу, закрыл глаза и нырнул в крепкий, молодой сон. Уснул — как пропал.

Виделась ему церковь на высоком бугре, над церковью горел золоченый крест. Тихон задрал голову, уронил шапку, глядя на маковку, и вдруг почувал, что ему хочется взлететь — туда, к небу. Тянулся на носках, устремляясь вверх, но земля держала его и не отпускала. Тогда он пошел прямо к церкви, целясь на паперть. Церковь же беззвучно от него уплывала. Он — к ней, а она — к окоему. Вытягивалась, становилась выше, упиралась золоченым крестом прямо в середину бездонного пространства. Тихон побежал, пытаясь поспеть за церковью, и вдруг увидел, что на паперти стоит Марьяша. Она что-то шептала, а он на бегу не мог понять — что. Тогда остановился и услышал: «Встану я, благословясь, выйду, перекрестясь, из избы в двери, из ворот в ворота, в чистое поле, в широкое раздолье, под восток, под восточную сторону, под красное солнце, под светел месяц, под часты звезды, под черны облака. Пойду к синей реке, а у синей реки стоит церковь, а в этой церкви престол, за тем престолом сидит матушка Пресвятая Богородица и батюшка истинный Христос. Подойду поближе, поклонюсь пониже, поклонюсь и благословлюсь: «Прошу и молю тебя, матушка Пресвятая Богородица и батюшка истинный Христос, как я, раба Божья Мария, не могу ни жить, ни быть без языка, так и раб Тихон пусть не может ни жить без меня, ни быть, ни спать, ни лежать, ни пить, ни есть. Как мой язык от меня не уйдет, так и он, раб Тихон, никуда не уйдет, никого не найдет. Как от меня пятки мои не отстают, так от меня раб Тихон не отстанет. А еще прошу и молю тебя, матушка Пресвятая Богородица и батюшка истинный Христос,

страхните, смахните нетленной рукою с раба Тихона уроки, призоры, страхи, переполохи, щепотишша, колготишша, костоломишша, худое худобище, рассыпной свет-рассыпище и двенадцать родимцев с родимчиком от встречного, от поперечного, от чистого, от поганого, от злого, от лихого человека, от девки-пустоволоски, от бабы-долговолоски, от старой старухи, от молодой молодухи. Будьте мои слова истольна-исполнены, которые договорены, которы недоговорены. Заднее на заде, переднее на переди, крепки и лепки, тверже синего укладу, заморского булату».

И оборвался голос, канул последним звуком, словно капля дождя в реку. Следа не осталось. Тихон снова побежал, еще быстрее, но споткнулся на ровном месте, упал. Вскочил, а Марьяша на паперти уже нет. Церковь же стояла крепко, не двигалась больше к окоему, венчала высокий бугор, соединяя его с небом. И оттуда, из-под самого неба, с немислимой высоты соскользнул едва различимый голос Марьяши: «Осолит разлуку нашу горсть сырой земли...»

«Да какая разлука?!» — Тихон вскинулся и проснулся.

Ласковая, трепетная ладонь невесомо скользила по его волосам. Он поднял руку, нащупал в темноте эту мягкую ладонь и не отпустил ее, уже зная — чья она.

Марьяша стояла на коленях в его изголовье, и Тихон тоже встал перед ней на колени. Глаза обвыклись, и он различил белеющую рубаху, косу, переброшенную на грудь. Протянул руки, но Марьяша откачнулась и остановила его:

— Погоди, не хочу в потемках, видеть тебя хочу.

Вскочила, нашарила на полке свечу и серянки. Пламя растолкало темноту по углам боковушки, и теперь Марьяша и Тихон смотрели друг на друга через огонь. Он колебался от их дыхания, качался из стороны в сторону, но не гас. На стенах шевелились зыбкие тени. Свеча плакала, восковые слезы капали на руки и застывали.

— Я в прошлом годе гадала, — зашептала Марьяша, — воск наливала на воду. Он застыл, и церковь получилась. Красивая — с крестами, со звонницей. Только уж очень она дальняя, в округе такой нету. Я с тятей езживала, видела в ближних деревнях — нету такой. И в Томском, говорят, нету, я спрашивала. А загадывала — в какой церкви венчаться буду.

— И мне церковь снилась. Может, та самая? А еще слышал, как ты заговор говорила. Ты его здесь говорила?

— Зачем тебе знать? Всякий сон не разгадаешь, — Марьяша вздохнула. — Я тебя слышу. Ты думаешь, а я слышу. Вчера еще, в сенках, услышала. Потому и доверилась, что в тебе потайных мыслей нету. Я давно знала — услышу другого, как саму себя, значит, судьба. Вот и явился.

— Поедем, обвенчаемся на стороне. Церковь-то, видно, одна у нас, только дальняя, вот и поищем — авось найдем.

— Нет, Тихон, беда не в дальности. Беда, что нашей церкви еще на земле нет. Не поставили ее. Боюсь — и венчаться нам не придется.

— Ты что, Марьяша...

— Я знаю. А ты не думай, не бери на ум. И еще знаю — меня нигде здесь не будет, а я все равно буду с тобой, рядышком.

— Не пойму твоих слов, говори яснее.

— Я и сама не понимаю, а знаю, что будет. Да и речь не о том вести надо, совсем не надо речей вести. Я вот нагляделась на тебя, славно так нагляделась, пора и свечу гасить.

Она дунула, пламя трепетно дрогнуло, оборвалось в темноту. Руки, пахнущие воском, прислонились к щекам Тихона, соскользнули, обжигая шею, на плечи.

— Косу... косу расплети мне... — издадека, из глубокой темени, смутно дошел до Тихона едва различимый шепот. Мягкая коса распадалась послушно, рассыпалась, как развязанный сноп. Но Тихон не успел расплести ее до конца.

В сенях загремело опрокинутое ведро. Протопали быстрые шаги. Глухие голоса, перебивая друг друга, прокатились в дом. Срывая голос, страшно закричал Федор.

— Ой, тятя! Господи, тятя! — Марьяша вскочила из боковушки и успела сунуть в пробой дужку замка.

Тихон бросился за ней следом, ударился плечом в дверь, но дверь не подалась. В доме бабахнули выстрелы, поднялась суета, слышно было, как что-то с треском выламывают. Скоро глухие голоса прокатились еще раз через сени на улицу. Во дворе заржали кони, полыхнул пронзительный свист. И никаких иных звуков, кроме ровного, тугого гула падеры. Напрасно Тихон прислушивался, напрасно колотился в дверь и кричал. Никто к боковушке не подходил.



Выбрался он лишь утром, когда всюю рассвело. Вытащил из стены кованый гвоздь, расковырял им дыру в двери и, разодрав до крови руку, достал до замка. Вышел на волю, увидел настежь распахнутые двери в дом и больше не мог сделать ни единого шага — ноги отказывали. Тогда опустился на колени, пополз на четвереньках. Первым, у перевернутой лавки, увидел Федора. Тот лежал лицом вниз, протянув вперед правую руку с растопыренными пальцами, будто и мертвый пытался дотянуться до топора, который стоял у печки. Два мужика и батюшка упали, подрезанные пулями, возле глухой стены, где стоял широкий топчан. Кривошеин лежал на краешке топчана, сунув руку под голову, подтянув к животу колени. Если бы не кровь на рубахе, так бы и подумалось — спит.

Тихон прополз дальше, в горницу. Тут он пересилил себя и поднялся на ноги. Посреди горницы, раскинув руки, похожая в белой рубахе на белый крест, — Марьяша. А на отлете, на холодном полу — коса, расплетенная до половины.

«Осолит разлуку нашу горсть сырой земли...»

А белозубого чиновника в доме нигде не было.

## 8

Проснулась Феклуша поздно, потянулась, не открывая глаз, и сразу же улыбнулась — хлебом пахло в нижней избе, где они спали с отцом на лавке. Такой сладкий дух стоял, что она сглотнула слюнку. Давно уж так не просыпалась, от запаха хлеба, с тех пор как тронулись из родной деревни в дорогу. Помнилось нечаянно, что откроет глаза — и окажется в родительском доме, увидит братчиков своих и матушку. Поднялась, а изба чужая, и батюшки нет на лавке — лежит в углу смотанная дерюжка. Феклуша аж ойкнула — где он?

— Да ты не пужайся, девка. До свету поднялся, топором побежал робить. Нужда долго спать не дает, а твое дело молодое, девичье, я и будить не стала. Тебя как кличут-то?

Степановна, опершись на ухват, стояла возле печки, и ее дряблые щеки розовели от жара. Передник был измазан в муке, а на лбу — полоска сажи.

— Феклуша я.

— А я Степановна. Ране-то Аннушкой была, а теперь вот Степановна. И сказ весь. Умывайся, дочка, садись чай пить.

За чаем Степановна пристрастно взялась расспрашивать Феклушу — что? да откуда? — качала головой, слушая невеселый рассказ, и даже всплакнула, узнав, что матушка Феклуши померла в телеге, никого не обеспокоив и не подав голоса. Мелко перекрестилась пухлой рукой, примолкла, но ненадолго. Она подолгу не могла молчать. Даже если одна оставалась, все равно разговаривала: с ухватами, со сковородниками, с квашней, с кадушками. То им чего-нибудь рассказывала, то строжилась.

— У нас новость нынче, — сообщила Степановна. — Гундосый, приказчик наш, оплошал. С Васькой, с работником, на ломке ломались, на гусиной. Это у нас игра така — косточку разломают, а после помнить надо, чего от спорщика ни прирмешь в руки, сказывай: «Беру и помню». Два года прошло, а они памятьливы, никак друг дружку обмануть не могли. А сяди с утра живот у Гундосого схватило, он и попросил Ваську — квасу, мол, принеси. Тот принес. Подал, а Гундосый молчит. Васька и раскланялся — бери да помни, Никодим Иваныч. А спорили на сапоги. Гундосому жалко, он и упорствует: неправильно, говорит, раз я в недомогании нахожусь. А сам квас дует, дует и дует, будто квас виноват. Так он к вечеру весь лагушок выхлебал... Новый надо будет...

Тут Степановна оборвала плавную говорю, вздрогнула необъятными телесами. Прислушалась. Вверху непонятный шум. И вдруг...

По лестнице, которая вела в нижнюю избу, кубарем скатился Васька. Следом за ним, пристукивая на ступеньках, прилетел и хряпнулся об пол лагушок с квасом. Днище вылетело, квас плеснулся, растекаясь на полу, а вместе с ним выехала на половицу дохлая кошка с оскаленными зубами.

Васька отскочил в дальний угол, скрючился там и, хихикая, шепнул Степановне:

— Ой, чо будет! Держите меня семеро!

А вниз уже спускался Тихон Трофимыч. Брови — встык, борода дергается. Рот ладонью зажал и икает. Отвесил оплеуху Ваське, но изнутри его дернуло и он, припечатав

ко рту ладонь, махом выскочил на улицу. Из распахнутой настежь двери донеслось утробное рыканье.

Васька выпрыгнул из угла, сунул кошку в лагушок, лагушок — в охапку, и — наверх. Взлетел — ступеньки не успели скрипнуть.

— Тьфу ты! Прости меня, грешную! — Степановна передернулась и полезла искать вехоть. — Совсем сдурел, лихо-манец! Не иначе повыкамаривать хотел над Гундосым из-за сапог-то, а тут, видишь, сами Тихон Трофимыч отпить изволили. Моя воля, я бы этого Ваську каждую неделю порола. Как в баню идти, так бы и порола, пока не обмаратся. После обмылся бы и до другой субботы. Глядишь, на ум бы наставился, — не переставая ворчать, Степановна подтерла пол, выжала вехоть и прикрыла дверь. Снова села за стол и предупредила Феклушу: — Ты его, девка, бойся, Ваську нашего. Он у нас бес, а не парень. Кудрями натрясет, языком намелет, девки рассолодятся, он и подшибат их, как коршун.

Феклуше бы сидеть чинно-скромно, как и положено в чужом доме, слушать старого человека да кивать согласно, а ее смех разобрал. Хочет и остановиться не может.

— Эк тебя смехотунчик-то щекотит, — посетовала Степановна и сама засмеялась, заколыхала грудью.

Дверь скрипнула, они обе осеклись. Тихон Трофимыч перевалился через порог, ухватился для упора рукой за стену. Перевел дух, утерся полотенцем, которое подала ему Степановна, и сел за стол.

— Дай-ка мне чаю.

За чаем успокоился, громко швыркал, искоса поглядывая на Феклушу. Та притихла, не зная, куда девать руки. Чувала, что купец-хозяин ее разглядывает, смущалась и думала — неспроста. К чему бы это? А Тихон Трофимович, вспоминая прошедшую ночь, не мог оторвать от Феклуши взгляда и не переставал удивляться: «Неужели такие похожие на свете случаются? Только шелушки на губе не хватает, а так — один к одному, даже коса до полу. Кто ее расплетать будет?» Дивясь и тревожась одновременно, Дюжев подумал, что жаль ему станет, если девка уйдет отсюда. Не хотел он, чтобы она уходила. Может, оставить? А почему бы и нет? Подумано — сказано:

— Степановна, если помощницу тебе найдем, как ты на это дело? Не против?

Степановна стрельнула глазками на хозяина, на Феклушу, сообразила, что за словами кроется, и не замешкалась с ответом:

— Дело-то доброе, Тихон Трофимыч. Старею я, ране на одной пятке вертелась, а теперь на ухват обопрюсь — все не успеваю. В самый раз бы помощница мне пришлась.

Ну, а коль сказано — сразу и сделано.

— Пойдешь? — спросил Тихон Трофимыч и замер, испугавшись, что Феклуша откажется.

— Не знаю, — растерялась Феклуша. — У батюшки надо спросить.

— Беги спросись. И обратно — с ответом. Скажи, что я не обижу. Ваську на дворе увидишь, крикни, чтобы сюда пришел. Я ему кудри-то прорежу. Додумался, чертов сын. Слышь, Степановна, может, постегать его? А? Гундосый-то раз пять подходил квас пить, а кошка уж в лагушке была. Ну, Васька, за сапоги отыгрался! И как Гундосый не учуял, проглот этакий! — Тихон Трофимыч покачал головой и неожиданно хохотнул. — С греха с вами соришь!

Феклуша выбежала на крыльцо и прижмурилась. Блескунее солнце стояло над промерзлой округой, а снег готовно отзывался на любой, самый легкий шаг. Благодать! Все прошлые горести как рукой сняло.

Васька откидывал снег от ворот и был, как всегда, без шапки. Кудри мотались в разные стороны, на глазах белели от мороза. Работал Васька споро, лопата в руках только помелькивала.

— Ступай, хозяин тебя зовет!

Васька лениво повернулся на голос Феклуши — тебе-то еще чего?

— Хозяин, говорю, зовет! Кудри подрезать станет!

— Ну ты! Зачирикала... Воткну в сугроб головой — будешь знать.

Он присел и растопырил руки, словно собирался поймать Феклушу. Куда там! Моргнуть не успел, а Феклуша мимо него — стрелой! Вылетела за ворота, не удержалась и язык показала:

— Э-э-э, кошкодав полорукий!

Вахрамеев, узнав про кошку в квасе, совсем слег. Охал и стонал, словно был при смерти. Степановна заварила травок и принялась его отпаивать, а Дюжев отправился в лавку и встал за прилавок. Продавал товар, подолгу беседовал с мужиками, а на душе лежала, как кусок льда, холодящая тревога. Так в сильную грозу бывает: полохнет молния, сожмешься и ждешь грома. Знаешь, что он грянет, а все равно пугаешься, когда упадет с неба грохочущий гул. Ночной сон для Дюжева был, как молния, теперь он ждал грома.

И не ошибся.

Гром грянул ночью. Прибежал Васька, разбудил Дюжева, засветил лампу, и тот увидел в желтом, неверно шатающемся свете бородатого мужика, словно обрызганного раздавленной клюквой. На голове темнела грязная тряпица, оторванная вгорячах от подола нижней рубахи. Дюжев пригляделся и узнал Ивана Зулина, ямщика из Огневой Заимки.

— Ты чего тут? Ты ж с обозом...

— Расхлестали обоз, Тихон Трофимыч, — варнаки расхлестали, подчистую. Попить бы мне да умыться. Кровь... — он потрогал осторожно лицо, сжамкал в ладони русую бороду. — Своя, и чужой набрызгало... Смыть бы...

Дюжев кивнул Ваське, тот притащил в деревянном ведре воды. Иван осторожно разматал тряпицу на голове, крикнул, отдирая ее от подсохшей на лбу раны, бормотнул:

— Кистенем достал, такой варнак ловкий, прямо бесом крутится, не ухватишь...

Опустился на колени перед ведром, попил через край, хлюпая губами, как лошадь, и стал умываться. Вода в ведре побурела. Второпях Васька вывернул тесьму в лампе чуть не на три пальца, и узкое горлышко стекла коптило, как печная труба. Плепочки сажи поднимались к потолку. Запахло керосином.

— Уверни лампу, а то дом спалишь, — Дюжев оделся, присел на табуретку и поморщился — сердце трепыхалось птенчиком у самого горла. А во рту горько было, словно полыни наелся. — Дай-ка вина и Гундосого кликни. Садись, Иван, рассказывай.

Пламя в лампе утихомирилось, свет выровнялся, и тени, метавшиеся на стенах, замерли. Васька выскочил из спален-

ки, вернулся, поставил на стол зеленый графинчик и ловко замотал Ивану голову чистой тряпицей. Тот ощупал повязку, облегченно вздохнул и тихо выговорил:

— Слава Богу, живой, однако... — выпил вина, передернулся широченными плечами, зажмурился и тут же открыл глаза. — Надо ж, как наяву... Верст десять до Шадры оставалось, перед нами томский обоз шел, не знаю чей, тоже на ярманку. Стали мы в ложок спускаться, тут они и насыпались. На конях, вершни, с десятков, однако, было. И с ружьями. После уж разглядел, что с ружьями, а поначалу бастрык сгреб с воза, давай отмахиваться. Своим кричу — в лес бегите! Они побежали. Варнаки их не догоняют, на меня навалились, стрелять, правда, не стреляли, но помяли крепко. Один особенно — махонький, а верткий. Бе-е-с... Чую, смертушкой пахнет. Держись, думаю, Ванюха. Половина-то бастрыка в руках еще, я отмахивался. А тут конный. Сшиб я его, а сам в седло. Добрый конишко у варнака — унес. Стрельнули вдогонку, да мимо. Ушел я. А само главное, Тихон Трофимыч, они твой обоз ждали, другой им не нужен был. Когда налетели, слышал, что крикнули — дюжевский, верно. И опять же — тот, который впереди шел, не тронули, а на наш насыпались...

Заспанно щурясь, вошел снулый Вахрамеев. Прислонился спиной к косяку, потрогал на носу бородавку и почесал одну о другую босые ноги.

— Сколько у нас товару в обозе было? — спросил Дюжев.

— Чаю восемь пудов, китайки да сахару... — Вахрамеев говорил, перечисляя по памяти товары и цены на них, но Дюжев его почти не слушал. И так было ясно — убыток немалый.

— Может, слетать туда? — высунулся Васька. — Глянуть, авось не все забрали.

— Держи карман шире! — усмехнулся Дюжев. Но, подумав, согласился: — Надо съездить. Иди закладывай тройку.

Под утро, когда непроглядная темнота стала синеть, Дюжев, Иван Зулин и Васька выехали из Огневой Заимки. Добрались до ложка, где был разбит обоз, но нашли там только переломленный посередине бастрык, чью-то плетку и оброненный с головы треух. Подчистую обоз взяли.

Кто?

Всю обратную дорогу до деревни Дюжев не проронил ни слова.

И той же самой ночью, далеко от Огневой Заимки...

...Спит острог. Четыре деревянные казармы с окнами, забранными коваными решетками, приземисто чернеют на снегу в таежном распадке. Луна стоит высоко, и тени от казарм широкие, длинные. Над крышами ползут белые, клубящиеся дымы — печи свои каторжанцы топят на совесть.

В одной из казарм идет на майдане горячая игра в карты. Горят две сальные свечи, поставленные в железные плошки. От духоты, вони, белесого пара, слоисто плывущего под потолком, свечи то и дело гаснут, но их тут же зажигают, и картежники цепко оглядывают друг друга и зашмыганные, пухлые карты, похожие на олады, не смухлевал ли кто.

Удача сегодня валом одному валит. Тихий, молодой арестант почесывает наполовину обритую голову, пожимает плечами и смиренно улыбается, сам удивляясь: откуда, с какого рожна такой лихой фарт прет? И тут же, выкинув последнего козырного короля, тянет под завистливые взгляды рядом сидящих все, что было на кону.

— Эх, скоко вина взять можно, — шепчет кто-то со вздохом за спиной парня. Сам же парень никакой радости не выказывает, молчит, улыбается, словно хочет сказать: «Извиняйте уж, братцы, везет мне, сам не знаю как...»

В зените горячей игры засипел от двери придуренный голос:

— Стрема!

Пух! Свечи погасли. Картежники прошуршали, как тараканы, приткнулись на своих местах, замерли.

Оказывается, смотритель со стражниками отправился делать ночной обход. Зоркий глаз стоящего на шухере углядел желтые пятна фонарей, подплывающих к казарме, и подал знак.

Улыбчивый парень скользнул на нары, устроился удобней, чтобы кандалы не мешали, и тихонько тронул соседа, такого же наполовину обритого, но намного старше, уже седого.

— Слышь, Зубый, теперь хватит. И на змейку хватит, и на одежду. Ты научи меня, я отплачу.

— Мне платы не надо ни копейки, — Седой заворочался под вонючим тряпьем и звякнул кандалами. — Денег я тебе сам малехо суну. Змейку завтра достанем. Пили осторожно, не дергай. Хрустнет инструмент — в браслетах останешь-

ся. В их далеко не убежишь. Выберешься — сразу к деревне правь, Омелькино называется. С реки подходи, там изба на отшибе. Дождись ночи и стучи в ставень вот так, легонько. Скажешь — Зубый меня прислал, привет от его принес. А больше ничего не говори. Пересиди, дождись, когда стража утихнет, тогда и трогайся.

Седой замолчал, зябко поежился под тряпьем, и кандалы снова звякнули. На другом конце нар кто-то заорал спросонья и поперхнулся — видно, портянку в рот сунули. Своих страхов во сне не оберешься, а тут чужие слушать... Не желаем.

— Теперь главное мотай на ус, — снова заговорил седой. — Дюжева надо в Томске искать. Если там нету, значит, на заимке. Огнева Заимка называется. Если и там нету, значит, в отъезде. Тогда жди. Крутись-вертись, как знаешь, а жди. И обереги его, как сумеешь. А уговор наш помни.

Заскрипели двери, из морозного дыма, как из пены, вышел смотритель, за ним стражники с фонарями. Все, кто лежал на нарах, притворились спящими. Такой храп стоял, что уши закладывало. Порядок, полный порядок, какому и надлежит царить в казенном доме. Смотритель покивал, зная по опыту старого служаки, что порядок и смиренность каторжанцев — это одна видимость. Ну да не им заведено. Внешне тихо — и ладно.

Едва лишь закрылись двери за смотрителем и стражниками — картежники тут же зажгли свечи и на майдане по новой, еще горячее, закипела прерванная игра. Улыбчивый парень сидел на прежнем месте, и картежный фарт по-прежнему валил ему прямо в руки.

Вечером, в потемках уже, Роман стал спотыкаться на ровном месте и выронил из рук топор. Хорошо, что не на ногу, топор так отточен — хоть волос им секи. «Шабашить пора». Все. До края уморился. Присел на корточки возле сруба, утихомирил руки, дрожащие от натуги, посчитал пластины — восемь штук. Пожалуй, хватит. Закроет завтра потолок, прорубит двери, окна, полы настелет — хоть и много оставалось работы, но она уж не страшной была. А тут еще и с Феклушей ладно устроилось, купец ее к себе в работницы взял — как не порадоваться? Не зря они здесь остановились, не зря.

— А я тебе что говорила, касатик? По-моему вышло, иль как? Роман поднял глаза, а перед ним старушка. Та самая, что на постоялом дворе объявилась. Согнулась в три погибели, опираясь на палку, горбом в небо целится. Глаза на скукоженном личике острые, цепкие. И откуда она тут взялась?

— Зачем тебе знать, касатик, откуда я? Пришла и пришла. Значит, нужда есть. Пойдем-ка со мной.

Повернулась и мелким, быстрым шагом пошла вперед, сгорбившись еще сильнее, не оглядываясь назад. Нетронутый снег под ней не проваливался, старушка скользила по нему, невесомая, словно пушинка. Роман поспешил за ней и даже не раздумывал, куда она его ведет. Просто шел и шел. Сбил на затылок шапку, смахнул пот со лба и вскинул глаза. Батюшки! Он со старушкой уже на бугре стоит, где они с Феклушей в памятную ночь отогрелись. Впереди — речка, накрытая снегом, по правую руку — деревня, а позади — просторная покотина и тайга. Над самой головой луна выстыла.

— Смотри, касатик, хорошенько. Точно такую же поставишь. Люди пособят, а ты поставишь.

«О чем она, кого ставить?» — хотел спросить у старушки, но не успел. Язык отнялся. От удивления Роман попятился и замер.

А перед ним, прямо на глазах, из-под земли, из холодного снега, поднялась и встала на бугре церковь, сотканная из белого трепещущего света. Поставлена она была «кораблем»: прямо над притвором взметывалась вверх колокольня, увенчанная горящим крестом; рублена колокольня была в восьмерик, и все восемь граней тихо светились, дальше — двускатная крыша, и из нее, как цветок папоротника, никогда и никем не виданный, — луковичная главка на тонкой и трепетной шейке; и главка, и шейка забраны были лемехом, серебрились; казалось, что они искрят в воздухе. Стояла церковь на высоком подклете, и он, словно корабельное днище, легко держал на себе всю высоту и мощь поднебесного храма.

Тихо-тихо звонили колокола.

Трепещущий свет не был преградой человеческому взгляду, и виделось, как горит золото иконостаса, теплятся на круглых аналоях свечи. Медленно, как для выхода иерея, открывались резные Царские Врата, увенчанные иконой искусного письма,

а на иконе — Тайная Вечеря. Справа — печальный лик Спаса, а слева — Богородица, всемогущая и всемилостивейшая.

Колокола смолкли. Проплыли по-над землей последние звонки, истратили отпущенную им силу, смолкли. Белый свет истончился, поредел, разорвался на многие части, исчез бесследно.

Тот же ровный, нетронутый снег лежал перед глазами, холодно отсвечивал под луной.

«Что это? Что за церковь?» — Роман обернулся, но старушки уже не было. Даже следов на снегу от нее не осталось.

## 12

В маленькой светелке духовито пахло растопленным воском, ладаном, сухими травами. Печка еще не остыла с вечера и дышала теплом. За окном, злая к утру, хрюпала стужа, стояла промерзлая, от земли до неба, густая темень. В светелке слабенький огонек лампадки, и видно: на широкой божнице в правом переднем углу — темные от старости иконы. В середине самая большая — Николая Чудотворца. Пламя покачивалось, и на суровом лице мужицкого заступника шевелились золотистые отблески. Устинья Климовна Зулина, стоя на коленях, жарко молилась за своих сыновей: Ивана, Федора, Павла и Митеньку, младшенького, самого любимого. Отбивала низкие поклоны, доставая до половины, выскобленной березовым голиком, а сама летела мыслями по темному тракту мимо не проснувшихся еще деревень, спускалась в гиблые лога, поднималась на взгорки, открытые ветру. Летела, отыскивая своих сыновей, — где они теперь с новым дюжевским обозом, который надо пригнать в Шадру к началу Никольской ярмарки? Сыты ли, здоровы? Не караулят ли их варнаки? Ответа ей не было, и молилась она еще истовей:

— Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас...

Боязно было отправлять в этот раз сыновей в дорогу — а ну как снова на дюжевское добро навалятся? Но отправилась. Тихон Трофимыч сам приходил ее упрашивать, не чинясь гордостью. Снял шапку, поклонился хозяйке в пояс при всех домашних, сказал: «Выручай, Устинья Климовна, вся торговля моя горит на ярмарке, одна надежда на Зулиных». Зулины,

все четверо, сидели рядом на лавке, смотрели на маменьку. Были они согласны, но про это и слова никто не молвил. Первое и самое главное слово — у маменьки. Порядок такой завелся сыздавна и еще ни разу не нарушался.

Долго раздумывала Устинья Климовна. Отказать? А как тогда с молвой быть, что Зулины — самые лучшие ящики в Огневой Заимке? Еще и другое помнилось, никогда не забываясь, — кто ей помог, когда она овдовела и осталась с четырьмя ребятишками, хоть и маленькими к тому времени? Да он же и помог, Тихон Трофимыч, выручил деньгами. А с обратной стороны — сердце материнское рассуждения не знает, болит. Но сердце свое Устинья Климовна скрепила. Благословив, отправила сыновей.

Теперь металась, не находя себе места, просыпалась на исходе ночи и сразу вставала на молитву.

— И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Отбила последний поклон и легко поднялась, по-молодому выпрямив спину. Поправила низко повязанный черный платок и вышла из светелки — новый день нарождался, и надо было братья за вожжи большого хозяйства. Держали Зулины двенадцать ездовых лошадей, десять дойных коров, имели свою пашню, гоняли ямщину, а еще уступали в нижней избе две комнаты для проезжих. И за всем догляд нужен.

Первым делом Устинья Климовна разбудила своих трех снох. (Младшенький Митенька еще в парнях ходил.) Каждой дала наказ — какую работу делать. И хотя снохи сами знали, где им руки прикладывать, все равно почтительно слушали, согласно кивали — порядок такой. А дом, как известно, на порядке держится и на строгости.

Загудел огонь в двух больших печах, запахло квашней, которая поднялась вовремя, захлопали двери, забрякал подойник, и на дворе, почуяв хозяйку, нетерпеливо замычали коровы.

Дом ожил.

С квашней управлялась Глафира, старшая сноха, жена Ивана. Бабенка была с норовом, но воли ей Устинья Климовна пока не давала — молодая еще. Так и говорила: молодая пока, девка. «Девке» под сорок подкатывало, своих ребятишек пятеро, а все равно — молодая. У печки, у жаркого

пламени, Глафира раскраснелась, а пока хлеба выкатала, то и вспотела. Круглое лицо мелким бисером обметало. Дух перевести некогда. А Устинья Климовна тут как тут подошла с наказом:

— Хлеб-то в печку посадишь, муки после просей. Если ребята подъедут, блинов сразу напекем. Главню, чтоб мука готова стояла.

Господи, с хлебами управиться не успела, а свековью муку на блины сеять заставляет. Что теперь, наполовину разорваться? Осерчала Глафира, неудовольствие нечаянно сорвалось с языка:

— Вы, маменька, вечно торопитесь, как настегана. Вот приедут, тогда и наедем. А невтерпеж — сами сито берите.

Устинья Климовна, услышав такие слова, выструнилась, поджала и без того узкие, бесцветные губы. В темном платке, в домотканой поневе, тоже темного цвета, стала она сразу суровой и неприступной. Мать-игуменья, да и только. Глянула из-под платка на сноху — от такой поглядки лучину зажигать можно! — кротко согласилась:

— Ну дак ладно. Иван Авдеич приедет, так и передам ему, как ты сказывала.

Повернулась и прямехоньким ходом к себе в светелку.

Руками, в тесте измазанными, Глафира схватилась за голову. «Ой, горюшко мне, чего ж я брякнула!» Подхватилась и бегом, следом за свековью, в светелку. Бухнулась там на колени и заголосила:

— Маменька родименька, прости меня, дуру небитую, от глупости сказала! Никогда больше перечить не буду, только не передавай слова мои Ивану Авдеичу, он ить меня зашибет зараз! Ой, пожалей меня, маменька!

По-настоящему, взаправду голосила Глафира, потому как доподлинно знала: за поперешное слово, сказанное маменьке, наказанье в зулинском доме неминуемо.

Устинья Климовна сидела на жесткой своей лежанке, сложив на коленях руки, смотрела, не размыкая узких, поджатых губ, поверх снохи, в стену.

Глафира голосила, не утихая.

— Будет базлать-то, — соизволила, наконец, разомкнуть губы Устинья Климовна. — Всю деревню подымешь. Ступай, хлеб скоро в печку садить. И сито достань мне.

— Да како сито, како сито, маменька, сама я мучку просею! — пуще прежнего заголосила Глафира, угадывая, что гроза миновала.

— Сказала тебе — достань. Заодно в кладовке лари проверю, за вами недогляди — по миру пустите. Иди, иди...

Оставшись одна, Устинья Климовна долго сидела, не шелохнувшись, будто уснула. Прикрыв глаза, думала она про сыновей, про снох, про внуков — двенадцать их у нее. Думала и просила Бога, чтобы наставил их всех на путь истинный, не дал бы им сотворить что-нибудь непотребное. Еще желала она, чтобы после смерти ее зулинский дом не распался, чтобы сыновья и снохи никогда между собой не ругались, чтобы все труды, на которые она жизнь положила, не ушли прахом, а, наоборот, приумножились.

Какие еще могут быть думы у матери?

Но додумать их до конца не дали.

Дверь в светелку открылась, и Глафира, виновато помаргивая, позвала:

— Маменька, а маменька! Новость у нас — Митенька приехал!

— Слава Господи!

Поднялась с лежанки и заторопилась в нижнюю избу. По пути досадовала: «А муку так и не просеяла, вертихвостка!»

### 13

Пухлые щеки Митеньки, настеганные морозным ветром, еще горели крутым румянцем. На жиденькой парнишечьей бородачке, курчаво опушившей подбородок, блестели капли от растаявшего снега. Нос курнос, уши, похожие на пельмени, торчали на оттопырку. Прямо надо сказать — не шибко картинный красавец. Но столько у него было в лице приветливости и добродушия, что не хочешь, а засмотришься. Устинья Климовна глаз не отводила. Даже про блины забыла. А Митенька уплетал, не глядя, все, что перед ним на стол ставили, смахивал пот с курнопелистого носа и между делом успевал рассказывать:

— Добро, маменька, доехали. Тракт укатали, хоть на боку катись. Кони, правда, приморились, да не беда... Седни в Шадре будут, а меня Иван Авдеич вперед послал, чтобы Дюжеву доложить. Я на кошевке, быстро. В Шадре седок подвернулся, к Дюжеву тоже, по торговой надобности. Я его в нижнюю избу отвел, покормить бы с дороги...

— Покормим, покормим... — подала голос Зинаида, младшая сноха, жена Павла. — Я уж самовар ему отнесла.

— Все ли здоровы? Сами когда явятся? — спрашивала Устинья Климовна, но больше уже для порядка, как заведено, потому что душа ее успокоилась: стороной напасть пронесло, вот и ладно.

— К вечеру явятся. Живы-здоровы, маменька, чего и тебе желают. Кланяться велели.

Митенька наелся, чаю попил и осоловел — подремать бы. Ан нет. После, после — жизнь впереди долгая, будет время вылежаться. Выскочил из-за стола, шапку на голову, шубу в руки, побежал, но вспомнил про гостинцы племянникам и племянницам. Надо же — из ума выскочило. Вытянул мешок из-под лавки, развязал завязки, вывалил на стол фигурные пряники. Чего только не настряпали из сладкого теста горазды на выдумку томские пекари: тут тебе и медведь, и лошади, и лиса с большущим хвостом... — всякой твари по паре. Проснуты ребятишки — вот радости будет.

А они легки на помине. Самый главный раностав, Гаврюшка, слез с полатей, помигал заспанными глазами, поддернул порточки и забыл, по какому важному делу он на улицу собирался. Затопал от восторга босыми ногами по полу, заверещал:

— Митенька пиехал! Митенька пиехал!

Посыпались, как горох, с полатей. Кричат, визжат. Митеньку обступили, пряники расхватили, требуют, чтобы сказку рассказывал. Митенька хохочет, щекочет их, а они еще больше наддают гаму. Глафира, Зинаида и Пелагея, средняя сноха, жена Федора, улыбаются, глядят со стороны и не строжатся. Как тут построжишься, если вся ребятня без памяти любит своего дяденьку. Устинья Климовна и та суровость ослабила. Так, по привычке, шумнула:

— Гринька, ты хоть реви потише!

А в ответ ей:

— Я не Гринька, бабонька, я Мишанька!

— А ты... эй, Петька, что ли? Забыла! Эх вас леший всех перепутал! Да парнишка, как тебя зовут-то? Ты утихомирься!

Запуталась вконец, махнула рукой и негромко залилась дробненьким хохотком.

14

Седок, которого Митенька доставил из Шадры, оглядываясь по сторонам, щурился от солнца и смущенно улыбался, словно втихомолку дивился: «Надо же, красота какая, живи и любуйся...» Иногда останавливался, придерживал шапку рукой и запрокидывал голову, вглядываясь в небо. Постояв так недвижно, он встряхивался, улыбался Митеньке и шел дальше. Митенька, простая душа, странностям приезжего не удивлялся. Он всегда принимал людей такими, какими они были.

На подходе к дюжевскому дому приезжий споткнулся о коровью глызу и упал бы, но Митенька успел его поддержать.

— Благодарствую, — поднял шапку, слетевшую наземь, нахлобучил ее на голову и посмотрел Митеньке прямо в глаза. — Примета нехорошая, не надо бы мне спотыкаться. А ты, парень, людей жалеть умеешь?

— Не знаю, — Митенька пожал плечами. — Не думал про это.

— Умеешь. По глазам видно, у тебя глаза добрые. Ты, парень, пожалей меня, если я споткнусь не на дороге, а так...

— Как?

— А по-всякому бывает. Ладно, пойдем под светлы очи купца Дюжева.

Тихон Трофимыч был дома. Сидел за конторскими книгами, наводил ревизию. Щелкал костяшками счет и сурово хмурился. Он всегда хмурился, когда занимался делом. Здесь же, на столе, пыхтел самовар, на блюде горой лежали шаньги, а рядом, в глубокой чашке, отходила от мороза моченая брусника. Глянул на гостей и даже с лица сменился. Первая мысль про обоз была — неужели опять разбили?

— Здравствуйте вам, Тихон Трофимыч, — Митенька уважительно поклонился Дюжеву. — Поклон привез от Ивана Авдеича, и сказать велено — обоз ваш в сохранности, к обеду в Шадре будет. Если поторопятся, то и раньше.

Дюжев стряхнул костяшки на счетах, сами счета на попа поставил — он всегда их так ставил, когда выдавалось удачное дело. Руки потер, словно с морозу, гостей за стол пригласил угощаться. Митенька отказался.

— Как знаешь. А за хорошую весть спасибо. Ступай в лавку и скажи Вахрамееву, пусть он сапоги тебе выдаст. От меня. Девочек скрипом завлекать станешь. А это кто, товарищ твой?

— Да нет, седока попутно привез. К вам он.

— По какой надобности?

— Мне, Тихон Трофимыч, с глазу на глаз поговорить надо.

Догадливый Митенька тут же попрощался и вышел. Из дюжевского дома напрямик направился в лавку. На крыльце обмахнул снег с пимов березовым голиком, ободрился и вошел. После солнечного света и снежных блесток в лавке показалось темно, глаза будто позастило. Митенька встал у порога, чтобы оглядеться, и замер: то ли ему вправду видится, то ли блазнится? Стоит чудо какое-то, в красный шелк завернутое, и шевелится. Мало того — голос подает. Тихий, протяжный:

Что ты, белая береза,  
Ветра нет, а ты шумишь?  
Что, ретивое сердечко,  
Горя нет, а ты болишь?

Митеньку разобрало любопытство, он притих, как мышка. А чудо плывет вдоль полок с товаром и голос не обрывает. Тут Митенька разглядел, что перед ним девка ходит, в шелк завернутая. Только откуда она взялась? Сроду никаких девок у Дюжева в лавке не было. От удивления у него даже в носу засвербило, и он, сам того не ожидая, звонко чихнул. Чудо ойкнуло, с писком отскочило в угол. А Митенька еще раз, да еще — такой чих парня разобрал, будто ядерного табака нанюхался. Палит, как из ружья. И остановиться не может. Крутнулся и выскочил на улицу. Прочихался там, высморкался, снегом лицо утер и опять в лавку.

Теперь уж никакого чуда там не увидел. Стояла за прилавком девка в застиранной кофточке и скручивала обрезок шелковой материи. Митенька девку узнал. Когда мужики определяли судьбу расейским у сруба, он тоже там был. Но



девка тогда показалась ему злючей, вертучей, а он таких побаивался. Сейчас понял — ошибся. Совсем она не злючая, робеет, как и он.

Феклуша скрутила материю, засунула огненный кусок на полку, не удержалась и погладила его рукой. Митенька это заметил, увидел еще, что кофточка на локте протерлась и стоит на том месте латка. Сразу и обо всем догадался. Он всегда легко догадывался, что творится на душе у других людей. Само собой получалось. Вот и сейчас: о новой кофте мечтала девка. Накрутила на плечи огнистую материю и воображала себя в красивящем наряде. А он ее спугнул. Даже таким манером не дал порадоваться. И такая виноватость одолела Митеньку, что снова засвербило в носу, он едва сдержался, чтобы не чихнуть.

— А ты нос вот так зажми, — показала ему Феклуша, придавив тонкие ноздри двумя пальцами, — и натужься. Оно и пройдет.

Митенька послушно исполнил, свербить в носу перестало.

— Вот спасибо. А где Вахрамеев?

Феклуша потупилась, украдкой взглядывая — смешной какой, и тихо ответила:

— А приказчик придут скоро. Они меня доглядеть оставили. А вот и они.

Пришел Вахрамеев, как всегда — недовольный и скучный. Встал за конторкой и поднял на Митеньку серенькие, припухлые глазки: ну, чего тебе?

Минуту назад у Митеньки и в помыслах не было, а тут прорезалось мгновенное желание: взять кусок красного шелку и подарить девке — пусть порадуется. Стал выпрашивать у Вахрамеева — можно ли сапоги на шелк поменять? О том, что сапоги ему Дюжев вырешил, помалкивал, боялся, что приказчик в таком обмене сразу откажет. Вахрамеев же тарачил на него глаза и ничего не понимал. Какой обмен? Хочешь купить — бери. Плати деньги и забирай. В конце концов разозлился и стал выпроваживать Митеньку из лавки — он что, сосунок, насмешки пришел над ним строить?! Митенька засмутился, все нужные слова позабыл и молчком ушел.

На улице, охолонув на морозе, решил он пойти к Дюжеву и просить, чтобы тот на подарок ему шелку вырешил, а не

сапоги. Направился к дому купца, но посредине остановился и передумал. Придется ведь объяснять — зачем перемена понадобилась? А как объяснить чужому человеку, если Митенька самому себе объяснить не мог.

15

За свою жизнь Дюжев много повидал народа. Всякого. На мякине его, стреляного воробья, не проведешь. Сразу приметил, что волосы у парня на голове разнятся, хоть и старался тот на правой стороне их ножницами подрезать, выровнять. «По бритому быстро растет, а все равно не сравнялось, недавно, видать, откочевал с острогу». Но вида не подал. Позвал парня за стол, чаю налил, блюдо с шангами поближе подвинул. Угощал и вспоминал — заряжено ли ружье? И Васьки, как на грех, нету. Ладно — заряжено, не заряжено — в любом случае пригодится, хоть для испуга. Сказал, что вина сейчас принесет, взялся за дверную скобу, чтобы выйти из горницы, но улыбчивый парень отложил надкусанную шангу и неразборчиво, рот-то занят был, выговорил:

— Ты, Тихон Трофимыч, не бегай, ружье не понадобится. И работников не зови, разговор у меня только к тебе имеется.

Дюжев вернулся и сел за стол напротив парня.

— А приметлив ты, Тихон Трофимыч, — продолжал гость. — Глянул на голову и сразу догадался.

Он пригладил волосы ладонью, допил чай и чашку на блюде осторожно перевернул кверху дном.

— Благодарствую за угощение.

— Ты хоть скажи — как зовут, откуда?

— Откуда я — ты сам догадался. А зовут зовуткой, кличут анчуткой. Не все ли равно? Я и совру — недорого возьму. Хочешь Петром зови али горшком, только в печь не засовывай. А приехал я, Тихон Трофимыч, с письмом. Письмо привез.

Дюжев протянул руку — давай. Петр улыбнулся, покачал головой.

— Письмо у меня к тебе особое, не на бумаге писано. Тут оно, — дотронулся ладонью до головы, взъерошил жесткие, прямые волосы. — Слушай. Так письмо начинается. «Добрый день или вечер, купец Тихон Трофимыч Дюжев. Не удивляйся на мое послание и шибко не проклинай, когда узнаешь, кто

его тебе посылает. Жизнь наша, считай, прожитая, жить нам осталось хрен да маленько, так что давай друг к дружке наберемся терпения. Зовут меня Илья Серафимыч Тархов, лучше сказать, звали так раньше. Служил я в России, в Костроме, почтовым чиновником, не удержался от соблазна и позарился на казенные деньги. Как дело было, рассказывать не стану — долго. Скажу, чем кончилось, — попал я на каторгу. А с каторги вышел мне указ на поселенье. Судьба на поселенье известная: холодно, голодно, а от работы по своей воле успел я крепко отвыкнуть. Приходят ко мне бродяги и говорят: пора, Зубый, на промысел выходить, иначе замрем. Сколотилось нас полтора десятка, меня атаманом кликнули, угнали лошадей у мужичков, сели и поехали в чисто поле. Хорошо порезвились. Но дошел слух, что местные мужички по начальству грамоту сочинили, чтобы нас, бродяг, власти под корень вывели. Ясное дело — мы за теми мужичками следом. Пока ехали, к нам еще один слушок привязался: у хозяина постоянного двора, Федора Калитвина, золотишко водится, бережет его для своей единственной дочери. Но мужик он крутой, бывалый, и на испуг не возьмешь. Что делать? Вспомнил я старые времена, пододелся чиновником и явился на постоялый двор. А следом за мной — тут уж судьба, ее и конем не переедешь — прибыли томский купец Кривошеин и приказчик с ним, по имени Тихон».

Дюжев тяжело навалился на столешницу, подался вперед, словно хотел ухватить гостя за грудки, но тут же и сник, стал шарить вокруг себя, словно искал опоры. Попалась чайная чашка, он накрыл ее волосатой клешней, сжал, и она только хрустнула. Гость от резкого звука вздрогнул, но тут же наморщил лоб, вспоминая, и покатил дальше, как по писаному. Раскровянив осколком ладонь, Дюжев это не заметил, он внимательно слушал, не пропуская единого слова, а из крепко сжатого кулака быстро капали на столешницу темно-красные капли, словно перезревшая клюква сыпалась.

— «Все одно к одному складывалось. Кривошеин, оказывается, с пушшиной приехал — еще приварок. К тому времени я и тайник у Федора разнюхал. Тут падера началась — свету белого не видать. Самое времечко для нашего дела. Встал я ночью, крадусь, чтобы ворота и двери открыть, и вдруг

— шепот. Притих, слушаю. Приказчик с Федоровой дочкой шепчутся. И так они сладко шепчутся, такие слова любезные говорят, что у меня аж душа ворохнулась. У самого-то любви никогда не было, я с блядьми возился, а они товар известный. Замер, уши растопырил, и глаза на мокром месте от умиления. Ни убавить, как говорится, ни прибавить. Но слезы одно, а дело наше, разбойничье, совсем иное: у нас свой закон, не жалостливый. Тому закону я и подчинялся. Ворота и двери раскрыл нараспашку, бродяги мои влетели, стрельбу подняли. Сам я к тайнику сразу сунулся, а боковушка, где голубки ворковали, за спиной у меня осталась. Надеялся, что не вынуты они и целы останутся. Не хотелось их крови принимать на руки. Откуда было знать, что девчонка каким-то моментом из боковушки выскочила. И налетела на пулю, дурочка. Золотишко, пушнину мы взяли, жалобу у мужичков вытащили — все, как надо, сделали. Ушли на дальнюю заимку, станок там держали. Через верных людей вином разжились, гуляли напропалую, досыта. И догулялись. Ночью нас обложили, давай щелкать, как зайцев в половодье на острове. Мне одному подфартило живым уйти, хотя по всем раскладкам чистая смерть выпадала. Однако ушел. Мало того, золотишко успел прихватить. С той добычи я ни копейки не брал, рука не поднималась. Она и нынче, добыча вся, целехонькая лежит. А где лежит, про то мой товарищ знает. Там и колечко девчоночье — на свадьбу, видать, припасал Федор. Вот и подобрался я к концу своего письма, Тихон Трофимыч. Жизнь моя на излете, и, по всему видно, откочует скоро грешная душа прямиком в огненную геенну, станет там мучиться до скончания века. Много за мной грехов накопилось, один страшнее другого. Но самый страшный тот, который на дворе у Федора содеял. Я ваши шепотки до сих пор слышу. А как услышу, душа саднить начинает, мучиться, хоть голову в петлю. Покаяться хочу. Знаю, что прощенья мне нету, но яви ты, Тихон Трофимыч, последнюю христианскую милость. Возьми золото Федора, поставь на него церковь. Помнишь, девчонка говорила, что церковь для вас еще не построена. Так пусть стоит. Знаю, что ты ответить мне можешь. И заранее на любые твои слова согласный. Об одном молю, на коленях перед тобой стою, до самой земли кланяюсь, — сделай, как я прошу. Облегчи хоть

на малую долю мою расплату. Остаюсь за сим виноватый кругом ранешний чиновник почтовый, Илья Серафимович Тархов, а ныне бродяга и разбойник Зубый. Прости меня, ради Бога, исполни, о чем прошу».

Голос у Петра от долгого говорения чуть охрип. Закончив, он сглотнул слюну и откашлялся. Улыбнулся, словно хотел сказать: «Извиняйте, если что не так. Мое дело маленькое — передать. Я и передал». Улыбка так и замерла на лице у Петра; сам он, опустив плечи, сжался, сторожа взглядом каждое движение Дюжева. А тот выпрямился в полный рост, вздернул над головой кулак, крикнуть что-то хотел, но обмяк, тяжело шагнул в передний угол, под иконы, и опустился на колени. Крестился и не замечал, что правая рука, которой он крестится, измазана свежей кровью.

— Господи, удержи, не дай мне злобу до конца выпить, — шептал Дюжев задыхливым, прерывистым голосом. — Господи, останови, заступи мне дорогу, я еще тем разом сытый...

16

...Тихон лежал рядом с убитой Марьяшей, трогал ее холодную, наполовину расплетенную косу и слушал, как за стенами гудит ветер. На улице потеплело, снег отяжелел; не завивался в белые столбы, а неподвижно покоился на земле. Ветер же буянил по-прежнему: гонял туда-сюда половину расплутых ворот, стучал ее о пластины забора. Стук проникал в дом, и Тихону всякий раз казалось, что кто-то идет. Он поднимал голову, глядел в раскрытые двери, но никто не появлялся. Тогда он снова перебирал пальцами холодную косу и терпеливо ждал, когда Марьяша проснется. Ему верилось, что она спит. Он даже шубой ее укрыв, чтобы не так холодно было на голом полу. Время остановилось. Тихон не знал — сколько он уже здесь: день, два, месяц или год? Разум отказывался воспринимать случившееся, и поэтому жила крепкая надежда: надо еще подождать немного — и наваждение схлынет. Жизнь вернется на прежнее течение, он снова услышит Марьяшу, ее голос, увидит живое лицо, выхваченное из темноты пламенем свечки, а когда пламя погаснет, потянется всем существом навстречу блаженному и счастливому мигу, какой обещала, но не успела ему подарить судьба.

Между тем ветер угомонился, в доме стало покойно и тихо. Разом оборвалась тяжелая маета, на смену ей явилось неизъяснимое облегчение. Оно подсказало Тихону, что Марьяша сейчас далеко-далеко, что вознеслась она на высоту, невидимую простому глазу, и там, куда вознеслась, ей было хорошо. Словно сам Марьяшин голос нашептал ему — хорошо.

Тихон поднялся. Широкие половицы дрогнули под ним, но он устоял. Цепляясь за стены, выбрался на крыльцо. Спустился на землю и через распахнутые ворота пошел прямо в тайгу. Ему хотелось затеряться в снегах, потерять самого себя, брентную свою оболочку и уйти вслед за Марьяшей. Он добрался до опушки и замер. На высоком снегу под деревьями зеленела трава. Так ярко, словно ее сполоснул первый, с несердитым громом, веселый дождик. Проваливаясь в снегу, Тихон подошел ближе. Это была не трава. Ветер наломал еловых веток, а они густо выстлали землю. Тихон упал на мягкую и холодную подстилку, закрыл глаза. От горячего, запаленного дыхания задубелие хвоинки отогрелись, запахло смолой, как в летний день.

Тихон успокоился и забылся. В забытьи уже подумал о том, что до Марьяши теперь, до того, как им сойтись воедино, осталось немного. Чуть-чуть осталось.

Но не суждено было Тихону достичь желаемого. Очнувшись он от тепла, повел вокруг воспаленными глазами и увидел, что лежит на голбчике возле печки в Федоровом доме, а за столом сидят незнакомые люди и негромко переговариваются. Приподнял тяжелую голову, оперся для устойчивости на локоть и услышал хрипатый, простуженный голос:

— Глянь, парень-то обыгался! Ишь, гляделками лупает! Корзухин, чаю ему неси, отпаивай хорошенько, чтоб в память пришел.

Бородатый высокий стражник, перепоясанный ремнями, крепко обнял Тихона за плечо сильной рукой, посадил и осторожно стал поить чаем. Горячие клубки, влившись в тело, оживили Тихона, он окончательно возвратился из своего забытья. Сразу же посмотрел туда, где лежала Марьяша. Ее там уже не было. Валялась лишь шуба, вывернутая наизнанку.

— Отвезли убиенных, всех отвезли, — заметив его взгляд, сообщил Корзухин. — Ты-то как целый остался?

— Погоди, Корзухин, не гони, дай ему оклематься, — слышался от стола все тот же простуженный голос. — Напол? Тащи к столу, пусть пожует.

За столом сидели урядник и пять стражников. Урядник по фамилии Брагин — «Брагин, да не пьяница», так он представился — ничего не спрашивал, а ждал, когда Тихон наестся. Тот хлебал горячую, с огня, похлебку, и тело, надломленное переживаниями, наливалось силой. Брагин крутил одной рукой седые усы, а другой, крепкими, загнутыми внутрь ногтями, постукивал по столешнице. Стук получался неживой, деревянный.

Наевшись, Тихон осоловел, добрался с помощью того же Корзухина до голбчика и опять уснул. Под вечер его разбудили.

— Хватит, парень, дрыхнуть, подымайся, — Брагин в расстегнутом до пупа мундире стоял перед ним, широко расставив ноги, и снизу казалось, что он достаёт головой до матицы. — Рассказывай, как было.

Тихон стал рассказывать, стараясь ничего не забыть. Покорное желание уйти вслед за Марьяшей, которое им владело еще недавно, бесследно исчезло. Рождалось отчаяние, ведь ничего уже нельзя поправить — все свершилось, а из отчаяния, как пырей на заброшенном огороде, прорастала злоба. И она требовала выхода, действия.

Брагин слушал внимательно, накручивал на указательный палец кончик усов. Неожиданно перебил:

— А зубы не помнишь у чиновника? Какие?

— Зубы? — переспросил Тихон. — Зубы как зубы, только уж белые шибко, как грузди.

— Так и есть! — Брагин повернулся к стражникам. — Я как в воду глядел! Зубый тут хозяйничал, больше некому. Куда вот только отлеживаться подался?

— А кто он — Зубый? — Тихон поднялся и встал напротив Брагина, ожидая ответа. — Кто он такой?

— Варнак, каких свет не видывал!

— Я его убью, — шепотом сказал Тихон. — Найду и убью.

— Ты его найди сначала, — усмехнулся Брагин и перестал крутить усы.

— А пусть попробует, — подал голос Корзухин. — Ишь, как его разобрало. Парень лихой. Попробуем? Нас-то за версту учуют, а он нездешний. Ты, парень, не испужаешься?

Тихон мотнул головой. Даже слов не пожелал на ответ тратить. Пустота непоправимости, которая разверзлась перед ним, требовала отмищения, и он, горяча себя, как норовистый конь, в сей же момент желал скорого дела. Но Брагин остудил его горячность:

— Быстро только кошки нюхаются. Сначала обмозговать надо. Обмозговывали долго, до поздней ночи.

А на исходе следующего дня, едва не запалив рыжего жеребчика, — не гонкие, надо сказать, были кони на казенной службе у стражников, — Тихон подъезжал, стоя на коленях в легкой кошевке, к глухой деревушке, которая теснилась в самой непролазной чаще густой черни. На въезде бросил клок сена под сосну, стоящую на отшибе. С дороги посмотрел — заметно ли? Заметно было хорошо. Вот и ладно.

Нужный дом Тихон нашел быстро. Да и как не найти, если увиделась еще издали большущая жердь над обычной двускатной крышей, а на самой вершинке — петушок, вырезанный из жести. «Ох ты, страж какой! — подивился Тихон, останавливая жеребчика возле ворот и вылезая из кошевки. — Правду говорил Брагин — не промахнешься, в аккурат выедешь. Ну, Господи, благослови!»

Громко затарабанил кулаком в ворота.

— Хозяин, а хозяин!

На стук и крик истошным лаем отозвалась собака. Из ворот никто не выходил. Тихон затарабанил сильнее.

Двери в избе наконец скрипнули, собака смолкла, будто подавилась, на снегу послышались вкрадчивые шаги.

— Открывай быстрее! — торопил Тихон. — Все руки отсутшил, пока долбился!

Ворота чуть-чуть, на ладонь, приоткрылись, и маленькие, острые глазки из-под старого малахая ощупали Тихона. Нос хозяину закрывала серенькая тряпка, из-под тряпки синели узкие, поджатые губы. Реденькая, пучками, белесая бороденка вздрагивала.

— Се те надо? Ступай, куда сол... — хозяин потянул ворота на себя, но Тихон успел воткнуть в узкую щель носок пима. — Се ты лезес? Се лезес?! Куда лезес, парсывес!

— Ты не сюсюкай! Открывай ворота пошире! Я к Зубому приехал! Он так наказывал — через тебя его найти. Дурачка не корчи! Открывай!

— Какой Зубый! Не знаю, не слышал, не лезь ко мне, а то музыков крисятъ стану!

— Я те крикну. Так крикну, что головенка отвалится. Открывай!

Тихон навалился на ворота, сдвинул хозяина и ступил в ограду, ввел следом за собой жеребчика. След от кошевки на снегу заровнял пимами. Ворота — на крепкую березовую закладку, хозяина — за шкирку, поволок впереди себя в избу. Тот упирался, выкидывал ноги, обутые в старые опорки, но они лишь скользили по снегу. В избе Тихон скинул полушубок, шапку, смело прошел за стол, заваленный обглоданными мослами и куриными косточками. Смахнул объедки на пол и бросил на грязную столешницу деньги.

— Вина давай!

Глазенки хозяина засверкали и заматались: с Тихона — на деньги, а с денег — опять на Тихона. Не доверяясь до конца, мужичонка шепелявил:

— Се привязался, не дерзу вина сроду!

— Мало? Добавлю! — Тихон со стуком выложил пригоршню серебра. — Тащи, кому сказал! У меня нутро ссохлось!

На этот раз хозяин не устоял. Скакнул к столу, узкой, сморщенной лапкой, похожей на птичью, смахнул деньги и засеменил, шлепя спадающими опорками, в темные сени. Вернулся, поставил вино в грязном штофе, сунул в деревянной чашке квашеной капусты и говяжьей кости, мясо с которой было уже напопину съедено. «За такие деньги можно и получше угостить...» — молча, про себя усмеялся Тихон. Плеснул вина в щербатую кружку и протянул хозяину — на-ка, попробуй.

Хозяин покривился синюшными губами, перенял стакан и долго, дергая туда-сюда остреньким кадыком, сосал вино. Высосал и заговорил:

— Ты се, боисся? Не бойся, вино систое.

Тихон не отозвался. Выпил свою долю, пожевал капусты, которая крепко отдавала гнилью старого дерева, и потребовал, чтобы хозяин определил его на спанье. Сам тем временем вышел на улицу, сразу глянул на вершинку жерди. Петушок лежал на боку. «Хитрованы, ну хитрованы! Надо ж додуматься! Только мы с Брагиным не глупее вас». Он махом взлетел на лестницу, прислоненную к стене дома, увидел конец тонкой веревки и дернул за него. Петушок поднялся и встал, как стоял. «Так оно лучше будет».

Спать легли рано. Тихон, не смыкая глаз, караулил, чтобы хозяин не выскользнул из избы. Но хозяин смиренно лежал на полатах и посапывал. О том, что он знает Зубого, отрекся накрепко. Шепелявил: в первый раз слышит, ни сном, ни духом не ведает, пусть проезжий зря его не пытается, а отправляется утром своей дорогой.

Так и лежали. До тех пор, пока не взлаяла собака. Хозяин тут же свесил с полатей ноги, прислушался. Шепотом окликнул Тихона, но тот не отозвался — сплю, без задних ног сплю. Хозяин неслышно соскользнул с полатей, так же неслышно нырнул в сени, даже дверью не скрипнул. Тихон — следом за ним. В сенях услышал:

— А давай-ка глянем, какой такой знакомец. — Глухой голос, спотыкающийся после каждого слова, выдавал хмельного человека. Это на руку — с хмельным легче сладить. Тихон потрогал опояску, заранее сунутую за ошкур штанов, и прыгнул к порогу сеней. Лапнул за плечи ночного гостя, кувыркнул на пол. Хозяина вышиб на улицу. Дверь — на крючок. Навалился на ошалевшего гостя, заломил руки. Туго-натуго затянул их опояской. И сразу на улицу. Хозяин бестолково суетился возле Тихоновой кошевки, пытался завести жеребчика в оглобли, но тот уросил и взягивал. Увидев Тихона, мужичонка присел на корточки и прикрыл голову руками. Скрутить его, тощего и малосильного, было делом одной минуты. Скоро Тихон уже гнал жеребчика за деревню, к той сосне, возле которой раскидал сено. Брагин и стражники, сидевшие на рысях заторопили коней в деревню.

В доме, куда затащили связанных, запалили лучину, и Тихон разглядел ночного гостя. На одном глазу у варнака было бельмо, а другой, красный от пьянства, словно остекленел — смотрел прямо и не мигая. «Может, этот и стрелил Марьяшу?» — подумал Тихон, и от нахлынувшей злобы ему стало тяжело дышать.

— Где Зубый? — спросил Брагин. Не дождавись ответа, стал стаскивать с себя портупею. — Ска-а-жете, никуда не денетесь. Я вот только одежду сыму, и потолкуем. Ты, парень, иди пока на улицу, погоди там.

На улице Тихон сел в кошевку и услышал истошные крики — Брагин толковал крепко. Скоро избитого варнака волоком

вытащили из дома, бросили, как мешок с отрубями, в кошевку. Брагин, еще не отойдя от разговора, задышливо скомандовал:

— Поехали!

К заимке добрались под утро. Варнаку заткнули рот рукавицей и свалили с кошевки в снег — на всякий случай, чтобы голоса не подал. Из сумки, притороченной к седлу, Брагин достал ружье, протянул его Тихону. Показал место, где встать, — на самом краю поляны, на истоке слабо утоптанной тропы. Приняв ружье, встав, где ему велели, Тихон сбросил рукавицы, обхватил голыми ладонями шейку приклада и цевье, и к нему вновь подступила злоба. Он был готов стрелять в варнаков, как в глухарей, — без промаха.

Стражники неслышно окружили избушку. Брагин вплотную подкрался к заледенелому оконцу, выбил ружейным стволом звонко звякнувшее стекло. Тихон вздрогнул. Как только ударили на поляне первые выстрелы, раздались крики, ему сразу почудилось, что вернулась страшная ночь, когда шумели и падали в доме Федора. И за эту ночь он хотел отомстить. По-охотничьи сноровисто вскинул ружье, выставил вперед для упора левую ногу.

Варнаки, выскочив из избушки, попытались прорваться к крытому загону, где стояли лошади, но стражники наповал уложили двоих человек, и остальные бросились обратно. Одному, самому юркому, удалось выскользнуть. Петля, как заяц, он добежал до загона, вывел зазданную лошадь. Она шарахалась, пугаясь выстрелов, варнак крутился и никак не мог на нее заскочить. Это был Зубый — Тихон его узнал. Не качнув, твердо повел ствол ружья и взял под обрез — прямо в грудь. Спокойно потянул курок и тут же отдернул правую руку от ружейного ложа. Качнулся, отступая назад, уронил ружье в снег.

Перед ним, закрывая Зубого, стояла Марьяша. Она укоряюще улыбалась и едва заметно покачивала головой, осуждая Тихона. «Что же ты, Тиша, — совсем близко услышал он ее голос. — Что же ты делаешь? Тебе крови мало? Зачем на нашу чистоту кровью брызгать? Не надо ее. И не мсти за меня, никогда не мсти. Кровь — она липкая, ничем не отмоешь». Марьяша завела наполовину расплетенную косу за плечо, отошла на несколько шагов и соскользнула за деревья — исчезла. Ти-

хон кинулся следом, напоролся на сучья и остановился. Снег перед ним на том месте, где только что прошла Марьяша, лежал нетронутым.

Затихал, укатывался все дальше по воровской тропе глухой стук конских копыт.

...Скрипели полозья, кошевка тряслась на ухабах — Тихон ничего не чувял. Лежал, зарывшись с головой в сено, стонал, словно от телесной боли, и не было ему никакого облегчения. Брагин, понимая его расстройство по-своему, рассудительно успокаивал:

— Ты не переживай за Зубого, найдем мы его, никуда не денется. А что оплошал — с кем не бывает. Скотину колоть — и то не у всякого рука подыметя, а тут человек, хоть и разбойник. В волость приедем, ты в церкву сходи, свечку поставь за убиенных. Э-э-эх, жизнешка! — Брагин вытащил из-под себя кнут и понужнул замученного жеребчика. — Шевелись, рыска, все умайись!

## 17

Прежняя спокойная жизнь Дюжева дала спотычку, словно конь на полном скаку влетел ногой в неприметную для глаз яму. Все наперекосяк. «Наверняка судьба нечаянность готовит, — невесело думал Дюжев, маясь по ночам бессонницей, кряхтя и ворочаясь на мягкой перине. — И никуда не денешься. Явится — спрашивать не станет: готовый или не готовый... Может, к смертному часу дело движется? Потому и прожитое аукается?»

Петр за два дня отъехал и отоспался, а на третий попросил у Дюжева лошадь и пообещал, что вернется скоро. Лошадь ему Дюжев дал. Думал так: «Пусть к черту едет, только бы глаза не мозолил». Втайне надеялся, что неожиданный гость пропадет бесследно.

Но Петр не пропал и вернулся, как обещал, скоро — суток не прошло. Явился в спальню к Дюжеву, поставил на стол окованный железом сундучок. Железо крепко поржавело, в иных местах до самого дерева, медная ручка сундучка окрасилась густой ядовитой зеленью. Петр вывернул ножом подгнившую замочную скважину, отковырнул крышку и, не заглядывая внутрь, отошел. Улыбнулся, словно хотел сказать:

«Я свое дело сделал, а ты, Тихон Трофимыч, иди, любуйся». Но Дюжев медлил и к сундучку не подходил. Сидел, опустив голову, покачивался и шевелил пальцами босых ног. Не хотелось ему перетряхивать прошлое, которое болело и не отпускало его, но, коль уж оно подало свой голос, отзывайся. Поднялся, прошлепал к столу, заглянул в сундучок.

Сверху лежали полуистлевшие бумажные деньги. Выгреб их и увидел, что на дне, нисколько не потускнев, светятся золотые рубли, а в уголке натек из кожаного мешочка, продырявленного временем, золотой песок. А на нем лежало маленькое золотое колечко — наверняка обручальное. Видно, Федор заранее для дочери готовил. Дюжев взял его и, держа на раскрытой ладони, поднес к самому лицу. Петр вильнул глазами и отвернулся. Не было сил смотреть, потому как Тихон Трофимыч плакал. Петр поднялся с табуретки, пошел к двери.

— Постой! — остановил его Дюжев. — Вернись, сядь на место!

Подолом рубахи вытер лицо, положил колечко в сундучок и прикрыл крышку. Отвернулся от Петра, еще раз задрал подол рубахи. Высморкался. А когда обернулся, это уже был прежний, суровый Тихон Трофимыч Дюжев. Только чуть красные глаза напоминали о недолгой слабости.

— Ты вот что, парень, скажи, куда дальше метишь? Паспорта у тебя нет, беглый, ты и есть беглый. Могу властям сдать.

— Воля ваша, Тихон Трофимыч, — улыбнулся Петр. — Только не надо меня зажимать, все равно выскользну. Я скользкий, надо будет — меж пальцев протекну.

— Не хвались. Видали мы всяких. Говори толково — чего надо? И с какого квасу ты без опаски с письмом ко мне припорол? И с золотишком никуда не утек? А?

— Сразу все хочешь узнать, Тихон Трофимыч. Подожди, придет время, ни капли не утаю, все как на духу выложу. А нынче мне помолчать выгодней, для твоей же пользы. Властям сдашь — ничего не узнаешь. Лучше миром решить. Выправь мне бумаги и возьми к себе в работники. Не пожалеешь.

— Ишь ты, скорый какой! Еще и цены назначает. Молодой указывать! Ладно, ступай. Скажи Ваське, чтобы место определил. А я подумаю.

Видел Тихон Трофимыч, что парень таится, увилькает от честного ответа. Узнать же, что он за душой скрывает, очень хотелось. «Пусть поживет, — решил Дюжев. — Поглядим, что дальше получится. Меня не шибко обманешь».

Он потоптался возле стола, снова достал золотое колечко, долго держал его на ладони, разглядывал, пытаясь уловить тяжесть, но колечко было, словно воздушное — без весу. Дюжев зажал его в кулаке, осторожно пронес в передний угол и положил на божницу, за иконы.

...Загудел ветер. Ударил тугими волнами в скаты крыши, и сквозь гул просочился прерывистый шепот: «Встань, встань, выйди...»

Дюжев, отзываясь на шепот, послушно встал и вышел из дома. Снег на опушке бора был покрыт зеленой травой.

«Зима же на дворе. Откуда трава взялась?»

«Иди, иди...»

Он добрался до опушки и увидел: на траве, раскинув крестом руки, лежала Марьяша. Как живая. Словно прилегла, разморенная солнцем, и накоротке заснула. Дюжев бросился, что есть силы, в уброд, по снегу. Вот она, совсем близко — Марьяша... Коса, до половины расплетенная, вытянулась по земле, и ветер играет пшеничным волосом, шевелит, переплетая его с травой. А ведь не трава это, совсем не трава... Ветки это еловые. Ветер пообломал их с елей, выстелил ими снег, и получился на белом зеленый ковер. А на ковре — она, Марьяша...

Дюжев кинулся к ней и ударился в невидимую преграду. Бился, стучался в нее, а хода не было. Тогда он закричал, и преграда бесшумно рухнула. Побежал, но Марьяши на прежнем месте уже не было — одна лишь зелень еловых веток.

«Иди, иди... — снова дотянулся до него прерывистый шепот. — Иди и не отставай».

Он торопился, пытаясь поспеть за шепотом. От опушки, темной улицей — через деревню и на бугор. Поднялся на заснеженную макушку и остановился, очарованно глядя на бугор: на его глазах из макушки бугра заструился свет. Он переплетался своими потоками, безмолвно кипел, а из кипе-

ния, развертываясь, выплывала церковь. Парусами распустив купола, недостижимая в своей высоте, она скользила над холодной землей, и оттуда же, с высоты, опускался едва различимый шепот Марьяши: «Видишь, Тиша, это наша церковь. Смотри хорошенько, запомни ее...» Шепот оборвался и канул, а на смену ему явился колокольный звон.

И разом исчезло все, стихло. Дюжев стоял на крыльце своего дома. «Я сплю или наяву случилось?» Голой ладонью сгреб снег с перил, вытер лицо. Кожа загорелась от холодной влаги. Дюжев переступил с ноги на ногу, с мерзлым хрустом приминая снег под пимами, негромко, вслух произнес:

— Господи, а я ведь понял, знак-то...

И услышал свой живой голос.

18

Не успели оглянуться — подоспел Никола-зимний. Народ из Огневой Заимки собирался в Шадру на ярмарку и в тамошнюю церковь на праздничную службу. Рано утром закрипели ворота конюшен; сыто, после доброй кормежки заржали кони, выходя в клубах пара на вольный мороз. Взвизгнули полозья стронутых с места саней и кошевок. Всполошились сороки, засновали с одной усадьбы на другую, разом натараторивая всем без разбору скорых гостей.

Уселась одна вертихвостка и на зулинский заплот. Разинула клюв, чтобы дать пространство болтливому языку, и поперхнулась, замерла в изумлении, как полоротая баба у колодца. Но скоро опамятавалась, спорхнула, осыпав снег с заплота, и полетела, торопясь доложить товаркам о том, что увидел. А картину она увидела и впрямь необычную.

На чистом зулинском дворе стояли четыре тройки. Двенадцать лошадей перебирали ногами от нетерпения, шевелили сани, и в ограде слышался слитный шум. Вылетал из конских ноздрей пар, обносил морды инеем. Кони просили ходу. Казалось, дай им волю, ослабь вожжи — земля загудит под копытами, и не белесый пар из ноздрей пыхнет, а огонь с искрами.

Но время выезда еще не пришло. Устинья Климовну ждали.

Вся же остальная зулинская родова, снаряженная в путь, была уже в ограде и ждала лишь команды, чтобы усесться в сани. Ре-

бятишки, радуясь празднику, не могли унять своего восторга и взвизгивали, получая от матерей несердитые подзатыльники. Вырядились Глафира, Пелагея и Зинаида, словно на свадьбу: у каждой белые пимы с красной строчкой, шубы-барнаулки с белыми воротниками, из-под шуб новенькие вышитые юбки выглядывают, а на головах повязанные на узорчатые подбрусники шерстяные шапки. Такие разноцветные, словно украли бабы с летнего луга по охотке разнотравья и накинули на себя. Зарумянились женки на морозе, помолодели. Мужики глядят на своих благоверных, примелькавшихся в серых буднях, раскрывают глаза пошире, словно впервые видят.

Но вот и дверь скрипнула. Устинья Климовна, легонько, неслышно ступая, вышла на крыльцо. Она и в праздник своей суровости не изменила: шаль у ней черная, как у монашки. В руке высохший легонький бадожок из березы. Оперлась на него, оглядела запряженные тройки, спросила:

— Ванюша, ты пристяжную-то поглядел у Митеньки? Не храмлет?

— Не храмлет, маменька, — с поклоном отозвался Иван, поглаживая сивую уже бороду. — По двору провели, глянули — полетит, как птичка.

— Тогда поехали. Господи, благослови нас, грешных. — Устинья Климовна перекрестилась сама, перекрестила свое большое гнездо, а еще — все четыре тройки, каждую в отдельности.

Митенька подскочил к крыльцу, придерживая матушку за руку, помогая ей спуститься со ступенек, и довел до первой тройки. Усадил на тулуп, расстеленный на мягком сене, побуждал отворять широкие ворота. Устинья Климовна оглянулась, проверила — все ли уселись? Все. Тихонько тронула вскочившего на облучок Митеньку бадожком в плечо — поехали.

Первой за ворота выкатилась тройка с Митенькой и Устиньей Климовной, вторыми — Павел с Зинаидой и с ребятишками, третьими — Федор с Пелагеей и с ребятишками, а последним выезжал со своей половиной и с чадами Иван. Закрыв ворота, огляделся — все ли в порядке? — и тронул коней, замыкая знатный зулинский выезд.

Ехали тихо, неторопким ходом, потому как Устинья Климовна скорую езду, а особенно скачки, считала дурным ба-



ловством и частенько говаривала про лихачей: «Сами бы, лошаки, залезали в хомут и скакали, пока пеной не изойдут. За что же лошадь, божью тварь, мучить?»

А Митенька быструю езду любил. Хлебом не корми — дай пролететь, чтобы ветер с головы шапку скидывал. Но при маменьке и помыслить не мог об этом. Натягивал вожжи, сдерживая коней, а сам от нетерпения ерзал на облучке. И надо же было случиться: не раньше, не позже, а именно в это время догнал зулинский выезд Васька. Стоял он, широко расставив ноги, в передке кошевки, правил летучим Игренькой и свистел, подбадривая его, как варнак на большой дороге.

Игренька, прижимая уши, распластываясь над землей, мчал без удержу. По дороге Васька не решился обгонять Зулиных — вдруг ненароком занесет кошевку на раскате да шмякнет об сани. Но и стопорить скачку, лишая себя долгожданной радости, Васька не пожелал. Уперся ногой в передок, правую вожжу потянул на себя. Игренька лишь голову вскинул, словно знак подал: понял я, чего требуется! Подал вправо, перемахнул наискось невысокую бровку и — по целику, вдоль дороги! Завьюжило, покатилося следом за кошевкой снежное облако.

— Ой, лихоманец, с ума тронулся — эдак-то гнать! — сотовала Устинья Климовна, глядя на дюжевского работника. — Скажу, однако, Тихону Трофимычу, чтоб не давал лошади. Не езда, а чистое убойство.

Митенька ревниво провожал взглядом дюжевскую кошевку и чуть не плакал. Обставил его Васька, после еще и смеяться будет. Эх, не было бы маменьки!

Васька между тем все круче натягивал правую вожжу. Игренька все дальше забирал от дороги и скоро выскочил на увал, который тянулся до самой Шадры. По увалу, по его малоснежной макушке, на виду у всех, кто ехал по дороге, Васька гнал Игреньку, оглушая округу разбойным свистом, а впереди вставало блестящее зимнее солнце, и чудилось, что еще немного — влетят человек, конь и кошевка в алый светящийся круг.

«Погоди, погоди... — молча грозился Митенька. — Маменька молебен отстоит в церкви, на ярманку глянет и домой отправится. А я отпрошусь у ей и останусь. Тогда поглядим, кто красоваться станет. Тоже мне, ухарь...»

Митенька был сердит на Ваську. И не только за сегодняшнее красование, но за насмешки, которые тот строил над ним в последнее время. А причиной всему Феклуша. По два раза на день стал заворачивать Митенька к дюжевскому дому. Идет по деревне совсем в другую сторону, задумается, глядь — стоит перед дюжевскими воротами. Васька это заметил, смекнул, какая нужда Митенькой водит, и дал волю длинному языку. Выскакивал на крыльцо и начинал базлать:

— Фекла Романовна! Встречай скорей, к тебе жених идет, завалышенький! Глазонец соломой заткнут, ухо дощечкой заколочено, заместо ног две лучинки вставлены, а на голове чугунок!

Феклуша, заслышав Ваську, на улицу не показывалась. Митенька — не драться же с этим горлопаном! — круто разворачивался и топал восвояси.

«Ладно, ладно, — думал он сейчас, поглядывая на макушку увала, где уже и снег осел, взвихренный Игренькой. — Будет время — я тебе нос утру».

— Ты, парень, не уснул? — Устинья Климовна легонько толкнула Митеньку бадожком. — Придержи коней.

Митенька вскинулся и ахнул молчком. За поворотом, уступая дорогу тройке, стоял Роман, а рядом с ним Феклуша. Легка на помине! Митенька вскочил с облучка, натянул вожжи. Кони перешли на шаг и остановились. Одиноких путников Устинья Климовна всегда велела подсаживать. Следила за этим строго, как и за всеми другими обычаями, заведенными ею для каждого случая.

— Милости просим с нами, — пригласила она Романа с дочерью. — До Шадры долго ноги бить. На ярманку подались?

— Спасибо за приглашенье, дай Бог здоровья, — поклонился Роман. — Полезай, Феклуша, мостись тут с краешку. От и ладно, а я рядышком. Про Шадру верно сказали, туда идем, только не на ярмарку, а в церковь на службу. Нам покупать-продавать нечего. Богу идем помолиться.

— А Васька чо не взял? Пустой гарцует.

— Да он звал. С ветерком, говорит, прокачу. А ветерок-то в голове у его. Опасаюсь я, перевернет на раскате. Лучше так, потихоньку. Верно, Феклуша?

— Верно, батюшка...

У Митеньки чуть вожжи из рук не выпали. И сказано-то два слова, но зато голосок какой! До самой середины достал — тепло и тревожно, до обмирания сердца. Но оглянуться назад, полюбоваться, Митенька не посмел. Так и правил тройкой до самой Шадры, не обернувшись.

19

Народу на праздничную службу собралось великое множество. Места в церкви всем не хватило. Стояли на паперти, в ограде и даже за воротами. Через распахнутые двери виделось с улицы мерцание свечей, доносились голоса певчих, приглушенные людским шорохом.

Каждому, кто пришел сюда, истово верилось, что рядом стоит незримый Николай-Чудотворец — мужицкий Бог, который не покинет и обережет в любом деле: в землепашеском, ямщицком и торговом. Ему молились, его просили, чтобы послал удачу.

Колокольный звон улетал за околицу и терялся в снежных полях посреди березовых колков, обнесенных кружевами просвечивающегося инея. Проникал в глубину земной стыни, обогревал корни ржи, наделял их родящей силой.

Все, что было в самой Шадре: многие люди, дома, торговые ряды, сани и лошади; все, что было за ее пределами: поля, увалы, иззубренная гряды тайги — все оведалось звоном, словно живым голосом. Он без препятствия входил в душу, и рука сама вздымалась, прикасаясь ко лбу троеперстием. Губы шептали: «Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй...»

После службы народ скатился с церковного пригорка вниз, на площадь посредине Шадры, и площадь зашевелилась, загомонилась, покупая и продавая, споря и торгуясь, а при ловком случае, под шумок, объегоривая.

Торговля у Дюжева катилась, как по маслу. Товары, доставленные из Ирбита в Томск, а из Томска лихими Зулиными — в Шадру, шли нарасхват. Брали мануфактуру и скобянку, чай и посуду, а больше всего жаловали мужики вниманием железные плуги — их разобрали еще до обеда. Вахрамеев и приказчики из томских дюжевских магазинов

сбивались с ног. На морозе от них пар валил. Сам Тихон Трофимыч, скрывая радость и нагоняя на лицо суровость, прохаживался вдоль рядов, заводил разговоры со знакомцами и собирался уже прогуляться по ярмарке, как тут объявился Васька. Осадил Игреньку, вздыбив его перед зазевавшейся бабенкой, отмахнулся от ругани, которая полетела ему вослед, подскочил к хозяину:

— Тихон Трофимыч, дело у меня есть!

— Ну! — ухмыльнулся Дюжев. — А мы хотели в пим насрать да за тобой послать.

— А я сам явился! — не обиделся Васька. — Дело-то... Игреньку нашего шадрински обидели.

— Он чо — девка? «Обидели...»

— Смеются, Тихон Трофимыч. Там у их два конишки дохленьких, хвалятся, что обскачут.

— Кто хвалится-то — конишки? — похохатывал над разгоряченным работником Дюжев.

— Шадрински хвалятся. Дюжевский жеребец, смеются, в хозяина весь, задышливый.

— Ну-у-у... — посуровел Дюжев, и добродушие с его лица как водой смыло.

— Ага! Так и смеются, — подтвердил Васька.

— Поехали! — Дюжев сердито шагнул к кошке. — Не обгонишь — до гроба назем станешь убирать, к вожжам близко не подпущу!

Любой слух на ярмарке — быстрее молнии. Не успел Васька договориться с шадринскими парнями об условиях скачки, а народ уже повалил на крайнюю улицу, которая выходила на тракт. Любит праздный люд на скачки глазеть — хлебом не корми. Ваське того и надо: столько девок сразу на него пялятся! Шапку заломил, кудри на волю выпустил, цветастую опояску на барнаулке перетянул туго-натуго — красуется.

Скакать решили не вершни, а на кошевках, от середины улицы до первого свертка на тракте, где было кольцо для разворота.

И обратно.

Дюжев раздухарился. Шуба — нараспашку, борода — на сторону. Не мог примириться с обидой. Раззадоренному, ему и в ум не пало, что Васька сам надразнил шадринских парней, нагово-

рил им обидных слов и подбил на скачки. Правда, парни сейчас про это и сами не помнили. Кровь гуляла, глаза азарт застил.

Три кошевки свободно уместились в один ряд поперек улицы. Людское волнение передавалось и коням. Они расхлестывали копытами утоптаный снег, косили по сторонам широко распахнутыми глазами. А в глазах, округлых и влажных, — цветастое многолюдье, ближние дома и край неба.

Отмашка! Гикнули! Полетели, будто сорванные ветром, кошевки, вырываясь из улицы на простор тракта. Васька знал толк в скачках. Лихачить лихачил, но мог и головой соображать. Полного хода Игреньке не давал. Держал его с соперниками ухо в ухо. Перед свертком даже приотстал немного, боялся, как бы кошевку не занесло. И не прогадал. Обошел шадринских парней, которым пришлось на развороте своих скакунов сдерживать. А в обратную сторону — сколько есть моченьки. Тут уж ни себя, ни коня не жалеи. Только глаза крепче прищуривай, чтобы ветром не выхлестнуло. Игренька выстилался над землей, и казалось, что он ее не касается — в воздухе отмахивает искрометный галоп.

— Дюжевский! Дюжевский! — закричали самые дальнорюжие, когда появилась на тракте стремительно летящая черная точка.

Тихон Трофимыч успокоился и степенно запахнул шубу, всем своим видом желая показать: и так ясно, что Игреньку не обскачешь, оторвали, понимаешь, занятого человека от дела, заставили глупостями заниматься...

Шадринские парни, потеряв надежду, уже не гнали своих коней. Тянулись абы как. Васька, наоборот, подстегивал Игреньку, не давая и малюго передыха, — когда еще представится случай покрасоваться в полной победе. Кошевка влетела в улицу и понеслась, не сбавляя хода, к площади. Люди, расступившись по обе стороны, кричали и махали шапками.

И вдруг разом, в один звук, придушенно ахнули. Замерли и не шевелились, словно окаменели, глядя на страшную картину: выскочил неизвестно откуда малой парнишонко, бросился наперерез кошевке, махом желая перебежать улицу. Но поскользнулся на самой середине и шлепнулся. Игренька бил копытами землю, раздувая разъяренные ноздри. Его бешеный, исступленный бег не знал удержу.

Васька уперся в передок кошевки, потянул на себя вожжи, но Игренька только всхрапывал, задирая голову, — ноги его

остановиться не могли. Парнишонко съезжился, уткнулся носом в снег и схватился руками за голову.

Ближе, ближе... Иные люди от страха зажмурились.

И не увидели, как мелькнул, отделяясь от толпы, яркий платок — словно цветок бросили под ноги Игреньке.

А-ах!

Повис кто-то, намертво ухватившись обеими руками за узду. Игренька споткнулся, сбиваясь с разгона, рванул вбок, с треском выламывая оглобли, и, потеряв равновесие, тяжело упал. Ваську скинуло с кошевки, как песок с лопаты, шлепнуло об дорогу, и он въехал на пузе прямо в середину толпы.

Оголец вздернул голову, заверещал, призывая мамку.

Цветастый платок покачивался на задке кошевки, а с дороги, стыдливо придерживая разодранную юбку, поднималась Феклуша. Она еще ничего не успела сообразить и только морщилась от боли, растерянно искала взглядом парнишонку, а тот, вскочив на ноги, пискнул, что обмочился, и припустил на площадь, базая во все горло: «Маменька!»

Очнувшись, все заговорили, бросились на дорогу — кто к Игреньке, кто к Феклуше, которая, ступив несколько шагов, ойкнула — ногу больно.

Ее бестолково подхватили на руки, заспорили, не зная, куда нести, но вовремя подоспела суровая Устинья Климовна и разом навела порядок:

— Пим сымите. Садите девку на кошевку.

Приказание послушно исполнили. Цепкими, сухими пальцами Устинья Климовна ощупала зашибленную ногу и успокоила:

— Перелому нету, кость целая. Митрей, давай к нам девку. Да скорей, парень, скорей.

Митенька махом подогнал тройку, Феклушу перенесли на сани. Роман сунулся, желая примоститься рядом с дочерью, но Устинья Климовна остановила:

— Некого тебе делать, не бойся, не изурочим, — тут увидела Дюжева и укорила его: — Тебе, Тихон Трофимыч, думать бы надо — седина в бороду стукнула. Такое смертоубийство распустил. Я утром еще варнака твоего видала, сразу подумала — свернет шею либо затопчет кого. Он вишь, чо выкинул! Прута доброго на вас нету!

Тихон Трофимыч не перечил и не оправдывался, сердито поглядывал на Ваську. А тот утирался снегом и стряхивал с ладоней талые ошметья бурого цвета.

— Вот девка-то, а?! — раздался чей-то мужской голос.  
— С такой на медведя ходить можно! Вот отчаюга!

— Слава Богу, хоть обошлось, — вздохнула какая-то баба.

И впрямь обошлось. Игренька даже не покалечился. Освобожденный от сбруи, он вздрагивал, переступая ногами, бока его ходили ходуном.

— Коня, коня поводите, запалится, — скомандовала напоследок Устинья Климовна и уселась в сани рядом с Феклушей.  
— Хозяева, прости меня, грешную!

Толкнула Митеньку бадожком в спину — поехали!

Народ стал расходиться. Ярмарка еще не кончилась, она лишь в самый разгар вступала, и много чего интересного можно было увидеть.

Васька, прихрамывая, несмело подошел к Дюжеву. Тот глянул на его морду, раскатанную, как красный блин, хотел отругать, но передумал. Махнул рукой — сгинь, чтобы глаза не видели. Васька послушно подался к Игреньке.

Роман топтался на месте, с тревогой поглядывал вслед зулинской тройке.

— Да ты не бойсь, — успокаивал его Дюжев. — Устинья — левкарка знатная, враз ногу выправит, — виновато крикнул и позвал Романа в кабак: — Пойдем, брат, погреемся, зябко стало.

...Тихо-тихо брела по Огневой Заимке зулинская тройка. Кони за долгий день приморились, шли неторопким шагом, а Митенька их не подгонял, придерживал в руках слабо натянутые вожжи, оглядывался на Феклушу и жалел, что дорога до дюжевского дома уж очень короткая.

Устинья Климовна дело свое спроворила быстро. Распарила Феклуше ушибленную ногу в горячей воде, приложила травок, прочитала сухим шепотом молитву и велела Митеньке доставить девку до места.

— Да не вздумай гнать! — вдогонку ему наказывала Устинья Климовна.

А Митенька и не думал. Будь его воля — он бы до дюжевского дома две недели Феклушу вез. Но — короток путь. У высоких ворот тройка встала. Выбежала Степановна, узна-

ла, в чем дело, запричитала, как на похоронах. Но тут же и осеклась, заторопила Митеньку, а сама побежала в дом, чтобы готовить постель.

Митенька поднял Феклушу на руки и понес, а она закрыла глаза от пугающей близости. Большущие, выгнутые ресницы вздрагивали. На высоком крыльце Митенька споткнулся, Феклуша распахнула глаза, и он вздрогнул — столько в них было ласки и благодарности, что хватило бы не только на одного человека, на Митеньку, но и на весь белый свет.

## 20

А в Шадре, не затихая, кипела ярмарка.

После полудня проголодавшийся народ тянулся в кабак, чтобы погреться нутро. Двери — хлоп да хлоп. Морозные клубки катались по полу. Четверо половых носились, сломя голову, а все равно не успевали. Но Тихону Трофимычу, как почетному гостю, стол накрыли мигом, а на край стола поставили пыхающий жаром самовар. Вина не принесли, потому как знали: при деле Дюжев капли в рот не берет. Роман оглядел богатую снедь, подивился на блестящий ведерный самовар, засомневался:

— Не осилим, Тихон Трофимыч.

— А ничо, — отмахнулся Дюжев. — Глаза завидушки, а пузо безразмерно. Угощайся, братец, седни мы заробили.

Под чаек трезво и неторопко сладилась у них беседа. Роман, заново переживая увиденное, рассказал о чудном и теплом свете, какой явился им на бугре с Феклушей, когда остались они в Огневой Заимке, ссаженные неласковым ямщиком. А еще рассказал о горбатой старушке, которая приводила его на бугор, где видел он церковь, сотканную из того же неведомого света.

— И понять не могу, — дивился Роман, — то ли сон мне снится, то ли наяву было.

Дюжев слушал, не перебивая ни единым словом, только запаленно вздыхивал, как загнанный конь, да раздирал густую бороду крепкими короткими пальцами. А выслушав до конца, сказал:

— Сон ли не сон, а знак это, братец. Знак. Чуешь, к чему он?

— Да я уж думал. Разве к тому, что церкви, раньше ставил?

— Мастер, что ли?

— Да походил с артелью, с батюшкой.  
— Вот оно и ладно, — успокоенно проговорил Дюжев.  
— Все к одному.  
— О чем ты?  
— Все о том же. Ты ешь, братец, ешь, тебе робить много нынче придется.

С ярмарки они возвращались вдвоем, уже под вечер. Молчали и слушали стылый скрип полозьев да легкий перестук конских копыт об утопанную за последние дни дорогу. Зимние сумерки выстилала на полях голубые тени, в логах тени сгущались, становились похожими на темные озера. На густом темно-синем небе проклюнулась первая звезда, дорога меж тем поднималась на взгорок перед Огневой Заимкой, и чудилось, что кони, вскидывая головами, погонисто уходят в небо.

И вдруг встали, как вкопанные. Тихон Трофимыч дернул вожжами, понужая их, но кони — ни с места. Он выпростался из шубы, вылез из саней. Навстречу ему семенила по дороге горбатая старушонка. Она невесомо опиралась на старый баджок, и шаг ее был легкий, неслышный.

— Ты откуда взялась, болезная? — удивился Тихон Трофимыч. Старушка подошла совсем близко, тихо молвила:  
— Ступай за мной, и ты, сердешный, — позвала Романа, — тоже ступай.

Повернулась и пошла-заскользила по снежному целику, целясь к правой окраине Огневой Заимки, где взметывался над Уенью высокий бугор. Тихон Трофимыч и Роман подались следом, поспешая изо всех сил за ее быстрым ходом.

Она вывела их на самую макушку бугра. Остановилась, опираясь на баджок, не разгибая согнутой спины, подняла голову. Тихон Трофимыч и Роман стояли перед ней смиренно, как послушные ребятишки перед строгой маменькой. Старушка оглядела их с ног до головы, сухим, шелестящим голосом заговорила:

— Тута ваша радость, — подняла баджок и пристукнула им, протыкая снег. — Тута и ваше горе.  
— Кто ты? — спросил Тихон Трофимыч.  
— Судьба, — коротко ответила старушка.  
И исчезла.

## Часть вторая

### 1

Плотницкая артель — двенадцать мужиков в просторных рубахах. Бродни под коленями перевязаны сыромятными ремешками, щедро смазаны дегтем и рыбьим жиром — черны, пахучи. Как на праздник.

Отвесно сеет реденький дождик, мочит непокрытые головы, падает на маслянистую обувь, застывает на ней каплями, не в силах скатиться. На зеленой, умытой траве желтеет свежошкуренное бревно — будто рублевая свеча из ярого воска. Уголками, на живульку, воткнуты в него топоры. Двенадцать штук. Изогнули отглаженные ладонями топорщица, ждут урочной минуты, когда понадобятся.

Но минута еще не приспела.

Вчера шадринский священник отслужил молебен на закладке нового храма, вчера же на бугре поставили крест и толпилась здесь вся Огнева Заимка от мала до велика. А сегодня — дело артельное. Касается оно только самих плотников. Дюжев и тот отошел в сторону, сел под старой ветлой, сделал вид, что никаким краем не вмешивается, а сам нет-нет да и глянет — что там, возле креста, делается?

Роман, как старшой, распоряжался несуетно. Развернул холщовую тряпку, вынул на свет темную от старости икону Николая-Чудотворца, приставил ее к изножию креста. Еще дед Романа хаживал с ней в первопрестольную, да и он, внук, не раз вставал перед ней зеленым мальчишкой, когда зачинали артелью новое дело. Смирненно склонял голову, слушая старшого. А нынче он сам принял под руку одиннадцать мастеров, нынче он — первый ответчик за будущий храм в Огневой Заимке.

Над иконой, вбив четыре колышка, сделал Роман маленький пологий навес и зажег под ним заранее припасенную свечку. Капли дождя, которые успели упасть на лик Николы, быстро высохли, ярче проступили глаза, будто загорелись

живым, потаенным светом. Сурово, пристально смотрел мужицкий заступник на плотников, заглядывал каждому из них прямо в душу.

Роман вытер лицо ладонью, смахивая дождевую морось, кашлянул, прочищая горло, и заговорил негромко, медленно подбирая слова, будто их подколачивал друг к другу:

— Делу нашему, ребята, Никола-угодник свидетель. Перед им и ответ держать будем. Там, на небе. А здесь, на земле грешной, коли кто провинится — перед артелью отчитываться станет. Черных дел и мыслей на душу не берите. Один нагрешит, хоть и втихомолку, а расхлебывать всем придется. Либо бревно сорвется, либо сруб завалится — всякое случается, сам видывал. — Роман еще раз вытер лицо широкой ладонью и закончил: — Так вот и обяжемся друг перед дружкой. Господи, пособи!

Склонил голову перед иконой, перед горящей свечой, перекрестился и отошел. Следом за ним — остальные одиннадцать плотников. От иконы — к бревну. Разбирали топоры, расходились каждый на свое место.

Ударил первый топор, крепкая лиственница отозвалась вздохом, и сразу, обвалюно, застукотили в ответ остальные топоры, заглушили шуршание дождика. Он еще покряпал недолго и перестал. Тучи раздернулись, остатки их скатились по пологому склону неба к окоему, а на влажную парящую землю ударило солнце.

## 2

Митенька глянул, запрокидывая голову вверх, и прищурился. Солнце светило жарко, волгая рубаха на плечах высыхала, а кожу пробил первый пот. Митенька радовался. Сила в руках играла, тяжести топора он не чуял, щепка с бревна стесывалась, как по нитке, и казалось, что работать так, без усталости и без передыху, он сможет и день, и два, и неделю.

В артель Митенька напросился сам. Долго обхаживал маменьку, не зная с какого боку завести разговор, опасаясь, что получит отказ, которому имела причина: вот-вот начнется покос, там рожь подойдет, молотьба — только успевай поворачивайся. Правда, общество на сходе приговорило, что своим артельщикам, деревенским, на покосе и на молотьбе сделают помощь. Но

помочь для маменьки не резон, не позволит она, чтобы чужие помогали хлеб убирать. На такой случай у нее и ответ имелся: «Коли сам не можешь с хлебом управиться, тогда и на обед помощников кликай, чтобы жевать пособляли».

Но очень уж Митеньке в артели хотелось быть. На твоих глазах, да с твоей работой встанет на бугре церковь красивее шадринской; Роман сам обещал на сходе, что красивее будет, — как таким случаем попуститься? А тут еще подоспела новость. Дюжев пообещал всех артельщиков кормить за свой счет и у себя дома. А кто варить станет? Ясное дело — Степановна, а при ней — Феклуша. Приходи каждый день наравне со всеми и любуйся, сколько душе угодно. С Феклушей у Митеньки никак крепкой нитки не связывалось. Вскоре после Никольской ярмарки он вместе с братьями в дальний извоз ушел, а вернулся, когда уже зимняя дорога пала. Разбежался после разлуки к своей симпатии, а Феклуша его дичиться стала, норовила при редких встречах проскользнуть мимо. Причины такой охлады Митенька не ведал и носил на душе печальную тягость. Она и пересилила боязливость перед строгостью маменьки. Он выбрал добрую минуту и завел разговор. Устинья Климовна, чего никак не ожидал Митенька, даже не дослушала, сразу и согласилась. Сказала, что сама про то думала, что им, Зулиным, не с руки на задках доброго дела бегать, да только одного боится — возьмут ли Митеньку? Вдруг откажут за неумелость — стыда не оберешься.

Митенька на такие слова всерьез осерчал — вида, правда, не показывал. А про себя мыслил: «Это меня-то не возьмут? Да я кому хошь нос утру!» Слова эти, вслух не сказанные, маменька в глазах у него прочитала, ответила:

— Раньше времени-то не хорохорься. Ладно, ступай.

Митенька отправился к Роману. Тот послушал, хмыкнул в бороду и спросил: каким инструментом парень работать собирается?

— Топором, чем еще? — удивился Митенька.

— Сначала, парень, головой надо работать, а после — топором. Уяснил? Теперь топор неси, поглядеть надо.

Митенька сбегал домой, принес топор, подал его Роману. Тот пощелкал ногтем по обуху, послушал. А чего слушать? Топорик каленый, привезенный с Ирбитской ярмарки, звенит — колокольчик под дугой, да и только.

— Ладно, — сказал Роман, — поглядим.

Закатал рукав, обнажил волосатую руку и провел острием по коже. Впритирку. На блестящей кромке топора остался седой волос.

— Держи, — совсем милостиво сказал Роман. — Сейчас вот что сделай... — поставил на попу махонькую чурочку, сам в сторону отошел. — Расколи на две половинки, и чтоб обе ровные были.

Прицелился Митенька — ах! Чурочка разлетелась. Одну половинку к другой приставили, и оказалось — одна побольше, а другая поменьше. А надо вот как! Роман взял топор у Митеньки и обе половинки на четвертушки — ах! ах! Приставили. Две пары до того ровные, будто такими на корню выросли. Митенька пал духом.

— Не беда, — утешил Роман. — Дело наживное, было бы желание наживать. А в артель приходи.

К полудню на небе не осталось ни единой тучи. Земля высохла, воздух накалился и пропитался тяжелым духом смолы.

Роман, а вместе с ним еще три самых опытных плотника, завязали первый венец подклета. Когда четыре бруса улеглись концами друг в друга, накрепко смыкаясь в вырубленных чашах, когда замкнули они собой широкое пространство и на бугре обозначилось будущее основание церкви, все остальные плотники разом побросали работу и подошли поглядеть. Митенька ударил обухом по брус, топор отскочил, едва не выскользнув из рук, а брус отозвался нутряным гулом.

— На крепость пробуешь? — спросил Роман, и сам тоже ударил обухом. — Крепость железная, на два века хватит, не меньше. А может, и поболее. Все, ребята, передых. Пошли к Дюжеву на обед, попробуем разносолов.

### 3

В ограде у Дюжева стоял длинный стол под дощатым навесом. На столе — миски расставлены, ложки разложены, не деревянные, а железные: как-никак, а сам Дюжев обедом кормит. Тихон Трофимыч стоял на крыльце и, дожидаясь артельщиков, в третий раз допытывался у Степановны: чего они там с Феклушей наварили, скоро ли на стол подадут, да не мало ли, вдруг на всех не хватит? В первый раз Степановна

ответила, что она не первый день у печки стоит, во второй раз — поджала губы и промолчала, а в третий раз совсем осерчала и выговорила хозяину:

— Ты, Тихон Трофимыч, хуже свекровки — то да потому, то да потому, а я что — без головы живу? Своими делами занимайся, я со своими сама управлюсь!

И так сердито мимо протопала, что толстые доски, нащенные в ограде, прогнулись под ней, закричали, а после долго не могли выпрямиться. Тихон Трофимович тоже покряхтел, но Степановне ничего не ответил. Что тут скажешь! Он и сам дивился своей дерганой хлопотливости, когда дело, даже самое чутешное, касалось будущей церкви. С ней он, еще не построенной, сроднился так, будто стояла она на бугре давным-давно. По той же причине, из-за неясного опасения, откладывал отъезд в Томск, где ждали срочные дела. «Успею, — думал он. — День-другой дела потерпят. Останусь тут, присмотрю». Хотя понимал, что присматривать никакой нужды нет: Роман во всем проявлял старательность, смекалку и дюжевский догляд ему не требовался.

Вышел из дома Вахрамеев, встал на крыльце позади хозяина и в спину ему забыл:

— Тихон Трофимыч, изволили возчикам по полтиннику платить, я прикинул — много выходит... Не надо бы их баловать. Войдут во вкус — не остановишь, станут глотки драть, по рублю потребуют...

— Плати, как я сказал.

— Оно, конечно, воля ваша, своим деньгам вы сами хозяйева, но церква эта — одно разоренье. Лучше бы пароход купить, да прибавочное дело завести, как другие, вам бы...

— Да не тяни ты душу с меня! Сказано — делай! Ты почему такой жадный, братец, а? — Дюжев повернулся и уставился на своего приказчика, словно в первый раз видел.

Вахрамеев потрогал бородавку на носу и ответил:

— Я не жадный, Тихон Трофимыч, я по-разумному рассуждаю, хочу от лишней траты вас оберечь.

— Ты берегай, берегай, только не гунди мне под ухо. Сходи лучше артельщиков на обед позови, время пришло.

Но звать артельщиков не потребовалось. Роман распахнул калитку, шагнул в ограду и вольно поклонился Дюжеву. От-

ступил в сторону, пропуская остальных, а Митеньку, который стеснительно замешкался, подтолкнул в спину — шире шагай, не озирайся. Сам же к столу подошел последним и примостился с краю. Когда все артельщики расселись, занял почетное место во главе стола и Тихон Трофимыч. Гнутый венский стул, вынесенный по такому случаю из дома, сухо крикнул под грузным телом, но сдюжил.

Пока Феклуша разливала похлебку по мискам, Тихон Трофимыч сам резал хлеб. Ребром прижимал необъятный каравай к груди и отваливал от него такие ломти, которыми можно было закрыть, как крышкой, любую миску. Похлебку хлебали молча, без разговоров, — промялись. Кашу ели степенней, успевая похваливать Степановну и Феклушу, а когда уж принялись за кислое молоко и ложки стали помелькивать реже, с расстановкой, тогда завели и речи. Первым, как и положено, заговорил хозяин:

— Лес-то хорош, Роман Иванович?

Роман облизал ложку, распустил пошире кожаный ремешок на животе и ответил, как он отвечал Дюжеву, наверное, в десятый раз:

— Лес, Тихон Трофимыч, добрый. Звонкий лес, вылежался. Думаю, оплошки не будет. Подклет завязали, теперь вверх пойдем.

Другие плотники, которые постарше, тоже вступили в разговор: как матицы класть, чтобы потолок высоко не поднимался, как стропила с углов восьмерика выводить, да как сам восьмерик не завалить — все обговаривали, до последней мелочи.

Вахрамеев за стол не садился, стоял на крыльце, слушая разговор плотников с хозяином, гладил бородавку на носу и морщился, будто ему в рот напихали кислой ягоды. Постоял так, постоял и ушел в дом.

Митенька общего разговора не слышал, у него другое на уме было: глазами так и зыркал за Феклушей, куда бы та ни пошла. Феклуша, чуя на себе его взгляд, иногда украдкой озиралась, и Митенька едва не подсигивал на скамейке. У него даже в ушах начинало гудеть. Узнать бы — почему она в прятки играет с ним? Что за причина?

— Приснул, парень? Эк тебя разморило с угощенья. Слышь, нет? Оглох, сердешный?

Прокатился над столом добродушный, сытый смешок. Митенька вскинулся: что, его спрашивают?

— Тебе, тебе, парень, толкую, — смеялся Роман. — Первый раз вижу, чтоб с открытыми глазами задремывали.

— Я не дремал! — стал оправдываться Митенька.

И снова — смех.

— У него другая дрема... — значительно сказал Дюжев и поднял вверх палец: знаю, мол, а не проболтаюсь. Митенькины переглядки с Феклушей он давно заметил, даже вздохнул потерянно, вспомнив давний ужин в доме Федора, себя и Марьяшу, разваленную по полу картовницу и перевернутую сковородку. Было иль не было? Куда сгнуло? Было, было и никуда не сгнуло — в душе осталось. Он покачал головой, соглашаясь со своим нехитрым ответом, и поспешил на выручку Митеньке:

— Ты не тушуйся, Митрий, тебя Роман Иванович про дело спрашивает.

— Ну, — подтвердил Роман. Застегнул на рубаше все пуговицы, готовясь встать из-за стола. — В кружало рубить можешь?

— Да я не пробовал, — покраснел Митенька.

— Значит, учить станем. Пошли, ребята. Спасибо, Тихон Трофимыч, за хлеб, за соль, дай Бог тебе здоровья, а нам — силы да терпенья.

Скоро на бугре снова заговорили топоры.

#### 4

Утром Васька и Петр поехали рубить жерди. Тихон Трофимыч углядел, что крыша в деннике прогнулась и погнула, велел ее перекрыть. Хозяин сказал — работникам делать. И хотя с утра крапал дождик, откладывать на другой день не стали. Не сахарные, сказал им Тихон Трофимыч, не размокнете. Оно, конечно, не сахарные, но пока ехали вдоль Уени, пока миновали елань и добрались до молодого сосняка, вымокли до нитки.

В сосняке лошадей выпрягли, набросили им на передние ноги путы и пустили пастись. Сами же развели костерок и решили обсушиться. Мокрые сучья горели плохо, и Васька с Петром не столько обсушились, сколько наглотались дыма. С досады плюнули на зряшную затею, взялись за топоры. К обеду напластали жердей на два полных воза.



Дождик к тому времени кончился, в сосняке поднялся теплый пар, а вместе с ним — злой и голодный комар. Он подстегнул работников, и они махом вытаскали срубленные жерди на опушку, где обдувал ветерок.

Снова запалили костер, достали харчишки, прихваченные из дома, и, только захрумкали первыми свежими огурцами, как за спинами у них кто-то вкрадчиво кашлянул. Обернулись разом, и видят — стоит косматый мужик с длинной бородой, которая свалаялась, как пакля. Одежонка на нем — как решето, будто цепные кобели драли. На длинной ляжке — холщовая сумка через плечо. Пустая. А в руках — ружье. Приклад — под мышкой, цевье — на ладони. Понимай, как хочешь. Может, просто держит так, для удобства, а, может, наизготовку взял. Васька крадучись потянулся к топору.

— Не балуй! — осадил его косматый мужик. — Не балуй!

И чуть-чуть ружье приподнял. Черная дырка ствола оказалась на уровне Васькиной переносицы. Он торопливо отдернул руку.

Петр не шевелился. Смотрел на мужика и улыбался, словно хотел без слов утихомирить его: «Не пугай нас, остепенись. Скажи, что надо, а мы услышим». Мужик опустил ружье, переступил ногами, обутыми в опорки, строго спросил:

— Который из вас Алексеич по батюшке?

— Я, однако, буду, — не переставая улыбаться, откликнулся Петр. — Какая нужда привела?

— Я тебе одному скажу. Ты, кудрявый, сбегай к лошадям, глянь за ними, а мы пока лясы поточим.

Васька поднялся, пошел к лошадям, переставляя отяжелевшие ноги, как ходули. «Путы с коня скину, скакну, и — поминай, как звали. Не с руки мне с этими каторжанцами». Васька знал, из каких мест явился к Дюжеву новый работник. Хозяин сам ему рассказал, наказав держать язык за зубами. И еще наказывал смотреть за Петром в оба глаза. А чего за ним смотреть: лишнего слова не скажет, работает исправно, свободная минута выдаться — ляжет на топчан, заведет руки за голову и мурлычет под нос никому не понятное: то ли песню без слов ведет, то ли разговор... Подбивал его Васька вина выпить, но Петр отнекивался. После этого Васька потерял к новому работнику всякий интерес. Живет и живет...

А оно, видишь, как вышло!

Конь стоял совсем рядом. Васька напряжился, прогоняя тяжесть в ногах и цепко высматривая — с какой стороны ловчее зайти?

— Эй, кудрявый! — властно окликнул его мужик. Васька оглянулся, и мужик погрозил ему грязным пальцем: — Не вздумай скачки устраивать. Догонять не побегу — жакан догонит.

Ноги снова отяжелели, Васька отошел подальше от коня. Чтобы не дразнить мужика, стоял к нему спиной, пытался подслушать разговор, но ни единого слова разобрать не смог.

Скоро Петр позвал его. Васька глянул из-за плеча, а мужика уже нет — как корова языком слизнула. Исчезли вместе с ним и недоеденные харчишки, даже горькие попки от огурцов, которые валялись в траве. Крепко, видно, бродяга наголодался.

Петр сидел на прежнем месте и улыбался, как ни в чем не бывало.

— Наговорился? — спросил его Васька, понемногу приходя в себя, избавляясь от тяжести в ногах. — Знакомцы у тебя... Увидишь и обхезашься. Ладно, пойдем жерди накладывать, ехать надо.

Петр крутил в руках сосновую веточку и не шевелился, будто не слышал. Вдруг вскинул голову, глянул снизу вверх и негромко сказал:

— Василий, поедem на бал...

— Куда-а-а?

— Мещерские бал сегодня дают. Вечер, снег, фонари, экипажи у подъезда — праздник! Душа ликует... Шпоры по паркету — цок, цок... И она — Танечка Мещерская. Она так смотрит, такие у нее глаза, что можно умереть, улыбаясь, — но сам Петр, неся непонятную для Васьки околесицу, не улыбался. Был серьезен и строг. Поднял глаза в небо, словно хотел высмотреть то, о чем так непонятно говорил. — И вот уже музыка на хорах... Скрипки... А глаза зовут, ждут...

Петр резко поднялся, вытянулся, как струна на балалайке, и Васька, окончательно дуря от того, что видел, не узнал своего напарника. Сидел один человек, а когда поднялся, оказалось — совсем другой. Подбородок вздернут, левая рука заведена за спину, ноги в броднях — пятками вместе, носки

врозь, плечи развернуты, и ожидалось, что весь он, стройный, напряженный, вот-вот зазвенит. Шагнул, низко опустил голову, доставая до груди подбородком, заговорил:

— Если вы не изволили забыть, вы обещали мне подарить сегодня первый тур. Все дни я жил только вашим обещанием... — тут он поднял левую руку, правой — будто кого обнял, и пошел кружиться на одних носках по опушке. Легко, невесомо. Говорил, не прерываясь: — Вы не находите, что сегодня чудесный вечер, я мечтал о нем. А вы думали, что я не умею мечтать? О, я неисправимый мечтатель, к сожалению. Вы так хотите знать? Что ж, извольте. Я мечтаю, чтобы до утра длился этот танец, а утром мы бы сели на тройку и — в деревню. Помните? Приют труда и вдохновений, если не ошибаюсь...

Внезапно Петр остановился, захохотал и упал на спину, раскинув руки.

«С ума съехал. Говорят, с испугу такое бывает, заговариваются. Чо делать-то?» — Васька дергался то в одну, то в другую сторону, не насмеливаясь подойти к Петру. Тот лежал, как умер, закрыв глаза, а губы, всегда улыбающиеся, были плотно сомкнуты. Все-таки Васька насмелился, подошел. Петр открыл глаза, поднялся и обычным голосом сказал:

— Пойдем, Василий, жерди накладывать.

Два воза накладывали они очень долго. Петр то и дело отдыхал, жерди таскал, как сонный, а когда Васька, уложив и увязав свой воз, стал ему помогать, он просто отошел в сторону и сел.

«Как я сразу-то не смикитил! Он время тянет, чтобы мужик тот подале убрался. Бойтся, что я доложу и погоню учинят. Ясное дело — повадки каторжански, за один присест не поймешь. Ну жох! Выплясывал, а я уши развесил!» — Васька понимал, что ему давно в деревне надо быть, рассказать об увиденном, но — не хотелось скакать, сломя голову, не хотелось рассказывать. А почему — он и сам не знал.

Домой тронулись после обеда. Забравшись на воз и разбирая вожжи, Петр попросил:

— Ты не говори хозяину. Забудь, что видел. А... — махнул рукой, — как знаешь.

Васька отмолчался, и до самой Огневой Заимки они не проронили ни слова.

Через великую неохоту, а деваться все равно некуда — Васька Дюжева за отца почитал — рассказал о том, что случилось на опушке.

— Зови его! — сразу распорядился Дюжев.

Но звать уже было некого. Петра нигде не нашли, и никто не видел, куда он скрылся.

Догонять и искать его Дюжев не стал: решил, что себе дороже.

## 5

Через три дня Тихон Трофимович выехал в Томск. Дела तोпили, и больше откладывать их было никак нельзя. Отъезжал он с тяжелым сердцем, с непонятной тревогой, сердился, а когда на выезде из деревни коренник споткнулся и едва не опрокинул возок, пригорюнился: «Никак старость знак подает. Ты, мол, Тихон Трофимыч, не хорохорься, а полезай на печку кости греть». Но тут же и усмехнулся своим мыслям: рано на печку, рано. В это самое время долетел до него стук топоров, не умолкавших на бугре. Он ободрился и даже повеселел.

С тем и отбыл.

В Томск приехали вечером, когда косые лучи закатного солнца окрасили окна домов на окраине розовым светом. Мимо городского кладбища выкатили на Иркутскую улицу и в скором времени были уже на Белозерской площади, где прогуливался праздный люд. Летние зонтики, цветные наряды барынь, играющее закатными отблесками Большое озеро — все это сливалось в глазах, пестрело и казалось, что в городе праздник.

— От живут люди! — воскликнул с облучка Митрич. — Слышь, Тихон Трофимыч, гляжу и мыслю: у них что, круглый год Пасха?

Дюжев не отозвался. Он уже думал о городских делах, подзапущенных после долгой отлучки, беспокоился, и было ему не до разговоров с Митричем.

А вот и дом.

Как и положено купцу второй гильдии, Дюже в ставил свой дом основательно, крепко и немножко с похвальбой: первый этаж — каменный, второй — деревянный, о двенадцати высоких и узких окнах. Наличники и карнизы, а также углы, застелены были тонкой, ажурной резьбой. Богато, пышно, словно не из дерева вырезали, а из мягкой шерсти ткали витиеватые кружева.

На первом этаже был магазин. Широкие окна, служившие одновременно и витринами, приказчики уже успели закрыть железными ставнями. «Рано торговать бросили, рано, — подсадовал Тихон Трофимыч, тяжело поднявшись на крыльцо и дернув веревочку колокольчика. — Разбаловались без догляду, надо будет хвоста накрутить».

Но вошел в дом и забыл о припасенной строгости. Да и как не забыть, если прислуга доложила, что его дожидается настырный посетитель, который сидит с утра и никуда не собирается уходить. «Кого еще там черти притащили?!» Тихон Трофимыч распахнул дверь в прихожую и на порожке запнулся. Вот те новость! Навстречу ему поднялся со стула Петр. Поздоровался и, как всегда, улыбнулся, словно хотел извиниться: «Так уж получилось, Тихон Трофимыч, не обессудь».

Одет он был в новую пиджачную пару, тугой крахмальный воротник манишки подпирал гладко выбритый подбородок, туфли на ногах блестели, а в руках Петр держал шляпу и тросточку. И держал так, что было ясно: хаживал он раньше в шляпе и с тросточкой. «Ну, груздь, — невольно подивился Тихон Трофимыч. — Интересно, в каком бору ты вылупился?» А вслух сказал:

— С чем пожаловали, господин хороший?

— Разговор у меня имеется, Тихон Трофимыч.

— Шибко ты разговорчивый, как я гляну. Ладно, еще раз послушаем. Чего врать станешь?

Петр сел на стул, ногу — на ногу, а шляпу — на колено. И тросточкой в пол — тук, тук... Тихон Трофимыч обозлился:

— Ты, парень, не красуйся здесь. Говори, что хотел, и чтоб больше глаза мои тебя не видели. Еще раз объявишься — на себя обижайся, сдам властям, как миленького. Понял, что сказано? Или повторенье требуется?

— Погоди, Тихон Трофимыч, погоди. Для начала, для ясности — я ведь обещание дал Зубому, что оберегать тебя буду. Оберегать же тебя требуется по простой причине: глаз на тебя положили. Зимой, как я знаю, обоз разгрохали, а по весне — магазин на Ушайке.

Тихон Трофимыч насторожился, не перебивал. Петр говорил верно: после случая с обозом на один из дюжевских

магазинов, действительно, налетали воры. Хряпнули гирькой задремавшего сторожа, вывернули замки и запоры, прошлись по магазину, как стадо. Не столько унесли, сколько изорвали, изломали и напакостили. Ладно, что сторож оклемался, выполз на улицу и заблажил. Варнаки, спугнутые криком, покидали, что успели, в возок, и унеслись. Ищи ветра!

Сторож ничего вразумительного не рассказал. Ударили — обеспамятел, а очнулся — скорей на помощь звать. Даже не разглядел, кто такие, во что одеты, одно лишь видел — тройку. Про нее и твердил в участке, дотрагиваясь пальцем до грязной тряпицы, которой обмотал ушибленную голову.

Темное дело, и концов тогда не нашли.

— А самое главное, — неторопливо и обстоятельно продолжал Петр, — сегодня ночью опять гости должны явиться.

— Куда? — опешил Тихон Трофимыч.

— Да вот сюда, — Петр постучал тросточкой в пол. — Сообщай, Тихон Трофимыч, в участок, пусть засаду делают. А я пока спрячусь: мне, сам понимаешь, с полицией чай не пить.

Петр ловко надел шляпу, поднялся со стула и выставил тросточку, собираясь уходить, но Дюжев проворно встал у него на пути и осадил:

— Все, милый друг, хватит! Я тебе не девка, чтобы ты мне загадки загадывал. Не выпущу, пока все не выложишь. Говори, как на духу!

— В участок тебе поспешать надо, Тихон Трофимыч, а мне уходить. Я через недельку вернусь, все расскажу...

— Не выпущу! — уперся Тихон Трофимыч. — Рассказывай по порядку: кто, что и как?

— Время не ждет, Тихон Трофимыч. Сам себе навредить хочешь? — Петр говорил негромко, рассудительно, с обычной своей извиняющейся улыбкой. И улыбкой этой чуть остудил Дюжева, но не настолько, чтобы тот поверил до конца. Он так и сказал:

— Не верю я тебе! Хватит за нос водить! Ступай, братец, в подвал. Сиди там и жди. Коли обманул, я тебя тепленьким в полицию сдам.

Тихон Трофимыч попятился к двери, отпихнул ногой одну створку, крикнул приказчиков. Те явились, как два молодца из сумки, — мигом. Петр оглядел их, крепких, широкоплечих, и, покачав головой, послушно вышел из прихожей, послушно

направился в подвал. Когда за спиной у него с глухим стуком захлопнулись тяжелые двери, окованные железными пластинами, он снял шляпу и присел на корточки в темный угол. По каторжанской привычке ему легче думалось в таком положении. А подумать надо было о многом.

Думал и Тихон Трофимыч. Верить или не верить? В конце концов решил: береженого Бог бережет.

И отправился в полицейский участок.

Пристав Боровой был еще на службе. Сидел в своем кабинете, по-домашнему расстегнув мундир, и пил чай. А до чая, наверняка, отведал напитка покрепче, о чем свидетельствовала широкая, как у быка, шея, налитая ярко-красным цветом, и такое же широкое лицо с коротко подстриженной бородой, сплошь покрытое алыми мятежами. Славился пристав бешеной силой, был хитрым, как старый лис, и не дурак выпить. А еще слыл мастером на всякие шутки, которые со временем, обрастая небелью, передавались томскими жителями, как легенды. Одна из них родила и заглазное прозвище Борового — Ваня, Не Сади Медведя. А дело так было.

Лет десять назад — Боровой служил тогда исправником в Нарыме — мужики везли зимой бочку спирта для казенных надобностей. Везли в самый накал крещенских морозов, когда плевков мигом застывает и звякает об дорожку льдинкой. Чтобы согреться, принялись мужики отцеживать из бочки хмельную влагу. И столько ее наотцеживали, что уже не знали, как оправдаться — слишком убыль была заметной.

Решили клясться, что спирт на морозе вымерз. Но клясться не пришлось, оправдательный случай сам подоспел. У зимовья, последнего перед Нарымом, оставили они бочку на улице, а утром, когда вышли, — остолбенели: бочка с саней свалена, дно у ней выхлестнуто, а рядышком медведь-шатун спит, так крепко, аж всхрапывает. Мужики налетели, оглушили пьяного медведя, связали его и доставили в Нарым, как преступника. Боровой мужиков за полоротость отmaterил, затем хитро прищурился и хохотнул:

— Если бы он всю бочку вызузил, он бы сдох на месте! А, православные?

На что мужики резонно ему возразили: часть-то зверь выпил, а другая часть на снег вытекла. Боровой подвинулся

к мужикам поближе, повел красным, мясистым носом, лоя знакомый дух перегара, снова хохотнул и отдал строгую команду — медведя посадить в каталажку за разбойное нападение и завести на него дело о нарушении питейного устава.

Что и было исполнено.

Медведь, прикованный на цепь, очухался в каталажке и заревел благим матом, жалуясь на людей и людское начальство. А тут, как на грех, из губернии высокий проверяющий прикатил. Спрашивает — что за рев? Боровой, как и положено примерному служаке, вытянулся в струнку и отрапортовал: медведь ревет, посаженный за разбой и нарушение питейного устава. Веди, говорит высокий проверяющий, показывай. Повели, показали. Полюбовался высокий проверяющий на невиданную картину и выдал свой приказ, еще суровой и смешней: «Ты, сукин сын, видно, в отместку заточил зверя, он, видно, тебе, такому-рассякому, взятку не дал!» Да и шарахнул Боровому выговор служебный, с денежным начетом. Еще и приговаривал: «Не сади медведя, не сади медведя!»

Хоть Тихону Трофимычу и не до смеха в этот раз было, но, грешным делом, не удержался и ухмыльнулся, вспомнив старую байку.

— А вот и честной купец пожаловал! — радушно встретил его Боровой. — Чем обрадуешь, Тихон Трофимыч?

— Шибко радовать нечем, — Дюжев присел напротив пристава и выложил все, что сообщил ему Петр. Об одном умолчал — о самом Петре. Сказал, что новость принес какой-то бродяга, который тут же исчез.

Боровой посуровел, чашку с чаем — в сторону, горой вздыбился над столом и застегнул мундир на все пуговицы. Маленькие, косо посаженные чалдонские глаза заблестели, а голос стал резким и отрывистым:

— Ступай домой и жди. Как начнет темнеть, с черного хода наспустишь. А дальше — не твоя забота.

## 6

Явился Боровой с двумя полицейскими. Тихона Трофимыча отправил наверх, в дальнюю комнату, полицейских положил на пол в магазине, чтобы лишний раз не маячили, приказчикам велел сидеть в зале и не рыпаться, пока не позовут. Сам распо-

ложился в прихожей. Ходил он, огромный, как гора, по-кошачьи, неслышно. Ни одна половица под ним не скрипнула.

Стемнело. В доме никто не спал, а тишина стояла, как в могиле. В полночь у крайнего окна в прихожей зашебаршали. Боровой беззвучно, как тень, передвинулся в угол и замер. Трудились варнаки сноровисто: плеснули на железный пробой масла, неслышно подпилили змейкой, поддели фомкой — хрусть! Переждали — не слышит ли кто? Распахнули деревянные ставни. К одной половинке окна, к стеклу, протянулись две широкие ладони, прилипли. Захрустел стеклорез. «Медом намазали...» — сразу догадался Боровой, вспомнив старый воровской способ: ладони мажутся медом и приставляются к стеклу, затем стеклорезом — хрр, и стекло, приклеившееся к ладоням, аккуратно вынимается. Чистая работа. Если бы не знатье — стоял бы в пяти шагах и ничего не слышал.

Первый варнак заскользнул через окно в прихожую. Оглядываясь, вышел на середину и остановился, ожидая напарника. Боровой, таясь в углу, потянул на себя штору. Боялся, что его обнаружат раньше времени, а допустить этого никак нельзя: хоть и оставил на улице засаду, но спугнешь — брызнут в разные стороны, гоняйся после за ними.

Второй варнак запаздывал. И тут случилось, чего и подумать никто не мог: один из полицейских задуманно чихнул. У варнака в руке блеснул нож. Эх, язвы ты в душу, всю малину испортили! Боровой одним прыжком вымахнул из угла, на ходу зацепил варнака кулаком в голову и, закрыв лицо руками, с разбегу выломил плечом раму, вываливаясь на улицу. Ночная тишина огласилась свистками и топотом.

Но схватить удалось только кучера, которого сдернули с коляски, стоявшей неподалеку от дюжевского дома. Притащили его, насмерть перепуганного, в дом, зажгли лампу, и Боровой, глядя на него, аж плюнул с досады — узнал одного из томских извозчиков. Отопрется ведь, сучий сын, скажет, что наняли, велели подождать, а что за люди, по какой надобности, знать не знаю и ведать не ведаю... Ну, беда! А где варнак?

— Дак это... — виновато переминался с ноги на ногу чихнувший полицейский, — это самое... рука у вас, господин пристав, дюже тяжелая... В ножку стола, прямо темечком, и дух — вон!

Боровой, с матерками, — в прихожую. На полу, у стола, лежал бородатый варнак, по-детски подвернув под себя руки и выставив локти. Рядом валялся кривой нож с тяжелой наборной ручкой. Курчавые, темные волосы варнака подмокли кровью, а из-под затылка у него далеко по крашеной половине выкатилась кривая и алая полоска.

Попробуй теперь дознайся, кто он таков и где остальные... Эх, умыли Борового!

## 7

На хозяйстве, как и заведено было, Дюжев оставил вместо себя Вахрамеева. Тот каждый день приходил на бугор, садился на чурочку, смотрел на плотников. Морщился, хмыкал, думая о чем-то своем, и, посидев, уходил. Дома ворчал на Степановну, на Феклушу, на Ваську, всякий раз отыскивая за ними огрехи, и в конце концов так надоел всем троим, что они перестали его слушать — гундит, и пусть гундит. Ни жары, ни морозу от его гундежа нету.

В доме без хозяина стало скучно. Если бы не Васька, гораздый на проказу, мухи бы и те перемерли. А додумался он вот до чего.

Ночью подобрался к окошку вахрамеевской комнатенки, сунул за наличник гвоздь, к гвоздю привязал веревочку, а к веревочке, на малом расстоянии от наличника, — увесистый камушек. Получилась стукалка. Васька залез в огород, за прясло, посидел там, дожидаясь, когда Вахрамеев покрепче уснет, и давай за веревочку дергать. Камушек по стеклу — стук, стук... В комнатенке белое замельтешило. Васька веревочку натянул, подождал. Белое улеглось. И опять — стук, стук... Вахрамеев боязливо выбрался на улицу. В руке у него поблескивал топор. Долго шарился под окном, но камушка на веревочке не разглядел и убрался в дом. Лампа погасла. Васька, закусив рукав рубахи, чтобы не прыснуть, по новой, да ладом — стук, стук...

Теперь в доме уже две лампы загорелись. На подмогу Вахрамеев призвал Степановну и Феклушу. Испуганно перекликаясь, они долго топтались втроем у окна, обходили вокруг дома, пока Степановна не заругалась: «Стучатся к ему! Да кому ты нужон! Вредность твоя в голову стучит, або моча ударила!»

«На седни хватит, — решил Васька, — а то замордует баб за ночь». Смотал стукалку и отправился спать на сеновал.

На следующий день Вахрамеев подступил к Ваське с распросами — где он ночью был?

Васька покаянно опустил синие глаза, вздохнул и признался:

— На бабе был, на сеновале лежали. Слышал, как ты меня звал, а оторваться не мог, баба не пускала, зараза. Завтра приведу, тебе отдам, чтобы черти не блазнились...

Вахрамеев плюнул и отступился.

А Васька вечером помылся в бане — суббота как раз была — нарядился, расчесал кудри и отправился на вечерку. Поскрипывали на нем новенькие сапоги — знатные: меж каблук и подошвой сухая береста вложена для громкого голоса, на вышитом пояске гребень покачивался, алая рубаха словно огонь светилась. В такой рубахе хочешь не хочешь, а поведешь плечами, играясь, — знай наших, мы таковские!

На вечерки летом собирались на берегу Уени, ниже бугра под старыми ветлами. Пятачок там до того был утрамбован плясками и хороводами, что трава на нем не росла, а земля под каблуками гудела, как деревянная. Слышались от ветел треньканья балалайки и манящие, внезапные, как птичьи вспорхи, девичьи смешки. Васька круче заводил плечами, беспокойное утро его загорелось, требуя выхода. А вокруг лето цветет, в самом своем истоке, травы пахнут, от земли сладкий дух накачивается — дурманит, кружит. Эх, жизнь, кучерявая да длинная, век бы тебе не нарадоваться! До того восторг вызрел — никуда от него не деться! — что Васька крутнул головой — не видит ли кто? — спружинил ногами, подпрыгнул, и еще раз, еще выше, словно улететь хотел в небо и достать круглый купол кудрями. Но и этого мало — томит восторг. Тогда Васька в третий раз — вверх! и от всей души, во всю моченьку: э-эаа-аах! Так звонко, накатиисто крикнул — самому уши заложило.

И дальше пошел. Степенно, со скрипом, поигрывая плечами.

На пяточке Васька протолкался в круг, ногу в новом сапоге отставил — на пятку, и надраенным, блескучим носком — в обе стороны, для шику. Поясок на гребешке крутит, лыбится, а сам на девок — коршуном. Девки — как цыпушки разноцветные, выбирай любую, только не промахнись. Васька нацелился на Аньку Шамаеву и заиграл глазами, заворазивая.

У Нюрки от этих поглядок земля поплыла под ногами, вертучей сделалась, как долбенка на дурной воде. И нет под рукой упора, ухватиться не за что, выскользнет долбенка, тонуть придется. А тонуть не страшно, вода теплая, ласковая...

Васька бросил гребешок на пояске крутить, носком сапога туда-сюда мотать перестал, готовясь козырным тузом подкатить к Аньке, но тут его сзади за рубаху потянули. Что за оказия? Кто такой прыткий? А это — Митенька Зулин:

— Пойдем, два слова сказать хочу...

Эх, не ко времени! Но Митенька не отстаёт, тянет за рубаху. И чего такого спешного телку лопухому понадобилось? Вышел следом за Митенькой из круга.

— Васька, покличь Феклушу на улицу.

Вон она, печаль какая! У Васьки на языке сразу же срамная поговорка загозила, но глянул на Митеньку и осекся. До того парень расстроен был и горем убит, что даже губы подрагивали. Да разве можно из-за девки так сердце томить? Васька не понимал, в его голове такое расстройство не помещалось. Но Митеньку почему-то было жаль. Ладно, Анька, пока он ходит, состариться не успеет.

— Пошли.

Феклушу на улицу Васька в два счета выманил. Сказал, что Романа по дороге встретил, а тот велел дочери срочно домой показаться. Феклуша поверила, следом за ним — порх за ограду, а там уж Митенька дожидался. Остановилась, как на заплот налетела. Замерла.

— Счастливо ворковать вам, — Васька изогнулся, кланяясь им, и подался на пяточок, подергивая плечами и звонко поскрипывая сапогами.

Митенька с Феклушей остались вдвоем на пустой улице. Надо было говорить о чем-то, а слов не было. Потерялись слова, спрятались. От горькой досады Митенька совсем отчаялся и сделал такое, о чем раньше и помыслить не насмеливался. Обхватил Феклушу за плечи, ткнулся губами в щеку — поцеловал. Она ойкнула, уперлась руками в грудь, но Митенька руки перехватил, пересилил слабую девичью силу и повел Феклушу за собой. Она упиралась, пыталась не давать ему хода, но вдруг безнадежно вздохнула и пошла послушно, как на веревочке. Молча миновали они шумливый пяточок, сделав длинный круг,

чтобы их не увидели, и скоро оказались на бугре, у бревен, от которых и в прохладе крепко припахивало смолой.

Митенька нырнул под бревна, вытащил махонький узелок. Положил на обе ладони, словно хлебный каравай, подал Феклуше.

— Тебе, гостинчик привез... — сказал первые слова, а дальше, как запруду прорвало. Понесло, понесло — откуда что бралось. Говорил Митенька: он еще в тот раз, когда в лавке увидел, новую кофту ей пожелал купить, но случая ему не выдалось, а в Томске в извозе был и купил, а Феклуша на него не глядит, а сердце болит, какой уже месяц ноет, и в ум он взять не может, почему Феклуша к нему такая неласковая, он ведь всей душой к ней, а тут еще маменька разговоры про женитьбу заводить стала, а ему без Феклуши — край, не будет без нее жизни...

Феклуша узелок прижала к щеке, голову наклонила, слушала. В ответ — ни слова. Митенька потянулся, еще раз поцеловать насмелился, а у нее — слезы на щеках, соленые. Отпрянул, потух. И сел на бревно — ноги подкашивались.

— Ты... ты... — Феклуша сглотнула тугой комок, — ты почему не сказал, что в извоз уехал? Я же не знаю, до сухоты извелась, а тебя нет и нет. Я подумала, что ты обманной.

— Да я хотел, подошел, а там Васька в ограде, Дюжев — не насмелился я...

И осекся Митенька. Теплая девичья ладонь легла ему на голову, перебирала волосы, гладила и сверху, на горячий лоб парню, слезы легкие — кап... И шепотом:

— Пропала я, миленький, совсем пропала. Снял ты с меня голову неразумную...

## 8

Ночь на свою вторую половину скатывалась. Митенька с Феклушей стояли у дюжевской ограды и никак распрощаться не могли. Васька досыта намиловался с Анькой Шамаевой, возвращался домой и раздумывал: изладить Гундосому стучалку или не надо? Издалека разглядел в потемках любезную парочку и остановился: напугать или не надо?

Но в этот раз ничего придумать не успел.

— Ой! — пискнула Феклуша и поперхнулась. Дернула Митеньку за рукав и долгим визгом огласила Огневу Заимку: — Гори-и-и-т! Горит, ой, мамочки!

И разом, все трое, усталились на бугор. А там взметывалось, на глазах вырастая, безмолвное пламя. Шире и выше. Струились отсветы, полого ложась на темную синь неба. Из пламени вывинтился черный столб дыма и ударил ввысь, разрываясь на излете в грязные лохмы.

— Гундосого буди! — Митенька толкнул онемевшую Феклушу к калитке. — Людей поднимать надо!

Вспомнил про било, которое висело у сборни. Хотел бежать туда, но его опередил колокольный звон. Взлетел, неизвестно откуда, огласил жителей Огневой Заимки. Звенел, не утихая, пока не откликнулись ему в разных концах деревни испуганные, заполошные голоса.

Проснулась Огнева Заимка, вскинулась в тревоге и выскочила из изб.

Митенька вбежал в дюжевскую ограду, схватил две лопаты, что у амбара стояли, и бегом — на зарево. За воротами столкнулся с Васькой, и они вдвоем махом махнули по светлеющей улице, выскочили на бугор, к бревнам. В лица им дохнуло нестерпимым жаром — волосы затрещали. Парни отскочили, а бревна, вслед им, с ружейным треском — искрами. Горели не только бревна, горел и срубленный уже подклет. Все горело, вздымаясь огнем и дымом, с гулом уходя в небо.

Набегал народ. От речки в ведрах тащили воду. Замелькали багры.

— Бревна! Бревна растаскивай! — захлебываясь, кричал Роман, одетый в одно исподнее и босой.

Васька с Митенькой опрокинули по ведру воды на себя и с лопатами — к бревнам. Полетели в огонь пластики земли, будто крошки в необъятную пасть. Но подоспели на подмогу другие мужики, лопаты замелькали чаще, и огонь нехотя присел. Тогда пошли в ход багры. Длинные бревна, пыхающие искрами, раскачивались в разные стороны, и они сжигали траву до самого корня.

— На подклет! На подклет, мужики! — голосил, не щадя глотки, Роман. — Тут бабы погасят! Подклет спасай!

Навалились на подклет с четырех сторон. Сбили пламя, стали растаскивать сруб, а он — ни в какую. Близо не подскочишь, а багом издали не вывернешь — на совесть были венцы связаны, накрепко.

Так и догорел сруб, с треском откидывая от себя угли.

Огонь добивали долго. Под утро, когда уже стало светать, пламя на бугре опало, но бревна и сруб шаяли, испуская угарный едучий дым. Кашляя, отплевываясь, люди потянулись к реке. Жадно пили, смывали с себя сажу и копоть, переключались, узнавая друг друга.

Над Уенью вставало солнце, дивилось, глядя на черное пепелище.

Роман, пока был в запале и бегал по пожару, поджарил босые ноги. Когда обмылся и горячка схлынула, оказалось — ступить нельзя. Тогда вывернул обе ступни внутрь, чтобы раны не мять, и потащился на бугор. Исподнее на нем было черным-черно. Его окликали — куда полез? — предлагали пособить, но Роман не отзывался. Царапался наверх, вывернув колесом ноги, охал при каждом шаге и ругал себя самыми последними словами: в суматохе совсем из ума выпало, что крест недалеко от бревен стоит, а под крестом — родительская икона. Ах ты, голова садовая, разве можно такое забыть?! Полез на бугор еще быстрее. Наглотался едучего дыма, глаза заслезилась, но когда добрался, все сразу и ясно увидел: крест стоял целым-целехонький, а под ним — икона в полной сохранности. Даже восковой наплыв от свечи не растаял. Роман дотянулся до него пальцами, а воск — прохладный. «Чудеса, Господи!» — только и прошептал он, оглядываясь по сторонам. А вокруг, сажени в полторы от креста, трава выгорела, земля дымится. У креста же трава нетронутая, даже не опалилась. Роман опустился на колени — сил уже не было навыверт стоять — и долго смотрел на икону, заглядывая Николаю-Чудотворцу в суровые глаза.

После пожара, — а дышал он и дымил еще целый день, пока к вечеру не прибил его окончательно легкий дождик, — в Огневой Заимке только и говорили про колокольный звон, про икону и крест, которые уцелели. Говорили и о другом — отчего занялся пожар, откуда пала первая искра? Но толкового ответа никто не знал. Один лишь Вахрамеев гундосил, баюкая руку, обожженную на бугре:

— Молодяжку надо стращать! Не иначе как они баловались, они запалили. До поздней ночи на пяточке баззали. Никакого удержу не знают, совсем выпряглись... А ты где была, Фекла, тоже на пяточке резвилась?

— Не было меня там, — смущалась и краснела Феклуша. — Я за вами бегала, будить хотела, а не нашла вас...

Вахрамеев поморщился, заговорил еще недовольней:

— Худо искала, я первый на бугор прибежал, за вас, гулеванов, расхлебывал. Погодите, вернется Тихон Трофимыч, все ему передам, пусть общество собирает, управу на вас ищет...

Дюжева все ждали.

9

А Тихон Трофимыч, еще ничего не зная о том, что случилось в Огневой Заимке, разгадывал в это время другие загадки.

Второй вечер подряд, закончив дневные дела, он поднимался в верхнюю комнату и слушал Петра, которого чуть было не сдал Боровому. После ночного появления варнаков Дюжев подступил к парню, как с ножом к горлу: «Расскажи, что ты за человек, либо в участок отведу!»

Сначала Петр заупрямился, но в этот раз Тихон Трофимыч не отступался, и Петр согласился: «Ладно, Тихон Трофимыч, слушай, если любопытство имеется».

И развернулась перед Дюжевым чужая судьба, словно раскатился домотканый половичок с разноцветными, хитрыми узорами, где темная полоска соседствует с красной, а весь рисунок до того запутан судьбой-рукодельницей, что сразу и не разберешься. Дюжеву только и оставалось, что дивиться: «Надо же как случается, а!»

— Таким вот образом, Тихон Трофимыч, я к тебе и попал, — закончил Петр и осторожно кашлянул в кулак, печально поднял глаза и с тихой улыбкой спросил: — Не верится?

— Ошибаешься, парень, верится. Сам не знаю по какой причине, а — верю, — он покрутил в руках вазу из алтайской яшмы, которая стояла у него на столе, потрогал ее гладкий, округлый бок и вздохнул. — Ну, и задачку ты мне задал... С одного маху не разгрызешь. Да...

Они долго молчали, думая каждый о своем, и эти тихие, молчаливые минуты еще больше сближали их, таких разных и не похожих друг на друга. Тихон Трофимыч вздохнул, поднялся из-за стола, с треском выпрямляя спину, и неожиданно сказал — не спросил, а сказал уверенно:



— А ты ведь, парень, утаил от меня — ты ведь с ранешними делами не развязался, и здесь про них думаешь. Так?

— Так, — спокойно согласился Петр. — И кое-чего надумал. Только не пытай меня, Тихон Трофимыч, дай срок, я тебе и про это расскажу.

— Ладно, пытаться не буду. Пойдем-ка спать. Утро вечера мудренее, с утра и думать станем, как нам дальше жизньешку крутить. Лады?

— Я посижу еще.

— Дело любовное, оставайся...

Тихон Трофимыч вышел, тихонько прикрыл за собой створки дверей; шел и, покачивая головой, бормотал под нос: «Лихое дело выплясалось, во сне не приснится...»

Петр остался один. Сидел, уперев взгляд в широкие шкафы, которые стояли вдоль стены всей комнаты. В шкафах плотно, одна к одной, стояли книги, до которых Дюжев был большой любитель. Петр смотрел на золоченые корешки, и лицо его, обычно улыбочное, отвердело, осунулось и враз постарело. Стало видно, что не так уж и молод этот человек, и понятно — горького ему пришлось нахлебаться досыта.

Он медленно поднялся из-за стола, устало сгорбился и подошел к шкафам. Раскрыл резную дверцу, внимательно оглядел золоченые корешки и вытащил книгу в голубом переплете. Наугад раскрыл ее и удивленно вскинул брови, наткнувшись сразу именно на те строки, которые хотелось ему прочесть:

На свете счастья нет, но есть покой и воля.

Давно завидная мечтается мне доля —

Давно, усталый раб, замыслил я побег

В обитель дальнюю трудов и чистых нег.

Прижал раскрытую книгу к лицу, сдавленно выдохнул в гладкую, лощеную бумагу: «Господи, неужели это был я?!»

10

Да, это был он, счастливый и юный поручик лейб-гвардии гренадерского полка, единственный и любимый сын вдовой помещицы Щербатовой из Тульской губернии. Это она, маменька, выбралась из деревенской глуши, приехала

в Санкт-Петербург и долго возобновляла старые, почти совсем утраченные связи — десять с лишним лет не бывала в столице, с тех пор как схоронила мужа. В конце концов уговорила похлопотать о Петеньке влиятельного князя Мещерского, с которым ее покойный муж когда-то начинал службу. И добилась своего — Петеньку зачислили в гвардию.

— Я, милый друг, все сделала, — говорила она на прощание, тяжело поднимаясь на цыпочки, чтобы перекрестить и поцеловать сына. — Деревенька, слава Богу, еще кормит, расходы свои я сокращу, средства у тебя будут. Служи, меня не забывай, честь фамильную береги. А к Мещерским навещайся, они люди богатые, знатные, но не заносчивые. Батюшку твоего помнят и уважают. И дочка у них — золото. Ну, наклонись, я тебя еще раз поцелую.

Маменька благополучно отъехала в деревню, а Петр Щербатов отправился в полк, где его ждала новая жизнь. Он окунулся в нее с головой. И плыл по течению с беззаботностью юности, которая, как известно, живет одним днем и далеко не заглядывает, считая, что впереди у нее безбрежная вечность.

Праздничные смотры, выезды в лагерь, полковые обеды, на которых появлялся иногда сам Государь, — все это захватило Петра, закружило, и он даже представить себе не мог, что такая жизнь может круто измениться.

Офицерское собрание приняло своего нового товарища благосклонно, а по прошествии времени сослуживцы по-настоящему полюбили его за добрый нрав и бесхитрость.

Поздней осенью полк вернулся из летних лагерей в казармы. Там Щербатова дождалось маменькино письмо, в котором она подробно извещала о своих делах, давала указы, а в конце письма не удержалась и строго выговорила: «Получила весточку от Мещерских, и пишут они, что ты у них не бываешь. Как же так, милый друг? Мещерские хлопотали о твоём назначении в гвардию, а ты не соизволил даже нанести визит, как полагается молодому и благородно воспитанному человеку. Надеюсь, что ты справишься и во второй раз мне напоминать не придется».

Чтобы не расстраивать маменьку, которую он все-таки очень любил, хотя и тяготился излишней, на его взгляд, опекой, Щербатов отложил все дела, и на следующий день, в новеньком мундире, стройный и ловкий, он уже стоял пе-

ред князем Мещерским, а тот, распушив пышные седые усы, по-простецки трепал его по плечу и приговаривал:

— Экий ты молодец! Настоящий гвардионус! Эх, когда-то и я орлом летал! Пойдем, пойдем, я тебя своему семейству представлю.

На всю жизнь, до самой гробовой доски, запомнил Щербатов этот миг: высокое окно в просторной зале, за окном — серенькая петербургская морось, а перед окном, на белизне кружевных штор, — будто яркий высверк солнечного света. Он никогда не видел таких золотящихся, таких сверкающих волос, какие были у Татьяны Мещерской. Казалось, что они искрят. И рядом с этим неистовым светом — тихие, сосредоточенные глаза, живущие как бы отдельно своей глубокой и скрытой мыслью.

Щербатов был ослеплен. Так бывает, когда внезапно взглянешь на солнце, стоящее в самом зените. Он что-то говорил, как принято говорить в таких случаях, смотрел на князя, на старую княгиню, на Константина, брата Татьяны, отвечал на расспросы, что-то рассказывал о службе, но переживал и ощущал только одно — ослепление.

И всю долгую, серую осень, а затем и зиму он жил с ощущением этого неистового, искрящегося света.

В конце зимы Щербатов объяснился с Татьяной Мещерской и попросил ее руки. И объяснение, и предложение поручика были благосклонно приняты. Правда, старая княгиня, как показалось Щербатову, была не очень довольна такой партией для своей дочери, но последнее слово в этой семье оставалось за князем, а он относился к поручику с искренней любовью. Может быть потому, что, глядя на него, видел самого себя — молодого, красивого. В свое время князь участвовал в Крымской кампании и до сих пор тяжело переживал поражение. Частенько вспоминал о прошлом и, вспоминая, вдруг начинал принимать совершенно иные решения, чем принимало их командование в те годы в Крыму, и, согласно этим решениям, принятым сейчас князем, русская армия обязательно бы победила. Впрочем, иногда он останавливался в своих пространственных рассуждениях на полуслове, замолкал и после долгой паузы говорил со вздохом, как деревенский мужик:

— Да, знать бы где соломки постелить...

Еще он безумно любил медвежью охоту и, как только из деревни докладывали ему, что мужики отыскали берлогу, все бросал, собирался в один день и уезжал, чем вызывал у старой княгини приступы раздражения, которые она даже не скрывала при посторонних.

— Это же какое-то безумие, — говорила она, болезненно потирая виски и нервно расхаживая по комнате. — Это какой-то атавизм, бродить по снегу, убивать несчастного животного, а потом с мужиками пить у костра водку. Нет, я не понимаю!

— Маман, у русских генералов две слабости, — сухо улыбаясь и поглядывая на Петра, который дожидался выхода Татьяны, заговорил Константин. — Задним числом выигрывать проигранные сражения, либо употреблять вместо противника животину, у которой нет даже сабли.

Разговор этот завязался совершенно неожиданно для Щербатова, и он поначалу даже не хотел в него вступать, но сам тон и даже голос Константина вдруг вызвали раздражение. Он не удержался и высказал:

— Конечно, воля ваша иметь свое мнение о русских генералах, но за ними стоят не только поражения, но и победы.

Константин, по-прежнему сухо улыбаясь, снисходительно, как взрослый на ребенка, посмотрел на Щербатова и покачал головой:

— Аксельбанты, шенкеля, палаши, знамена... Неужели вы всерьез считаете, Петр Алексеевич, что вся эта мишура и есть наследование великих побед? Россия уже несколько десятков лет не имеет ничего, кроме этой мишуры.

Щербатов вспыхнул и сам почувствовал, что покраснели щеки, от этого еще больше раздосадовался и, уже не сдерживая себя, допустил резкость:

— Сейчас, когда наши братья-славяне жаждут освобождения, они смотрят с надеждой, прежде всего, на русскую армию, а не на слушателей юридического курса в университете.

— Вы на меня намекаете? Впрочем, какой уж тут намек. Но я не обижаюсь, Петр Алексеевич, более того, я вас извиняю. Только запомните одно — с русскими полками свобода не ходит! Разрешите откланяться.

Константин ушел, Петр остался со старой княгиней дожидаться выхода Татьяны и долго не мог успокоиться. Но толь-

ко увидел Татьяну, ее глаза и искрящиеся волосы, как сразу же обо всем позабыл. Тем более что старая княгиня завела речь о дате свадьбы. Решили, что венчаться молодые будут в самые первые дни мая.

11

А в апреле вышел царский манифест о войне с Турцией.

Лейб-гвардии гренадерский полк встретил его дружным криком «ура!» Этого манифеста, желая помочь славянам, все давно ждали, начиная от командира полка Любомудрова до последнего ездового. Щербатов своим молодым и счастливым голосом вместе со всеми громко прокричал «ура», а после, когда волнение улеглось, задумался: а как же Татьяна, свадьба, а если, не дай Бог, ему суждено будет погибнуть?

Через несколько дней, когда уже был получен приказ и полк собирался в походном порядке выступить к Дунаю, к театру будущих военных действий, поручик Щербатов в парадном мундире появился в доме Мещерских. Старый слуга Емельян встретил его доверительным шепотом:

— Княгинюшка и княгиня отъехали с визитом. Дома только старый князь и не в духе. Сердиты с утра. Прикажете докладывать?

— Докладывай, старый, докладывай.

Щербатов еще раз одернул мундир, придирчиво оглядел себя в большое зеркало и неторопливо, твердо печатая шаг, поднялся по лестнице в залу. Старый князь стоял у столика, раскуривал трубку и, слышав шаги, резко, по-молодому обернулся, отрывисто спросил:

— Выступаете?

— Да, приказ уже получен. И поэтому я пришел к вам, чтобы сказать: Татьяна Сергеевна свободна от всяких обязательств. Как офицер, я обязан это сделать. Хочу, чтобы она была счастлива. Честь имею!

Поднимаясь по лестнице и мысленно выговаривая эти слова, Щербатов думал сразу повернуться и уйти. Но старый князь неожиданно выронил трубку и горящий, дымящийся табак рассыпался по дорожному ковру, ворс зашаял, Щербатов кинулся притаптывать его носком сапога. Князь смотрел на него отстраненно, как на незнакомого человека, и вдруг негромким, плачущим голосом произнес:

— Брось, сынок, пусть он хоть до дыр прогорит! Подойди сюда... Я всегда знал, что ты благородный человек, и я люблю тебя, как сына. Мы все будем ждать тебя...

Старый князь, вздрагивая плечами, обнял его и троекратно расцеловал. Руки у него были холодными. Щербатов развернулся и пошел, стараясь твердо печатать шаг, но не получалось — спотыкался на ровном месте. И, когда уже спускался по лестнице, его догнал громкий голос князя:

— Мы будем ждать тебя! Все будем ждать!

На улице Щербатов обернулся, посмотрел на высокие окна дома Мещерских и почувствовал на щеке слезу. Стыдливо смахнул ее и поманил к себе скучавшего на козлах извозчика. Он торопился в полк.

И там, в полку, занимаясь походными сборами, он вдруг понял, что в глубине души рад, что ему не пришлось объясняться с Татьяной. Это для него было бы слишком тяжело.

Но вечером к нему подбежал посыльный и сказал, что господина поручика спрашивают за воротами казарм. Кто спрашивает? Какой-то молодой человек.

Молодым человеком оказался Константин Мещерский. Он отчужденно кивнул Щербатову и протянул небольшой, плотно заклеенный конверт.

— Это вам послала Татьяна, — на красивых губах заиграла усмешка. — Как я понимаю, продолжение игры в благородство. Вы, Петр Алексеевич, благородны, а она еще благородней. Подзреваю, что сентиментальная девица готова лишиться своей девственности, дабы избранник ее, отправляясь на войну, сохранял бы в израненной груди светлое воспоминание... Господи, и это — русская аристократия! Как же она выродилась!

— Князь! — Петр вспыхнул, как порох. — Если вы не замолчите, я дам вам пощечину и мы будем стреляться!

— Только этого мне не хватало! Оставьте ваш боевой запал для турок. Я думаю, они собьют с вас дурацкую спесь.

От сильной и неожиданной пощечины голова Константина мотнулась, как тряпичная. Он сразу побагровел, и лицо налилось кровью.

— Не приведи Бог, поручик, вернуться тебе живым. Я не буду с тобой стреляться, я зарежу тебя, как мясник, в подворотне. И кишки на мостовую! Ублюдки, все ублюдки!

Хорошо, что последние слова Константин договаривал уже на ходу, иначе Щербатов бы не сдержался и получилась бы безобразная сцена. Руки дрожали. И только теперь Щербатов вспомнил о конверте. Разорвал его, развернул сложенный вдвое листок: «Милостивый государь Петр Алексеевич! Я все понимаю, и люблю Вас еще больше. Никаких обязательств я с себя слагать не намерена. Полагаюсь на волю Божью и верю, что мы будем вместе, уже навсегда. Я знаю, что с Вами ничего не случится, я буду молиться за Вас. Татьяна».

Коротенькое это письмо Щербатов запомнил сразу, до последнего слова.

И повторял его в самые безысходные минуты, когда уже казалось, что не выйти живым из кипящего котла огня, разрывов, пуль и сабельного лязга. Но он не только выходил живым из боев, он не получил ни единой царапины. И как-то старый гренадер после очередной страшной схватки сказал ему:

— Ох, поручик, жарко кто-то за ваше благородие молится...

И как накаркал, усатый...

...Турецкий редут стоял намертво. Окутанный порохом дымом, он осыпал наступающих градом пуль, неровное кочковатое поле перед ним было усеяно телами убитых и раненых. Уши закладывало от постоянного несмолкающего грохота. Вторая атака захлебнулась. Но оставшиеся в живых не отступали назад, а скапливались в ложбинках, за пригорками, дожидаясь, когда пойдет очередная волна. Все знали, что отступить нельзя — зачем же тогда столько положили народу? Взять, взять во что бы то ни стало проклятый редут, за которым открывалось огромное и выгодное во всех тактических отношениях пространство для удачного маневра: атакующие войска выходили тогда во фланг туркам, которые тоже это прекрасно понимали и сопротивлялись отчаянно, подбадривая себя неистовыми криками «Алла! Алла!», которые слышались даже сквозь грохот ружейной пальбы и пушечных разрывов.

— Господин поручик, к командиру!

Щербатов, придерживая на боку саблю, подбежал к командиру полка. Любомудров, в редком окружении офицеров, стоял в кустах, на небольшом взгорке, стоял неподвижно,

широко расставив короткие, сильные ноги. Он опустил биннокль, посмотрел на подбежавшего Щербатова и обратился к офицерам:

— Господа, а ведь возьмем мы сегодня этот редутышко. Как пить дать — возьмем! Вы поглядите на его рожу! — и показал на вестового, который только что позвал Щербатова. Молодой, рыжий парень широко улыбался и скалил крупные зубы, все его круглое лицо излучало такую радость и уверенность, что и офицеры невольно заулыбались. — Возьмем, Сидоркин?

— Так точно, господин полковник! Деваться им некуда! — вестовой еще шире и радостней заулыбался. — Побегут, как миленькие!

— Все слышали? Молодец, Сидоркин! А теперь, господа, самое главное. Прошу внимания.

Любомудров ставил задачу офицерам на третью атаку, обращаясь по очереди к каждому из них и не обращая внимания на стоящего совсем рядом Щербатова.

— По местам, господа офицеры. С Богом! А вам, поручик, — он словно только теперь увидел Щербатова, — вам, поручик, думаю, к лицу будет Георгиевская лента на золотое оружие. Очень к лицу. И надо-то для этого совсем немножко. Видите эту ложбинку? Вот сейчас со своими орлами по этой ложбинке выйдете на исходный рубеж, а после — рывком! — на батарею. Рубите их на лафетах! Самое главное — уловить момент. Поняли?

Штурмующие колонны уже расходились в две шеренги и изломанными линиями начинали двигаться к ревущему редуту. Турецкая батарея усилила огонь, все гуще и гуще вставали над истерзанным полем ярко-желтые вспышки гранат. Атакующие шеренги уходили вправо, оставляя пространство перед вражеской батареей.

И только теперь Щербатов в полной мере понял замысел Любомудрова: все внимание турок было сосредоточено на атакующих, а ложбинка оставалась как бы вне поля зрения.

— Поручик, вы не имеете права быть убитым, пока не дойдете до батареи. А дойдете до батареи, мы возьмем редут. Завидую вам, поручик, ни одна дама не устоит перед таким красавцем, да еще с Георгиевской лентой на оружии. Храни тебя Бог!

Он перекрестил Щербатова и легонько подтолкнул его в плечо. Щербатов, как и все офицеры полка, всегда восхищался своим командиром, но никогда он не любил его так, как в эти минуты. И с этой ликующей в груди любовью повел солдат в ложбинку, чуть-чуть прикрытую с одной стороны корявыми и хилыми кустами. Повел, еще раз оглянувшись на командира и увидев: Любомудров, поправляя на груди бинокль, неторопливо уходил вслед атакующим шеренгам, быстро догоняя их, чтобы идти рядом с солдатами.

Хрустела в ложбинке под ногами сухая трава, и было странно различать этот звук в сплошном вое и грохоте, который становился тем сильнее, чем ближе продвигались к батарее. В густом, темно-сером тумане порохового дыма, когда он разрывался на отдельные лохмы, уже видны были турки, суетящиеся возле орудий, палившие без остановок из митральез.

Ложбинка кончилась. Впереди — открытое, ровное, как стол, пространство. Щербатов на мгновение замер, а затем, не оглядываясь, зная, что теперь уже не нужны никакие команды, молчком бросился вперед.

И так же молча, без привычного «ура», бежали за ним солдаты. В лицо ударил густой свинец, вспыхнул и расцвел желто-черный цветок гранатного разрыва — начинался крошечный ад. И вырваться из него можно было только одним путем — достигнуть батареи.

Сраженные пулями падали беззвучно, раненые не кричали. Скорей, скорей... Вот уже и край глубокого, черного рва, внезапно открывшегося прямо под ногами. Не мешкать! В ров, кубарем. И — наверх! На высокую насыпь. Карабкаясь к ней, Щербатов увидел турка огромного роста, в белой чалме; митральеза в его руках казалась игрушечной. Он целился и стрелял в Щербатова, и тот, не различая в сплошном грохоте звука выстрелов, слышал свист пуль, пролетающих совсем рядом. Весь бой сфокусировался в этом громадном турке, до которого надо было добежать. И Щербатов добежал. Турок схватил митральезу за ствол, вскинул ее над головой, как дубину, но Щербатов опередил, вложив в сабельный удар всю силу. Правая рука турка медленно отвалилась от плеча и на землю не упала лишь потому, что ее удержива-

ли нитки мундира. Выронив оружие, турок с ужасом глядел на отвалившуюся руку, которую быстро заливало черной венозной кровью.

— Рубите их на лафетах! — закричал, срывая голос, Щербатов. — Рубите их на лафетах!

Бросился к ближней пушке и спиной, кожей почувствовал, что нет за ним дружного топота ног своих солдат. Кругом были только одни турки. Барабан револьвера давно уже был пуст, но Щербатов все нажимал и нажимал на курок, отбиваясь саблей от нападающих турок. Вскочил на ствол орудия, увидел наконечник-то своих солдат и сорвался в долгий, тяжелый полет...

Он летел кругами, в сплошной темноте, густой и смердящей, и чем дальше продолжался полет, тем больше охватывало его безразличие. Когда уже совсем был готов смириться с этим полетом, вдруг почувствовал теплую и ласковую ладонь на щеке. И сразу же узнал — чья она. Легкие невесомые пальцы скользили по щеке, и страшный полет прекращался. Щербатов стал ощущать свое тело, пошевелил рукой и с трудом, преодолевая ломящую боль в голове, открыл глаза. Над ним, провиснув, шевелился от ветра полог палатки, резко пахло слежалой соломой, кровью, старыми бинтами и давно не мытым человеческим телом.

— Ты глянь, поручик-то оклемался. А то уж думали все, конец. О, и глаза разлепил...

Щербатов увидел санитаря в грязном, окровавленном халате и снова закрыл глаза. Он слышал голоса, шум ветра за палаткой и не переставал ощущать на своей щеке ладонь Татьяны.

Молодой организм взял свое. Через три месяца Щербатов оправился от ран, был награжден золотым оружием с Георгиевской лентой, получил отпуск и, не медля ни одного дня, отправился в столицу.

12

И снова был дом Мещерских, ставший уже почти родным, и старый слуга Емельян, встречая Щербатова и принимая шинель и перчатки, доверительно сообщал, учтиво склоняя плечивую голову:

— Дома-с княгинюшка, в настроении веселом пребывают. Велите доложить?

— Докладывай, старый, докладывай.

Но сверху, с лестницы, уже раздавался плавный, как бы поющий голос Татьяны:

— Проходите в залу, Петр Алексеевич, мы сейчас чай будем пить.

Щербатов махом взлетал по лестнице, перепрыгивая через две ступеньки, а Емельян, подслеповато глядя ему вслед, только покачивал головой и вздыхал.

И в тот мартовский день все было, как обычно. Только когда Щербатов припал к руке Татьяны, он губами ощутил, что рука ее нервно вздрагивает и часто-часто бьется тоненькая жилка. Выпрямился, заглянул в ее всегда сосредоточенные глаза, хотел спросить — что случилось? — но Татьяна опередила его, выдернула руку и сбивчиво заговорила:

— Петр Алексеевич, не спрашивайте ни о чем. Я сейчас скажу, что мне нужно к портнихе и что вы меня согласны проводить. Хорошо?

— Хорошо, — машинально кивнул Щербатов и послушно пошел за Татьяной в залу, где уже был накрыт стол.

К чаю вышел старый князь, как всегда, потрепал за плечо гостя и, разглаживая усы, сообщил, что уезжает на охоту.

— Хочу поозоровать! Лес, раздолье! Я ведь нынче всю зиму в городе провёл. Нет, дорогие мои, что ни говорите, а Петр Алексеевич, государь наш, неверное место выбрал. Не надо было тут столицу закладывать. То ли дело — Москва. Ядрено, с морозами. А здесь — одна слякоть. Константин у нас где? Все науки изучает?

Татьяна испуганно отвела глаза и молча кивнула. Но заметил это только Щербатов; старый князь, уже ругая нынешние университеты за вольнодумство, даже не обратил внимания.

Щербатов с Константином не вспоминали о случае, который произошел возле казарм, сделали вид, что ничего не происходило. На самом же деле и тот, и другой все прекрасно помнили.

Старый князь, не прекращая говорить о предстоящей охоте, выслушал просьбу Татьяны о поездке к портнихе и пошутил:

— Можешь ехать, голубушка, только под строгим караулом боевого офицера. Вас, надеюсь, такой караул не смутит?

— Не смутит, — улынулась Татьяна, но Щербатов снова заметил, что ее рука вздрогнула и чай через краешек фарфоровой чашки плеснулся на скатерть. Она опустила чашку на блюдце и заторопилась:

— Давайте сразу поедem, не будем откладывать. Петр Алексеевич, подождите меня внизу, я скоро спущусь.

Щербатов, не понимая, что случилось, и волнуясь, спустился вниз, где Емельян держал наготове шинель и с улыбкой спешил доложить, что коляска подана и стоит у парадного.

Все, все было, как всегда: и старый князь, шумный и радостный, и Емельян, улыбчивый и желающий угодить, — все вели себя по-прежнему, кроме Татьяны. Почему она так волнуется, что могло случиться за два дня, прошедших после их последней встречи?

Щербатов дождался Татьяну, они вместе вышли, сели в коляску, и, как только колеса застучали по мостовой, Татьяна откинула вуаль со шляпки, подалась к нему и, глядя своими прекрасными, распахнутыми глазами, тихо, срывающимся шепотом заговорила:

— Петр Алексеевич, я умоляю вас, я на коленях буду вас просить, только вы можете спасти нашу семью от позора. Господи, сын князя Мещерского!

— Я все сделаю, располагайте мною полностью, все, что в моих силах, только объясните, скажите — что случилось?

— Я умоляю... — и она тихо, беспомощно заплакала, закрывая лицо руками в черных кружевных перчатках. И этот черный цвет рядом с золотыми, искрящимися прядями волос, выбившимися из-под шляпки, настолько поразил Щербатова своим несоответствием, настолько напугал, что он понял: он действительно может сделать все возможное и невозможное, даже умереть, если потребуется.

— Успокойтесь, Таня, — Щербатов осторожно взял ее руки в свои ладони, закрыл черноту перчаток. — Рассказывайте, рассказывайте все подробно, с самого начала.

— Остановите извозчика, Петр Алексеевич, — попросила она по-прежнему шепотом. — Пройдемте до скамейки...

Над скамейкой, в кустах орешника, уже по-весеннему отчаянно горланили воробьи. Перелетали с ветки на ветку, за-

дирались между собой, чистили себе перышки в маленькой лужице и ни на миг не прекращали свой радостный гвалт.

— Воробушки... — Татьяна горько вздохнула и присела на краешек скамейки. — Воробушки... Радуются... Знаете, как я сейчас им завидую!

— Что случилось, Таня?

— Не торопите меня, сейчас, я все расскажу, — она помолчала, вздохнула несколько раз и уже ровным, прежним певучим голосом заговорила: — Константин... Я уже давно почувствовала, что он от нас отдаляется, от меня, от родителей. Уходит все дальше и становится, как чужой, смотрит на нас и как бы молча смеется над нами. Нет, не смеется, — презирает. Две недели назад он снял квартиру, родители об этом еще не знают, там собираются ужасные люди... Я была там только раз и только раз их видела, они... они какие-то одержимые и у всех в глазах ненависть. Я не знаю, о чем они там разговаривали, я и была-то там четверть часа, не больше, но ужас до сих пор не проходит. Я не ошиблась — это страшные люди. Они — бомбисты. А главное, главное — Константин среди них, он стал таким же, как они.

— Это точно? Или только предположения?

— Точно. Теперь я знаю, — Татьяна надолго замолчала, Щербатов не торопил ее, терпеливо дожидаясь, когда она снова заговорит. И в этой затянувшейся паузе ему снова, как и в черноте перчаток Татьяны, почудился зловеющий знак будущего несчастья. — Я знаю. Я случайно увидела его дневник. Совершенно случайно. Там все написано, день за днем. Сначала хотела пойти и рассказать отцу, но я ведь убью его этим рассказом. При его характере, при его отношении к этим бомбистам — он просто умрет... Я уже не говорю про маму. И что станет с Константином? Заявить в полицию, пойти и сказать, что князь Мещерский — бомбист? Наша фамилия, наша честь — этого уже никто не переживет! Сегодня утром, когда я смотрела на родителей, мне показалось, что все мы в капкане и он вот-вот захлопнется...

— А если поговорить с самим Константином?

— Я пыталась, он мне ответил: еще одно слово — и я исчезну так, что вы обо мне уже никогда и ничего не узнаете. Петр Алексеевич, я в отчаянии...

— Дайте мне адрес квартиры, где сейчас живет Константин.

— Что вы будете делать?

— Не знаю, пока не знаю. Но я сделаю все, что возможно.

— Вот, — Татьяна достала из сумочки уголком сложенную бумажку.

Щербатов развернул ее и прочитал адрес.

В кустах орешника по-прежнему яростно и весело гомонили воробьи, радуясь солнцу, которое с трудом, но проклюнулось между туч, уже по-весеннему легких и высоких. Ничего в мире не изменилось, все оставалось на своих местах, но Татьяна Мещерская и Петр Щербатов, молча сидевшие на скамейке и смотревшие на окружающий их мир, прекрасно понимали, что их жизнь с этой минуты изменилась, но они и представить себе не могли, насколько круто изменится она в ближайшее время.

### 13

Рано утром, Тихон Трофимыч только-только проснулся, даже чаю не успел хлебнуть, к нему заявился гость: старый компаньон, купец Дидигуров, Феофан Сидорович. О том, что это именно он и никто другой, Дюжев догадался по быстрой скороговорке, которая донеслась через неплотно закрытые двери.

Росточка Феофан Сидорович был махонького, худенький, и если издали глянешь — подумаешь, что парнишка. У него и походка была ребяческая — вприпрыжку, ходил-прискакивал, как на пружинках. Реденькая, седенькая бороденка, личико, будто картобочка печеная, но глаза из-под выцветших бровей — молодые, острые. Все видят, все примечают.

Рубашка на Дидигурове простенькая, домотканым пояском перехваченная, пиджачок серенький, но цепочка от часов — золотая, из крупных колец. А сами часы, знал Дюжев, тоже золотые и еще дорогушими камнями украшены. Это как бы намек для всех: прост-то я прост, но не простодырый.

Рядом с Дюжевым, тяжело-неповоротливым и степенным, Дидигуров смахивал на птичку-поскакушку. И когда они, бывало, появлялись вместе на людях, люди, глядя на них, непременно посмеивались.

Дидигуров перекрестился тоненькой ручкой, глядя на иконы, легко согнул спину в поклоне и, так же легко выпрямив-

шись, заговорил быстрой скороговоркой, будто сухой горох по полу рассыпал:

— Желаю здравствовать тебе, Тихон Трофимыч, долгие-предолгие годы, житье иметь честное, а капиталы великие. Прими от меня, сирого, убогого, умишком обойденного, дробного дня пожелание...

А задорные глазки поблескивают, как два шильца, так и расковыривают хозяина — в каком он нынче настроении?

— Ладно тебе, убогий, — Тихон Трофимыч махнул на него рукой и, не таясь, ухмыльнулся: — Умишка нет, а на Почтамтской третий дом собрался закладывать. В двух-то тебе, сиротке, тесно стало?

— Для сына, для сына стараюсь, Тихон Трофимыч. Женить надо орясину, определять на самостоятельность, мне-то веку недолго осталось, сложу рученьки в дубовой колоде, кто его, дубину, на путь истинный наставит?!

— Ну, запричитал! Садись, брат, на паперти, большие деньги к капиталу добавишь, уж шибко жалостливо поешь... А в колоду-то тебя силком не запихнешь. Прыг-скок — и выскользнул.

— А это уж как планида сложится, Тихон Трофимыч, а планида в нашем деле — вещь наипервейшая...

И так вот, не прерывая говорок, постреливая глазками-шильцами, Дидигуров пристроился у стола, не дожидаясь приглашения, опрятно сжевал золотистую шанежку, не уронив ни крошки, попил чайку, неслышно схлебывая с блюда, и вдруг спросил:

— Тихон Трофимыч, книгочей ты известный, а вот газетки извольте почитать?

Дюжев пил чай и не отвечал. Не первый год зная Дидигурова, он давно уже к нему приноровился, ко всем его повадкам, и потому терпеливо ждал, когда тот доберется до дела, по которому и пришел. Вот еще пострекочет-пострекочет... А уж тогда только слушай — зевать некогда станет.

— А зря, Тихон Трофимыч, зря... Газетки читать надобно, там, правда, ерунды всякой премного пишут, но коль не побрезгуешь, такое сладенькое попадетя, ну, прямо слюнки капают!

Дюжев упорно молчал.

Дидигуров оборвал скороговорку, распахнул пиджачок, достал из внутреннего кармана сложенный на четвертушки газетный лист. Развернул его, сдвинул в сторону чашки, блюда и положил лист на стол, разгладил узенькой ладошкой.

— Такое вот сообщение, Тихон Трофимыч. Слушай, коли сам газет не читаешь. Пишут из Курганского уезда. Вот что пишут: «Усилиями местных крестьян создана маслодельная артель, которая ставит перед собой целью выработку качественного сибирского масла. Уже выписаны и наняты специальные инструкторы для ведения дела, а из-за границы получена большая партия сепараторов. Местный купец Балакшин занят хлопотами по созданию Союза маслоделов. Таким образом, уже в ближайшее время мы сможем наблюдать результаты столь новой для нашей местности деятельности. Наблюдатель».

Вот оно что! Дюжев отставил в сторону недопитую чашку и через стол протянул руку — давай сюда! Молчком еще раз перечитал коротенькую статейку и поднял глаза на Дидигурова. Был у них как-то разговор о масле, был, но Дюжев за хлопотами позабыл, а вот Феофан Сидорович ничего не забывает, все у него в маленькой головке по полочкам разложено и ничего бесследно не пропадает.

Дюжев перевернул газетный лист, взглянул на число. Старая газетка, старая, на сгибах уже пошоркалась. Видно, не один день таскал ее Дидигуров в кармашке. Обдумывал и прикидывал. И обдумал и прикинул, потому и пришел к Дюжеву, что убедился: одному делу не поднять, компаньон нужен. Хоть и не любил Дидигуров ни с кем делиться — всегда себе на уме! — но если здравый расчет пересиливал, он выбирал компаньона, а выбрав, цеплялся, как репей, и отвязаться от него уже не было никакой возможности.

— И чего же ты задумал? — наконец-то соизволил спросить Дюжев, все еще глядя в газетный лист.

— Ты мне сначала согласие дай, Тихон Трофимыч. А то я перед тобой нарастапашку, а ты возьмешь, да и повернешь по-своему.

— Не поверну. Ты меня знаешь. Говори, как есть.

— И то правда. Не первый год друг за дружку держимся. Слушай, — и куда только делась болтливая скороговорка Дидигурова. Заговорил о деле и даже голос изменился. — Мо-



локо у нас в Барабе рекой льется. Выпасов, покосов — немеряно. И вот как вся эта речка начнет в масло сбиваться, вот тогда и копейка покатится. А дальше думай: чугунок вот-вот начнут прокладывать, как в тех же газетах пишут. Тогда гони это масло хоть до самой Москвы.

— А коли сбыта не будет?

— Риск есть. Но без риску в нашем деле, Тихон Трофимыч, сам знаешь, никуда. Без риску и курочка яичка не снесет, вдруг гузка лопнет.

— Маслобойками деревенскими много не собьешь, хоть всех баб с ребятишками посади.

— Вот и я про сепараторы эти думал, ехать за ними надо. Где-то же они есть!

— Правильно, ехать, пока не опередили. Первыми их сюда привезти. Чуешь, первыми! А для этого людей своих посылать, чтобы все разнюхали, на четвереньках выползали, но узнали до подлинности. А уж потом обоз собирать.

— Денег-то, денег — уйма понадобится, — непритворно вздохнул Дидигуров и вздернул на плечах пиджачок. Он всегда его вздергивал, когда начиналось горячее дело, а еще в то же время сучил по полу пимами, в которых ходил круглый год, не снимая даже в жару. Больших и азартных дел у Дидигурова случалось немало, и потому пимы у него были подшиты на три-четыре раза, да еще обсоюзены кожей, чтобы в слякоть не промокали. С вывертом, надо сказать, был Феофан Сидорович. Но больше всего он удивлял народ, когда выходил в церковь. В храм Божий отправлялся всегда босиком, хоть в жарынь, хоть в стынь. Чапал, переставляя легонькие ножки, весело и приветливо поглядывал по сторонам, а через плечо у него висела пара новеньких блестящих сапог, прихваченных за матерчатые ушки веревочкой. На паперти Дидигуров обувался, отстаивал службу, истово молясь, а выйдя из храма, снова присаживался на ступеньку паперти, разувался, завязывал веревочку на тесемках, перебрасывал сапоги через плечо и — домой. И так споро и проворно перебирал ножками, что за ним, если случалось дело в летнюю жару, тянулась, не успевая пропадать, легонькая полоска пыли.

— Такие средства агромадные — где взять? — подшитые пимы Дидигурова зашоркали под столом по крашеным половицам еще скорее.

— Э, друг ситный, ты мне таку песню не заводи. У денег две стати: либо их нету, либо их не хватает. А много и вдосталь — только тараканов в худом кабаке. Значит, определимся: сначала с обществами говорим, со старостами — кто за новое дело возьмется. Ученых людей ищем и в те общества, которые согласятся, отправляем. К тому времени сепараторы и для молоканок, что надо, в полном наборе у нас должны быть.

Просидели друзья-купцы до самого полудня. И только распрощались, как подоспело известие — коротенькое письмо, доставленное из Огневой Заимки. Дюжев сразу узнал руку Вахрамеева. Чего еще там стряслось? Нетерпеливо разорвал конверт.

«Милостивый государь Тихон Трофимович! Имею честь сообщить вам, что случились события весьма неприятные и требуют вашего экстренного присутствия. Подробно пока о событиях доложить не могу, потому как не успел из-за отсутствия времени составить подробный отчет. Надеюсь таковой иметь к вашему приезду. Преданный вам приказчик Вахрамеев Никодим Иванович».

— Тьфу ты! Бородавка волосатая! — в сердцах ругнулся Тихон Трофимыч. — Письмо сочинил, как губернатору, а главного не написал! Чего случилось-то?!

Ругаясь на Гундосого, он тут же отдавал последние распоряжения, готовясь ехать в Огневу Заимку, всех подгонял, и не прошло часа, как он уселся в коляску, которая под ним жалобно пискнула и присела, скомандовал Митричу:

— Понужай!

Но только Митрич разобрал вожжи и причмокнул, поднимаясь с облучка, как Дюжев вспомнил про Петра — не видел ведь сегодня. Он и к завтраку не выходил. Послал приказчика. Тот долго не возвращался, а когда спустился с крыльца, развел руками:

— Нету его нигде, Тихон Трофимыч!

— Как это нету? Куда делся? Моль почикала? — Дюжев вылез из коляски, которая облегченно выпрямилась, и сам

пошел в дом. Поднялся в верхнюю комнату, где они вчера сидели с Петром. Там действительно было пусто. Только лежала на столе раскрытая книга с золотым обрезом. И на книге — листок бумажки. Дюжев взял его, прочитал: «Тихон Трофимович! Подожди меня до вечера, к вечеру вернусь и принесу новости. Петр».

Час от часу не легче! Дюжев покрутился, покрутился и велел Митричу распрягать.

Но к вечеру Петр не появился, не появился он и утром.

14

Так и не дождавшись Петра, выехали в Огневу Заимку только после обеда, когда солнце стало в зенит и струящийся прокаленный воздух зазвенел от жары. За коляской, не отставая, тянулась высокая лента удушливой пыли и после долго висела над трактом, который, не глядя на жару и пыль, жил своей жизнью, заведенной давным-давно и не прерывающейся ни на один день. Дождь, снег, грязь, пыль — чего бы ни случилось, все ползли бесконечные ямщицкие подводы, груженные самым разным грузом, пролетали тройки с чиновниками и начальниками, спешившими по казенным надобностям, степенно раскачивались возы с только что убраным сеном, и конец веревки, захлестнутый на березовый бастрык, тащился по земле, и за ним тоже тянулся махонький ручеек пыли.

Тележный скрип, громкое, похожее на выстрелы, хлопанье бичей, свист, крики, лошадиное ржанье — все сливалось, перемешивалось с горячим воздухом и пылью, и глаза невольно скользили по окоему, отыскивая посреди березовых колков синие блюдца редких озер. И когда они попадались, туда невольно хотелось свернуть, чтобы вырваться, пусть и ненадолго, из этого шумного, душного и утомительного движения.

Дюжев по сторонам не смотрел. В ногах у него стоял лагушок с чистой водой, и в этот лагушок он то и дело засовывал новую чистую тряпку. Слегка отжав, накидывал ее себе на лицо, и так ему было легче дышать.

Но к вечеру и мокрые тряпицы помогать перестали. До края доняли духота и пыль. Дюжев скинул с лица тряпку, огляделся и, поняв, что сегодня и до Шадры не добраться, приказал Митричу:

— Правь к постоялому, ночевать будем. Плетешься, как некормленный...

— Да как иначе, Тихон Трофимович! Из-за пылищи этой света белого не видать. Того и гляди — стопчешь какого бедолагу.

— Нас скорей стопчут, тянешься позади всех...

— И то надо поиметь, Тихон Трофимович, — начал было оправдываться Митрич, но Дюжев его окоротил:

— После доскажешь. Давай к постоялому, хоть дух переведу.

— А и ладно, — легко согласился Митрич, — эт мы можем! — и тише, себе под нос, добавил: — Наше дело телячье, мычи в тряпочку и не взягивай.

— Я те дам — в тряпочку! — расслышав бурчанье, обозлился Дюжев. — Много воли взял — расчирикался!

На этот раз Митрич не отозвался, зная, что хозяина лучше не дразнить, если он не в духе. Понужнул коней, и коляска чаще и резче закачалась на колдобинах. Впереди, на взгорке, вытянутое на обе стороны от тракта, замаячило крайними избами большое село Оконешниково, где был постоялый двор и арестантский этап.

Когда стали въезжать в крайнюю улицу, послышался грозный окрик:

— Осади! Возьми в сторону!

Кричал унтер-офицер конвойной команды. Высокий, худой, насквозь прокопченный пылью, он злобно выпучивал глаза, и его серое лицо было полосатым от стекающих капель пота. Этап арестантов только что втянулся в крайнюю улицу и теперь медленно брел вдоль домов, из которых уже выходили бабы и ребятишки, вынося хлеб, крынки с молоком, каральки и шаньги.

Оконешниково — село богатое, и арестанты, наверняка зная об этом, не торопились доставать из укромных мест свои казенные десять копеек, которые давались им на пропитание на один день пути. Коли есть людское сочувствие, можно денежку сохранить для иного случая. А сейчас... Среди бесцветной толпы — все арестанты были в грубых халатах, в разбитых кофтах, в ножных кандалах, все — на одно лицо — произошло легкое движение, и вот уже человек десять отделились от остальных, пошли, позвякивая цепями, вдоль улицы, и зазвучала над избами, поднимаясь все выше и набирая силу, «Милосердная».

Петь ее начали негромко, словно бы пробуя голоса, но постепенно звуки набирали силу, и поначалу, даже еще не разбирая слов, невольно думалось — что это? Церковное пение, плач по мертвым, мольба или панихида? И лишь знающий человек сразу определял, что это — «Милосердная», напев которой нагонял тоску и жалость даже на самое грубое и ожесточенное сердце. А что уж говорить про баб, которые совали поющим арестантам в руки еду и, утирая слезы, еще раз посылали ребятишек, чтобы вынесли хлеба, яиц или молока.

Милосердные наши батюшки,  
Не забудьте нас невольников,  
Заключенных, — Христа ради! —  
Пропитайте-ка, наши батюшки,  
Пропитайте нас,  
Бедных заключенных!  
Сожалейтесь, наши батюшки,  
Сожалейтесь, наши матушки,  
Заключенных Христа ради!

И сливались голоса в один жалобный, в самую душу проникающий стон, голосам вторили цепи, вразнобой издавая такой же тоскливый звук, и казалось, что этой тоске и безнадежности, как и самой песне, не будет конца.

Мы сидим во неволюшке,  
Во неволюшке: в тюрьмах каменных,  
За решетками за железными,  
За дверями за дубовыми,  
За замками за висячими.  
Распростились мы с отцом, с матерью,  
Со всем родом своим племенем...

И полнились, полнились снедью мешки, которые держали в руках арестанты, а голоса поющих звучали все тише и тише, наконец сошли на один общий, протяжный вздох и истаяли. Остался только перезвон цепей, да какая-то сильно жалостливая бабенка запрочитала в голос.

Сколько уж раз доводилось Дюжеву слышать слезное пение арестантов, но привыкнуть к нему и воспринимать со

спокойствием до сих пор не мог. Вздрагивал при первых же звуках, обожженный, как ударом бича, и ничего с собой поделать не мог — плакал. А после щедро одаривал арестантов деньгами. Он и сегодня не удержался, приказал остановиться Митричу, выбрался из коляски и прошел в улицу. Двигался следом за поющими арестантами, прижимаясь к высокой крапиве, спотыкался и даже не вытирал слез.

Когда арестанты перестали петь, Дюжев полез в карман за бумажником, и в этот самый миг сзади, от истока улицы, долетел хриплый, сорванный от усилия голос унтер-офицера:

— Осади! Стой! Куда?! Стой!

Следом за криком, будто вытекая из него, проступил глухой стук копыт.

Дюжев резко оглянулся.

По краю улицы, срывая оглоблей макушки крапивы, вмах неслась широкогрудая бойкая лошадь, запряженная в одноколку. Дюжев откатнулся, чтобы она его не стоптала и не задела оглоблей, не удержался и завалился в крапиву, невольно подтягивая под себя ноги.

Его обдало горячим конским потом, колеса одноколки протарахтели рядом с пятками, накрыло пылью, Дюже в хлебнул ее раскрытым ртом, задохнулся и замер с вытаращенными глазами: в передке одноколки стоял и правил лошадью Петр. Мелькнуло его лицо, непривычно злое, оскаленные, как в драке, зубы и — все исчезло, будто привидение, в высоком столбе пыли, который вставал за одноколкой: к задку была привязана широкая и разлапистая верхушка сосны, которая тащилась по земле.

Изловчившись, Дюжев выкатился из крапивы и сквозь пыль успел еще разглядеть: наперерез лошади из серой толпы арестантов кинулся один отчаянный и успел, уцепился за одноколку, только цепь кандалов звякнула. И скрылся в пыли, которая вставала уже сплошной стеной.

Вразнобой, заполошно простукали выстрелы. Крики, ругань, а следом, словно накатившая волна, одобрительный гул арестантов. И злая, похожая на лай, команда:

— Садись! Всем на землю! Садись!

Арестанты, продолжая одобрительно гудеть, неторопливо садились на землю, подбирая полы своих халатов.

Когда пыль опала, одноколки уже нигде не было, она как сквозь землю провалилась, лишь валялась в конце улицы макушка сосны, обрывая глубокий и вилюжистый след.

Хрипло матерясь, унтер-офицер проскакал за деревню, покрутился там, оглядывая дорогу, и скоро вернулся, матерясь еще сильнее и громче. Ясно было, что одноколка проскочила уже в сосновый бор, начинавшийся сразу за околицей, где оконешниковцы испокон веку заготавливали дрова и через который ездили на елани, накатывая дороги кому где вздумается — попробуй угадай, по какой из них тарыхтит теперь колесами одноколка.

Все рассчитал Петр, как на счетах. И Дюжев, выбравшись из крапивы, еще не отойдя от удивления, невольно покачал головой: «Ах, ловок, зараза!»

Конвоиры взяли винтовки наперевес, подняли арестантов с земли, построили их в шеренги, долго пересчитывали и, наконец, пересчитав, погнали быстрым шагом к приземистому, будто пришлепнутому, зданию этапа, где уже настезь были распахнуты входные ворота.

Дюжев, отряхиваясь от пыли, пошел к своей коляске и велел Митричу ехать на постоялый двор.

А на постоялом только и разговоров, что о побеге. Это ж надо такое оторвать! Средь бела дня и посередь деревни. Дюжев в эти разговоры не ввязывался. В глазах еще стояло злое лицо Петра, оскаленные зубы, и слышался глухой стукоток копыт. Не-е-ет, далеко не все рассказал ему Петр, может так статься, что о самом главном-то и умолчал. «Как бы мне с ним под одну дудку по этапу не загреметь...» — думал Дюжев и кряхтел, схлебывая чай с блюдца. После чая он сразу же отправился спать, хотя солнце еще только собиралось опускаться на закат.

Но сон не шел, было жарко, душно и все мешало: скрипела деревянная кровать, когда он переворачивался с боку на бок, подушка казалась твердой, чудилось, что ползают по ногам клопы...

В конце концов Дюжев разозлился, поднялся, напялил кое-как на себя одежду и выбрался на улицу. Дневная жара схлынула, над землей стояла прохлада короткой ночи. Дюжев вольно вздохнул во всю грудь и отправился будить Митрича. Тот спал в коляске, сложившись калачиком на свежем сене, и время от времени так громко всхрапывал, что лошади вски-

дывали головы и начинали встревоженно ржать. Спал Митрич, как убитый, и долго отмахивался, не желая просыпаться. Наконец, получив крепкий дюжевский тычок, открыл глаза и ошалело спросил:

— Чо, распрягать?

— Распрягать дома будем, — хмыкнул Дюжев. — Сначала запряги. Поехали, пока прохладно, меньше пыли будет.

Выехали. В коляске Дюжев сморился и не заметил, как крепко уснул. Пробудился, когда уже всю рассвело и встало солнце. Сразу же вспомнил о Петре, обо всем, что вчера случилось. «И где он теперь с этим каторжанцем бегаёт?»

## 15

После полудня Дюжев с Митричем добрались до Шадры и завернули в кабак перекусить. Старый знакомец, местный мыловар Пахомов, увидев Тихона Трофимыча на пороге, заахал, прихлопывая себя руками по толстым ляжкам. И тут же взялся рассказывать. Слух о пожаре, пока он из Огневой Заимки до Шадры добрался, успел стать таким страшным, что из бестолкового рассказа Пахомова выходило: все на бугре сгорело подчистую и сам бугор наполовину сгорел, у артельного старшого ноги до пахов обуглились, головешки по всей деревне летели, два порядка изб огнем занимались и еле-еле жильё отстояли.

Пахомов еще рассказывал, а Тихон Трофимыч, круто развернувшись, уже вприпрыжку бежал к коляске, издали крича Митричу, чтобы тот гнал до Огневой Заимки в полный мах. И Митрич погнал. Едва коней не запалили; так скакали, словно собирались пожар тушить.

Через поскотину, мимо дома, сразу на бугор вылетели. Тихон Трофимыч соскочил на землю, а на ней — остывшие уголья да пепел. Под ногами хруст стоит. Обгорелый сруб плотники уже растащили; бревна, облизанные огнем, скатили вниз, к речке, а оттуда, от реки, подняли другой лес, до которого пожар не добрался. Мало этого, еще и новый подклет на три венца подняли. Если бы не обгорелая земля вокруг, то не сразу бы и догадался, что случилось.

Плотники, завидя Дюжева, побросали работу. Приковылял, косолапя, Роман. На ноги у него были натянуты черные шерстяные носки, подвязанные белой веревочкой.

— А мне наболтали, что ноги у тебя до пахов обгорели...  
— Высоко хватили, Тихон Трофимыч, подошвы поджарил  
— это верно. Зажива-а-ют! Я подорожнику в носки напикиваю, и затыгивает. Скоро гарцевать буду, как жеребец!  
— Веселый ты шибко, не по случаю.  
— Отгоревал я, Тихон Трофимыч. Поначалу рвал сердце, печалился, а как взялись за работу, и печаль пропала. Лесу надо — вот забота.

— Лесу добудем. Ты скажи толково — с чего занялось?

А вот этого — с чего занялось? — никто до сих пор не знал. Правда, Вахрамеев гундел не зря, в последние дни больше на молодяжку грешить стали. Но парни и девки, которые толклись в ту ночь на вечерке, клялись своим родителям, что они к бугру и близко не подходили. Так что никакого просвета в мудреной загадке не маячило.

— Теперь разве дознаешься, — развел руками Роман.  
— Да если и дознаешься, легче-то не станет. Ты, Тихон Трофимыч, печаль не клади на душу, мы теперь еще скорей рубить стали. Через пару деньков все заново встанет. Вот увидишь. Лесу бы...

— За лесом завтра же снарядим. Еще какая нужда есть?

Тихон Трофимыч внимательно выслушал Романа, все запомнил, чтобы уже сегодня отдать распоряжения Вахрамееву, и медленно, чернее тучи, спустился с бугра. Поступь отяжелела, уверенная поглядка сделалась тусклой.

Он не ломал голову — кто пожар устроил. Он сразу протянул ниточку от разбитого по зиме обоза, от воров, которые залезли в магазин в Томске, до вот этого бугра. Прочная получалась ниточка, и становилось ясно: не случайно все это, неспроста такие разбойные дела в один тугой узелок затягиваются. Кто-то всерьез решил насолить Дюжеву. Кто? Если не обман, то знал про это Зубый, приславший Петра, чтобы тот оберег Тихона Трофимыча. Но и Петр, рассказывая историю своей путаной судьбы, промолчал. Тихон Трофимович раньше времени не хотел его пытаться и выворачивать наружу до самой изнанки, да, видно, зря. Все надо было вытряхнуть, до капли. Но теперь уж, после драки, чего делать... Только руками размахивать да ругать себя последними словами.

Митрич был уже возле дюжевского дома, вываживал распряженных коней, остужая их после бешеной скачки, и недовольно поглядывал на хозяина: это надо же было так гнать, без ума, чуть животину не порешили, приехали бы и ночью — та же картина... Но только поглядывал, даже под нос себе не бурчал.

Выбежал навстречу Васька, как всегда развеселый и довольный жизнью; переваливаясь, как утка, заспешила навстречу Степановна, а за ее могучим плечом радостно поскверкивала глазами Феклуша. И когда Тихон Трофимович увидел их всех разом, на сердце у него сделалось легче, он привычно и горделиво вскинул голову, сурово, по-хозяйски, обвел взглядом просторный двор: все ли в порядке, нет ли какой порухи? Но взгляд ни на чем не остановился и никакой порухи не отыскал. Ну и ладно, слава Богу.

— Заждались мы тебя, Тихон Трофимыч, заждались, — выговаривала-напевала Степановна. — Уехал и глаз не кажешь, а мы тут тебя каждый день вспоминаем. Тюрин каждое утро выглядывает — приехал ли? Кака-то больша нужда у него к тебе. Обещалась ему сразу сказать, как прибудешь. Послать Феклушу?

— Посылай, — разрешил Тихон Трофимович, зная, что староста Огневой Заимки по пустяшному делу зря бегать не станет, даже и к самому Дюжеву. Феклуша, легка на ногу, не дожидаясь, чтобы ее по второму разу просили, выскользнула в ворота.

Тихон Трофимович ополоснулся, смывая с себя дорожную грязь, сел за стол, уставленный разносолами Степановны, но едва только принялся за обед, как подоспел Тюрин. Спешил староста, даже запыхался.

— Хлеб-соль, Тихон Трофимыч!

— С нами обедать.

— Да я не на обед торопился.

— Теперь уж, коль пришел, дело не убежит. Присаживайся.

К столу Тюрин присел, но к разносолам не притрагивался. И Дюжев, глядя на него, отложил ложку в сторону.

— Выкладывай, с чем пришел.

— Добрых известиев не принес, Тихон Трофимыч. Одне худые, про них и разговор имею.

— Да я уж знаю о пожаре.

— Пожар — одно, а я — про другое.

— Давай про другое.

Тюрин разглядел широкую, во всю грудь, бороду, кашлянул, собираясь с мыслями, и вдруг неожиданно спросил:

— А где твой новый работник, Тихон Трофимыч?

Изворачиваться, наводить тень на плетень Дюжев не стал. За долгие годы знакомства с Тюриным он крепко усвоил: хитрить перед стариком никогда не надо, тот под землей за версту видит, лучше говорить сразу, как на духу, как есть. Тогда он и поможет, и подскажет. Поэтому и резанул прямо:

— Сбег мой работник. Куда — не ведаю.

— Не было заботы — купили поросю... — Тюрин вздохнул, поерзал на стуле и надолго замолчал. Терял сухими морщинистыми пальцами краешек скатерти, думал. Дюжев его не торопил, ждал. Подумав, староста снова заговорил, начиная издали, обстоятельно: — Пожар в субботу случился, авпятницу за жердями ездил. Заеланью рубил. Приехал, гляжу — до меня кто-то робил: и пеньки свежие, и сучья еще зеленые. Ну, и я тут же топором махать взялся. Назад не оглядываюсь, рублю да рублю. Слышу — кашляет кто-то. Оглядываюсь и вижу: стоит оборванец, наблюдает за мной, а сам ружье держит, вот так, под мышкой прикладом, того и смотри — пальнет. И спрашивает он у меня: скажи, говорит, дед, новый работник купца Дюжева где теперь — в деревне али в Томском? Я ему отвечаю, что за чужими работниками не доглядываю. Ему хоть бы хны. Дальше допрос ведет: когда последний раз видел? Я тут и вспомнил. Последний раз видел, когда они жерди с Васькой везли, после того дня работник твой на глаза мне и не попадался. Так и ответил оборванцу. И, знаешь, он даже с лица изменился. Больше ничего не спрашивал, узелок мой с харчишками забрал из телеги и дунул в чашшу. Весь сказ. А, Тихон Трофимыч? В пятницу было, а в субботу на бугре-то и запластало. Проясни мне картину. Я все должен знать. Общество у нас, про то сам ведаешь, строгое, может и осерчать, коли ты без спросу каторжанцев пригревать начал...

Ах ты, хитрован старый, вон аж куда разговор вывел! Дюжев задумался. Про суровость и строгость общества в Огневой Заимке он знал не понаслышке. На его глазах однажды

приключилась история: Илья Корзунов, мужичонка бесхозяйственный, но себе на уме, падкий на легкую добычу, пригрел у себя конокрада. На пашенной заимке станок завел, где ворованных лошадей прятали. Там их мужики и накрыли. И Илью, и двух конокрадов. Конокрадам, по старому обычаю, сначала самокованные гвозди вколотили в пятки, а затем отвезли в лес подальше, и никто их больше с того времени не видел. А с Ильей по-другому поступили. Покидали пожитки на подводу, сверху бабу его с двумя ребятишками взгромоздили, вожжи в руки Илье вручили и сказали: ступай, сердешный, куда пожелаешь. Илья со своим семейством и с пожитками еще не успел мимо бугра над Уенью проехать, а мужики уже его избенку до нижних венцов раскатали. Была изба — и нету. На том месте и по сей день никто не построился, только одна крапива буйствует.

Все это хорошо помнил Дюжев. Потому и задумался.

— Дак чо мне скажешь, Тихон Трофимыч? — прервал затянувшееся молчание Тюрин.

И слукавил Тихон Трофимович. Не стал рассказывать с самого начала: кто же с лету всей этой длинной и путаной истории поверит? Ее-то как раз и посчитают выдумкой.

— А то и скажу. Доброта моя подвела. Это сын моего знакомца из Тюмени. За что и как он загремел на каторгу — не знаю, но явился ко мне с просьбой от отца, я и не отказал. Решили, что он временно у меня пересидит, пока отец ему бумаги не выправит. Точно, отправляя я его с Васькой за жердями, и вышел к ним тот оборванец. О чем говорили — неизвестно. Васька мне сразу доложил. Кричу — давай его сюда. А его след простыл. С тех пор не видел. Но если появится — отправлю подальше. Это я тебе твердо обещаю.

— Коли так — ладно, Тихон Трофимыч. Слову твоему я верю. Потому и не говорил никому, тебя ждал. Ну и теперь никому не скажу. Только ты уж за свои слова ответчиком будешь. А?

Дюжев кивнул.

Они еще поговорили о сенокосе, о том, что рожь нынче уродилась добрая, и ушел Тюрин успокоенный.

На двадцать рядов вывели плотники церковную стопу. Поднимали бревна на верхотуру для двадцать первого.

Захлестнутые с двух сторон веревками, подпертые снизу длинными баграми, толстые бревна неохотно ползли по следам, и те гнулись под ними, как сырые жердочки. Того и гляди — хрустнут. Но — дюжили. Наверху, у каждой веревки, — трое мужиков. Подтянут, руками перехватятся, и снова — подтянут, перехватятся. Все, как один. А Роман, чтобы не случилось разнобоя, громким голосом вскрикивал:

— А-ай, ухнем, а-ай, ухнем! — Дальше, давая мужикам малую передышку, скороговоркой частил: — Петух курицу догнал, ей макушку исклевал, во хлеве, в гнезде курином, Ванька Дуркин закричал... — и следом — два долгих вскрика: — А-ай, ухнем! А-ай, ухнем!

Бревно оставляло на слегах смолевый след, и он взблескивал под горячим солнцем. Горели ладони; мокрехонькими, хоть выжми, были рубахи на мужиках. Ныли спины от напряжения, щипало в глазах от едучего пота, но бревно двигалось. Выше, выше, вот оно уже на самом верху. Негромко стукнуло, уложенное концами в вырубленные чаши, шевельнулось напоследок, словно притиралось к новому месту, — замерло. А внизу уже зацепляли веревки за другое бревно, и Роман, всееля, подбадривая плотников, снова подал им голос:

— А-ай, ухнем! А-ай, ухнем! Бабы по воду ходили, ведра в речке утопили, а полезли доставать — Ванька Дуркин там опять... А-ай, ухнем! А-ай, ухнем!

Стучали, не зная устали, топоры, ширкали продольные пилы, разваливая толстые кряжи на пластины, усыпая землю желтыми пахучими опилками. Бугор оглашался шумом и голосами. Стопа росла на глазах, тянулась к небу и сразу становилась привычной любому взгляду — будто век тут стояла.

На двадцать третьем ряду, когда Роман охрип, а мужики вразнобой стали тянуть за веревки, решили остановиться. Побоялись, что случится оплошка: оборвется бревно, после не расхлебать будет. Попадали, кто где стоял, даже разговор не заводили — сил не было языком шевелить.

Митенька, до полночи прогулявший с Феклушей, сунул под голову картуз и уснул. Так крепко, словно маковой воды напился. И сон увидел. Будто бы он на лошади верхом едет, а лошадь только в оглобли запряжена. Ни телеги, ни саней нет. Сам же

Митенька задом наперед сидит и куда едет — не видит. Хочет из-за плеча глянуть, а ему кто-то не дает, заслоняет. Помаялся так и решил с лошади спрыгнуть: стыдобина ведь, люди увидят — засмеют. Взял и спрыгнул. А перед ним — дверь. Изрублена, искромсана. Митенька в одну сторону кинулся, в другую — все равно на дверь натывается. Давай тогда ломиться в нее. Дверь качается, хлябает, а не поддается. Митенька для разгона качнулась и — плечом. Дверь отлетела, открылся подземный ход, а в нем — мрак. Ни единого просвета нет. Митенька назад, а его кто-то за ноги ухватил. Сдавил и держит. И тихо-тихо на ухо нашептывает: «А ты согласишься на убийство, я отпущу». Вкрадчиво нашептывает, ласково. Митенька перекреститься хотел, а рука не поднимается. Закричал, что есть мочи, со страху и — пробудился. Вскинулся, повел ошалелыми глазами, а плотники на него дивятся: ты чего, парень, орешь, как недорезанный? Он глаза протер, очухался и пересказал мужикам сон, но про слова, нашептанные ему неизвестно кем, умолчал. Спросил у мужиков — что сон значит? Сны разгадывать мужики не умели и, хохотнув, посоветовали сходить к бабам — те, волосатки, все знают, растолкуют.

Один только Роман не улыбался. Глядел на Митеньку и хмурился.

Передохнув, плотники еще потолковали о том, о сем и решили на сегодня работу закончить. Дело к вечеру, и заводить новый ряд не с руки. Лучше завтра, с утра пораньше. Прибрали инструмент и разошлись.

Митенька замешкался. Вспомнил, что снохи наказывали ему принести щепы на растопку. Стал собирать, выглядывая смолевую, которая вспыхивает, как порох, и не заметил, что подошел Роман. Уходил тот вместе с плотниками, но вернулся.

— Я, парень, сказать хочу... — Роман смутился, переступил с ноги на ногу и поморщился — не зажали еще обожженные подошвы. Но тут же и посуровел. — Оставь-ка Феклушу мою в покое. Не твоего она полета птица. Матушка ваша воспротивится, а Феклуше — рана на сердце. Ты уж меня, старика, послушай — отступись. Чем дальше тянуть будешь, тем послевать больней. Добром прошу — отступись.

Митенька отступил на шаг от Романа. Покраснел, щепу из рук высыпал. Голову перед старшим потупил, но ответил твердо:

— Отказываться мне от Феклуши никак нельзя. Люба она мне. А маменька своего слова еще не говорила.

— Зайдет речь и скажет. Отступишь, Митрий, всем лучше будет. И тебе, и мне, и Феклуше, и маменьке твоей.

Роман круто повернулся и, не дожидаясь ответа, пошел с бугра, не оглядываясь. Тяжело ему было эти слова выговаривать, а куда денешься? Кто родное дитя обережет, кроме родителя? А что надо оберегать, он и не раздумывал. У Зулиных хозяйство сверх всякой меры крепкое, а у него только изба, к которой еще руки и руки прикладывать требуется, да топор за опояской. Но топор вместо приданого не выложишь.

Все Роман верно разложил и сказал мудро, а на душе — тяжело. И Митеньку жалко, и Феклушу, да и самого себя — тоже.

— Э-эх, горькая! — махнул рукой и прибавил шагу, памятуя о том, что ему еще и с дочерью толковать придется. Вконец запечалился и добавил: — Кому грудинка, а нам, бедолагам, все косточки.

Митенька после разговора с Романом и про щепу забыл. Вернулся домой с пустыми руками, снохи ему пенять стали, но он отмалчивался. За столом сидел, как в воду опущенный, и кусок ему в горло не лез. Раздумывал Митенька над словами Романа, примерял их так и эдак и понимал — правильные они, верные. Не согласится маменька. Но чем больше уверялся в этой правоте, тем сильнее хотелось ему сделать по-своему — привести в родной дом Феклушу.

«И приведу, — думал он, — приведу и никуда не денутся, примут!»

17

Петр без усталости полоскал кнутом спину лошади, которая уже роняла на сухой песок мыльные хлопья. Низкие ветки сосен хлестали по лицу и обдавали жарким смолистым запахом. Телега дребезжала и подсакивала, готовая развалиться в любой момент на глубокой колдобине. Но Петр не жалел ни кнута, ни лошади — гнал и гнал в чащу соснового бора, пытаясь как можно дальше и быстрее уйти от Оконешниково. Назад не оглядывался. А если бы оглянулся, увидел: арестант

на корточках сидел в телеге, уцепившись обеими руками за днище, вжав голову в плечи, и только встряхивался на кочках, похожий на бесформенный серый мешок.

Бор неожиданно расступился, и открылась широкая елань, опушенная ровной, вызревающей рожью. Узкая, ненакатанная дорога вильнула в сторону и пошла обочь елани, посреди высокой травы, исходящей густым медовым настоем. Лошадь стала замедлять бешеный бег и уже не вскидывала голову после ударов кнута, а только замученно всхрапывала.

Проскочили елань, миновали длинный пологий лог, и Петр натянул вожжу, забирая вправо, туда, где не было никакой дороги и где на сухом настиле старой прошлогодней хвои и растрескавшихся шишек почти незаметным был след от тележных колес и лошадиных копыт. Перевел лошадь на шаг, долго кружил между соснами, выискивая пространство для проезда, и наконец остановился. Соскочил с телеги и быстро стал распрягать лошадь, освобождая ее от мокрой сбруи, резко шибавшей в нос конским потом.

И только после этого подошел к телеге, из которой с трудом выбирался арестант, с крехом выпрямляя онемевшие от напряжения ноги. Он оказался невысокого роста, чернявый, горбоносый, с толстой, слегка отвислой губой. Большой широкий халат висел на нем, как дерюга на чучеле, а из разбитого кута торчал большой палец с грязным и загнутым внутрь ногтем. И лишь большие жгуче-черные глаза горели радостным блеском. Арестант озирался, глубоко дышал, вздымая узкую грудь, и видно было, что он еще не пришел в себя и плохо соображал, что произошло с ним за столь короткое время.

Петр, сбоку наблюдая за ним, стоял молча, опираясь локтем на телегу.

— Неужели свершилось?! — арестант вскинул руки и потряс сжатыми кулачками. — Свершилось! Я же верил! Верил!

— Здравствуйте, господин Хайновский! — негромко произнес Петр.

Арестант резко обернулся и отрывисто спросил:

— Откуда вы меня знаете? Вы не должны меня знать! Вас только наняли! Откуда вы меня знаете? — и медленно, выставив вперед руки, начал отходить от телеги.



— Стоять! — властно осадил его Петр. — И не вздумайте бежать. Один раз вы от меня убежали, во второй раз, увы, ничего не получится.

Молниеносной подсечкой сшиб арестанта на землю, наполовину выдернул его из халата, связал руки и подтащил к колесу телеги. Присел перед ним, глядя прямо в глаза, в упор, и негромко, сдерживая внутреннее напряжение, заговорил:

— Вам несчастный Константин Мещерский по ночам не является? Не приползает, не визжит о своих оторванных ногах? Оторванных, к слову сказать, во имя освобождения трудового народа... Если не ошибаюсь, именно так вы изволили выражаться во времена не столь давние?

Арестант вжимался в тележное колесо, лихорадочно блеснул глазами и не мог произнести ни единого слова, беззвучно открывая и закрывая рот. Грязный большой палец, вылезший из порванного кота, дергался.

Не меняя позы, Петр терпеливо ждал ответа. Арестант поскреб пятками по земле, еще плотнее прижался к колесу; тонким, почти женским голосом выкрикнул:

— Вы кто? Кто вы есть?!

— Теперь я никто. Но это не имеет абсолютно никакого значения. И постарайтесь запомнить: спрашивать буду я, а отвечать будете вы. Только так, и никак иначе!

Петр поднялся и долго расхаживал по полюне, изредка поглядывая на арестанта, который будто вклеился в тележное колесо. Эх, такую бы встречу да намного раньше, как бы все по-другому обернулось! Петр усмехнулся этой наивной мысли и невольно вспомнил старого князя Мещерского, который в таких случаях, как деревенский мужик, непременно говорил про соломку, подстеленную вовремя.

Но — не получилось, с соложкой-то...

18

...Огромный доходный дом, поставленный кораблем неподалеку от Обводного канала, громоздкий, мрачный, выходил сразу на две улицы, и имел небольшой дворик, больше похожий на дно узкого и глубокого колодца. Щербатов появился здесь на следующий день после тяжелого и неожиданного разговора с Татьяной, одетый в штатское пальто и потому

чувствующий себя немного непривычно. В кармане пальто лежал листок с адресом, выученным уже наизусть, но Щербатов не торопился входить в подъезд и стучаться в нужную ему квартиру — он оттягивал время встречи с Константином Мещерским, потому что так и не придумал: с каких слов начинать эту встречу? Более того, внутренне, стараясь не признаваться в этом самому себе, он не верил, что эта встреча принесет положительный итог. Но данное Татьяне слово требовалось сдержать, и он готов был его сдержать, каких бы усилий это ни стоило. Однако, беда за малым: не знал одного — как это сделать...

Так ничего и не придумав, Щербатов долго прогуливался по дворику, а затем обогнул дом и вышел на людную улицу, уже обласканную по-весеннему ярким солнцем, и потому необычно многолюдную. Неторопливо брел по краешку тротуара, глядя себе под ноги, и даже вздрогнул от неожиданности, когда на плечо ему легла сильная рука. Обернулся — перед ним стоял, улыбаясь, Константин Мещерский.

— Здравствуйте, дорогой Петр Алексеевич! А я смотрю и думаю — не иначе влюбленный господин шествует. Ни на кого не смотрит, не оглядывается, самоуглублен, сразу видно — занят сердечными переживаниями. К слову сказать, когда ожидается пышная свадьба?

— Константин Сергеевич, оставьте свой тон. Я к вам иду, для очень важного разговора.

— А почему тогда в обратную сторону? Вам что, Татьяна дала неточный адрес? Это ведь Татьяна дала вам адрес?

— Да. И я обещал ей, по ее просьбе, составить с вами серьезный разговор.

— К вашим услугам, Петр Алексеевич, — Константин перестал улыбаться. — Только что же мы на тротуаре? Давайте уж пройдем ко мне. Заодно и чайку выпьем. Не возражаете?

— Да, благодарю. Пойдемте к вам.

Они вернулись назад, в узкий двор огромного дома и поднялись по довольно широкой, но темной лестнице на второй этаж. Константин открыл двери квартиры, пропустил вперед Щербатова и сделал рукой широкий жест — вот, любуйтесь, мое нынешнее жилище. Небольшая прихожая, просторный зал и дальше, за углублением выдающейся в залу

стены, спальня, — были обставлены скромной старой мебелью, выдавшей на своем веку множество постояльцев. На стенах блекло посверкивали выцветшей позолотой дешевые, кое-где отставшие, обои, и во всем убранстве квартиры чувствовалась холостяцкая неустроенность и холостяцкая же временность проживания.

— Располагайтесь, Петр Алексеевич, я сейчас... Прислуги не держу, поэтому хозяйничаю сам.

Пока Щербатов осматривался в зале, Константин быстро заварил чай, расставил на столе чашку, сахарницу, молочник, печенье в вазочках, и все это у него получалось аккуратно, изящно и с изрядной долей неприкрытого самодовольства: да, и это я умею...

Вот и чай разлили, пора начинать разговор, ради которого и затеян был визит, а Щербатов так и не решил для себя: что, и главное — как, он должен говорить.

— Я слушаю, Петр Алексеевич, — поторопил его Константин.

Щербатов, оттягивая время, разломил наполовину круглое ажурное печенье, прихлебнул чаю и решил, в конце концов, действовать напрямую. Не стал таиться, а пересказал, почти дословно, все, что ему поведала вчера Татьяна.

— И вы, конечно, по законам офицерской чести, решили сдержать слово, которое дали моей сестрице, и пришли, чтобы наставить меня на путь истинный... Увы, увы, дорогой мой Петр Алексеевич, вынужден вас глубоко разочаровать. Все, что вы вчера слышали, — это плод воспаленного воображения и перезрелого девичества. Татьяне замуж пора. Вы уж не обижайтесь, я немного циник, что делать. Да, я ушел из дома, да, у меня есть круг друзей, разделяющих мои убеждения. Они очень просты, эти убеждения — наш народ нуждается в просвещении. Я вам более скажу — после окончания курса собираюсь уехать в деревню учительствовать. Само собой разумеется, если я объявлю об этом родителям сейчас, они... впрочем, понимаете, что будет. Я хочу готовить их постепенно. А что касается бомбистов и ниспровергателей существующего строя... Фантазии! Просто-напросто Татьяна никогда не видела этот тип людей, которые меня сейчас окружают, своеобразных, конечно, и они ей сразу показались злодеями. А какие они злодеи, если могут

расплакаться даже над раздавленной букашкой. Конечно, вольнодумцы немного, конечно, поругивают власть, но кто из нас, русских, не любит ее ругать... Даже ваш любимый и прославленный командир Любомудров недавно себе позволил... Доводилось читать?

Щербатов машинально кивнул, совершенно сбитый с толку доверительным тоном Константина, который так был тому не свойственен, и его твердой уверенностью. Может, действительно, Татьяна все преувеличила?

— Да, коль уж зашла речь, — продолжал Константин, — Любомудров и впрямь такой человек, как о нем пишут в газетах? Или врут, как обычно?

— Конечно, врут! — воскликнул Щербатов. — Мы, участники кампании, расцениваем это как травлю и клевету!

А все дело было в том, что полковник Любомудров с присущей ему солдатской прямоотой рассказал корреспондентам, в том числе и иностранным, о том, что жертв на Шипке могло быть намного меньше, если бы интендантское ведомство подготовилось к зиме так, как положено, а не занималось бы воровством. А дальше, войдя в раж, как бывает в ближнем бою с противником, Любомудров и вовсе не сдержал себя — заявил, что огромное количество военных поставок было отдано еврейским дельцам, а эти люди, всегда чужие в государстве, растащили казенные деньги на взятки тем же интендантам и на собственное обогащение. В итоге получилось, что Любомудров не угодил всем: в газетах его обзывали сатрапом и ненавистником несчастных евреев, а в ставке к нему стали относиться подчеркнуто холодно и поговаривали, что даже сам государь высказывал недовольство.

— И в полку у вас он пользуется прежним уважением? — продолжал расспрашивать Константин.

— Еще бы! — с жаром отвечал Щербатов. — Завтра он возвращается из Минеральных Вод, после лечения, и мы, офицеры полка, устраиваем обед в его честь. Мы всем хотим показать, что наш боевой командир по-прежнему остается для нас образцом верности долгу и присяге.

— Я бы не отказался присутствовать на этом обеде. Кстати, где он состоится?

— В гостинице «Метрополь», без четверти двенадцать. У входа будет играть полковой оркестр.

— Знаете, Петр Алексеевич, я вам завидую. Это так трогательно, — Константин поднялся из-за стола, прошел к старому резному шкафу, выдвинул верхний ящик и обернулся. — Сидеть, Петр Алексеевич! И не вздумайте шевельнуться!

В правой руке у него поблескивал вороненым стволом взведенный револьвер.

— Вы что, с ума сошли?!

— Руки на стол! — скомандовал Константин.

Но Щербатов ухватился руками за край стола, чтобы перевернуть его под ноги Константину, и в ту же долю секунды прогремел выстрел. Левое плечо ожгло болью, будто по нему внезапно ударили палкой.

Сразу же после выстрела за спиной Щербатова раздался резкий стук и кто-то, невидный, навалился сзади, заломил ему руки за спину. Боль в плече полохнула так, что на короткое время вышибла из сознания.

Когда он вернулся в явь, то обнаружил, что его накрепко прикручивают веревками к креслу, кто-то тяжело сопит над ухом, а Константин стоит на прежнем месте с револьвером в руках и улыбается. И эта улыбка, благодатная, счастливая, поразила Щербатова больше, чем внезапный выстрел.

— Готово! — произнес кто-то задышавшим голосом, и Константин опустил револьвер. Из-за спины Щербатова вышел приземистый рыжебородый человек, одетый, словно мастеровой, в рубаху навыпуск, перехваченную тонким пояском. На голенищах больших сапог с напуском висели широкие штанины, измазанные дегтем. Но, несмотря на весь этот наряд, рыжебородый нисколько не походил на мастерового. И это стало совсем ясным, когда он заговорил:

— Гениальный ход, Мещерский! Я бы до такого, честное слово, не додумался. Теперь для нас самое главное — успеть, ни в коем случае не опоздать. Я сейчас же уйду к Хайновскому и от него — сюда, чтобы разработать окончательный план.

— Хорошо. А я пока побеседую с господином поручиком, у нас есть тема для разговора; не так ли, Петр Алексеевич?

Не дождавшись ответа, Константин, продолжая улыбаться,

проводил рыжебородого до двери, вернулся в залу и из резного шкафа, из верхнего ящика, из которого он достал револьвер, вынул пузырек с йодом, вату и марлю. Стащил с плеча Щербатова сюртук, разорвал рубашку и стал перевязывать рану, заботливо приговаривая:

— Не беспокойтесь, Петр Алексеевич, это не опасно, задемы только мягкие ткани, есть вход и выход, значит, пуля не застряла. До свадьбы, если таковая состоится, все обязательно заживет.

Константин убрал со стола перевернутую посуду, снял скатерть, залитую расплескавшимся чаем, затем снова заварил чай, постелил чистую скатерть и поставил только один прибор — для себя. Прихлебывал из фарфоровой чашки мелкими глотками, смотрел на Щербатова и улыбался.

— Что же вы молчите, Петр Алексеевич, я жду от вас вопросов. Или, хотя бы, проклятий... Впрочем, не надо вопросов, я сам все расскажу, как на исповеди. Только сначала — одно признание. Я вас ненавижу! И знаете почему? Вы украли у меня соратницу, мою будущую, какой она могла стать, соратницу — Татьяну. После того как вы вошли в наш дом, я сразу понял, что она для меня, для моего дела, потеряна напрочь. Все двинулось по самому пошлому русскому пути — воздыхания, романтические чувства, свадьба и тупое производство на свет себе подобных. А я это все ненавижу!

— И что же вы хотели предложить взамен?

— Террор! Уничтожение всего лишнего, ненужного, гнилого. Одряхлевшая страна нуждается в новой крови. И мы вольем эту кровь, насильно вольем в старый организм, он воспрянет от вековой спячки. Татьяна только в одном не ошиблась — мы, действительно, действуем бомбами и револьверами, ибо в России только такими средствами можно добиться высоких целей. Иного пути нет и не будет. Теперь вы понимаете — почему я вас ненавижу?

— Не понимаю, — искренне ответил Щербатов. — Для того, чтобы вас понять, надо стать таким же душевнобольным, а я, увы, пока еще в здравом уме.

— Это не здравый ум, а тупой и заскорузлый, не способный чувствовать новое время. А новое время — это ломка всех

устоев, это пепел и развалины, на которых, как во времена Адама и Евы, будет начинаться иная жизнь. Свободная жизнь свободных людей!

Чем дальше говорил Константин, тем сильнее менялось его лицо. Исчезла обычная улыбка, глаза блестели, губы вздрагивали в нервном тике. Казалось, что слова, которые он произносил, колотили его изнутри, жгли и приводили в лихорадочное состояние.

— Константин Сергеевич, вам к доктору нужно, — усмехнулся Щербатов. — Только к хорошему доктору, иначе вас разобьет паралич.

— Скорее, это произойдет с вами. В ближайшее время. И хотите знать — почему? Потому что вы, дорогой мой Петр Алексеевич, предали своего любимого командира, нарушили честь и присягу, сообщив о времени его прибытия государственным злоумышленникам, как нас называют. Завтра ваше-го Любомудрова разнесет в клочья.

Щербатов дернулся в кресле и застонал от боли в плече.

— А я еще постараюсь сделать так, — продолжал Константин, — чтобы об этом стало известно вашим сослуживцам. И тогда вам останется, Петр Алексеевич, только одно — пуля в лоб. На большее, по своему мировоззрению, вы и не способны.

Только теперь до Щербатова в полной мере дошло — в какой ловушке он оказался. И от отчаяния он еще раз дернулся в кресле, чтобы хоть болью перебить безысходность, которая им овладела полностью. Но привязали его крепко, прочно, пожалуй, что и со знанием дела.

— Не надо тревожить рану, Петр Алексеевич, не надо, больно ведь... — Константин снова заулыбался.

И тут еще одна догадка осенила Щербатова:

— И с Татьяной, подсунув ей дневник, вы тоже специально подстроили?

— Разумеется. Татьяна, как я и ожидал, кинется спасать меня и честь семьи, обратится к вам, а вы придете сюда и сообщите все, что мне нужно. Именно это и произошло, и именно это доказывает, что я неплохо постиг человеческую сущность. Не правда ли, Петр Алексеевич?

В это время в дверь раздался осторожный и условный стук — раз, два и — после долгого промежутка — три. Константин пошел открывать. В прихожей раздался голоса, они звучали приглушенно, но Щербатов сумел расслышать:

— Нет, Хайновский, это сделаю я, — говорил Константин. — Если вы попадетесь, это вызовет еще большие гонения на евреев. Я все выполню сам, лично. И никаких обсуждений!

— Спасибо, Мещерский, я никогда в вас не сомневался. Вы станете настоящим знаменем всех наших товарищей, которые борются за освобождение трудового народа. Коробку с начинкой вам доставят к вечеру. Мы решили — угол возле «Метрополя», там как раз поворот и коляска окажется очень близко к тротуару. Желаю удачи.

Дверь закрылась, и Константин вместе с рыжебородым появились в зале. И сели, как ни в чем ни бывало, пить чай. Говорили они... о погоде, и о том, что весна в этом году наступает слишком медленно. Щербатов слушал их и ему казалось, что он видит дурной сон.

Через какое-то время, покончив с чаем, они словно вспомнили о Щербатове, и рыжебородый, взглянув на часы, предложил:

— Пожалуй, поручика пора закрывать.

Вдвоем они подняли кресло, развернули его, и Щербатов увидел, что в стене есть небольшая потайная дверь, ловко скрытая будто бы отставшими обоями. За дверью оказался совсем крохотный закуток, абсолютно темный, куда не проникал даже лучик света. Удушливо пахло пылью и мышами. Рана в плече нестерпимо ныла, связанные руки затекли и налились тяжестью. Пытаясь хоть немного облегчить боль, Щербатов стал шевелиться, надеясь, что веревки чуть-чуть ослабнут. Но это была пустая затея. Тогда он стал раскачивать кресло и вдруг почувствовал, что оно под ним начинает шевелиться. Рассохшиеся ножки подавались в такт движениям, и колебания кресла становились все больше. Сверху, от плеча, по руке заструилось тепло — пошла кровь из раны. Но Щербатов, намертво сцепив зубы, терпел — в непроницаемости сплошной безнадежности для него замигал робкий лучик. Кресло распатывалось все сильнее, и Щербатов теперь боялся только одного: чтобы оно не заскрипело. Но рассохшиеся пазы звуков не подавали.

Сколько длилось это мучение Щербатов не помнил — время для него будто замерло. Иногда он останавливался передохнуть, слышал за дверью голоса Константина и рыжебородого и снова раскачивал кресло. Первыми выпали передние ножки, Щербатов даже дышать перестал, ожидая громкого стука, но пол был застелен чем-то и они упали почти беззвучно. Задние ножки удалось выломить намного быстрее. Теперь надо было освободиться от спинки и от сиденья. Щербатов присел на корточки и в неимоверном усилии, едва не теряя сознания от боли, упиравшись сиденьем в стену, отломил и его. Оставшуюся спинку упер в пол и резко стал дергать руки вниз. Веревки, подаваясь с великим трудом, все же сползали и слабели. И, наконец, ослабли. Еще не веря, что ему это удалось, Щербатов перевел дыхание. Теперь надо было окончательно избавиться от веревок. Обламывая ногти, он долго распутывал тугой узел. А когда почувствовал, что руки свободны, в изнеможении опустился на пол и прислонился спиной к стене. Сил не было.

Он сидел, как в забытии, но теперь хорошо слышал и различал голоса, которые звучали в зале.

— Я возвращаюсь с коробкой, — говорил Константин, — и мы с вами еще раз обговорим все детали, затем вы уедете — мне нужно хорошенько отдохнуть.

— А поручик?

— Поручик, поручик, несчастный поручик... Пожалуй, он примет яд от неразделенной любви и умрет где-нибудь на бульваре. Можете придумать что-нибудь более изящное, как вам фантазия подскажет. Все, я пошел.

Стукнула дверь, и в зале стало тихо. Щербатов без устали шевелил занемевшими руками, разгоняя кровь. Боль в плече не отпускала, но теперь он к ней уже притерпелся. На ощупь нашарил в темноте увесистую ножку от разваленного кресла и тихонько приоткрыл дверь. Рыжебородый сидел к нему спиной и наклонив голову что-то быстро писал. Он даже не успел оглянуться, а после удара по затылку сунулся лицом в мелко исписанный лист и затих. Щербатов связал его той же самой веревкой, от которой только что освободился, подтащил и прислонил к резному шкафу. Открыл верхний ящик — револьвер был на месте. Крутнул барабан — заряжен полностью. Там же,

в ящике, лежала коробка с патронами. Сунул ее в карман, на всякий случай. Подошел к столу, взял мелко исписанный листок. Прочитал: «Граждане! Этот приговор, исполненный нами над гонителем свободы и мракобесом Любомудровым, есть суровое предупреждение всем черным силам власти. Россия, истомленная голодом, самоуправством администрации, постоянно теряющая силы сынов своих на виселицах, на ка-торге, в ссылке, в томительном бездействии, вынужденном существующим режимом, не может жить так далее...» И — длинный, рванный на бумаге, росчерк после удара.

Щербатов плеснул из чашки остывшего чая в лицо рыжебородому, тот замычал, попытался поднять голову и не смог — уронил ее еще ниже. И в этот момент тихо открылась дверь, в прихожей послышались уверенные шаги, а в зеркале Щербатов увидел Константина, который шел с большой коробкой из-под торта, перевязанной нарядной голубенькой лентой. Он сразу понял — что в этой коробке. Неслышно отступил за стену, которая отделяла зал от спальни, но в то же время продолжал видеть Константина в зеркале. Тот остановился, увидев рыжебородого, обернулся назад, собираясь, очевидно, выскочить в прихожую, но Щербатов негромко приказал:

— Стоять! Иначе я стреляю! Коробку на пол и к стене, быстро!

Константин медленно обернулся на голос, пытаясь определить, где Щербатов, и, поняв, что он за стеной, сдавленно крикнул:

— Хайновский! Бегите!

И сам круто развернулся, бросаясь в прихожую.

— Стоять! — Щербатов выстрелил в пол.

Константин с разбегу споткнулся о ковер и, падая, отшвырнул от себя коробку из-под торта. Из нее с неимоверным грохотом взошло грязно-желтое пламя.

Щербатова отбросило от стены, ударило о ночной столик, и он, разломив его, пролетел дальше, разорвав подушки на кровати, выпустив пух и, судорожно хватая его, ускользящий из ладоней, задохнулся от душного, едкого запаха.

Было тихо, только из разбитых окон с жалким теньканьем высыпались остатки стекол. И вдруг раздалось негромкое щенячьё повизгивание. Перемогая тошноту, подкатившую к горлу, шатаясь от разрывающей головной боли, Щербатов на подсекающихся ногах выбрался в залу и в дыму, в грязной

копоти, в кружащихся лохмотьях обоев увидел Константина, который, повизгивая, извивался на полу и был почему-то странно маленьким. Лишь приглядевшись, Щербатов понял — вместо ног у Константина были два рваных, брызгающих кровью обрубка...

19

За спиной жандармского полковника Нестерова висел большой портрет Государя в полный рост, и Щербатов, отвечая на вопросы, старался на этот портрет не глядеть. Потому что всякий раз, как только он поднимал глаза, ему сразу же виделось яркое осеннее утро, полковой плац и он слышал звенящий в прохладном воздухе отеческий голос: «Здравствуйте, гренадеры!» Как же он был счастлив тогда, впервые увидев перед собой человека, который собирал воедино и этот дружный воинский строй, и счастливую молодость, и осознание всех, кто был на плацу, что они едины и служат единому делу.

Все пошло прахом! Теперь уже никогда не возвратиться ему, поручику Щербатову, в тот строй и никогда не увидеть Государя, а все офицеры полка, без сомнения, отвернутся от него, а если доведет судьба встретиться, то никто не подаст руки. Да, впрочем, навряд ли такая встреча с кем-то из бывших сослуживцев состоится. Теперь у них разные пути...

Полковник Нестеров устало вздохнул, отпустил секретаря, который вел запись допроса, и придвинул Щербатову коробку с длинными, душистыми папиросами, предложил:

— Угощайтесь, если желаете.

— Благодарю. Я не курю.

— Похвально, весьма похвально, — сам Нестеров неторопливо закурил, аккуратно положил обгорелую спичку в пепельницу странной формы: с одной стороны это была прелестная девичья головка с локонами, а с другой — безобразный оскаленный череп. Во время допроса Нестеров ее постоянно крутил на столе, показывая, поочередно, то один бок, то другой. Скрывая за клубами табачного дыма свое лицо, Нестеров неожиданно спросил:

— А вам самого себя не жалко, господин Щербатов?

— Что вы имеете в виду?

— Да то и имею, что спрашиваю. Честно говоря, вы меня утомили за эти дни. Вам что, так хочется на каторгу? Хорошо, можете молчать и даже не отвечать на мои вопросы. Я сам буду говорить. Только постарайтесь, пожалуйста, слушать меня внимательно. Вчера нам стало известно, что террористическая организация под названием «Освобождение» готовила убийство хорошо вам известного полковника Любомудрова. Руководит организацией некий Хайновский. У нас есть все основания предполагать, что именно в эту группу входил и покойный князь Мещерский. Более того, беднягу, которого разнесло на куски, мы установили — господин Чечелев, также входивший в группу «Освобождение». Убийство Любомудрова было назначено на следующий день и вдруг — взрыв, два трупа участников тайной организации и живой, хотя и покалеченный, поручик Щербатов. Имеющий, кроме контузии, огнестрельное ранение в плечо. Никак не связывается с той версией, которую вы мне предлагаете.

— Я вам говорил и еще раз повторяю — Константина Мещерского я убил из личной неприязни.

— Вам что, мало было револьвера и вы притащили бомбу? Любопытная вещь, к слову сказать, на Руси у нас принято считать, что жандармский полковник — это обязательно дурак. Как же вы собирались жениться на Татьяне Мещерской, убив ее брата?

— Я был в состоянии аффекта.

— Бросьте! В состоянии аффекта может быть девица из Смольного института, но никак не боевой офицер.

— Я больше не буду отвечать на ваши вопросы!

— А вас никто не принуждает отвечать на мои вопросы. Последний раз спрашиваю — вы хотите облегчить свою участь?

— Не хочу! — повысил голос Щербатов.

— Вы сами сделали выбор, — полковник Нестеров повернул на столе пепельницу, и на Щербатова уставился оскаленный череп. — Судить вас будут, как уголовного, хотя судить, я уверен, не за что. Но — чужому сердцу не прикажешь. Прощайте, господин Щербатов.

Два дня суда прошли, как в тумане. Щербатов стоял на своем — Константина Мещерского убил из-за личной неприязни. Вопрос о принадлежности князя Мещерского к террористи-

ческой организации «Освобождение» даже не поднимался — у следствия не было прямых доказательств, кроме косвенных. А их, как известно, суду не предъявишь. Никто из Мещерских на заседание суда не пришел и тому, как было объявлено, имелись веские причины — князь и княгиня после похорон сына находились в очень тяжелом состоянии.

Петра Щербатова приговорили к пятнадцати годам каторги.

Когда его начал стричь тюремный парикмахер и первый пучок волос упал ему на колени, Петр с удивлением увидел абсолютно седую прядь. Усмехнулся и смахнул ее с коленей.

Перед самой отправкой по этапу его выкрикнул из общей камеры надзиратель и темным длинным коридором повел в тюремную канцелярию. Толкнул одну из дверей, пропуская Петра в небольшую комнату, закрыл ее за ним и остался снаружи.

В комнате сидел за столом, заляпанном чернилами, полковник Нестеров и курил длинную запыленную папиросу, задумчиво стряхивая пепел на пол. Он молча показал Петру на стул, и тот, присаживаясь, удивленно понюхал воздух — над столом явственно витал запах винного перегара.

— Потрудитесь запомнить, господин Щербатов, — медленно заговорил Нестеров, старательно выговаривая слова. — Это так называемое «Освобождение» приговорило вас к смерти. Думаю, что на этапе они подкупят кого-нибудь и утром вы не проснетесь. Либо вас удавят, либо воткнут меж ребер сапожный нож. А приговорили они вас за то, что сорвали покушение на Любомудрова. Ваше упрямство я сломать не мог, доказательств у меня нет, кроме сообщений агента, так что невольню могу стать соучастником будущего убийства. Но я вам не судья. Единственное, что могу, — постараюсь накрыть это «Освобождение» до того, как вас зарежут. На прощание ничего не хотите сказать?

— Нет.

— Воля ваша. Оставайтесь здесь.

Нестеров тяжело поднялся и, соря пеплом, вышел. Что-то неразборчиво сказал надзирателю. Тот громыхнул хриплым басом:

— Слушаюсь, одна минута...

И тут дверь стремительно распахнулась и осторожно, придерживаясь за косяк рукой в черной перчатке, перешагнула через низкий порожек Татьяна. Щербатов вскочил со стула,

протянул руки, чтобы поддержать ее, но не успел — Татьяна медленно, словно у нее подламывались ноги, опустилась перед ним на колени:

— Умоляю, простите меня, простите, ради Бога... Это все из-за меня, я знаю...

— Я люблю тебя, Танечка, люблю...

Упала шляпка с черной вуалью, вспыхнули, рассыпаясь, огнистые волосы, и Петр, закрыв ими лицо, судорожно всхлипнул.

Они замерли, прощаясь, понимая, что прощаются навсегда, и не желали даже на слова тратить последнюю минуту, отведенную им судьбой.

— На выход! — громыхнул надзиратель и распахнул дверь.

Петр поднял Татьяну с коленей, отстранил ее от себя и первым вышел из комнаты.

Через полгода после суда скончался старый князь, княгиня пережила его только на два месяца. А еще через год Татьяна Мещерская приняла постриг и ушла в монастырь, завещав этому монастырю все движимое и недвижимое имущество, доставшееся ей по наследству.

Но об этом Петр узнал уже в другом месте и в другой, наступившей для него жизни.

## 20

Небольшой костер скудно озарял верхушки елей и поляну, по краю которой теснились густые, причудливые тени. Невидимая пичуга никак не могла угомониться на ночь и все высвистывала и высвистывала свою неугомонную песню, перелетая с ветки на ветку. Петр лежал у костра, шевелил палочкой угли, иногда поглядывал на Хайновского, привязанного к колесу телеги, и тот всякий раз судорожно подтягивал под себя ноги, дергая большим грязным пальцем.

Ближе к полуночи уже на затухающий костер вышел бродяга с ружьем под мышкой и с холщовой сумкой через плечо. Зорко огляделся и, опустив ружье, присел рядом с Петром, первым делом спросил:

— Пожрать нету?

Петр молча подвинул ему тощий мешок, и бродяга нетерпеливо стал разматывать кожаные завязки. Вытащил краюху хлеба и, не разламывая ее, сунул в рот, словно хотел запи-

хоть целиком. Чавкал, урчал и не успокоился, пока не подобрал осторожно губами последние крошки с ладоней. Икнул и опрокинулся на спину. Полежав, снова спросил:

— А больше пожрать нету?

— Жрать завтра будем, а сегодня придется поголодать. Ростбиф я не успел в мешок положить.

— Чего? — не понял бродяга.

— Да это я так, про себя. Спи пока, утром выезжаем.

Бродяга сыто и довольно потянулся, как кот на солнышке, затем упруго встал, вытащил из костра головешку, помахал ей, чтобы она разгорелась поярче, и, подняв над головой, подошел к телеге, разглядывая Хайновского.

— Из-за этого добра и столько шума?! — плюнул под ноги и бросил головешку в костер. Искры тучей метнулись вверх и погасли. — И куда мы его повезем?

— К Дюжеву, к Тихону Трофимовичу. Хайновский, для вас сообщаю — завтра вы увидите купца Дюжева. А после этого мы поедем в Каинск. Что же вы не радуетесь, Хайновский? Весь ваш дьявольский план почти полностью осуществился — с этапа сбежали, Дюжева увидите, в Каинск прибудете. Правда, как добраться до Владивостока, как сесть на корабль и отбыть в Лондон — это, увы, уже не в моей власти.

— Кто вы? Назовитесь хотя бы, — хрипло отозвался Хайновский.

— Куда нам торопиться? Время придет — назовусь. Давайте спать.

— И то дело, — зевнул бродяга, — поспать, оно никогда не мешает. А завтра — к Дюжеву, вот уж пожру от пуза.

## 21

Ни с того, ни с сего Тихон Трофимович Дюжев загулял.

Взбрыкнул, как уросливый жеребец, которому шлея под хвост угодила, и — выпрягся.

Заперся в спальне, второй день из нее не показывался, а войти в нее никому, кроме Васьки, не позволял. Васька от распросов Вахрамеева и Степановны отмахивался, скалился в дурацкой улыбке и лишь иногда, когда они его совсем шибко допекали, отвечал: «Не вашего ума дело!» Сам же пулей летал сверху вниз и обратно, спуская грязную посуду и поднимая вино с закусками.

По спальне — будто конский табун прокатился. Только стены да пол остались неперевернутыми. Окно — настезь, стекла — выхлестнуты, а сам Дюжев сидел в исподнем на подоконнике, шурил красные от гульбы глаза и шептал, с задыхом выталкивая из себя, песенные слова: «Д-было двенадцать разбойников, д-жил Кудеяр-атаман, д-много разбойники пролили д-крови честных христиан...» Васька мостился у порога на табуретке, готовый сорваться в любой миг и выполнить приказание. Но Дюжев ничего не приказывал. «Д-много разбойники пролили д-крови честных христиан...» — закрыл глаза, уронил тяжелую кудлатую голову, и две крупные слезы капнули на белую штанину.

С улицы наносило застоялой духотой жаркого дня. От пригона, где под навесом пережидали жару коровы, пахло парным молоком. Тишь и благодать царствовали над разомлевшей, осоловелой от зноя Огневой Заимкой. Лишь на бугре, не зная устали, стучали топоры плотников, но и этот звук доходил мягким, заглушенным.

В такую жару, пока она не схлынет, добрые люди спят после обеда, а Тихона Трофимыча и сон не брал. Бормотал-наговаривал себе под нос тягучую и слезную песню, ерошил короткими, сильными пальцами густую бороду, иногда вскидывал глаза, дико озирался, будто пытался понять — где он находится и что с ним происходит? Безнадежно отмахивался рукой и еще ниже ронял голову.

Васька поднялся бесшумно, придвинулся к хозяину, готовясь перехватить Тихона Трофимыча, чтобы тот не вывалился в окно, если задремлет внезапно, но Тихон Трофимыч вдруг оборвал песню, соскочил с подоконника на пол и закричал. Закричал так, что Васька оторопел и не на шутку струхнул. А Дюжев, не прерывая медвежьего рева, уже хряпал уцелевшую посуду о широкие половицы и, задыхаясь, рвал на груди нательную рубаху. Жилы на шее взбухли толщиной в палец.

— Души хочу чистой! Грехи сымите! Господи, сделай прежним! Ничо не жалко! Богачество на ветер пушу! Сделай прежним! Зачем жил? Запалю — не жалко! Где серянки?! Васька, серянки где?!

Васька хозяина всяким видывал. Бывало, что Тихон Трофимович и похлеще коленца выкидывал. Но нынче в пьяном



его кураже было что-то новое, до сегодняшнего дня неизвестное. Словно оборвался Тихон Трофимович с крутого яра и полетел. А уцепиться не за что. Одно только оставалось в его силах — блажить во все горло. Он и надрывался.

— Серянки дай! — надвигался на работника, как гора. Битым стеклом рассадил ногу и пачкал, не замечая, половицы кровью. — Дай серянки, я запалю!

«А и впрямь запалит! Бежать надо!» — Васька струхнул еще больше и легким скоком подвинулся к порогу, готовый вылететь пробкой и захлопнуть снаружи спальню на щеколду.

— Дай! — цепкой ручищей Дюжев лапнул Ваську за плечо и распустил ему рубаху до самого пупа. Васька пригнулся и по-заячьи, одним махом, — в дверь. Захлопнул ее, но щеколду закрыть не успел. Дюжев шарахнулся в дверь всей тяжестью, и Васька отлетел в угол, только головой об стенку стучал.

«Все, пропало! Теперь не удержать!» — кубарем скатился вниз. Внизу сидела за столом Феклуша. Васька крикнул ей:

— Беги! Хозяин сдурел!

Но Феклуша не шевельнулась. Как сидела, так и сидела, только лицо окатилось бледностью.

— Серянки! — ревел Дюжев. — Запалю!

Васька дернул Феклушу за рукав — беги! Но она даже глазом не повела.

Дюжев дошлепал до стола, уперся руками в столешницу и осекся. Замолчал, словно ему голос подрезали. Встрякивал косматой головой, открывал рот, сияясь что-то сказать, но сказать не мог. Наконец, едва прошептал, почти беззвучно:

— Пришла, Марьяша, а я вот... — опустился на колени, вздохнул с хрипом, как конь, загнанный до смерти, и тем же, почти беззвучным шепотом попросил: — Ты не уходи, тут будь, тяжело мне, живу не по правде...

Васька осмелел, хотел подойти поближе, но Феклуша глянула, словно приказала — стой, не ходи! Васька замер, удивляясь быстрой перемене в хозяйине, а еще больше — картине, которую перед собой видел.

Было чему удивляться.

Феклуша поднялась, пригладила Дюжеву косматые волосы, взяла его за руку и потянула за собой. И Дюжев подчинился, по-

брел покорно, как бычок на веревочке. По лестнице, держась за перильца, с трудом одолевая ступеньки, и дальше — в спальню.

Васька прокрался следом, глянул в раскрытые двери и онемел. Дюжев тихо-мирно лежал на кровати, Феклуша, сидя в изголовье, расчесывала ему волосы своей гребенкой и негромко, нараспев, приговаривала: «Спи, Тихон Трофимыч, спи, во сне душа успокоится, ей тоже передых нужен, она тоже свою усталость имеет, спи...»

Чудеса, да и только — Дюжев уснул. Повернулся набок, сунил руку под голову и — засопел.

Феклуша вышла из спальни и неслышно прикрыла двери.

— Мастерница ты, однако, — прошептал Васька, слегка заикаясь. — Как котенка, его скрутила. Ты где пьяных научилась укладывать?

— Глупой ты, Васька. Такая орясина, а понятия не имеешь. Ему ласка нужна, а ласки-то ему и нету. Неужто за столько лет не понял? Эх ты, кошкодав!

Васька, который никогда за словом в карман не лазил, в этот раз не нашелся с ответом. Хлопал глазами и никак не мог взять в голову — какой такой ласки Дюжеву не хватает? Бабьей, что ли? Добра-то...

## 22

Проснулся Тихон Трофимович на следующий день, после обеда. И сразу же велел топить баню. А когда она выстоялась, парился в ней насмерть. Васька так ухрюпался с веником, что в глазах у него потемнело, половицы закачались, пошли из-под ног и он едва не свалился на каменку. На ощупь выполз в предбанник, толкнул двери на улицу и лег на порог грудью — даже на самое малое шевеленье сил больше не осталось.

— Бздани! — ревел Дюжев. — Где пропал?! Бздани!

— Нету меня... — сипел Васька, пуская по подбородку жидкую слюну: даже переплюнуть через губу не мог. — Тараканы съели...

— Куда пропал?! Парь!

— Подь ты в пим дырявый, помирать неохота... — Васька поднатужился, одолел порог и распластался на траве крестом, раскинув руки. Крепкая голая грудь его ходила ходуном. Кожа горела малиновым цветом — поднеси спичку и вспыхнет. Вытаращенными глазами смотрел Васька в небо, но ничего, кроме белесой мути да разноцветных искр, не видел.

Дюжев, не дождавшись нового пара и веника, сам вытолкнул тряпки из прорубленного оконца, поглубже вздохнул, набирая в грудь воздуха, и выскочил из бани следом за парильщиком. Обессиленный, свалился с ним рядом. Постанывал, широко разевая рот, елозил ладонями по траве, смаргивал с ресниц влагу. От травы шел холодок, остужал перекаленное тело. Лежали Дюжев и Васька в чем мать родила, долго, пока не очухались. После ополоснулись в предбаннике, кое-как натянули на себя исподнее и, покачиваясь, побрели до дома.

Солнце свалилось на кромку бора, острые еловые верхушки проткнули его круглый бок, и оно, раскидывая огненную кипень на пологий склон неба, еще быстрее заскользило вниз, к земле. По деревне вытягивались длинные тени, щели в заплатах розово отсвечивали, а в переулках и на огородах залегала тишина.

Весь окрестный мир представал перед обновленным зрением благостным и утихомирным. Не хотелось думать о житейских заботах-хлопотах, не хотелось вспоминать прошлое и загадывать о будущем, а хотелось лишь одного — чтобы как можно дольше, до бесконечности, продлился блаженный миг согласия души и тела со всем, что было вокруг.

Дюжев остановился, вытер рукавом мокрое лицо и поднял глаза к небу. Тихо прошептал: «Господи!» Помолчал, дожидаясь ответа, и еще раз повторил: «Господи!» И ответ ему был послан. Неразличимый, неслышимый, без слов, но в то же время и осязаемый, как тепло, как солнечный свет, как радость от передышки после долгой дороги. Он соскользнул с недостигаемой высоты, достиг внутреннего слуха, и Дюжев, неожиданно для самого себя, понял: песня, которую он пел вчера, именно такими словами и должна заканчиваться: Господу Богу помолимся... Иначе не могло быть. Потому как для прощения и душевного согласия создан тихий и мудрый мир, открывшийся сейчас в первородном, давнем и одновременно поражающем новью облики. А то многое, что до сих пор заполняло жизнь и казалось наиважнейшим, отошло в сторону и представилось таким же ненужным, как семечная шелуха.

Дюжев остановился и замер, опасаясь, что это чувство, неожиданно посетившее его, исчезнет и растворится. Но — нет. Оно тихо и прочно селилось в душе.

В этот вечер Дюжев не пил ни вина, ни чаю. Поднялся молчком в свою спальню, притих там, как мышь в норке, и вниз спустился только на следующий день. Лицо его после бессонной ночи — он даже глаз не сомкнул — было прежним, прежней была и вся стать его, но в глазах появилась необычная до сего дня кроткая печаль.

У печки хозяйничала Феклуша. Она доставала железные листы, на которых вызрели большущие хлебные булки, составляла их рядом на столе, накрывала чистыми полотенцами, и полотенца сразу же становились волглыми. Обжигая пальцы, Тихон Трофимович отломил хрусткую корочку, подул на нее, чтобы остыла, и сверху посыпал крупной солью. Медленно жевал, смотрел на Феклушу, румяную от жара, смотрел, не отрываясь и не смаргивая. Сегодня ночью он додумался, а додумавшись — уверился: это ведь она, его первая и единственная любовь, Марьяша, пришла и смотрит на него Феклушиными глазами, спрашивает: «Как ты прожил жизнь без меня?» А что он может ответить, если натуру свою перебороть не смог и не научился прощать и храм, о котором говорила Марьяша, до сих пор не построил? Только и может, что покрасоваться капиталами и большим купеческим делом, заведенным с немалой ловкостью. Но они — и дело купеческое, и капиталы — земные. Они никакого резона не имели для того неосязаемого вопрошения, какое являлось не с земли, а свыше.

Понуро сидел Тихон Трофимович, дожевывая хлебную корку и покаянно глядя на Феклушу.

Вот в таком виде и застал его шадринский священник, отец Георгий. Высокий, худощавый, с русой окладистой бородой и одетый в простенькую, застиранную и местами аккуратно заштопанную рясу, отец Георгий всегда казался старше своих тридцати с небольшим лет, и это, наверное, казалось потому, что всегда он был строг, сосредоточен и редко когда улыбался.

— Благослови, батюшка, — сложив ладони, потянулся к нему, склоняя гордую голову, Дюжев.

— Да как же благословлять-то, Тихон Трофимович? Одной рукой храм строишь, а другой — вином себя наливаешь до непотребства. Что же ты делаешь? Уж вся округа судачит: Дюжев горькую запил...

Тихон Трофимович покаянно опустил кудлатую голову и ничего не ответил. Только вздохнул.

Долго и сурово отчитывал Дюжева отец Георгий, а тот по-прежнему ничего не отвечал и только ниже склонял голову.

Феклуша сразу же в двери выскользнула, и о чем дальше батюшка с хозяином говорил, она не слышала, лишь увидела через долгое время: Дюжев проводил отца Георгия до самой коляски, постоял, глядя вслед и медленно побрел домой. Феклуша глянула на него и безмолвно ахнула: перекошенное лицо Дюжева было мокрым от слез...

### 23

С полудня грянул над Огневой Заимкой переливчатый и непрерывный звон — народ готовился выезжать на покос и отбивал литовки. Во всех дворах — суета и многоголосье: перекликались бабы, загружая в телеги чугунки и чашки, полотнца и хлебные караваи, соль, серянки — голова кругом идет, ничего надо не забыть, а тут еще малые ребятишки путаются под ногами, закатываются ревом до посинения, если их не берут на покос и оставляют со стариками дома.

Но не во всех семьях старики оставались дома. У Зулиных, как всегда, — песня особенная. Устинья Климовна гоняла своих снох по двору и по дому, как пастух неразумных телок, и все пеняла, пеняла им на бестолковость и неразворотливость, придираясь к самой чутешной промашке.

— Мам, — не стерпела старшая сноха Глафира, которая в последнее время все чаще и чаще показывала свой норов. — Вы вот все строжитесь и строжитесь — ня так, ня так... А как?

Устинья Климовна поджала блеклые, сухие губы, оглядела Глафиру с ног до головы, словно впервые видела, и спокойно, как неразумному Гаврюшке, ответила:

— Не знаю как, но — ня так!

Знать-то она знала, а заявила для острастки, чтобы Глафира свой край чужая и лишней воли не забирала. Глафира крутнулась молчком, аж юбка взвихрилась, стрельнула в избу и там только чугунки заговорили. Вот и ладно, подумала Устинья Климовна, пусть чугункам свой норов показывает.

Пошла к телеге, чтобы укладку проверить, и едва не споткнулась на ровном месте — вдоль улицы, как ножом по коленку, прорезался заполошный крик:

— Убива-а-ат! Насмерть порет! Убива-а-ат!

Через высокий заплот не видно — Устинья Климовна через калитку вышла, сморщенную руку козырьком ко лбу приложила: кто это без ума блажит? А это Марфа Урванцева колесит, загребая пыль кривыми ногами, и надрывается, оповещая деревню, но теперь уже по-иному:

— Уби-и-ил! Насмерть запорол! Уби-и-ил!

Летит, как дурная, земли под собой не видит, того и гляди стопчет. Устинья Климовна бадожок выставила, дорогу Марфе заграждая, крикнула:

— Стой, девка, стой!

Марфа, словно на заплот налетела, встала, повернула к Устинье Климовне потное широкое лицо и осеклась. Разинула рот и закрыть забыла.

— Како тако смертоубийство? Скажи толково!

Марфа сглотнула слюну, придвинулась к самому уху Устиньи Климовны и зашептала:

— Наталью Дурыгину бичом Иван порет. Вчера тихо было, весь вечер ждала — тихо, а седни она, матушка ты моя, заревела...

— Дак шибко порет-то?

— Ой, шибко! Заглянула в окошко — она, матушка ты моя, в кровище вся захлебывается...

— Как подолом вертеть — не захлебывалась... — Устинья Климовна поджала губы, подумала. — Ты вот что, девка, не базлай на всю деревню, а потихоньку беги к Тюрину, пусть мужиков возьмет да посмотрят сходят. Как бы он ее и впрямь не ухайдакал.

Марфа послушно кивнула и побежала дальше по улице, загребая пыль. Но теперь уже молча. Устинья Климовна поглядела ей вслед, перекрестилась и вернулась к себе в ограду, негромко приговаривая: «Ой, беда, ой, беда...»

А беда была такая... Ивана Дурыгина забрили в солдаты уже женатого, они к тому времени с Натальей и парнишку смастерили. На проводинах, как водится, рекрут подпил винца и прилюдно наказывал жене:

— Наталья! Ты без меня не вертись, как блядь на базаре! А стой скромно, как девица на выданье.

— Буду, Ванечка, стоять, как ты велел, и не пошевелюсь ни капельки. — Обещала Наталья, заливаясь слезами в три ручья и целуя мужа в плечо — она Ивану как раз по плечо была.

Не шевелилась Наталья, соблюдая обещание, года два, а потом бабу как изурочили: открыла ворота нарастапашку — заходи, кому глянется!

И пошло-поехало! Так расшевелилась, что ко времени возвращения Ивана со службы у нее не один парнишка был, а целых четыре. И все разной масти: один рыженький, другой белобрысый, а те и вовсе чернявенькие.

Иван из Шадры вчера под вечер приехал. Наталья выводок свой на крыльце выстроила, бухнулась на колени посреди ограды, заголосила:

— Ванечка родименький! Виновата я перед тобой, ой, какая виноватая! Чего хочешь делай, хоть убей, только деток не трогай! Они невинные!

Иван оглядел жену, которая у него в ногах валялась, оглядел ребятишек, которые смиренно на крыльце стояли, — все хорошенькие, ладные, обхоженные, потому как Наталья про них никогда не забывала, — оглядел служивый все свое семейство, так сильно без него увеличившееся, пожевал сивый ус и хохотнул:

— От большо-о-й работы, однако, добры люди меня избавили. — Еще раз хохотнул и прикрикнул: — Вставай, ступай в дом. Некого людей смешить, набегут сейчас, глазеть будут. Вставай, кому сказано!

Вошли все в дом и в доме, как умерли, — ни стуку, ни грюку. Любопытным бабам одно расстройство, ведь так узнать хочется — чего там у Дурьгиных творится?

А творилось вот что. Иван спал до обеда после дальней дороги, а когда проснулся, увидел: стоят четверо крепеньких пареньков возле его солдатского мундира, трогают пальцами кресты да медали, а сами поглядывают в сторону Ивана, и в глазенках — страх нешуточный. Осенило Ивана — они и впрямь боятся, как бы он Наталью не убил... Горько ему стало до крику. Но сдержался, не закричал. Умылся, велел Наталье на стол подавать. А когда отобедали, выпроводил ребятишек на улицу, приказал Наталье свой бич принести, старый, ямщицкий, еще от деда доставшийся. Страшнющий бич, при умелых руках им человека наполовину пересечь можно. Подала Наталья бич мужу, сама лицом к стенке встала, спину подставляя — знала, что ее ждет, даже пощады не просила.

С первого удара распустил ей Иван кофтенку от плеча до пояса и высек на белой бабьей спине горящий рубец. Наталья даже не ойкнула, только руки вскинула и по стенке, всеми десятью ногтями, след процарапала.

И эта покорность, и терпеливость, и горящий рубец на беззащитной спине вконец подломили Ивана. Он в ярости принялся хлестать бичом половицы, вырывая из них щепки, в отмашку, со всего плеча, не сдерживая своей силы. Стонал и гудел пол в избе, а Иван мычал непонятное и порол, порол ни в чем не повинные доски. А когда откатил первый прилив злобы, он крикнул:

— Ори пуще! Пуще ори, чтобы люди слышали!

Наталья сразу сообразила и заревела дурным голосом. Вот и нарисовалась картина: Иван бичом доски хлещет, а Наталья кричит и просит, чтобы он пожалел ее и не убивал.

Уже и притомились оба, Иван и пол пореже стегать стал, и в это время прибежал запыхавшийся Тюрин с двумя мужиками, которые ему по дороге встренулись, с порога зашумел:

— Иван! Смерти не допущу, она баба детная! А покалечишь — кто детву кормить станет?! Остынь, Христа ради!

Иван еще раз перепоясал жену по спине, но тут навалились мужики, вывернули бич из рук. Тюрин, не переставая, все уговаривал Ивана, но вдруг сбился и в изумлении замолчал, потому что свой голос подала Наталья. Да какой голос!

— Степан Аверьяныч, — еще хлюпя и размазывая слезы, заговорила Наталья, — а ты чего прибежал-то, да еще мужиков позвал? Это дело наше, семейно. Он ить не гуляшшу бабенку, а родну жену уму-разуму учит.

— Ну, коли так... — обескураженный Тюрин развел руками, — коли так... Пошли, мужики, нам тут делать неча.

Мужики, посмеиваясь, вышли следом за старостой из избы. В ограде прислушались. Но в избе теперь было тихо.

— Ну и ладно, — довольный, пробормотал Тюрин и заторопился по своим делам. Мужики тоже разошлись. И, как только они пропали из виду, Иван вынес во двор молоток с наковаленкой и принялся отбивать литовки — посмешили народ и хватит, сенокос ждать не будет, без сена зимой всему хозяйству поруха, а порухи теперь допустить никак нельзя было. Вот они, четыре горшка, встали вокруг — в них много чего положить потребуется.

Посудачила Огнева Заимка об этом случае, посудачила и продолжила собираться на покос. У всех одна думка — сена на зиму запастись.

24

Слава Богу, вовремя дожди упали, и трава вымахала — едва не в мужичий рост. Сочная, густая — литовку не протащить. И махать ей приходится с маху, со всего плеча, себя не жалея. По влажным, словно выбритым прокосам, тянутся вилюжистые, темные следы от ног. Солнце еще только-только проклюнулось, а на зулинском покосе высокие, крутобокие валки уже лежат чуть не на версту. В ложке, где трава пожиже и осокори растут, тюкают маленькими литовчонками младшие Зулины. Прибыли от их работы — с гулькин нос, а прокосы — где лысо, а где только макушки у травы сшиблены. Но это дело поправимое, тятки на обед придут — махом выровняют. Правда, перед тем все огрехи покажут, но ругать не будут — наоборот, при общем сборе за обедом еще и скажут: «А ребятишки-то нам хорошо подсобили, пожалуй, и стожок в ложке ставить придется». Стожка, конечно, не будет, хотя бы две-три копешки нагрести — да это никакой важности не имеет.

Устинья Климовна вместе со снохами таскает ветки, чтобы крышу навеса закрыть, иногда остановится передохнуть и долго, задумчиво смотрит на внучат, копошащихся в ложке. Сегодня она в добром настроении, снох своих не шпыняет и не строжится над ними — так только в сенокос да в жатву бывает.

До обеда косили без перерыва, только и останавливались, чтобы литовки поправить. Вжик, вжик, вжи-и-к — пропоют бруски по железу, и снова — лишь влажный шорох подрезанной и падающей травы.

Навес закрыли, в нем воцарилась тень и стало чуток прохладней. На длинный дощатый стол, поставленный еще с вечера мужиками, бабы выложили хлеб и огурцы, с горой набухали в миски горячей и дымящейся саламаты.

— Пора, однако, работников звать, — Устинья Климовна окинула стол придирчивым взглядом, никакого изъяна не нашла, и соблаговолила: — Зовите...

Зинаида побежала к дальнему краю покоса, где вытянувшись гуськом друг за дружкой, равномерно покачиваясь, продвигались вперед косари. Услышали Зинаиду, оглянулись, но работу не бросили, пока не дошли до конца прокоса.

Ребятишек звать не понадобилось: увидели издали, что тятки к стану идут, литовчонки свои побросали, наперегонки кинулись им навстречу и каждый кричал, еще издали, о том, как много и ладно он накосил.

За ложком тянулась дорога, ведущая на дальние дюжевские покосы, и вот на этой дороге зоркая Глафира разглядела сначала телегу с седоками, а после, приглядевшись, различила в ней Митеньку, о чем тут же и оповестила Устинью Климовну.

— Дак он, вроде, и не собирался, может, случилось чего? — Устинья Климовна из-под ладони старательно вглядывалась в приближающуюся телегу и, чем дольше вглядывалась, тем суровее поджимались сухие губы — в телеге, теперь уже и полуслепой мог полюбоваться, сидели Роман с Фекушей, Васька правил, а на самом задке, болтая ногами, примостился Митенька. Ой, не по душе была эта картина Устинье Климовне! Отвернулась от дороги, легким шагом прошла под навес и подала голос:

— У нас теперь как — без особого приглашенья за стол не садятся?!

Расселись. А тут и Митенька подоспел — веселый, улыбочивый, уши, пельменями торчащие, и те, кажется, светятся от довольства. А от чего оно происходит, тут особого ума не требуется, чтобы догадаться, — все на лице нарисовано...

— Здравствуйте, маменька, здравствуйте, братчики, я на подмогу к вам! — голос у Митеньки звенел, и улыбка не сходила с курнопелистого лица.

— С саламатой мы и сами управимся, без помощников, — хохотнул старший Иван и подмигнул братьям: — Так или не так?

— Так! — дружно подтвердили Павел и Федор, радуясь приезде Митеньки, которого все любили, как любят во всякой доброй семье последыша. А тот принялся рассказывать, что сегодня всех плотников сам Дюжев на два дня на покос отправил. После, говорит, наверстаете, а уж нынче езжайте, сорвите охотку. Роман тоже на дюжевский покос поехал, а вечером туда и сам Тихон Трофимович собирался отправиться.

— Как я погляжу, у Дюжева, видно, ворота для тебя медом смазывают, — сурово оборвала его рассказ Устинья Климовна.

Митенька осекся и принялся за саламату. Больше разговоров не говорили — обедали. После саламаты разлили чай, заваренный смородиновыми листьями, и за чаем Устинья Климовна ни с того ни с сего принялась рассказывать о том, что вчера, когда она свой покос объезжала, случайно заглянула к соседям Коровиным:

— Добры хозяйева, добры, все у их справно, поглядеть — душа радуется. А старшуха, Мария-то, налилась, прямо как яблоко. Кислым молоком давай угощать, с обхождением, с почетом... И на телегу подсобила забраться, когда я уезжала... Работящи они, Коровины, работящи...

Митенька поперхнулся чаем, лицо обнесло алой краской до самого кончика курносого носа. Старшие братья примолкли, слушая маменьку, сразу смекнули: неспроста она вчера к Коровиным заворачивала, это ж какой крюк надо было делать — версты три, не меньше.

Устинья Климовна, как ни в чем не бывало и ничего не замечая, свое гнула:

— Баска старшуха-то у Коровиных, баска...

Митенька снова закашлялся. Устинья Климовна посоветовала:

— Ты подуй на чай-то, подуй, чего живьем кипятком глотаешь, обжогесся... Когда кислым молоком-то угощала, то и хлебца подала, добрый хлеб, добрый... «Мать, — спрашиваю, — стряпала?» — «Нет», — отвечает, — я, — говорит, — хлеб пеку»... Ой, совсем памяти не стало, обещала им серянок отправить, у их малые баловались, в костер серянки уронили, спалили. Митрий, допивай чай, после доскочи до Коровиных, отвези серянки, а я пойду подремлю, однако...

Она прошла в свой махонький шалашик, отдельно для нее поставленный, пошуршала там и затихла.

Все, кто за столом остался, понимающе переглянулись: не первый год вместе жили, знали, что означает поездка Устиньи Климовны к Коровиным. Означала она одно — невеста для Митеньки выбрана.

— Ну, чего скис?! — Павел, сидевший ближе всех к Митеньке, хлопнул его по плечу. — Теперь тебе никакой варнак не страшен, только скомандовал и...

Договорить Павел не успел, потому как братья и снохи дружно захохотали, понимая его намек.

Семен Коровин — мужик в Огневой Заимке известный. Махонький, кривоногий, чернявый, проворный, как жук-скоробей; про таких говорят, что они с шилом в заднице родились. Невесту ему покойный родитель подыскал издалека, аж изпод Мариинска, там и свадьбу играли. И вот возвращаются молодые в Огневу Заимку, народ к коровинскому дому сбежался, любопытство разрывает — какая она, эта краля, за которой столько верст киселя хлебали? Первым из саней, как живчик, Семен выкатился, а следом за ним вышагнула и выпрямилась — любопытный народ только и смог, что ахнуть, — невеста. Семен, даже если на цыпочках прискакивал, все равно ей до плеча не доставал. Но и это не все. При огромном росте и могучей дородности оказалась она ещеи красоты диковинной, будто сошла с картинки: карие глазищи с поволокой, пушистые брови над ними дугами изогнуты, на круглых щеках румянец играет и ямочки от улыбки. Губы спелые, алые...

Ахнув, народ долго молчал — разглядывали. Наконец, какой-то шутник опаматовался:

— Семен, а целоваться как будешь, тебе ить не достать?

— Тебе не достать, — сразу нашелся Семен, — а мне — за милу душу. Настя, цалууй меня!

Красавица царственно согнулась широким станом, словно в поклоне, притянула к себе низенькое кривоногое сокровище и расцеловала.

Народ во второй раз ахнул.

А Семен, губы облизывая, будто меду поел, горделиво повернулся и сообщил шутнику:

— Надо будет, я и табуретку поставлю!

Зажили молодые душа в душу. Хозяйство у Коровиных незавидное было, хлипенькое, но с приходом в дом Насти оно поперло, как на дрожжах. Через два года новый дом поставили, что ни год — в конюшне конь новый. Коровы у них телились сразу двойнями, свиньи поросились дюжинами, а сама Настя, не зная простоя, исправно увеличивала коровинское семейство в таком порядке: парень, девка, парень, девка... Парни были точной копией отца — маленькие, кривоногие и чернявые, а девки — в мать: высокие, дородные, кровь с молоком.

Хозяином в доме был Семен, любое слово его — закон. И не могли нарушить. Лет пять назад, на Троицу, задрался он, пьяненький, с Егором Христофоровым; слово за слово — и сцепились.

— Да я тебя, кривоногий... — Егор расшаперил клешнястые руки и пошел на Семена, — да я тебя двумя пальцами удавлю!

Семен не растерялся, оббежал Настю и, выглядывая из-за ее мощной, широкой спины, скомандовал:

— Баба, дай ему!

Хозяин приказал — исполнять надо. Настя послушно заката-ла рукав у кофты и Егора в лоб — шарах! Тот, сердешный, только копылками сбрыкал. Очухался, когда водой отливать стали.

Вот над этим случаем, вспомнив, смеялись братья и сно-хи, а Митенька, не стерпев, выскочил из-за стола и кинулся бежать, но, пробежав немного, остановился: бегай не бегай, а маменькин наказ исполнять надо. Вернулся, сунул в карман серянки, взобрался охлюпкой на коня и поехал, правя к грани коровинского покоса.

Ехал, крутил в голове невеселые думки. Выходит, прав Ро-ман оказался, когда говорил, что маменька не позволит ему на Феклуше жениться. Так оно и получается — уже и невесту выглядела. И когда только ее выглядела? На Марью Корови-ну, изредка встречаясь с ней на улице и на вечерках, Митень-ка даже и глаз не задерживал — мало ли девок в Огневой За-имке! А сейчас, раздумывая, вдруг вспомнил — Марья-то на него посматривала украдкой. Точно — посматривала. Но он, день и ночь думая про Феклушу, не замечал никого. И только теперь осенило — были, были эти тайные поглядки.

Час от часу не легче! Митенька вздохнул, подпихнул коня пятками — шевелись, вороной, к невесте везешь... Вороной послушно перешел на рысь и скоро перенес своего седока через коровинскую грань. Чтобы не топтать зря еще не ско-шенную траву, Митенька взял вправо, в редкие кусты осинни-ка, через который вела к стану узенькая тропинка. А на тро-пинке — здравствуйте-пожалуйста! — Марья стояла. Видно, со стана еще увидела, кто едет, вот и вышла встречать.

Митенька подъехал поближе и, с коня не слезая, протянул серянки:

— Вот, маменька вам прислала... — а сам косил в сторону, что-бы не видеть карих глаз с поволокой, цветущего лица и двух вы-соких, пышных бугров, выпирающих из цветастого сарафана.

Марья шагнула навстречу, протягивая руку за спичками, Митенька чуть наклонился и — пушинкой слетел с коня, а на земле крепкие, нежные руки даже покачнуться не дали, при-няли ласково, бережно. Шевелились под сарафаном тугие бугры, и Митенька ошалел, даже сообразить не успел — что за наваждение случилось?

— Митенька, я по тебе иссохла вся, стыд до края потеряла... Мне без тебя никакой жизни не будет. И тебе лучшей жены не будет, поверь мне...

— Ты чо, ты чо! — выскользнул из объятий, оттолкнул от себя. — Ты чо, корова, сдурела!

— Ага, — легко согласилась Марья, — совсем сдурела. А ты от меня никуда не денешься, все равно мой будешь. И пусть эта козьявка расейска губу на тебя не раскатывают!

Митенька животом на конскую спину плюхнулся, кое-как уселся и надал вороному пятками так, что тот с места взял крупной рысью.

— Все равно мой будешь! Мой! — уже вслед донеслось Ми-теньке и он вздрогнул от голоса, в котором слышались тоска и уверенность.

## 25

На покос в тот вечер Тихон Трофимович так и не собрал-ся. Из Томска с нарочным подоспело письмо от Дидигурова, и Дюжев, еще не распечатав его, понял: случилось что-то не-шуточное. Не стал бы Феофан Сидорович из-за мелочи на-нимать ящика за свои деньги и гнать его в Огневу Заимку — он любую копейку привык считать.

Тут же, в ограде, даже не пройдя в дом, распечатал плот-но заклеенный конверт. Феофан Сидорович был краток до-нельзя: «Тихон Трофимыч, только что узнал из верных рук и тороплюсь сообщить новость, для будущего дела нашего чрезвычайно важную. Какие-то люди скупают твои векселя по всему Томску. Скупают подчистую. Дело это, сам пони-маешь, нечистое. Срочно жду». И витиеватая, едва не на всю страницу, подпись.

Тихон Трофимович призадумался. Уж кто-кто, а он хорошо знал: если тишком твои векселя скупают — жди беды. Соберутся они, родненькие, в одни руки, да как вывалят их кучей, а на каждом за подписью дюжевской черным по-белому написано — я, хороший такой, повинен заплатить еще лучшему, либо кому укажет он, кругленькую сумму. И в десятидневный срок. А деньги в обороте. Откуда с маху взять большую сумму? Выбор небогатый — либо недвижимое продавай-закладывай, либо разорайся до нитки, либо ступай в долговую тюрьму.

Да, крепко взялись неизвестные за купца Дюжева, со всех сторон потихоньку обкладывают. Тихон Трофимович все свои дела за последние годы перебрал, пытаюсь понять — кому он так круто дорогу перерезал? И не мог ответа найти. Со всеми компаньонами, с какими ему приходилось дела вести, отношения у него были самые любезные, да и люди все надежные, на десятки раз проверенные.

Голову сломал, а так ни до чего и не додумался. Утром решил ехать в Томск.

В доме они остались вдвоем со Степановной — Вахрамеев и тот, гундел-гундел, непонятно по какой причине, но тоже собрался под вечер и умотал на покос. Пусто, тихо. И в деревне — будто весь народ вымер. Лишь изредка промычит корова да стукнет чья-нибудь калитка. Тихон Трофимович прошел в дом, положил письмо в свои бумаги, спустился вниз, потоптался посреди ограды, не зная куда себя деть, и побрел потихоньку на бугор. Все под ноги глядел, а когда у изножия бугра поднял голову — у него аж дыхание пересеклось: церковные стены, поднявшись до отметки будущей колокольни, величаво парили над деревней, похожие на корабль. Господи, так церковь-то почти и готова! Осталось настелить перекрытия, поставить колокольню, водрузить крест, а там уже и останется совсем малость — изладить внутреннее убранство. По всем раскладам выходило — на месяц, от силы на два, оставалось работы плотникам.

Он долго смотрел на светящиеся в потемках стены, затем неторопко поднялся на бугор и погладил ладонями круглые, теплые бока бревен, которые показались ему живыми.

Короткая июньская ночь, похожая на мимолетный сон, надернула реденькую темноту на Огневу Заимку, словно дырявой рубахой прикрыла, и тут же начала ее стаскивать. Зыбко на

земле, неясно. Совсем не спится в такую ночь, когда бродят по проулкам вздрагивающие тени. И Тихон Трофимович, отойдя от церковной стены, все стоял и стоял на бугре, смотрел на деревню, на светло поблескивающую Уень, и не хотелось ему думать ни про письмо Дидигурова, ни про поездку в Томск — вообще ничего не хотелось, кроме одного — век бы вот так стоять и смотреть.

Но крепко держали Тихона Трофимовича земные дела и не отпускали его от себя ни на шаг.

Вернулся домой, поднялся в спальню и, едва только открыл дверь, понял: чужой кто-то здесь. Пригляделся и увидел в просвете окна сгорбленную фигуру.

— Кто здесь?

— Не пугайся, Тихон Трофимович, я это — Петр. Подожди, сейчас лампу зажгу.

— Не зажигай, — приказал Дюжев.

Задержнул занавески на окнах, и только после этого сам чиркнул спичку. Желтый свет лампы наполнил спальню. Петр прищурился от света и улыбнулся, глядя на Тихона Трофимовича своей обычной, словно бы извиняющейся, улыбкой. Тихон Трофимович ничего не спрашивал, сидел и молча разглядывал Петра. А тот, даже не шевельнувшись на стуле, терпеливо выдерживал его взгляд и тоже помалкивал.

— Долго будем в гляделки играть? — первым нарушил молчание Дюжев.

— Это уж как изволишь, Тихон Трофимович.

— Ну, изволил... Дальше как?

— А дальше совсем просто. Теперь я точно знаю, кто твой обоз разбил, кто в магазины лазил, и даже знаю, кто твои векселя в Томске скупает.

— Однако... — только и нашелся ответить Дюжев.

## 26

Через недолгое время за околицей Огневой Заимки Тихон Трофимович придержал Игреньку, запряженного в легкий ходок, оглянулся — не видел ли кто? — и чуть слышно свистнул. Из-за ветлы, также оглядываясь, вышел Петр, легко запрыгнул в ходок, сказал:

— Я по огородам, тихонько; пожалуй, никто не видел.



— Дай Бог, чтоб не увидели, — отозвался Дюжев и хлопнул вожжами Игреньку по крутым бокам, тот послушно отозвался и пошел скорой убористой рысью.

Сначала ехали по-над берегом Уени, затем свернули и направились по кочковатой неровной дороге в бор. Ходок потряхивало, Тихон Трофимович тяжело покачивался, слушал ровный, неторопкий голос Петра, не перебивал, ничего не спрашивал и только время от времени встряхивал головой, словно хотел прогнать наваждение...

...Когда этап добрел-доплелся до Томска, Петр был измучен до крайнего предела: помня предупреждение полковника Нестерова, он задремывал лишь на короткое время, постоянно был настороже и в конце концов подломился. В пересыльной тюрьме, с боем вырвав удобное место на нарах, он пал пластом, успев только сунуть под голову свою котомку. И ахнулся в оглушающий сон, как в яму.

Очнулся в жестких и цепких руках, его куда-то тащили, на сунутый на голову мешок вонял мочой и падалью. Петр дернулся, пытаясь освободиться, но невидимые руки сжали еще сильнее, цепче, так, что пересеклось дыхание. Задыхаясь, он даже закричать не смог.

— Веревку, веревку давай... — свистящий шепот прорезался из общего пыхтения, и горло Петра тут же оказалось захлестнуто петлей. Он снова дернулся и мгновенно получил короткий, сильный удар под дых.

— Подымай... — тот же свистящий шепот.

Петля стала затягиваться, тело потянулось вверх, удушье разрывало грудь. Петр еще несколько раз дернулся, и его укутала горячая пелена, вышибая из сознания. Откуда-то, издалека, доплыли до него голоса, крики, а после этого — удар затылком об пол, ослабленная петля и судорожный всхлип-вдох. Мешок с головы сдернули, и Петр, перевернувшись на живот, долго кашлял и плевался, не в силах вдохнуть полной грудью. Когда он очухался, пришел в себя, то увидел: над ним, присев на корточки, наклонился старик-каторжанин с ослепительно белыми зубами. Внимательно смотрел, улыбался и при этом проворно почесывал, всей пятерней, необритую половину головы, будто находился в задумчивости: а что же дальше-то делать?

Петр, не переставая кашлять и плеваться, приподнялся на локте и, подтянув ноги, с трудом встал. Его покачивало. Каторжанин, сидевший над ним, тоже встал и оказалось, что они одного роста. За спиной каторжанина маячили несколько человек угрюмого вида, а еще дальше, в углу, мелькали кулаки и слышались глухие удары — кого-то крепко били, обступив плотным кольцом.

— Ну, господин хороший, обыгался? — каторжанин не переставал улыбаться, показывая сияющие плитки зубов, и все чесал необритую половину головы. — А теперь рассказывай — за какие провинности тебя удавить хотели?

— Приговорили меня. А этих — купили.

— Постой, постой... Как это — купили? Без моего ведома и купили? Ну-ка, пойдём... Пойдём, любезный, потолкуем...

В дальнем углу, на нижних нарах, горела плошка с фитилем, воткнутым в растопленное сало, узенькое пламя шаталось, не в силах разгореться, и на грязной стене качалась лохматая тень. Старик-каторжанин сел на нары, по бокам у него встали два здоровенных арестанта — с такими лучше не связываться — кулаки у них больше собственных голов. В небольшом отдалении от нар маячили еще несколько арестантов, которые недобро ощупывали Петра взглядами, и он, наконец-то отдышавшись, сразу сообразил, что за стариком — большая сила.

— Рассказывай, братец, только врать не вздумай, я шибко вранья не люблю, — старик сгорбился и наклонил голову, приготовясь слушать. Глаза из-под лохматых и седых бровей, уже тронутых желтизной, смотрели зорко и умно. Петр понял: лукавить в его положении — себе же хуже.

И рассказал все, как на исповеди.

Старик ни разу не перебил его, не вставил ни единого слова, только время от времени все почесывал необритую половину головы да глухо покашливал. Вдруг повел рукой, пошевелил пальцами, будто кого подзывал к себе. Однако ближние арестанты не только не подошли к нему, а наоборот, куда-то проворно исчезли, а уже через несколько минут вернулись и так же проворно соорудили стол, увидев который, Петр невольно сглотнул слюну: белый хлеб, ветчина, большой кусок пирога с капустой и штоф водки.

— Пей, сердешный, ешь, — радушно пригласил старик, — и спать ложись. Спи без опаски — душить не будут.

Водка ожгла горячим клубком, а от еды Петр сразу ослонел, уронил голову на плечо, попытался ее поднять и не смог — неизмеримая тяжесть растеклась по всему телу и он увидел Татьяну Мещерскую на фоне окна с белыми кружевными шторами, увидел ее огненные волосы и заплакал от счастья и умиления.

С той памятной ночи он оказался под крылом и защитой старого каторжанина Зубого, который опекал его, как родного сына. Да так заботливо — только что пылинки не сдувал. И между делом, в разговорах, поведывал ему о неписанных законах острожной жизни, учил всяким уловкам и хитростям, а сам нет-нет да и задерживал цепкий взгляд, будто приценивался к Петру, будто пытался уяснить для самого себя — на что парень годен?

И в конце концов убедился. Завел с ним осторожную беседу: а не хочет ли он отомстить своим недругам, тем самым, которые желали его в петле удавить? Петр даже закашлялся от неожиданности: каким образом можно достать их отсюда, из острога, из медвежьего угла?

— Да ты не дивись, — усмехнулся Зубый, — мир, он только кажется — большущий, а на самом деле, иной раз, до того махонький, что в ладошку уложится... Уж это я твердо знаю...

Сидели они на острожном дворе, уже на закате солнца, когда золотистые лучи, рассеянные остро затесанными кольями крепостной стены, косо падали на утоптанную каторжниками землю и она отсвечивала словно отполированной чернотой. По двору, нарушая редкую минуту отдыха сидельцев, бегал кругами Проня Домовой, давным-давно сошедший с ума, и выкрикивал хриплым, лающим голосом:

— Домой, домой хочу! Я из Тверской губернии! У меня невеста в деревне есть! Домой пустите!

Проня от этого и с ума сошел — от тоски по дому. И сначала его даже выпустили из острога, а он снова вернулся, и так повторялось до бесконечности: его выпускали — он возвращался и кричал лающим голосом, бегая кругами по двору, о том, чтобы его отпустили в Тверскую губернию. Каторжане давно привыкли к нему, как привыкли к стражникам или к крепостной стене, — даже не смотрели в сторону Про-

ни Домового. Но в этот раз Зубый неожиданно долго следил за ним своим цепким взглядом и вдруг раздумчиво произнес:

— А я его, помню, первый раз на этапе увидел — красавец был! Еруслан! Так хочешь обидчиков своих под корень извести? — безо всякого перехода обратился к Петру. — Или так попустишься? Я к тому, что жизнь наша короткая: глазом моргнуть не успеешь — а ты уж не Еруслан, а Проня Домовой.

Петр, не раздумывая, кивнул, давая согласие, и с этого тихого августовского вечера судьбы лейб-гвардии поручика Щербатова и старого каторжника Зубого затянулись в крепкий и тугой узел.

Серые, как арестантский халат, тянулись дни. Петр все больше свыкался со своим каторжанским положением, смирялся с ним, и отсюда, из острога, прежняя жизнь казалась ему далекой-далекой, подернутой белесой пленкой забвения. Иногда он даже задавал себе вопрос: а было ли это все? Полк, парады, Татьяна Мещерская, война?

Зубый чутко уловил его настроение и скоро, когда они остались наедине, сказал:

— Пора тебе, брат, на волю, а то засохнешь, как листик осенью. И начал готовить Петра к побегу.

Вот тогда, от Зубого, он и услышал впервые о Дюжеве, запомнил наизусть зубовское послание к Тихону Трофимовичу, и лишь после этого узнал главное, что таил старый каторжанин до последнего момента:

— Теперь, брат, уши распечатавай и ничего, что я тебе докладываю стану, не позабудь. Теперь, брат, твое дело такое: заевался — и голова закувыркалась. Ребятки мои вот что вынюхали: деньги на твое удушение и деньги на то, чтобы Дюжева извести, одни и те же люди давали. Ну, с тобой ясно: отомстить хотят, а чего им от купца надо? Не пойму. И ведь как договариваются — вы его, дескать, до смерти не зашибайте, а разор, разор ему наносите... А?

Зубый покачал головой и долго смотрел себе под ноги, уперев взгляд в грязный, заплеванный пол.

— Шибко мне перед ним покаяться хочется. Вот ведь штука какая — душ немерено загубил, а эта смерть, девчушкина, прямо занозой в сердце торчит и не отпускает. Ты уж, брат,

постарайся, не подведи меня. Не подведешь? — и зубовский взгляд, острый, как шило, оторвался от пола и уперся в Петра. До самой души пронизывал.

— Не подведу, — только и ответил Петр.

В побег он ушел, не раздумывая ни минуты. Выскользнул из острога, как налим из нерасторопных рук. Без сучка и без задоринки добрался до Огневой Заимки, где на него и вышел бродяга, не назвавший ни имени своего, ни клички:

— А зачем тебе знать? Меньше знаешь — голова целее. Не на меня ж любоваться Зубый тебя послал! Вот и давай про дело. А дело твое такое...

И Петр, в ту же ночь исчезнув из Огневой Заимки, вскоре оказался в одном из томских трактиров, где встретил его большущий мужичина по фамилии Бабадулов — хозяин развеселого и никогда не пустующего заведения. Он забавно склонял к плечу рыжую, лохматую голову, прищуривал левый глаз, а правый, кривой, смотрел куда-то в сторону и по-свойски подмигивал. Наискосок широкого, крепкого лба стекал извилистой загогулиной глубокий шрам.

— Прими поклон, Степан Иваныч, от старых друзей, они тебя возле кривой ветлы крепкой бражкой поили, после опохмеляли, а нынче благодарности ждут за выручку, — Петр произнес заученные еще в остроге слова и невольно напрягся, потому что Бабадулов, глядя куда-то мимо, в стенку, на которой висела обмусоленная по краям картинка Бовы-королевича, даже не шелохнулся и левый глаз не открыл. Сказав нужные слова, Петр замолчал, ожидая ответа.

Но ответа не было.

Бабадулов по-прежнему косил кривым глазом на Бову-королевича, который лихо скакал на коне, играючи держа в руке копье, острием которого уже досягнул до живота злого Полкана. Да что же там в этой картинке столь интересного? Петр повернулся и сник от короткого и сильного тычка в висок. Кулак у Бабадулова был как из железа. Петр широко зевнул, ноги у него подкосились, и он бы с маху грохнулся на пол, не подхвати его осторожно, почти ласково, твердые руки Бабадулова.

Глухо, издалека, как сквозь толщу воды, доходили до него слова:

— Я те покажу благодарность, харя твоя немытая, все вы на дармовщинку жрать горазды! Я вот как кликну Борового, он тебе в участке враз втолкует, что Бабадулов никому ничего не должен. Ишь ты, орел, пятнай тебя мухи!

И так, не спуская Петра с рук, Бабадулов вынес его из трактира и сронил, будто куль с овсом, на притоптанную траву. Поднялся на крыльцо, с силой хлобыстнул за собой дверь. Петр кое-как утвердился на четвереньках, намереваясь подняться на ноги, но его снова подхватили и быстро, почти бегом, потащили, он только видел новые смазные сапоги, носки которых были припорошены серой пылью. Скрипнули узкие двери, подали голос деревянные ступеньки и Петр очутился на мягком топчане. Под голову ему заботливо подсунули пуховую подушку.

— Ну вот, сердешный, передохни. Тут у нас хорошо, в холодке. На голову легла мокрая тряпка.

Петр ничего не мог понять. Кто его нес, кто его укладывал — он не видел, потому что человек стоял в изголовье, а повернуться и разглядеть его мешала режущая боль.

Но скоро боль отпустила, ушла, и Петр огляделся. Топчан стоял в углу небольшого подвала, заставленного ящиками, мешками и бочками. Пахло керосином и рыбой.

— Чо, сердешный, полегчало? — спросил его молодой и красивый парень в красной рубахе, перехваченной тонким наборным пояском. — Кулачок-то у Степан Иваныча звонкий, это он тебя еще жалеючи, для виду, а кабы всурьез — мог ты насовсем прижмуриться. А вот и Степан Иваныч...

Ступеньки в подвал тяжело вздохнули, и Бабадулов, пригнув широкую голову, спустился, сразу занял все свободное от мешков и бочек пространство — даже парню пришлось потесниться и он вклинился в щель меж двух длинных ящиков.

Бабадулов наклонился над Петром, сронил на плечо голову и снова прищурил левый глаз, а кривым уставился в стенку.

— Не шибко я тебя, бедолага, зашиб-то? Ты уж извиняй за любезную встречу, дело наше такое, рисковое, лишний раз остеречься не мешает. Тама в уголке мужичок ненужный сидел, никчемный мужичишка, а бояться его надо. Вот и пришлось наресовать картину... Сергей, спусти-ка нам винца

да закусочки — ишь, он никак обьгаться не может, — голос у Бабадунова был тихий, домашний, как у отца родного. — Весточку мне про тебя подали, ждал я... Не думал, правда, что столь быстро спроворишься. А теперь излагай всю нужду, какая тебя притащила...

Слушал Бабадунов прижмурия глаз, не перебивая. А дослушав, вздохнул и молчком разлил из пузатого графинчика водку по высоким рюмкам — все это махом Сергей доставил и выставил на краешке топчана, завернув постель, — скривился и выпил, наконец-то открыв прищуренный глаз, который блестел, как у молодого. Отломил кусок рыбного пирога, задумчиво пожевал, причмокивая губами, и аккуратно сплюнул на ладонь чисто обсосанную стерляжью голову. Еще раз налил, опрокинул водку в широко раскрытый рот, окаймленный густым, рыжим волосом бороды и усов, утерся широкой, будто лопата, ладонью и по-бабы протяжно вздохнул:

— Чует мое сердце, понесут скоро Зубого на тот свет вперед ногами. Это ж только перед смертью такое можно удумать — за древние грехи самому расплавиваться. Ладно, ему виднее. Ты пей, ешь, жирок натягивай, чего потребуется — Сергей сделает. Но без меня отсюда даже шагу не смей делать. Как все узнаю — сам тебя отправлю.

Тяжело поднялся и вышел, еще раз заставив вздохнуть ступеньки.

— Тут вот веревочка есть; коли понадобится, дерни, я колокольчик услышу, — Сергей снял с топчана водку, закуски, составил все это на днище пустой бочки и тоже ушел.

Петр остался один и долго не мог собраться с мыслями. Слишком уж круто и непонятно заворачивалась его судьба. Вгорячах даже прикинул — а не сбежать ли? И тут же усмехнулся над собой — а куда бежать без паспорта? В тайгу, на съеденье зверю?

В конце концов мудро решил, что утро вечера всегда умнее. Навернул подряд две рюмки водки, лениво потерял пирог и уснул, поудобней уложив на мягкой подушке голову, в которой боль все еще отдавала тупыми толчками.

На следующий день его никто не тревожил и сам он за веревочку, чтобы вызвать Сергея, не дергал, потому как нужды

никакой не было. Ворочался на топчане, задремывал, просыпался и, как ни ломал голову ничего дельного придумать не мог, кроме одного — в его положении ничего не остается, как ждать.

И он терпеливо ждал.

Ночью, уже под утро, пришел Бабадунов. Бросил на колени Петру большой мягкий узел, перехваченный тонким шпагатом, сказал:

— Тут одежда тебе, принарядись. И ступай с утречка к Дюжеву, сообщишь, что гости к нему собираются нынче... Сообщишь — и ко мне опять. Пожалуй, скоро и для тебя новость будет. Большая новость.

А дальше он в подробностях поведал, что один его постоянный посетитель, чиновник городской управы Тетюхин, за немалые деньги подрядил троих лихих молодцов, чтобы они ограбили дюжевский магазин. И еще кое-чем интересуется, но тут Бабадунов не до конца вынюхал.

— Сам-то он, Тетюхин, никто, — рассуждал Бабадунов, — и звать его никак, так — вша на палочке, а денег у него свободных больше как на рюмку водки сроду не водилось, и нате вам — капиталы выкладывает. Не-е-т, нечисто здесь, приспособил его кто-то. У Дюжева ведь до этого и обоз пощипали, и магазин на Ушайке, — стало быть, не случайно все. Думаю, и в тех случаях без Тетюхина не обошлось. Даст Бог, и это проведем. Для меня на Бочанской улице никаких секретов нету, а на Бочанской про весь город знают.

Трактир Бабадунова, — это уже после Петру стало известно, — находился на самой развеселой и гулящей улице Томска, где одних только домов терпимости штук пять понатыкано было. И народишко сюда стекался самый разный и пестрый, охочий до удовольствий, картежной игры и драк. Время от времени полиция валом прокатывалась по развеселой улице, хватала всех подозрительных, тащила в участок, где с пристрастием допрашивала, и все это время висела над Бочановской целомудренная тишина, но уже через три-четыре дня жизнь вкатывалась в прежнюю колею — на колу мочало, начинай сначала.

И гудели без удержу дома терпимости и трактиры, резали ночь за полночь крики, взблескивала в темноте сталь ножей,

а утром зачастую находили уже охолодавшие трупы, иные из которых и хоронили неопознанными, потому как ни паспорту, ни роду, ни племени у иных убиенных не было.

Держать трактир на такой улице только при толковой голове возможно. А Бабадулов держал свой уже больше десяти лет и умел ладить как с полицией, так и с пестрым народишком, среди которого и сам проживал в свое время. От того времени и метка, чтобы не забывал, на лбу осталась. Он тут всех знал, как облупленных, и знал, с кем как следует разговор вести: одного уважить, второму пригрозить, перед третьим поклоняться, а четвертому, слов не тратя, можно и в харю сразу железным кулаком звездануть, а иной раз, скрепя сердце, и в прямой убыток для себя войти. Бывает, что пропился иной бедолага, трясется, как последний лист на осине перед снегом, и нигде его, даже в самой поганой ночлежке, до порога не допускают. А Бабадулов допустит, велит Сергею опохмелить и горячих щей в миску плеснуть за бесплатно. Выручишь такого в безысходном его положении — он после по гроб жизни благодарен будет, если, конечно, совсем не сопьется с круга. Сколько людей — столько и подходов.

Рано утром, когда Петр вышел из трактира и направился к Дюжеву, Бочановская только еще начинала укладываться спать. Из окон еще долетали несвязные песни, звенела битая посуда и висел истошный крик: «Машка, курва, зарежу тебя за твою измену!» Но все это звучало уже вполсилы, на исходе.

Предупредить Дюжева о разбойном налете Петр успел, даже наполовину открыл свои карты перед Тихоном Трофимовичем, но к задуманной цели ему и шага не удалось сделать: разбойники ушли, а у того, который остался, уже ничего не выпросишь. И на следующий день, после гостеприимной ночевки в дюжевском доме, Петр оставил хозяину записку, а сам снова отправился в трактир к Бабадулову, стараясь быть как можно незаметней на Бочановской улице, чтобы не налететь на ненужное сейчас приключение.

Бабадулов, узнав о том, что произошло в дюжевском доме, только встряхивал рыжей, лохматой головой, как конь гривой, и шлепал себя ладонями по коленям:

— Ай да Боровой! Силен, бродяга! Хряп — и копылки врозь?! Строгий мужик!

Повосхищался, пошлепал себя по коленям и подвел, как аккуратный писарь, черту:

— И остались мы с тобой ни с чем. Как цыган с недоуздом. Ладно, ты пока отлеживайся, а я пойду свою бестолковку чесать. Может, чего и придумаю.

Но, видно, не пришлось долго чесать Бабадулову свою большую голову. Судьба сама навстречу летела. Точнее сказать, чиновника Тетюхина посылала, как дурную летучую бабочку на костер.

Появился Тетюхин под вечер, бледный и мятый, будто с перепоею. Заказал, как обычно, Сергею ужин для себя, но к разносолам так и не притронулся, только хлебал чай без меры да потел, вытирая лицо и лысину большим клетчатым платком. То и дело поглядывал на дверь, ждал кого-то, но так, видно, и не дождался.

— Эй, милоч, — окликнул Семена, — возьми-ка с меня.

Рассчитался, щедро дал на чай и обреченно вздохнул:

— Проведи-ка меня к хозяину.

К хозяину, так к хозяину. И Тетюхин предстал перед Бабадуловым. Начал издалека, аж с Базарной площади, где, по его словам, побывал сегодня утром и подивился, что цены на мясо опять безобразно вздули. Бабадулов, склонив голову, целился кривым глазом мимо Тетюхина и шлепал себя по коленям — таким образом разговор поддерживал, тоже досадовал на дороговизну. С Базарной площади Тетюхин незаметно подъехал к трактиру, похвалил Степана Иваныча за хватку и за доброе ведение дела, сочувствие выразил, что в такие времена коммерция тяжело дается, ведь на все расходы нужны, а доходы — не такие, как задумывалось. И в конце концов, попетляв, попетляв, выбрался — для большой коммерции, которой Бабадулов достоин, и капиталы нужны немалые.

— Не говори, — стал плакаться Бабадулов, делая вид, что крючок, подброшенный Тетюхиным, он уже заглотив, — хотел еще одно заведение открыть, да куда там! Подсчитал, в какую копейку встанет, и слеза капнула. Мне таких капиталов сроду не собрать.

— А я бы смог пособить, только мне помощь твоя нужна, Степан Иваныч. Выручи меня из тяжелого положения, я тебя

и деньгами отблагодарю, и протекцией. Люди мне для одного дела нужны, ох, как нужны...

— Да людей у нас... — начал было Бабадулов, но Тетюхин его перебил:

— Особые нужны люди, Степан Иваныч, такие, которые к тебе заглядывают.

— Это какие же? — продолжал валять Ваньку Бабадулов.

— Рисковые! — твердо ответил Тетюхин. — Такие, чтоб сам черт не брат.

— Ха! — вскинулся Бабадулов. — Рисковые. У нас тут, считай, каждый второй рисковый: зазеваешься — они и рискнут. Без штанов по миру пустят!

И еще добрых полчаса топтались они вокруг да около, пока, наконец, не выяснилось: из Томска выходит этап и надо одного каторжанина с этого этапа выволить.

Вытянув нужное, Бабадулов долго еще отнекивался, после согласился и начал яростно торговаться. Тетюхин до того на пот изошел, что с клетчатого платка, как с половой тряпки, капать стало.

Сторговались, ударили по рукам, и той же ночью Петр выехал из Томска в Оконешниково.

— А что в Оконешниково было, ты своими глазами видел, Тихон Трофимович.

— Так чего же им от меня надо-то? — хриплым голосом вскричал Дюжев, так громко, что даже Игренька стриганул ушами.

— Вот теперь и спросим у Хайновского с Тетюхиным. Про все спросим.

— А Тетюхин-то где?

— Бабадулов обещал доставить в нужное место. Вместе с потрохами.

До нужного места добрались уже под утро. Светало. На узких прогалах между высоких сосен золотом вспыхивала паутина, принимая первый солнечный свет; яркая зелень травы окутывалась прозрачной дымкой, вытягиваясь к небу, и в этой теплой, млеющей благодати переключался на разные голоса разнобойный птичий хор. Притомившийся Игренька осторожно, чутко ставил копыта и, наклоняясь, успевал срывать мягкими губами верхушки цветущего кипрея.

В конце прогала открылась поляна, и Тихон Трофимович, привстав на облучке, пробормотал:

— Ого, да тут целое собрание...

На поляне шаял прогоревший за ночь костер, стояли две подводы, упираясь оглоблями в землю, а выпряженные и стреноженные кони лежали неподалеку и первыми почуяли гостей, подняли головы. Тут же над костром выпрямилась высокая фигура, и бродяга, которого еще издали узнал Петр, привычно сунул под мышку приклад ружья.

Петр первым соскочил на землю, прошелся по поляне, разминая затекшие ноги, и только после этого приблизился к пустым телегам: у одной к колесу был привязан Хайновский, а у другой — Тетюхин.

— А этого кто привез? — спросил Петр у бродяги, показывая на Тетюхина.

— Да парень какой-то, — бродяга подошел к овчинной полсти, из-под которой торчали щегольские сапожки, и ткнул стволом ружья: — Подымайся, хватит дрыхнуть!

Из-под полсти показалась лохматая голова Сергея. Он сел и разлепил опухшие после сна глаза, долго смотрел на Петра, на Дюжева, на бродягу и, оглядев их всех по очереди, сладко, со всхлипом, зевнул, на подбородок даже слюна скатилась. Потянулся и вскочил на ноги, бодро сообщил:

— Принимай товар, честной купец! В целости, в сохранности; правда, пованивает чуток, потому как со страху спервоначалу обхезался, а отмывать мне его некогда. Будет желанье, своди в баню... — И, довольный, Сергей сочно расхохотался, пошел в кусты, на ходу распуская ремень.

Петр отвязал Тетюхина, от которого и впрямь крепко пованивало, усадил напротив Хайновского.

— Однако, обличье мне твое знакомо... Где же я тебя видел? — Дюжев присел на корточки перед Тетюхиным, внимательно всматриваясь тому в лицо. — Это ты за какой-то тетрадьё приходил?

— Не имею чести, — Тетюхин горделиво вскинул голову, передернул плечами, даже попытался грудь выпятить, — я лицо государственное, вам придется отвечать по всей строгости закона...

— Ты теперя засранец обыкновенный, а не лицо, — оборвал его Дюжев, — а грозиться на нас не следует, я вот осерчаю и заверну тебе салазки, а судов тут, в бору, не имеется.

— Подожди, подожди, Тихон Трофимович. Торопиться нам некуда. Давайте, господа, с самого начала. Итак, Тетюхин, вы этого господина знаете? — Петр показал на Хайновского.

— Первый раз вижу.

— Тогда скажите — кто вас просил освободить Хайновского с этапа? Кто вас просил скупать векселя купца Дюжева и кто просил грабить его обоз и магазины?

— Я ничего не знаю! — толстые, обвислые щеки Тетюхина в мелких кровяных прожилках затряслись, в глазах плеснулся страх, и недавняя попытка горделиво вскинуть голову и расправить грудь мгновенно испарилась. Трусоват оказался Тетюхин на строгий спрос.

— Теперь к вам вопрос, Хайновский. С кем вы здесь подерживали связь и кто, через чиновника Тетюхина, готовил вам побег?

Хайновский скривил губы и промолчал.

— Еще раз повторяю вопрос: кто готовил для вас побег?

Хайновский сплунул и отвернулся.

И тут встрял в разговор бродяга. Порылся в своей необъятной сумке, которая всегда висела у него через плечо, и вытащил здоровенный самокованный гвоздь, какими подковы прибивают к лошадиным копытам. Еще пошарился и вытащил небольшой топорик.

— Щас, он такой голос подаст — в губернаторском доме слышно станет. Я этот гвоздь с двух ударов в пятку загоняю. Как-то одного конокрада подковать пришлось, он так признался, что все вспомнил, вспомнил даже, что парнишкой сметану в погребе воровал. Подержите-ка мне его...

Хайновский боязливо подтянул под себя ноги, взглянул на бродягу, на Петра и тяжело, через силу выдавил:

— Мне нужна гарантия, что останусь жив.

— А две гарантии не надо? — разозлился Дюжев.

— Слушайте, Хайновский, положение ваше безвыходно, торговаться неуместно. Рассказывайте, что знаете. Ваша искренность и будет гарантией. Я жду...

Бродяга постукивал гвоздем по обушку топорика. В дикой косматой бороде его, униженной сухими хвоинками, шевелилась широкая, почти добрая улыбка.

— Хорошо... — Хайновский вытянул ноги и попросил: — Дайте мне воды. Я расскажу...

27

Жандармский полковник Нестеров зря государев хлеб не ел. Внедрив в организацию «Освобождение» своего агента, он неторопко, но тщательно, как истинный охотник, принялся расставлять свои силки и ловушки: собирал сведения, систематизировал картотеку, не жалея, платил своему агенту казенные деньги и не суетился, выжидая удобный момент. В честолюбивых планах Нестерова была задумка — накрыть всю организацию одним махом, чтобы никто не выскользнул. Но дело шло туго, агента держали на вторых ролях, испытывая на преданность, и толком ничего о руководстве организации он не знал, как не знал и о планах.

А планы у «Освобождения» были немалые. После провала покушения на Любомудрова и после гибели Мещерского, который был одним из руководителей организации, Хайновский, взявший все дела в свои руки, на некоторое время решил прекратить деятельность и затаиться. Единственное, что шло своим ходом, была подготовка убийства поручика Щербатова. Сделать это было просто необходимо, как считал Хайновский, и сделать для того, чтобы все уяснили: любое решение, принятое руководящей пятеркой организации, всегда доводится до логического конца. При любом развитии событий. Но первоначальный замысел — убить Щербатова еще в тюрьме, до отправки по этапу, — сорвался. Уголовники, с которыми удалось договориться, внезапно были переведены в другую тюрьму, а оттуда, столь же внезапно, отправлены отдельным этапом. Из этого Хайновский сделал вывод: Щербатова опекают и берегут — может быть, даже сама охранка. И снова он принимает решение — выждать. И выжидал до тех пор, пока не появился в организации новый человек со странной фамилией Чебула.

Высокий, жилистый, будто сотканный из тугих веревок, Чебула носил длинные волосы, пробитые ранней сединой;

они постоянно сваливались ему на чистый и без единой морщинки лоб, он их отмахивал нервным жестом руки, и тогда прорезался быстрый и диковатый взгляд. Чебула не мог сидеть на стуле или стоять на одном месте, он постоянно ходил, широко раскидывая длинные ноги, и тяжело топал, будто на плечах у него находился тяжелый груз.

Еще до первой встречи с новым членом организации Хайновский постарался все о нем разузнать. А узнав, невольно удивился витиеватой судьбе двадцативосьмилетнего студента, недавно изгнанного из Санкт-Петербургского университета «за вредное направление мыслей», а еще больше за то, что постоянно встречал в споры с известными профессорами и публично обвинял их в косности и невежестве. Спорщик, надо сказать, он был отменный, умел поражать неожиданными выводами и громовым голосом, который громыхал и раскатывался так мощно, что мог заглушить даже возмущенный гул аудитории.

Сын сельского дьячка из глухой деревни Иркутской губернии, Чебула был отдан на учебу в духовную семинарию, как того пожелал родитель, но проучился там совсем немного — был изгнан за богохульство. В отцовский дом дорога ему была заказана, и он отправился в большой мир, самостоятельно зарабатывая себе на хлеб насущный. Брался за любую работу, не брезгуя самой грязной. Кажется, не было такого ремесла, которым бы он не владел. Где бы ни находился и кем бы ни работал, в котомке у него всегда лежали книги, и поэтому без особого труда он сдал экстерном экзамены в учительской гимназии, поразив преподавателей необыкновенной памятью: наизусть читал огромные куски самых разных текстов. Ему предлагали место учителя, но Чебула гордо отказался и устроился проводником в ученую экспедицию. Там быстро оценили расторопность и сметку молодого человека, в последующем уже новые экспедиции непременно хотели видеть в проводниках именно Чебулу. Он не отказывался. С апреля по октябрь бродил по Сибири с учеными людьми, а зиму безбедно проживал непременно в Томске или в Иркутске, где была возможность пользоваться хорошей библиотекой.

После пяти лет такой жизни он отправился в столицу и поступил в университет, но проучился недолго, нисколько, впрочем, о том не жалея.

— Знания без дела — мертвечина! — рокотал Чебула, курсируя перед креслом, в котором сидел Хайновский. — Что толку глотать книжную пыль, если она и в мозгах, невостребованная живым делом, так и останется пылью. Всякое обретенное знание должно сразу переходить в реальность и являть результат, неважно какой — плохой или хороший, но результат! Россия — страна бездеятельная, в ней отовсюду, как из университета, несет трупным запахом еще допетровской эпохи. Дела желаю, живого дела, чтобы в нем кровь бурлила.

— Дело вам будет, — подвел итог первому разговору Хайновский.

Период затишья в деятельности «Освобождения» закончился.

И скоро в собственной спальне был на куски разорван бомбой начальник тюрьмы Черкасов, который велел выпороть политического сидельца за то, что тот объявил голодовку. После унижительной экзекуции Черкасов приказал насильно кормить несчастного, и это приказание тоже было неукоснительно исполнено.

На первом же собрании особо доверенных членов «Освобождения» встал вопрос об убийстве Черкасова. Все должны были высказывать свое мнение по очереди, но этого не получалось, потому как все горячились и начинали перебивать друг друга. Чебула топтался в углу маленькой комнатки на крохотном пяточке, свободном от стульев, и угрюмо молчал. Когда очередь, наконец-то, дошла и до него, он откинул со лба длинные волосы, затопал еще сильнее, будто солдат на плацу, и вдруг вытянул сильную, жилистую руку с растопыренной пятерней, рыкнул:

— Вода и сопли! Сопли и вода! Как сквозь пальцы! Вот уже полтора часа потрачено на бесполезное произнесение ненужных слов. — Раздались недоуменные и сердитые реплики, но Чебула без труда придавил их своим голосом. — А надо всего лишь решить один конкретный вопрос — как убить Черкасова? Предлагайте.

Возникла пауза.



— Коли нет ответа — значит, все остальное — сопли. Я дам ответ через сутки.

После этих слов Чебула ушел, оставив особо доверенных членов «Освобождения», в том числе и самого Хайновского, в недоумении.

Ровно через сутки он снова появился у Хайновского.

— Мне нужны два надежных человека. Смелых и проворных. Будут?

— Но для чего? — спросил Хайновский.

— Как для чего? Для убийства Черкасова. Или это уже не нужно?

— Нужно, но я хотел бы знать...

— Извольте. Листок бумаги найдется? Вот, смотрите... — и карандаш, ухваченный цепкими, сильными пальцами, быстро забежал по тетрадному листу. — Вот дом, где живет Черкасов, он с семьей занимает третий этаж. Здесь спальня. А здесь — четырехэтажный дом, совсем рядом. На крыше — огромное слуховое окно. Дальше... взрывной заряд с чердака этого дома, через слуховое окно, мы направляем и навешиваем точно на крышу в том месте, где находится спальня Черкасова. Если взрывная сила будет мала и перекрытия не рухнут, навешиваем второй заряд...

— Каким образом, ведь докинуть невозможно?

— А вот об этом позаботились в иные века, когда изобрели катапульту.

— Но это ведь не ружье, а вдруг — промах? И как затащить катапульту на чердак соседнего дома?

— На первый раз, Хайновский, я вам подробно все расскажу, отвечая на ваши вопросы, но это будет и в последний раз. Запомните, если я что-то предлагаю — значит, я все продумал. Траекторию рассчитаем и установим опытным путем, катапульту поднимем как отдельные доски, якобы для ремонта крыши; после выстрела обливаем ее керосином, поджигаем и уходим. В суматохе, пока доберутся тушить, она успеет сгореть.

Уже первый заряд разметал крышу и обрушил перекрытия, которые накрыли Черкасова в теплой постели вместе с супругой. Второй заряд, отправленный Чебулой для верности, разнес бедолагу в клочья. От горящей катапульты на

чердаке соседнего дома вспыхнул пожар, но потушили его, как и предсказывал Чебула, не скоро. В обгоревших, залитых водой досках и стропилах никто не удосужился разглядеть остатки древнего орудия.

Быстро, очень быстро Чебула стал играть в «Освобождении» одну из главных ролей. Он, как правило, не вмешивался в разговоры на отвлеченные темы, а когда начинали говорить о свержении самодержавия, о несчастном народе, Чебула лишь откровенно усмехался. И загорался, становился деятельным лишь тогда, когда возникала необходимость в конкретном и опасном деле. Хайновский, который внимательно приглядывался к нему все это время, однажды прямо спросил:

— Чебула, а вы разделяете наши политические взгляды?

— Нет, — равнодушно ответил тот, — и никогда разделять не буду.

— Я вас не понимаю. Объяснитесь.

— Да все очень просто, Хайновский. Россия — страна мертвечины, но иногда случается так, что и покойники встают из гробов. Редко, но бывает. Допустим, вы подожгли ее и взорвали; она горит, радуя вас. Но толща настолько велика, настолько обширна, что она никогда дотла не сгорит. Вы захватите власть, поменяете социальные условия, а в итоге получите — не удивляйтесь! — ту же самую мертвечину.

— Зачем же вы тогда к нам пришли?

— А интересно! Живое дело. Я, может, всю жизнь именно такое дело искал. И больше, Хайновский, мы на эту тему не говорим. Согласны?

— Хорошо, — кивнул Хайновский, прекрасно понимая, что для «Освобождения» Чебула важнее как практик, чем как политический пропагандист.

А вскоре после этого разговора Чебула объявил новость:

— Хайновский, я вынужден вас на полгода покинуть. Мои услуги срочно потребовались профессору Гуттенлохтеру. Представьте себе, разыскал и просил меня лично.

— И о чем он вас просил? — насторожился Хайновский.

— Долгий разговор... — Чебула быстрее обычного засновал по комнате из угла в угол, потирал ладони, отмахивал волосы со лба и вдруг, остановившись, спросил: — А не найдется ли у вас выпить? Хорошей, холодной водки...

Хайновский пожал плечами и вышел к хозяйке, у которой снимал квартиру, попросил подать водки и закуску. Они молчали, пока она накрывала на стол, а когда ушла, Чебула схватил графин, наполнил рюмки и, чокнувшись с Хайновским, объявил:

— Сегодня великий день. За удачу!

Выпил он стоя и закусывал тоже не присаживаясь, продолжая кружить вокруг стола, без разбору хватая с тарелок все, что подворачивалось под руку. Хайновский, наблюдая за ним, вдруг подумал, что, если на тарелку положить камень, то и его Чебула разгрызет крепкими зубами и даже не заметит. Странные все-таки чувства испытывал Хайновский к этому человеку. Иногда он им любовался, иногда завидовал его цепкому, практичному уму, напору, а иногда — боялся, стараясь не признаваться в этом самому себе. Боялся, что в какой-то момент Чебула займет в «Освобождении» более высокую ступень и отодвинет его, Хайновского, на вторую роль. А он уже привык повелевать не только судьбой организации, но и судьбами всех людей, которые в нее входили, привык, что последнее слово всегда остается за ним.

«Какая же все-таки в нем природная, животная сила, — думал он, наблюдая из кресла за беспокойно ходившим Чебулой, — с такой силой трудно соперничать...»

— Вы знаете, кто такой профессор Гуттенлохтер? Научное светило по древним народам Сибири. Совершил восемь научных экспедиций в самые глухие места. Сейчас собирается в девятую. Это Томская губерния, он хочет исследовать остатки так называемых чудских копей. Древние народы Сибири успешно занимались металлургией, умели плавить железо, бронзу, серебро и — это главное! — золото. Там есть золото! Причем золото уже готовое — в виде украшений, слитков и прочих побрякушек. Если это удастся отыскать...

— Чебула, — перебил его Хайновский, — неужели вы до сих пор зачитываетесь романами Стивенсона? Кажется, уже не мальчик, и возраст вполне серьезный...

— Ирония неуместна, — загремел в ответ Чебула, — ваши соплеменники умнее, чем вы, Хайновский. В сто раз умнее!

— При чем здесь мои соплеменники? — недоуменно вскинулся Хайновский.

— Да будет вам известно, что на тайных рынках Лондона время от времени появляются золотые украшения из чудских копей и продаются за бешеные деньги. Переправить их туда могут только ваши соплеменники. Есть такой городишко в Томской губернии, с очень говорящим названием — Каинск. В свое время именно его определили как основное место для всех евреев, сосланных за контрабанду на западной границе. И вот представьте — через два десятка лет глухой сибирский городишко превратился в точное подобие какого-нибудь Бердичева. Лавки, торговля, а главное — они занялись скупкой ворованного золота с приисков, и отправляют его куда хочешь, хоть в Минск, хоть в Вержболово, хоть в Лондон. Полиция знает об этом, но ни разу, слышите — ни разу! — не смогла поймать с поличным. Вот это организация — я восхищаюсь! Наше «Освобождение» по сравнению с ней — детские игрушки... — Чебула внезапно замолчал, налил себе водки, выпил, не закусывая, и притушил свой громовой голос: — Я родил потрясающий план! Я уверен, что Гуттенлохтер найдет древние украшения в чудских копиях. Представьте себе сухаря-немца, у которого от волнения даже срывается голос. Так было, когда он уговаривал меня пойти в экспедицию проводником. Если все это богатство окажется в наших руках, мы станем действительно могучей организацией. Ваши соплеменники в Каинске помогут нам наладить переправку этого богатства за границу, мы используем их опыт, их связи; представляете, это будет единая четкая линия: с одной стороны — до западной границы, а с другой — до Владивостока, а там уже до Америки можно добраться на любой посудине. Вот масштаб, вот поле деятельности! — Чебула шагнул к креслу и наклонился над Хайновским, прошептал почти на самое ухо: — Хоть умрите, Хайновский, но найдите связь с еврейской общиной в Каинске. В одиночку я ничего не смогу сделать, мне там нужна будет организованная помощь. Слышите меня?!

— Мне надо подумать.

— Думайте. Но недолго. Гуттенлохтер может в любой момент назначить дату отъезда.

Срочное совещание руководящей пятерки «Освобождения» проводили на загородной даче Никольского. Во-первых, Андрей Христофорович был человеком публичным — как репортер он сотрудничал с двумя петербургскими газетами, никоим образом не касаясь в своих писаниях политических тем, — только уголовщина, забавные городские случаи и семейные скандалы — и, следовательно, вокруг него всегда собирались самые разные люди, во-вторых, он был хорошо известен как хлебосольный хозяин и любитель шумных дружеских пирушек. Вот и в этот раз на даче еще загодя натопили печи, завезли изрядное количество провизии и вин, прибрали-помыли и накрыли столы.

К назначенному часу, помимо Хайновского, подъехали Борис Фильштинский, сын известного петербургского аптекаря; Александр Горелов, выходец из мастеровых, проживающий сейчас под чужим паспортом на фамилию Глинского, и Адам Прасек, поляк, успевший уже побывать на каторге, вернувшийся оттуда с нажитой чахоткой и нервным расстройством.

Впятером они уселись за богато накрытым столом, и Хайновский сразу же, не тратя времени на лишнее вступление, подробно пересказал суть идеи, которую ему изложил Чебула. Когда он закончил говорить, все долго молчали, даже не задавали вопросов — слишком уж необычным, да и несбыточным показалось услышанное.

— Нам необходимо определиться и принять решение, — прервал затянувшуюся паузу Хайновский, — и принять мы его должны сейчас, здесь...

Началось бурное обсуждение. Горелов доказательно говорил, что это чистой воды авантюра, Никольский настаивал, что Чебула доказал свою преданность и поэтому нужно, чтобы вся пятерка его выслушала. Фильштинский горячо поддерживал Горелова и утверждал, что именно сейчас организация должна сосредоточиться только на терроре, а не заниматься ерундой в духе приключенческих романов. Адам Прасек надсадно кашлял, отплевываясь в стеклянную баночку, обклеенную черной бумагой, и в общий разговор не вступал, только раздраженно взмахивал свободной рукой, но очередной приступ кашля не давал ему выговорить ни слова.

Дискуссия затягивалась, Хайновский слушал товарищей и никак не мог определиться, в то же время прекрасно понимая, что определяться придется — откладывать на долгий срок было невозможно, ведь экспедиция могла отправиться в любой день.

— Ну почему, почему мы не можем все вместе выслушать Чебулу?! — горячился Никольский. — Почему мы не можем задать ему вопросы, чтобы он на них ответил? Я думаю, что он заслужил такое право, чтобы войти в руководящее звено нашей организации. Или я не прав?

— Прав, Андрей Христофорович, полностью прав! — говорил, наконец-то справившись с кашлем, Адам Прасек. — Мы осторожничаем там, где осторожность совершенно не нужна. Я давно уверился, что он человек дела. Но самое главное даже не в этом, о самом главном никто из вас не сказал. Если мы действительно ставим перед собой великие задачи, то мы должны заглядывать далеко вперед. Наше движение пойдет вширь и вглубь, потребуются типографии, потребуется оружие — много чего потребуются... Значит, необходимы деньги. Мы должны быть готовы к репрессиям; давайте глядеть правде в глаза — вполне возможно, что уже завтра или мы, или наши товарищи пойдут по этапу в Сибирь, а вы прекрасно знаете, что не все выдерживают условия каторги или ссылки, многие кончают жизнь самоубийством. Нам на будущее просто необходима система освобождения с каторги, устройство побегов и отправка наших сподвижников через Владивосток — мы должны ценить и спасать своих людей, а не только поощрять самопожертвование...

От столь длинной речи Прасек снова надолго закашлялся, а Фильштинский неожиданно поднялся из-за стола и твердо произнес:

— Как вам угодно, а я меняю свою точку зрения. Адам прав, просто я вначале не увидел перспективы. Если мы желаем вершить великие дела, то в соответствии с этим должны и решения принимать. Я за то, чтобы предоставить Чебуле полную свободу действий и поддержать его всеми средствами, какие у нас есть. Прошу поручить мне установить связь с общиной в Каинске. Я справлюсь.

Согласился и Никольский. Один только Горелов, протяжно окая, все твердил, что все задуманное — чистой воды баловство. Теперь определяться нужно было Хайновскому. И он определился:

— Будем считать, что предложение Чебулы принято.

И сразу же, в последующие дни, началась подготовка. Для Чебулы собрали немалую сумму денег; Фильштинский, раздобыв нужные рекомендации, в срочном порядке отбыл в Сибирь, попутно имея поручение от отца о заключении договора на поставку лекарств, — таким образом он получал хорошее прикрытие. Сам же Чебула в эти дни практически не отходил от профессора Гуттенлохтера, стараясь изо всех сил быть ему полезным и нужным едва ли не в каждую минуту.

Отправку экспедиции Гуттенлохтер назначил на начало апреля, с таким расчетом, чтобы завершить ее осенью, до первых снегов. А за два дня до отправки пришла телеграмма из Томска от Фильштинского: «Побывал в Каинске. Встретили душевно. Можно приезжать, добрый прием обеспечен». Пароли были оговорены заранее с Чебулой, так что теперь ему оставалось только добраться до Каинска.

Восьмого апреля, ровно в полдень, поезд уходил с вокзала Санкт-Петербурга до Самары, откуда дальнейший путь экспедиции предстояло совершить на перекладных. Хайновский не удержался и, нарушая все правила, появившись на вокзале за пятнадцать минут до отправления поезда. Издали, скрываясь за колонной, он наблюдал за Чебулой, который буквально не отходил ни на шаг от Гуттенлохтера — высокого, поджарого мужчины лет сорока пяти, с узким вытянутым лицом, на котором поблескивали стеклышки пенсне. Хайновский проследил, как они зашли в вагон, дождался, когда тронется поезд, и лишь после этого покинул вокзал и, наняв извозчика, поехал к себе на квартиру. Все-таки сосала его тайная тревога, что-то не давало полной уверенности во всем затеянном мероприятии, потому он и наблюдал за Чебулой до последней минуты... Еще и еще раз заново все обдумывая, Хайновский пытался отыскать причину своего беспокойства и не находил ее.

Наверное, это было предчувствие: через несколько дней Хайновского арестовали. Глупо, случайно и совершенно

неожиданно не только для него самого, но и для полковника Нестерова. А виноват во всем был агент, внедренный в «Освобождение». Устав перебиваться в организации на вторых ролях, желая как можно быстрее отрапортовать начальству об успехах, он решил действовать самостоятельно, что ему категорически запрещалось. И спутал, неразумный, все карты. Додумался, на свой страх и риск, не посоветовавшись с Нестеровым, установить слежку за одним из членов организации, совершенно правильно рассчитав, — тут ему в интуиции не откажешь, — что он является курьером и осуществляет связь между членами руководящей пятерки. И однажды, следуя за курьером, он оказался под окнами квартиры, которую снимал Хайновский. Неслышно проскользнул в подъезд, определил по звонку и звуку открывшейся двери, что квартира на втором этаже и, довольный, так же неслышно выскользнул из подъезда. Постоял за деревом, дождался, когда курьер уйдет, и сам уже собрался уходить, но в последний момент поднял глаза на окна квартиры и замер, едва не открыв рот: из-за приоткрытой шторы на него смотрел Хайновский. И длилось-то это всего лишь какие-то доли секунды, но взгляды их встретились. Штора тут же задернулась, но материя колебалась, как бы подтверждая, что за ней скрывается человек.

Времени на раздумья не было. Агент прекрасно понимал, что его раскрыли, что обратный путь в организацию ему заказан, и тогда он решил, что возвращаться к полковнику Нестерову с пустыми руками никак нельзя.

Дальше все происходило еще глупей и бездарней.

Агент решил арестовать Хайновского, но тот открыл стрельбу, смертельно ранил подоспевшего городского и сдался лишь тогда, когда кончились патроны.

— Дубина! Орясина! Осина березовая! — в ярости орал Нестеров на агента и из последних сил сдерживал себя, чтобы не надавать ему оплеух. Тонко рассчитанная игра, почти год кропотливой работы — все ухнуло псу под хвост. — Сволочь! Я тебя под арест, я тебя собственными руками... Пшел вон!

Оставшись один в кабинете, Нестеров в негодовании пнул свое собственное служебное кресло, отсушил ногу и, прихрамывая, ругаясь, направился к шкафу, где у него всегда стояла

бутылочка шустовского коньяка, а на тарелочке лежал тонко нарезанный лимон, посыпанный сахарной пудрой. Никого не принимая, он потягивал коньяк, курил и подводил неутешительные итоги. Было ясно, что после ареста Хайновского организация «Освобождение» уйдет в глухое подполье, внедрить в нее нового агента будет практически невозможно и что тогда, прикажете докладывать уже в ближайшие дни по начальству?..

— Неужели стареешь, господин полковник? — вслух произнес Нестеров и тут же сам себе ответил: — Ничего, еще повоюем, а не победим — так хоть намашемся...

И сразу же велел привести на допрос Хайновского.

Но допрос практически ничего не дал. Хайновский упорно отрицал всякую связь с организацией, упирал на то, что имеет психическое заболевание и вообще, у него болит голова и больше на вопросы он отвечать не будет. И все дальнейшее следствие свелось к бесконечному и надоевшему в конце концов отрицанию Хайновским всего и вся. Он и на суде не признал себя виновным. Произнес зажигательную речь о засилье полицейского произвола, сорвал аплодисменты восторженных курсисток и вышел из здания суда, в окружении конвоя, с высоко поднятой головой.

Полковника Нестерова, представленного в свое время к ордену святого Владимира первой степени, вычеркнули из списков и сразу же после оглашения приговора Хайновскому намекнули об отставке. Правда, в иносказательной форме, не впрямую. Но умный Нестеров сразу понял — это последнее предупреждение. И выпил вечером шустовского коньяка больше, чем обычно.

29

Больше всего на свете, как истинный немец, профессор Гуттенлохтер ценил точность и исполнительность. Именно по этим качествам он и отобрал троих студентов в свою экспедицию. Немногословные, аккуратные даже в мелочах, они действовали, как большие серебряные часы профессора, не отставая и не забегая вперед ни на одну минуту. И как же был огорчен Гуттенлохтер, когда в отлаженном механизме экспедиции обнаружился первый сбой: в Каинске внезапно

заболел проводник Чебула. Утром, после ночевки, он не смог подняться с постели, беспрестанно просил у хозяйки постоялого двора воды и виновато смотрел на профессора красными, воспаленными глазами, из которых текли слезы.

— Вы уж простите меня, Иван Иванович, — к Иоганну Гуттенлохтеру, как и студенты, Чебула обращался на русский манер, — такая незадача вышла... Но я быстро поправлюсь, дня два — и я снова на ногах...

— Мы будем иметь нарушение моего графика, — стеклышки профессорского пенсне недовольно блеснули, — а это уже непорядок. Я оставляю деньги, за которые вы распишетесь в ведомости, вы имеете право тратить их на лечение и на быструю подводу. Я могу дожидать вас Мариинск два дня. Если не успеваете, ишу нового проводника...

— Иван Иванович, я успею, мне всего пару дней нужно — и я на ногах!

— Торопитесь, я не могу нарушать график; если нарушим, мы будем иметь плохой результат.

На этом и расстались.

Едва только Гуттенлохтер отъехал от постоялого двора, как Чебула бодро поднялся с постели и проворно кинулся к колодцу промывать холодной водой глаза, старательно натертые накануне едучим табаком-самосадам. Насухо вытершись и поморгав красными набрякшими веками, он легко закинул за плечо небольшую котомку и резво зашагал по улице мимо серых домов с глухими воротами и такими же глухими заплотами, с любопытством оглядываясь по сторонам.

Каинск жил своей неторопкой жизнью. Перемешивая колесами весеннюю грязь, ползли медленные подводы, в пригонах мычали коровы, застоявшиеся за долгую зиму, на обсохших уже бугорках зеленела первая травка, а в высоком, бесконечно распахнутом небе слышались радостные гусиные вскрики. Чебула жадно, раздувая ноздри, втягивал в себя сырые запахи земли, отбрасывал со лба длинные волосы и так улыбался, словно ему только что привалило невиданное счастье. Впрочем, так оно, наверное, и было — Чебула по-своему ощущал себя счастливым в это утро. Впереди его ожидало по-настоящему живое и опасное дело, от одного предчув-

ствия которого горячей закипала кровь в жилах; он оставался теперь один, и только от него самого зависела дальнейшая судьба, а может, и сама жизнь, и ему не требовалось тратить время на пустые разговоры и слушать пространные рассуждения о политических взглядах.

Тощий, с черными пятнами поросенок, уютно лежавший в грязи, поднял на Чебулу маленькие глазки, обрамленные белесыми ресницами, и вдруг подмигнул ими. Чебула не удержался и огласил улицу довольным хохотом.

На торговой площади он без труда отыскал лавчонку, принадлежавшую фактору Моисею Цапельману, толкнул низенькую дверь, и на него дохнуло застоялым запахом галантереи и тряпичного старья. На двух узких столах, втиснутых вдоль стены, навалом лежали куски ситца, плиса, платки, пуговики, иголки, и здесь же — куски серого мыла, табак, чай и железные ложки, которые от долгого лежания и собственной ненужности успели покрыться ржавчиной. За конторкой в дальнем углу стоял высокий сухопарый хозяин, горбился над счетами, и костяшки быстро, с сухим треском летали под его проворными пальцами. Черная шляпа, черные пейсы, черный, местами залоснившийся казинетовый сюртук с длинными фалдами — всё это придавало ему сходство со старой и мудрой нахохлившейся вороной.

Увидев покупателя, Цапельман встрепенулся и, оставив счеты, вскинул вверх руки.

— О, уважаемый пан, я так рад видеть вас! Что желает уважаемый пан, чем могу ему услужить?

— Сначала один вопрос. Вы Моисей Цапельман?

— До сегодняшнего дня я носил именно это имя. А вы сомневаетесь? Или вам показать надлежащую бумагу?

— Бумага не нужна, я к вам по другому делу. Я прибыл от Фильштинского, который благодарит вас за меховое манто для супруги.

— И как ее здоровье? — Цапельман опустил руки и настроенно взгляделся в Чебулу, помедлил и продолжил заранее оговоренный отзыв: — Ей помогли минеральные воды или она по-прежнему кашляет?

— Ей стало легче, но кашель еще не прошел.

— Нет такого богатства, молодой человек, которое могло бы сравниться по своей ценности со здоровьем. Его нужно беречь с юных лет. Кстати сказать, вы так плохо выглядите, тоже больны?

— Я здоров, — перебил Чебула быструю речь Цапельмана. — Где мы можем переговорить?

Цапельман кивнул, вышел на улицу, запер лавчонку на замок и затем вернулся с черного хода, который напоминал узкую щель. Подвинул Чебуле расшатанный стул, сам остался стоять за конторкой. Чебула, не присаживаясь, принялся мерять длинными ногами свободное пространство лавчонки.

— Я уже жалею, что столь много наобещал Фильштинскому. Его просьбу, касательно одного человека, выполнить в пересыльной тюрьме не удалось. За него заступился один из известных уголовников, и теперь ваш поручик находится под его покровительством. Я предупреждал Фильштинского, говорил ему, что бедные евреи не обладают в Сибири большими возможностями, их преувеличивают, — но он не захотел меня слушать... А что мы можем сделать, находясь под постоянным присмотром полиции и властей? Мы можем только зарабатывать себе на сухую корочку, подвергаясь каждый день насмешкам и притеснениям. Любой может обидеть бедного еврея, и я уже жалею, что столь много наобещал Фильштинскому...

Чебула терпеливо слушал и даже перестал ходить, внимательно разглядывая выражение лица Цапельмана, пытаясь отыскать хотя бы намек на властность и решительность. Но ничего подобного — лицо собеседника выражало лишь величайшую обиду, покорность судьбе и недоумение. И все это никак не увязывалось, ни в какие ворота не лезло, по сравнению с тем, что доподлинно знал Чебула: Цапельман был одним из самых крупных контрабандистов на западной границе; сосланный по приговору суда в Сибирь, он уже лет двадцать возглавлял «Новый Иерусалим» — организацию, созданную для того, чтобы на новом месте жительства евреи не растеряли вековой спайки и общности. И это удалось сделать. Неотъемлемой частью жизни многих золотых рудников стала фигура говорливого, услужливого человека, торгующего

самой разной мелочевкой: мылом, иголками-нитками, платками и прочей бабьей ерундой, но чаще всего, из-под полы, — спиртом. И за каждым таким торговцем, когда он уходил с рудника, тянулся тоненький и для постороннего глаза совершенно незаметный ручеек «желтой пшенички», как называли рассыпное золото. Скупали его самыми разными путями, но чаще всего — за тот же спирт. Иногда случались и совсем знатные дела. Лет десять назад с Егорьевского прииска, что в отрогах Салаирского кряжа, украли самородок весом в двенадцать фунтов. Вся полиция была поднята на ноги, известия из Сибири полетели в Минск и в Вержболово, чтобы и тамошняя полиция также приняла срочные меры. Но все было напрасно. След самородка, по слухам, мелькнул лишь в Лондоне, где и затерялся окончательно.

Зная все это, Чебула невольно восхищался человеком, который сейчас стоял перед ним, и не верил ни одному слову его пространной, жалостливой речи. И как только Цапельман закончил говорить, Чебула резко спросил:

— Вы знаете — зачем я приехал?

Цапельман медленно поднял на него умные, внимательные глаза.

— Осенью, в сентябре, мне будет нужна ваша помощь в Мариинске. Экспедиция Гуттенлохтера выйдет из тайги, выйдет с большой добычей — я в этом уверен. Но взять ее в одиночку, спрятать и переправить я не смогу. Вы понимаете меня? Я прекрасно вижу, что понимаете. Поэтому давайте говорить о деле.

Цапельман едва заметно улыбнулся, легким движением поправил шляпу на голове и вышел из-за конторки, протянул руку и похлопал Чебулу по плечу.

— Я наблюдаю, что вы хорошо подготовились к встрече, и читаю в ваших глазах некие знания. Это весьма вас украшает. А что касается вашего дела...

Часа через полтора Чебула вышел из лавочки Цапельмана, имея все, что ему было необходимо: нужные адреса в Мариинске, имена людей, к которым следует обращаться, и даже подробную инструкцию о том, как избежать нежелательных встреч с полицейскими чинами.

Вернувшись на постоялый двор, он велел подать себе обед, с удовольствием поел и завалился спать, наказав разбудить рано утром. На утро же он заказал подводу и даже дал хозяину постоялого двора щедрый задаток, чтобы тот подрядил ямщика лихого и с добрыми лошадьми. Но будить его не пришлось — Чебула проснулся сам, еще до восхода солнца, и проснулся от мягких, шлепающих шагов, которые раздавались за тонкой дверцей отведенной ему комнатки. Выглянув, увидел дорожную простоволосую девку с пыхтящим уже самоваром, увидел, как она смутилась от взгляда постояльца, вспыхнула румянцем и припустила чуть не бегом на другую половину избы, сверкая из-под длинного подола розовыми пятками босых ног. Эта мимолетная и неожиданная встреча развеселила Чебулу, и за завтраком он тайком подмигивал девке, вводя ее в смущение и зажигая на круглых ядерных щеках чалдонки настоящий пожар.

Хозяин постоялого двора расстарался и ямщика подрядил, действительно, лихого: с перебитым носом и круглой, разбойной рожей, которая казалась еще круглей от густой и рыжей, прямо-таки огнистого отлива, бороды. Он помог уложить в возок нехитрые пожитки Чебулы, орлом взлетел на облучок и, разбирая вожжи, крикнул не оборачиваясь:

— Держись, барин, крепче, иначе дорожка всю душу вынет!

Свистнул так пронзительно, что Чебула даже поморщился, а лошади, прижав уши, круто взяли с места убористой рысью, и грязь щедро полетела из-под колес, успевая взблескивать под ярким утренним солнцем, которое величаво поднималось от края земли в зенит, накрывая своим светом бескрайнюю Барабу, усеянную разлившимися озерами и болотцами. Над ними щетинились серые, еще прошлогодние камыши, а над камышами то там, то здесь скользили птичьи стаи.

Отрабатывая щедрый задаток и надеясь получить сверх договора деньжат за лихость, ямщик не жалел ни лошадей, ни возка, ни боков Чебулы. Время от времени он пронзительно свистел и кричал, по-прежнему не оборачиваясь к седоку:

— Разлюбезное дело, барин: протрясешься — спать крепче будешь!

Чебула не отзывался, только кричал на ухабах. Что делать — терпеть надо. Сам просил хозяина постоянного двора, чтобы нанял такого ухореза.

Правда, после, уже в Колывани, богатом, торговом селе, выяснилось, что столь быстрая спешка оказалась ненужной: экспедиция Гуттенлохтера почти сутки сидела на месте, никуда не трогаясь, потому что из-за разлива Оби никто не брался за переправу.

— У нас вон Чаус и тот из берегов выкатился, а вы — через Обь переплавиться... Ишь чего зажелали, — говорил Гуттенлохтеру приземистый, коренастый мужик, то и дело сплевывая себе под ноги. — Оно и вода бы не так страшна, да ветер вон какой поднялся — белы барашки гуляют. Не-е, господа хорошие, никто вам не подрядится. Ждите, когда ветер стихнет.

— У меня не есть намерений ждать, у меня есть намерений торопиться, и я хорошо плачу, — упрашивал Гуттенлохтер.

— Да хоть меряй, хоть не меряй, ни за какие деньги не поплывут, — гнул свое мужик.

Чебула, только что подъехавший и оказавшийся свидетелем этого разговора, попытался помочь профессору и тоже стал уговаривать мужика, но тот уперся, как вкопанный столб, и ни на что, ни на какие денежные посулы не соглашался. И в это время кто-то тихонько тронул Чебулу за плечо, тот обернулся — перед ним стоял рыжебородый ямщик, домчавший его так быстро от Каинска до Колывани, сиял рыжей бородой и всей разбойной рожей:

— Барин, отойдем в сторонку, — шепнул он, подмигивая, а когда отошли, зачастил быстрой скороговоркой: — Зря время с этим обалдуем тратите, а я выход верный знаю и за твою щедрость подскажу, ты мне только подбрось маненько, а?

— Подбросу, — пообещал Чебула.

— В Черный Мыс надо ехать, деревня тут недалеко, а там Грине-горбатуму поклониться, скажите, что его в самом Петербурге знают, похвалите без меры, он на одном гоноре, без денег на ту сторону перекинёт.

— Поедешь с нами вместе, — тут же решил Чебула. — Если наврал — ни шиша не получишь.

— Да с нашим удовольствием, — легко согласился ямщик. — Я ведь из уважения, за твою щедрость...

Гуттенлохтер выслушал Чебулу и молча кивнул: «Поехали».

В Черном Мысе отыскивали крайнюю избу, ветхую до того, что крыша обросла зеленым мохом, постучали в окно, вызывая хозяина. На стук долго никто не отзывался, наконец несмазанные петли дверей скрипнули и на крыльцо вышел горбун. Небольшого росточка, головка маленькая, волосенки жиденькие, но руки... вот это были руки так руки. Длинные, почти до колен, с выпирающими, как булки, мускулами, а главное — с невероятно широкими ладонями, каждая из которых была размером едва ли не с голову горбуна. Он глухо кашлянул, оглядел стоявших перед ним людей маленькими острыми глазками, хриплым голосом спросил:

— Какая нужда подогнала?

— Мы ученые люди, едем из самого Петербурга, — начал переговоры Чебула, — нам надо переправиться через Обь, а сделать это, нам еще в Петербурге так говорили, только один человек может... Вот и пришли просить...

— Прямо так и сказали в Петербурге? Только Гриня-горбатый, и никто боле? Ох, и врать же вы, ученые люди...

— Чистую правду говорю. Вот друг нашего профессора говорил, ты его три года назад на ту сторону переплавлял... — тут Чебула споткнулся — не слишком ли его занесло? — но горбун неожиданно улыбнулся:

— Ишь ты, не забыл, значит... Был тут ученый человек, был, все меня про реку расспрашивал. Ладно, вижу, что хороши люди, да и нас не в крапиве нашли. Два ведра вина на том берегу поставите (на меньшее не соглашайтесь), а коли все потонем — не обижайтесь и черным словом меня не ругайте. Езжайте на берег, я скоро баркас подам.

Большущий дощатый баркас, похожий издали на серое корыто, приткнулся тупым носом к берегу, и первая же волна с белым гребешком, ударившись в борт, выбросила фонтан брызг, весело сверкнувших на солнце. День стоял яркий, теплый, но больно уж ветренный. Разлившаяся река дыбилась водяными пластами, раздвигала мешающие ей берега и обру-



шивала высокие песчаные яры вместе с соснами, в низких местах топила тальник, и голые еще макушки торчали из воды, словно серая трава.

В баркасе, кроме Грини-горбатого, сидели еще три крепких и неразговорчивых мужика: двое рядком, на лопашных веслах, третий — на рулевом. Сам Гриня сидел впереди, тоже на лопашных, но один. Погрузились, оттолкнулись от берега, и баркас резко вздыбился на крутой волне, ударившей в борт.

Пошла работа...

Тяжело груженный, просевший баркас хлестало и мотало, как щепку, толстые весла в руках Грини-горбуна гнулись, как сырые палочки, казалось — вот-вот не выдержат и хрустнут. Но они дюжили, а Гриня только скалил зубы от напряжения и греб, греб, успевая еще поворачивать голову и отдавать матерные команды мужику, сидевшему на руле. На середине реки два раза подряд захлестнуло водой левый борт.

— Вычерпывай, чо шары вылупили! — хрипел Гриня, не ослабляя ни на секунду отчаянной гребли, — вычерпывай, а то потонем!

Замелькали жестяные ковшики. Но тут же очередная волна хлестанула так, что баркас накренился.

— На борт! — заорал Гриня. — На борт падай!

Навалились на борт, баркас ухнулся и выправился. Вода на днище бултыхалась чуть не по колено, а берег, которого требовалось достичь, был еще далеко.

Мужики на лопашных веслах начали выдыхаться. Хрипели, как загнанные кони, гребли порою вразнобой, ветер срывал с лиц и бросал в реку крупные капли пота. И только Гриня продолжал грести не сбиваясь, размеренно и сильно, словно машина, не знающая усталости. На оскаленных зубах вскипала розоватая слюна.

Перевалили стремнину. Две полузатопленные карчи со скрежетом прошли под днищем, но баркас выдержал.

В какой-то момент показалось, что до берега уже не добраться. Все были мокрыми с головы до ног, ветер не стихал, а волна шла круче и злее. Но Гриня греб и греб, по-прежнему

успевая оглядываться назад, командовать рулевым и подгонять самыми изощренными матерками мужиков на лопашных. Баркас двигался.

Позже, когда уже причалили и, обессиленные, выбрались на твердый берег, покачиваясь на дрожащих ногах, как пьяные, Чебула обернулся, глянул на взбешенную, словно кипящую реку, и только в эту минуту по-настоящему испугался, до противного холодка, проскочившего по позвоночнику, — переплыть Обь и не утонуть казалось невозможным.

— Ну, господа ученые люди, не обхезались? — смеялся Гриня, отплеываясь розоватой слюной, — теперя, как договорено, сушиться-кормиться...

Гуттенлохтер подошел к Грине и долго тряс его ручищу, приговаривал:

— Грандиозный переправа... грандиозный...

Тут же, на берегу, наняли подводу, сгрузили пожитки, и скоро все сидели в постоялом дворе за одним общим столом. Гуттенлохтер, кроме двух ведер вина, щедро одарил Гриню-горбатого деньгами и, уже засыпая, все бормотал:

— Грандиозный переправа... грандиозный... викинги...

За ночь ветер не стих, река бушевала по-прежнему, и Гриня вместе со своими подручными принялся за второе ведро вина, вчера недопитое, а господа ученые люди погрузились на подводы и направились дальше.

— Будет дорога, заворачивайте, — принявший с утра винца на старые дрожжи, Гриня был весел и разговорчив, — у меня для хороших людей двери всегда открыты...

— Обратно ехать — обязательно заезжать, — отвечал Гуттенлохтер и на прощание помахал рукой.

Но свидетеля еще раз с Гриней-горбатым довелось только одному Чебуле. Впрочем, до этой встречи немало воды в Оби утечет.

А пока тянулся под колесами бесконечный тракт, разъезженный и расхлюстанный, как старая мокрая тряпка. Летела грязь, холки и хвосты у лошадей были сплошь в засохших хохоряшках, висела ругань, крики, свист, хлопанье бичей, и время от времени все это покрывалось тягучим треском — еще одна ось не сдюжила и крякнулась.

Миновали Болотное, добрались до Мариинска. Выгадав удобный момент, Чебула наведалься по адресу, который сообщил ему Цапельман и предупредил, чтобы его ждали в сентябре — именно к этому времени Гуттенлохтер планировал завершить экспедицию.

Завершилась же она для Гуттенлохтера намного раньше, в начале августа.

Одолев почти две сотни верст по непроходимой тайге, по бурелому, сплавившись по горной речушке, донельзя измотанные трудными переходами, гнусом, они наконец-то разбили лагерь у подножия высокой горы, опущенной почти до самой макушки корявыми лиственницами и худосочными березками.

Чебула набрал на берегу речушки камней, соорудил из них подобие каменки и развел костер. Когда камни накалились до нестерпимого жара, он забил вокруг колья, натянул на них суровую ткань палатки, и получилась баня. До самой темноты парились в ней, соскребая с себя таежную грязь. После бани, при свете костра, Гуттенлохтер долго что-то записывал в толстую тетрадь с клеенчатыми корочками, с которой никогда не расставался, и, закончив писать, торжественно объявил:

— Мы имеем быть накануне открытия. Если открытия не будет, то я плохой ученый и вы, — внимательно посмотрел на своих студентов, — имеете право объявить всему ученому миру, что Гуттенлохтер — шарлатан и авантюрист...

— Что вы, Иван Иванович, разве можно... — наперебой стали разувирать его студенты, но профессор только махнул рукой:

— Я не есть маленький мальчик, чтобы утешать. Скоро все должно стать ясным, как день.

Он засунул тетрадь в свой мешок, вытянул ноги, повернулся недолго, удобней устраиваясь на свежем лапнике, и скоро тихонько, будто суслик, засвистел носом.

Сморенные долгими переходами, баней и горячим ужином, уснули и студенты. Чебула, едва одолевая разрывающую рот зевоту, долго еще сидел у костра, подбрасывая сушняк, наблюдая, как от яркого огня шатаются вокруг неверные тени. Затем неслышно подтащил к себе мешок Гуттенлохтера, раз-

вязал его и вытащил тетрадь в клеенчатом переплете, в которую давно хотелось ему заглянуть, но все не представлялось удобным случаем. На всем маршруте он делал затеси, но затеси — дело ненадежное, а Гуттенлохтер, как предполагал Чебула, вел в тетради подробное описание пройденного пути, и именно это описание могло понадобиться на будущее. А самое главное — нужно было понять систему, которой пользовался Гуттенлохтер, пытаясь отыскать остатки чудских копей. Чебула не мог предугадать заранее, как будут развиваться события и что случится в ближайшее время, но уверен был в одном — если все произойдет так, как задумано, придется сюда еще раз возвращаться. И для этого возвращение потребуются рабочие записи Гуттенлохтера.

Открыл тетрадь и ахнул: все записи были сделаны на немецком языке, корявой, практически неразборчивой скорописью. Изучая французский и зная его практически в совершенстве, Чебула всегда испытывал непонятное ему самому неприятие немецкого, а тут еще эта скоропись... Правда, на некоторых страницах были сделаны беглые чертежи, но без поясняющих надписей они представлялись ничего не значащими подобиями картинок.

Чебула с сожалением закрыл тетрадь и сунул ее обратно в мешок.

Сон пропал. Закинув руки за голову, он лежал на лапнике и смотрел в небо — непостижимо высокое, звездное, с мигающей полосой Млечного Пути...

И почему-то именно Млечный Путь увиделся ему во внезапно наступившей темноте, после того как погас последний смолевый факел. Это случилось через неделю, когда на южном склоне горы разыскали небольшой лаз и оказались в пещере. Сначала узкий и тесный тоннель круто уходил под землю, затем он внезапно окончился довольно большой и ровной площадкой, которая отвесно обрывалась вниз. Чебула взял из-под ног камешек, бросил. Сухой стук донесся через продолжительное время, показывая, что глубина очень внушительная. Пришлось выйти наверх и связать веревочную лестницу. По ней и спустились.

Пламя факелов колебалось на криво изогнутых стенах пещеры. Они то сужались, так что идти приходилось цепочкой

друг за другом, то расширялись так, что свет от факелов не доставал до них. От центрального хода ответвлялись отдельные рукава, совсем узкие, проникнуть в них можно было лишь встав на четвереньки, либо ползком.

— Майн готт! — вскричал Гуттенлохтер враз охрипшим голосом. — Дайте огонь, огонь дайте!

И буквально прилип к стене, быстро-быстро ощупывая ее растопыренными ладонями. На стене, высеченные в камне, тускло отсвечивали странные рисунки — не то люди, не то неведомые звери.

— Мы имеем видеть чудские копи! Господа, чудские копи! Вы теперь не можете сказать, что ваш профессор шарлатан... — и еще что-то говорил Гуттенлохтер, но Чебула не слушал; отойдя к противоположной стене, он вдруг увидел, прямо под ногами, почти заваленный мелкими камнями широкий металлический круг. Разгреб камни и под его рукой блеснула плоская золотая пластина. Не разглядывая, торопливо сунул ее в карман. Теперь и без восторженных слов Гуттенлохтера ему было ясно: цель экспедиции достигнута — они нашли чудские копи, в которых есть золото.

Гуттенлохтер долго еще ползал на коленях возле стены с рисунками, говорил не умолкая, незаметно для себя переходя с русского на немецкий. Студенты толпились возле него, молча слушали. Факелы, сгорая, начинали чадно дымить.

— Один факел остался, — напомнил Чебула.

— Да, да, — заторопился Гуттенлохтер, — необходимо еще посмотреть... должны быть орудия...

Он наконец-то оторвался от стены, двинулся вперед. Один из студентов между тем запалил последний факел. Сгоревшие бросили. Пещера снова сузилась так, что пришлось нагибать головы. И тут послышалось журчание воды. Тоненький, но быстрый ручеек в каменном углублении резво бежал неизвестно откуда и уходил под огромную глыбу, выпирающую из стены. Студент с факелом наклонился, чтобы разглядеть ручеек, споткнулся и сунулся носом прямо в воду. Короткий всплеск — и протяжный шип потухшего факела. Непроницаемая темнота сразу все скрыла. И в ней, этой непроницаемой темноте, Чебуле внезапно увиделся искрящийся Млечный Путь, уходящий в неведомое небесное пространство. Он

вздрагнул от видения и одновременно — от пронзившей его догадки: сама судьба положила перед ним счастливый случай.

Тихо-тихо, стараясь не выдать себя даже дыханием, он попятился назад; затем, придерживаясь рукой за холодную стену и мысленно восстанавливая пройденный путь, пошел осторожно и чутко. В спину ему звучали голоса Гуттенлохтера и студентов, его окликали, но он молчал и не отзывался. Больше всего Чебула боялся сбиться в темноте и не найти веревочной лестницы, но после долгих блужданий ему удалось это сделать и он с силой вцепился в толстые веревки, успевшие стать прохладными. Наверх взлетел одним махом. И сразу же поднял за собой веревочную лестницу. Не выпуская ее из рук, пошатываясь, одолел подъем и вышел из пещеры.

### 30

Почти месяц просидел Чебула у подножия безымянной горы, проверяя по нескольку раз на день выход из пещеры, рассыпав перед ним ровную полоску песка. Но следов на этой полоске так и не появилось. Гуттенлохтер вместе со своими студентами навсегда остался под землей.

Когда Чебула окончательно в этом уверился, он еще раз спустился в пещеру, но не смог далеко отойти от веревочной лестницы, даже боялся выпустить ее из виду, поминутно вздымая над головой факел и удостоверяясь — на месте, висит, как ей и положено. Нутряной страх сдавливал его и не давал возможности пойти дальше. Чебула стыдил самого себя, ругал грязными словами и — продолжал топтаться на одном месте. Идти дальше в пещеру было выше его сил. Окончательно поняв это, он выбрался наверх, замаскировал лаз сухим валежником, затем сбросил на плот, на котором сплавлялись по горной речушке, вещи Гуттенлохтера и студентов и оттолкнул плот от берега. Все лишнее тоже побросал в речку, оставив лишь продукты, топор, ружье с патронами и спички. Лошадь у него оставалась одна, потому как вторую он прирезал, питаясь почти целый месяц кониной, сберегая съестные припасы на обратный путь.

А обратный путь выдался тяжким. Несколько раз Чебула терял всякие ориентиры и ему казалось, что он уже никогда не выберется из этой проклятой тайги.

Ободранный, обросший, провонявший дымом и потом, еле передвига ноги, смозоленные до кровавых волдырей, Чебула заплакал, когда увидел в мутной дымке реденького осеннего дождика крайние избы неведомой деревушки. До ближней избы он дошел уже, как пьяный, ничего не помня. И спал, как после сказали хозяева, двое суток без перерыва. Еще неделю отмывался в бане, отъедался — и снова спал.

На дворе, между тем, окончательно устанавливалась глухая осень с нудными и промозглыми дождями, дни скукоживались, и Чебула, выйдя однажды утром на крыльцо избы, где нашел приют, понял: пора уходить, время не ждет. В Мариинск он не поехал, только отправил с оказией тамошним властям письмо, в котором известил о гибели экспедиции, перевернувшейся на плоту во время сплава по горной речке.

Покончив с этим делом, щедро расплатился с приютившим его хозяином, нанял подводу и скоро уже был в Болотном, откуда собирался через несколько дней добраться до Каинска. Мариинские адреса, которые сообщил ему Цапельман, не понадобились, потому как возвращался он не с тем грузом, с каким предполагал, всего лишь и было при нем — золотая пластинка, формой своей похожая на птичью голову, да тетрадь Гуттенлохтера в клеенчатом переплете.

На переправе у Дубровино Чебула встретился с Гриней-горбатым, и тот обрадовался ему, как родному:

— В ночь все равно никто не поедет, давай ко мне на постой, винца выпьем, поедим хорошенько, а завтра утречком — с ветерком!

Чебула подумал и согласился.

Гриня-горбатый жил один. Но в избе был порядок и она сияла чистотой. Даже большущая печка, видно протопленная с утра и потому еще теплая, украшена была намалеванными на ней петухами и цветами. Отодвинув заслонку, Гриня сноровисто, как добрая хозяйка, подхватил ухватом огромный чугунок и грохнул его посредине стола.

— Я добро помню, — приговаривал он, кромсая крупными ломтями хлеб, — мы тогда шибко в удовольствие от вашего угощенья погуляли. А теперь от меня прими, от всей моей души...

Тут Гриня ухмыльнулся, выскользнул в сени и вернулся с лагушником ведра на два. Бухнул его, как и чугунок, на стол, объявил:

— Позавчера со мной за перевоз расплатились, медовуха — страсть крепкаяшша, пока не усидим — не поедешь!

— А не много будет? — усмехнулся Чебула, принимая от Грини первую кружку с пенистой медовухой.

— Не, в самый раз. А товарищи-то твои где?

— Далеко остались, да это неважно, после расскажу. Как говорится, первая чарка колом, вторая — соколом, а третья — плесните, Христа ради...

— Это по-нашему!

После первой же кружки давно не пивший Чебула тяжело захмелел, а хлебосольный Гриня все подливал и подливал, не жалея ни медовухи, ни своего душевного расположения. Желая угодить гостю, вдруг непременно захотел угостить его ухой, вспомнив, что у него есть стерлядки, и даже затопил печку, но после очередной кружки забыл и про стерлядок, и про уху, и про печку. Подпирал свою махонькую головку огромной ручищей, пытался запеть, но голос у него срывался на писк и он лишь бессильно плямкал губами.

Последнее, что запомнил Чебула, это неимоверно высокая приступка, которая вела на печку, одолевал он ее, как показалось, целую вечность, а когда одолел и вытянулся на теплых кирпичках, сразу же увидел Млечный Путь, поднялся и пошел по нему, наступая на искрящуюся звездную пыль, которая разлеталась у него из-под ног и все-таки не гасла.

Гриня не заглянул в печку, не проверил, прогорела она или нет, закрыл трубу и заснул прямо на полу, неподалеку от порога.

Это его и спасло от смертельного угара, потому что трубу он закрыл слишком рано.

Очнувшись от разрывающей головной боли, Гриня на четвереньках выбрался на улицу, долго блевал и, мало-мало придя в себя, кинулся обратно в избу, стащил Чебулу с печки, выволок его на улицу, но хлопоты эти были зряшными — Чебула умер. Смешно и нелепо.

К рассвету, окончательно протрезвев и прочухавшись, то и дело вытирая ручищами слезы, которые вышибала из глаз дикая боль, Гриня сообразил, что теперь ему не обернуться

хлопот. Приедет урядник — что, да как, да почему... Господи милостивый, за что же такое наказание, ведь хотел-то от всей души лучше сделать, а оно вон как вышло!

Пристанывая, ругаясь, смаргивая слезы, Гриня затащил Чебулу обратно в дом, настезь распахнул двери, а сам сел на крыльце и крепко обнял головку огромными ладонями. Как ни крути, а все равно клин — живая душа загублена. Так он страдал до самого рассвета и, ничего не придумав, запер дом и пошел на берег.

Осенняя Обь текла сумрачно-свинцовой, накрытая беле-сой кисеей мелкого дождика. Все звуки скрадывал ровный и непрерывный шорох. С дубровинского берега тащился большой паром с лошадьми и подводами; когда он причалил, оказалось, что это знакомые ямщики, которые шли с небольшим обозом в Каинск.

— Купца Дюжева обоз тянем, — стал рассказывать старший из ямщиков Захар Проталин, мужик уже степенный, в годах, — не рады, что подрядились. Грязюка несусветная... А тут поспешать надо, хоть тресни — Дюжев-то сам ждет в Каинске. Ты-то, Гриня, как живешь-плаваешь?

— Да худо я живу, хуже некуда, — отвечал ему Гриня, вытирая слезы.

— Погоди, погоди, может, беда какая? Если можем — пособи́м.

Знакомые ямщики, которых Гриня не раз выручал с перевозом, — это тебе не урядник. И он, не таясь, рассказал про свое горе.

Думали ямщики недолго. Захар почесал окладистую бороду, крикнул и махнул рукой:

— Поехали.

Мертвого Чебулу, будто бы в стельку пьяного, с шумом и криком, чтобы все соседи видели, вытащили из избы и завалили на подводу, закрыли рядом, на ту же подводу бросили его дорожный мешок с веревочными лямками.

Гриня, благодарный донельзя, успел еще примостить лагушок с остатками медовухи и после, глядя вслед небольшому обозу из окна, истово крестился, с трудом складывая сильные негнувшиеся пальцы.

Ямщики дотянули до Кольвани; на постоялом дворе, прилюдно, откинули рядом с Чебулы и заахали, напропалую ругая друг друга, что взялись подвезти пьяного, а он — ишь чо уду-мал! — взял да и окочурился. Приехал исправник, похмыкал, глядя на мертвеца, обматерил ямщиков, что они ему хлопот наделали, и взялся писать бумаги. Пока шли допросы-распросы, пока исправник скатался в Черный Мыс и там опро-сил свидетелей, день и прошел. Вечером ямщики попробова-ли медовухи и огласили постоялый двор дружным храпом. На следующий день исправник еще раз отматерил их, особенно Захара, как старшего, и разрешил ехать вольным ходом даль-ше. Они и поехали.

И только в Каинске, когда стали разгружать подводы, об-наружили дорожный мешок Чебулы. Вывернули его и среди нехитрых пожитков нашли тетрадь и золотую пластину. Ду-мали опять же недолго: чужого добра не надо, лишних хлопот тоже не требуется, а поэтому пошли и выложили свою наход-ку перед Дюжевым.

— Ты, Тихон Трофимыч, человек известный и бывалый, власти тебя знают, вот и решай: как быть? — Захар выложил перед ним мешок с пожитками Чебулы, отдельно — пластину и тетрадь. Степенно разгладил свою пышную бороду и сми-ренно переступил с ноги на ногу, ожидая ответа.

Тихон Трофимович был не в духе и сначала хотел было по-слать Захара вместе с находкой куда подальше, но передумал: как ни крути, а мужики с открытой душой пришли, обижать никак нельзя. Но все-таки не удержался и выговорил:

— Вы, ребята, как дурачки полоротые: сперва начудите, а после совета просите. Ну, и к каким я властям потащусь, чо сказывать стану? Меня же первого и за шкуру возьмут, спро-сят: а не ты ли, господин хороший, этого бедолагу порешил?

— Дюжев — купец известный, на него не подумают... — Захар преданно, почти любовно смотрел на Тихона Трофимовича.

— Ага — не подумают... Давай-ка, братец, так сделаем. Бери это золотишко и тащи к Цапельману, да тихо тащи, как мышка. Шибко не торгуйся, сколько даст, столько и бери. Деньги меж собой поделите. А эту писанину я себе на память оставляю. И по-малкивайте все в тряпочку. Ясно? Ступай, чего рот раззявил?

В тот же день Тихон Трофимович уехал из Каинска, а ямщики, честно поделив деньги, два дня гуляли на славу и развязавшимися языками проболтались о Чебуле, о тетради и золотой пластине. Все это в скором времени стало известно Цапельману, и тот сделал совершенно правильный вывод: ключи от чудских копей находились теперь у Дюжева.

31

«Вот и ладно, нонче с сеном будем, — тихо радовалась Устинья Климовна, ловко и сноровисто переворачивая легонькими грабельками высокие, большие валки кошенины, — зародов десять поставить — и душа спокойна». Но душа Устиньи Климовны была в эти дни спокойна только за покос, который проходил в нынешнее лето ладно и удачливо: трава добрая и дождя нет. А вот помимо покоса... Тревога точила Устинью Климовну. Видела она, что за два дня, которые Митенька здесь был, свял он, как цветочек, литовкой срезанный. Весело торчащие уши — и те, кажется, задорность свою потеряли. И было ей с одной стороны жалко младшенького, а с другой стороны, скрепя свое сердце властной хозяйской хваткой, мыслила она совсем по-иному: не с руки им, Зулиным, с расейскими родниться, у которых ни кола, ни двора нету. Им, Зулиным, крепкое свое хозяйство умножать надо, а не брать на шею себе девку, у которой приданого — две юбки, и те заштопаны... И вот так, не выпуская из рук грабельки, переворачивая один валок за другим, тянула Устинья Климовна свою думу, будто свивала из пучка шерсти длинную нитку. И в конце концов порвала ее: «Думай, матушка, не думай, а решенье одно будет: после покоса сватов к Коровиным засылать станем, а на Покров и свадьбу сыграем».

Решив так, она успокоилась, в руках еще веселей замелькала грабельки, и Устинья Климовна без устали переворачивала один валок за другим, нисколько не уступая своим снохам.

Митенька в это время, вернувшись с покоса, тесал бревна вместе с другими артельщиками. Тесал рьяно, азартно, стараясь забыться в жаркой работе, но забыться никакого не получалось — стояла перед глазами Феклуша, а рядом с ней высилась дородная Марья Коровина, и все шло кругом в горячей голове, словно точило крутилось, а от него — искры раз-

ноцветные брызгают, разлетаются веером, переплетаются, и вот уже большущее разноцветное колесо втягивает в себя и Митенька кружится, кружится в нем, не в силах вырваться из этого кружения...

— Воды, воды тащи, чего рот разинули! Эй, парень, ты чего, парень?! Не шуткуй!

Холодная вода обожгла лицо, плеснулась на грудь и покадилась за шиворот, Митенька охнул и разлепил глаза, медленно повел ими вокруг, пытаясь понять — что за оказия приключилась и почему он лежит на земле, а вокруг столпились плотники? Роман, не выпуская из рук пустое ведро, наклонился над ним, шершавой ладонью стал вытирать лицо Митеньке и все спрашивал срывающимся голосом:

— Ты чего, парень, ты чего?!

Митенька сел, упиравшись руками о землю, которая под ним зыбко покачивалась, встряхнул головой, налитой чугушной тяжестью, и только тут увидел валявшийся у бревна свой топор...

— Обмороком, видно, вдарило, — уверенно сказал кто-то из плотников, — жара вон какая стоит, вот и шибануло парнишку. Домой его надо, Роман, пусть в прохладе отлежится.

— Сам-то дойдешь? — еще ниже наклонился к нему Роман, — или довести тебя?

Митенька помотал головой и встал на ноги. Земля утвердилась и больше уже не покачивалась, яснее и четче проступили лица плотников. Он подобрал свой топор, обвел взглядом мужиков, пустое ведро, разбросанную вокруг щепу с вытаявшими на ней каплями смолы и вдруг с острой, пронзительной болью почувствовал: если сейчас же, сию минуту, не увидит Феклушу, неодолимая сила снова ударит его о землю и забросит в забытье.

— Я домой, сам, полежу трохи, — Митенька пошел, еще неуверенно переставляя ноги, подсекающиеся в коленях, но скоро шаг его выровнялся, и к дому он уже подошел своей обычной легкой походкой. Тяжесть в голове прошла. И мысли заскользили — четкие, ясные, будто кто-то невидимый в ухо их нашептывал, а Митенька только кивал в знак полного с ними согласия. Все, что мучило его в последние дни и казалось неодолимым, в одночасье стало простым и достижимым. Главное — как можно скорей увидеть Фе-

клушу, дотронуться до нее, а уж после... Далеко загадывать он не собирался, думал так: даже по незнакомой и неезженной дороге, если с нее никуда не сворачивать, все равно в конце концов куда-нибудь да выедешь. И лучше уж ехать в неведомое, чем сидеть и ждать неизвестно чего.

Все кони у Зулиных были на покосе. Но Митенька не отчаивался — не шибко длинная дорога, можно и пешком добегать. Отыскал старенькую торбочку, сунул в нее хлеба, лука, яиц вареных, подождал, когда наползут реденькие сумерки и, выйдя за деревню степенным шагом, припустил бегом, во всю прыть, какая в молодых ногах обнаружилась.

И так бежал, что даже и не заметил, как отмахал добрый десяток верст, и дух перевел только на грани дюжевского покоса. Остановился за корявым кустом старой боярки, огляделся. На взгорке, где работники, нанятые Дюжевым на покос, поставили два широких навеса, ярко полыхал костер, и возле него проворно суетилась Феклуша, помешивая варево в большом котле, подвешенном на толстую жердь. Сердце Митеньки замерло на миг и забухало затем с такой силой, будто хотело проломить грудь. Он опустился на землю, вытянул ноги, нагнул колючую ветку боярки, которая застила ему глаза, и стал смотреть на Феклушу, дожидаясь, когда она отойдет от костра, чтобы можно было ее негромко окликнуть.

И дождался. Феклуша, словно почуяв, что он здесь, вдруг выпрямилась и, обойдя костер, медленно пошла к кусту боярки, беззащитно выставив в стороны руки, будто переступала по тонкой жердинке, брошенной через ручей. Она подходила все ближе и ближе, а Митенька любовался на нее широко раскрытыми глазами и не торопился выходить навстречу из-за куста. Сладко было ему смотреть, как плывет-пробирается Феклуша, как бережет она раскинутыми руками свое равновесие на земле. И вот когда уже оставалось до боярки каких-то десять шагов, на плечи Митеньке легли сзади мягкие, вздрагивающие ладони и прямо над ухом рассыпался прерывистый, захлебывающийся смех:

— Митенька, ягодка моя! Дай я тебя обниму покрепче!

И сильные, полные руки скользнули бесстыдно и жадно по плечам, по груди. Митенька вывернулся из них, обернулся.

Белея в сумерках исподней рубахой, под которой круто вздымались от прерывистого дыхания круглые груди, стояла перед ним Марья Коровина и смеялась, откинув голову, рассыпав по плечам тяжелые, темно-русые волосы.

— Ты... ты откуда? — только и нашелся в первый момент спросить Митенька. И тут же, с холодящей ясностью начинающая понимать, что случилось страшное, закричал: — Феклуша, это не я, это она! Она сама!

Но Феклуша уже бежала к костру, а вслед ей, захлебываясь, хохотала Марья и вскрикивала:

— Митенька, ненаглядный! Слатенький ты мой!

У костра, уже слыша и видя все происходящее, гоготали работники.

— Я тебя убью! — крикнул Митенька.

— Убей, миленький, убей, мне сразу легче станет, — уже шепотом, едва слышно, выдохнула Марья и легко, невесомо опустилась перед ним на колени, прижалась грудью к вздрагивающим ногам Митеньки и руки сцепила в крепкой замок. — Убивай сразу, все равно не отпущу...

Митенька толкал ее в плечи, переступал ногами, как стреноженный конь, и не мог высвободиться. А сам заворачивал голову, пытаясь увидеть — где Феклуша? — но возле костра видны были только работники, которые потешались, показывая пальцами на боярку.

— Да отстань ты, смола липучая, отстань! — он рванулся, ударил по щеке Марью и, почуяв, что руки ее разомкнулись, бросился бежать. Сначала просто бежал, даже не зная — куда и зачем, — но когда запалился и остановился перевести дух, понял: надо найти Феклушу, объяснить ей все, рассказать. И найти ее надо именно сейчас, иначе поздно будет. Оглядевшись, Митенька начал нарезать круги по кустам обочь дюжевского покоса, но Феклуши нигде не было. Он звал ее, кричал, срывая голос, и в конце концов до того умирался, что, запнувшись о валежину и рухнув на траву, не стал подниматься, только подсунул руку под голову и лежал так, не шевелясь, ощущая земную прохладу и сладкую прель на половину сгнившей валежины.

Тяжелая мохнатая муха настырно билась в стекло, противно зудела, и Роман, как ни старался, не мог ее прихлопнуть, потому что она всякий раз уворачивалась, отлетала в избу, притаивалась неизвестно где, а после снова елозила по стеклу, брунжала и никак не могла утихомириться.казалось, что в избе со вчерашнего утра только и осталось живого — одна нахальная и надоедливая муха. Все остальное будто примерло.

Да, пожалуй, оно так и было. Фекуша неслышно лежала на лавке, повернувшись лицом к стене, и с тех пор, как пришла утром и упала, будто подрезанная, не промолвила ни единого слова, на тревожные расспросы Романа отмалчивалась, и порою казалось, что переставала дышать. Роман осторожно, на цыпочках, подходил к лавке, трогал ее за плечо, но Фекуша в ответ лишь слабо шевелила ладонью, словно говорила: «Уйди, тятя, уйди...»

Роман вздыхал, прокрадывался, опять же на цыпочках, к столу, гонял муху с оконного стекла и надолго задумывался, подперев ладонью седую голову. «Ведь говорил ей, говорил неразумной, не на тот тополь загляделась, не по нашему росту он, тополь-то... Нет, не послушалась, теперь вот и будем сердце рвать...» Он был уверен, хотя Фекуша еще и словом не обмолвилась, что в любовной истории с Митенькой Зулиным случилось несчастье, которого он, Роман, давно ожидал. И потому не лез к дочери с расспросами, не травил ей душу, мудро рассудив, что рана в таких делах смертельной не бывает — рано или поздно, а заживет.

Муха перестала брунжать, со стекла перелетела на стол, и Роман со злорадством прихлопнул ее широкой ладонью. Сощелкнул на пол грязно-черный комочек, брезгливо вытер ладонь о штаны: «Вот тебе, зараза! И так тошно...»

В избе повисла полная тишина. И поэтому хорошо слышно было, как стукнули воротца в ограде, которые совсем недавно навесил Роман. Боязливо стукнули, будто кто хотел тишком проскользнуть. Роман поднялся; беззвучно, чтобы не тревожить дочь, вышел. У нижней ступеньки крылечка переминался с ноги на ногу Митенька, не насмеливаясь подняться и войти в избу. Лицо у него горело алыми мятежами, словно настеган-

ное злой крапивой, сам он горбился, будто куль пшеницы на плечах держал, всегда задорные глаза притухли, и даже курнопелистый нос заострился, как бывает после болезни.

— Явился, не запылелся? — Роман оглядел Митеньку с ног до головы, спустился с крыльца и, приблизившись вплотную к нему, тихо попросил: — Ступай с Богом, Митрий, ступай. И дорогу сюда забудь навовсе. Пока я тебя добром прошу...

Митенька сглотнул слюну, по шее вниз-вверх дернулся острый кадычок, а на глазах навернулись слезы.

— Дядя Роман, она дома? Дозволь взойти?

— Сюда тебе дорога заказана!

— Она... она здоровая?

— Велела кланяться! И чтоб ноги тут твоей, Митрий... Добром прошу! Слышишь?!

Митенька откачнулся, словно ему в грудь тычка дали, шатко повернулся и побрел прочь от крыльца, запинаясь на ровном месте. Ворота за ним остались открытыми. Роман спустился, чтобы закрыть их, и увидел: Митенька пьяно тащился посреди улицы, загребал пыль ногами, а сбоку бежала чья-то черная собачонка и удивленно тьякала.

И снова залегла в избе, неизвестно на какое время, глубокая тишина.

А вот у Зулиных в доме тишины и в помине не было. С сенокосом отстрадовали они еще утром, поставив последний остроконечный стог в дальнем углу, в низинке, где трава выдалась особенно добрая. И сразу же, чтобы времени не терять, засобирались домой. Ивана с Глафирой еще до сборов Устинья Климовна вперед остальных отправила, наказав, чтобы баню топили и обед готовили. Вozy увязали, Устинья Климовна самолично проверила — ничего не позабыли в спешке? В последний раз оглядела свой покос, украшенный ладными, старательно обчесанными стогами, умиротворенно перекрестилась:

— Слава Господи, управились.

Тронулись, выбираясь на общую, накатанную за последнюю неделю дорогу. И надо же было такому случиться, что ни раньше ни позже, а именно в это время, тоже отстрадовав, ехали в деревню дюжевские работники. Они и поведали, с хохотками и подковырками, о том, что возле куста боярки видели.



— Удалой парниша у вас, Зулины, на каждую руку по две девки виснут!

— И за ноги ишо цепляются!

— А которы не успели, те за пятки на ходу хватают!

— Он боевой, Митрий-то, он шшекотки не пужатся!

И громкий мужичий хохот раскатисто переваливался от телеги к телеге.

Зулины отмалчивались. Только Устинья Климовна сердито пошевелила бадожком в спину Федора, с которым сидела на одной телеге, негромко выговорила:

— Чего заслушался?! Понужай скорее!

Федор, не доставая кнута, хлопнул вожжами, лошадь прибавила ходу, и колесные спицы весело замелькали, сливаясь в зыбкий круг.

Вот и Огнева Заимка, вот и дом с раскрытыми настежь воротами, а вот и Митенька — сразу видно, что не в себе парень. Но Устинья Климовна и бровью не повела, будто ничего не знает и насмешек от чужих людей не слышала. Умылась после дороги, стала белье в баню собирать.

В первый пар, самый жгучий, отправились мужики, после них надолго засели бабы, отмывая и отскребая от покосной грязи визжащую и орущую детву. Последней мылась Устинья Климовна. И за все это время никто Митеньке и словом не обмолвился о том, что дюжевские работники рассказали. А сам Митенька, простая душа, и догадаться не мог, что маменьке все известно. И поэтому, когда напаренная и чистая семья Зулиных села за длинный общий стол, он сразу же и заторопился, заговорил срывающимся, враз охрипшим голосом:

— Маменька, братчики, поклониться вам хочу за благословением... — отдышался, собираясь с духом, и вывалил: — Жениться мне надобно!

— Так уж приспичило? — не сурово, а даже добродушно спросила Устинья Климовна.

— По сердцу мне она, маменька, только об ней и думаю! — заторопился Митенька, — она ласковая и к старшим почтительная, вы ее как дочь любить станете!

— А то мне любить некого! — Устинья Климовна обвела взглядом большущую свою семью, сидящую за столом, по-

правила темный платок на голове, вздохнула. — Ну, коли такое дело, поедем сватать. Завтра и поедем.

Митенька захлебнулся от радости, старшие братья Зулины и жены их удивленно переглянулись между собой, а Устинья Климовна, как ни в чем не бывало, забрала с краешку большой сковороды чутешный кусочек саламаты, пожевала ее, запивая холодным молоком, и скоро ложку на стол положила — наелась. Поднялась с лавки, мелко перекрестилась на иконы в переднем углу и отправилась к себе в светелку.

Разморенные после бани и сытного ужина, скоро и остальные Зулины разошлись спать. Митенька и тот, умаявшийся от переживаний, забылся до самого утра и даже не слышал, как спускалась вниз из светелки маменька, как подняла она с постели старшего Ивана и о чем-то негромко говорила ему. Наверное, еще и потому не пробудился Митенька, что сон ему снился уж больно счастливый: плывет он на лодке по Уени, а на берегу Феклуша стоит, машет, машет ему белым платочком, к себе подзывает. А он и рад стараться — гребет, гребет изо всех сил новенькими сосновыми веслами, и лодка летит по текучей уеньской воде, как чайка по воздуху...

### 33

Поутру новенькую плетеную кошевку на резиновом ходу, сделанную по заказу в Томске нынешней весной и предназначенную только для особо торжественных выездов да для самых важных седоков, если таковые объявятся по ямщицкому промыслу, выкатили из сарая, осмотрели и застелили чистенькой цветастой подстилкой. Под дугой темно-гнедого жеребца тоненько подавали голоса до блеска начищенные колокольчики, а сбруя, украшенная бляхами, резала глаза, отражая солнце.

Принаряженные, торжественные, расселись Зулины в кошевке: Иван на облучке разбирал вожжи, Устинья Климовна, чуть пониже, на узком сиденье восседала, а напротив нее Федор и Павел стиснули широкими плечами Митеньку. Тот смотрелся меж ними, будто тоненький тополек, нечаянно выросший между двух кряжистых и давно заматеревших кедров.

— С Богом тронулись, — подала голос Устинья Климовна.

Конские копыта тупо застукотили в сухую, пыльную землю, кошевка плавно качнулась на первом ухабе, и сбруя гуще

и ярче взблеснула под полуденным солнцем. Свежий ветерок мягко дотронулся до лиц седоков, вспушил на жеребце гриву. Колокольчики заливались во все свои голоса, распугивали воробьев, копавшихся в пыли, будили сонную тишь улицы.

По левую руку оставался бугор с поднявшейся на нем почти уже достроенной церковью, теперь надо было лишь свернуть на выселки, где стояла изба Романа, но Иван натянул вожжи, забирая совсем в другую сторону, вправо, и кошевка выкатилась в исток следующей улицы.

— Иван! Братчик! Ты куда правишь?! — заголосил Митенька, пытаясь вскочить, но братья стиснули его плечами, и он обмяк.

— Куда велено, туда и правит, сиди и не дергайся, — Устинья Климовна поджала блеклые губы, в упор глянула из-под платка на своего младшенького, сурово закончила: — И не вздумай меня перед людьми позорить!

Иван между тем понужнул жеребца, наддавая ходу, колокольчики залились, переходя на сплошной перезвон, и веселее, дробней, замелькали избы, заплоты, глухие ворота, остроконечные заросли крапивы вдоль заборов. Митенька застонал и закрыл глаза, ему не было нужды смотреть по сторонам, он и так распрекрасно знал, что в самом конце улицы, по левой стороне, стоял коровинский дом под новой тесовой крышей.

Первыми гостей увидели коровинские парнишки, высыпали, похожие все на черных жуков, на полянку перед воротами и с общим гвалтом кинулись в дом, чтобы доложить старшим. Только порепанные пятки над зеленой травой сверкнули.

Устинья Климовна тихонько сошла с кошевки, дождалась, пока старший Иван привяжет жеребца к забору и встанет с ней рядом. Только после этого зашагала в ограду, легко переставляя ноги и почти не опираясь на бадожок. Следом за ними, по-прежнему придавливая широкими плечами Митеньку, двинулись Федор и Павел.

Деревянный настил, высокое резное крыльцо, тяжелая дверь в сенцы, еще одна — в избу. Устинья Климовна величаво повернула голову, проверяя — все вошли, никто не отстал? — и согнула гордую прямую спину в поклоне:

— Доброго здоровьичка вам, честные люди.

Статная, дородная и величавая, как гусыня, Настасья поклонилась в ответ, повела полной рукой, приглашая к столу, и певучим, сильным голосом отозвалась:

— Милости просим, дорогие гости. Спасибо на добром слове и вам того же желаем. Проходите, садитесь.

Вдоль стены, до самого переднего угла под божницей, — широкая крашенная лавка, у окна — два гнутых венских стула. Так и расселись: Иван с Устиньей Климовной — на стулья, а другие Зулины, не выпуская Митеньку из крепкой серединки, — на лавку. Хозяин, Семен Коровин, молча кивал черной жуковатой головой, которую и седина не брала, и от волнения перебирал кривыми ногами, словно собирался удариться в быстрый бег.

Повисло молчанье, и слышен стал шепот за занавеской, где, судя по мельканьям, происходила немалая суматоха. Семен, не переставая кивать головой, закашлялся в кулак, двинулся поближе к жене и сбуровил половики. Хотел выправить их и запутался еще сильнее.

— Да оставь, Семен, — махнула рукой Настасья, — девки поправят. Вы уж, поди, отстрадавались?

— Вчера закончили, последний стог донесли, хорошо дожда не было, вовремя управились, — Устинья Климовна сухонькие ручки на бадожок сложила и без всякого перехода, напористо повела разговор: — Я на покосе-то за вашу грань заехала, заблудилась нечаянно, заехала — и Марью встренула, уж так она мне поглянулась, так поглянулась, что и слов таких нету. Всем взяла, разумница. Чой-то ее не видно, показали бы товар-то красный, мы на погляд и купца привезли...

За занавеской громче зашелестел шепот, испуганно ойкнули, но Семен так надсадисто кашлянул, что сразу все стихло. Как умерло.

— Красного товару в Огневой Заимке много, неужель на нас свет клином сошелся? Мы и не богаты, и не знатны...

— Да и мы, голубушка, не из купцов, — не дала Настасье договорить Устинья Климовна, — на бичике живем, от земли кормимся. В самый бы раз нам породниться да порадоваться...

— И-и-их! — высвистнул, будто коня понужнул, хозяин и стал прежним Семеном Коровиным. Махнул обеими руками враз и пошел нарезать круги вокруг стола. — И-и-х, жизнешка, до чего короткая! Надо же, Марью сватать приехали! Слышь, Настя, Марью ж сватают, а мы с тобой теперь кто — старики?

— Да сядь ты, не мельтеси! Нашел о чем страдать! — Настасья пригорюнилась и, не глядя на мужа, прошла перед гостями, откинула занавеску, позвала: — Марья, выйди к людям!

Не зря шептались и суетились за занавеской. Марья вышла перед Зулиными во всей красе: широкая цветная кофта с оборками ладно облегла крепкий стан и высокую грудь. Новая, видно, ни разу еще не надеванная юбка ниспала вниз широко и вольно, колыхалась над высокими зашнурованными ботинками. На голове, укрывая уложенные в круг тяжелые косы, красовался шелковый платок с дивными цветами. И вся она, чистая, цветущая, озаренная смущенной улыбкой, от которой играли на щеках ямочки, замерла, уставившись взглядом в Митеньку. Ни отца с матерью не видела, ни Устинью Климовну, ни старших Зулиных, только его одного, родимого. И столь ярок был этот взгляд, озаривший полусумрак избы, столь много сказал он, что плести дальше ненужные кружева пустого разговора было попросту неловко.

Хозяева засуетились, собирая на стол угощение, старшие Зулины облегченно вздохнули, Устинья Климовна истово перекрестилась, и только один Митенька, сдавленный с двух сторон, продолжал сидеть безмолвно и безучастно, словно все, что происходило здесь, никаким боком его не касалось.

Свадьбу играть договорились на Покров.

34

В жаркой, сытой истоме доспевало доброе лето. Закончив с сенокосом, Огнева Заимка готовилась жать рожь, а там уже и пшеница подходила, вымахнувшая нынче высокой густой стеной. Тяжелый, наливающийся колос клонился к земле. По ночам полыхали зарницы, по утрам на травы высыпала обильная роса — будто дождь прошел. Овощь в огородах зрела так, что треск стоял.

В промежутки между сенокосом и жатвой, когда в хозяйственных делах объявлялся небольшой роздых, Огнева Заим-

ка разом и поголовно, от мала до велика, впадала в рыбацкую страсть. Выходили на Уень с неводами целыми околотками, по пять-восемь семей, дома оставались только неходячие старики и такие же неходячие младенцы. Рыбу варили, жарили, а больше всего сушили на зиму, развешивая на веревочках вдоль стен. Ненасытные коты и кошки жрали без меры и таскали чуть не по земле огрузлые животы, будто все собирались вот-вот котиться.

Рыбный запах плавал едва ли не в каждой избе.

Растащило на свеженинку и Степановну. Подступила к Вахрамееву и к Ваське с упреками: люди-то вон за две-три тони целые лодки с верхом наваливают, а вы сидите сиднями, и даже ухи сварить не из чего, пользуетесь, что Тихон Трофимыч на вас цыкнуть не может, потому как в отъезде...

— Я за поясницу боюсь, — отнекивался Вахрамеев, — не дай Бог простыну и слягу...

— Да с чего ты простынешь, — негодовала Степановна, — вода — как молоко парное. Пошли бы с Васькой хоть две тони сделали, Феклуша бы на подхвате вам, а уж я бы рыбку в порядок привела, тут помощников мне не надо.

— Ты, никак, оголодала, Степановна?! — удивлялся Вахрамеев и растерянно поглаживал бородавку, — давай, я тебе денег вырешу, пойдешь да купи, коли тебе невтерпеж ухи хочется.

— Ты глянь на его! Ты глянь! — Степановна руки в бока уперла и даже заколыхалась от таких речей. — Денег он даст! Богатей нашелся! Леню ему требуху растрясти! Вот приедет Тихон Трофимыч — все ему доложу! Ишь, каку волю обрели, неохота через губу переплюнуть!

И так допекла, не отставая от Вахрамеева ни на шаг, куда бы он ни двинулся, что тот ругнулся молчком, осторожно почесал бородавку и обреченно отправился искать старые порты и рубаху. Степановна, довольная донельзя, запереваливалась и, взмахивая руками, позвала:

— Феклуша! Феклуша, пойдешь сюда, девонька!

Никто, кроме самой Степановны, не знал и даже не догадывался, что рыбы ей, хоть свежей, хоть соленой, совсем не хотелось, она и вовсе рыбу не уважала, а весь шум подняла только ради того, чтобы хоть чуть развеселить бедную Феклушу, которая, узнав о сватовстве Митеньки, совсем сникла

и жила, будто на ходу спала, ничего не видя вокруг себя и не слыша. И с какой стороны ни подкатывалась к ней Степановна с утешениями, она ничего не отвечала и лишь ниже клонила голову, упирая глаза в землю. «Вот и добро будет, хоть побродят по речке, глядишь — и думки отмякнут», — радовалась Степановна, когда увидела, что глаза у Феклуши чуть ожили.

Поднялась в доме легкая суматоха. Вытащили невод, подвязали новые грузила, заштопали дыру в мотне. Мешки под рыбу приготовили, и тут, когда уже все наладили, выяснилось: Вахрамеев ниже поясницы в воду заходить не согласен.

— Дак ты чо, посуху его таскать будешь!?! — шумел Васька.

— Около бережку, около бережку... — невозмутимо отвечал Вахрамеев и наматывал, одну за другой, тряпки на свою болезную поясницу.

— Подь ты к черту! — ругнулся Васька и выскочил за ворота. Как и в любом деле, коль на него согласился, Васька любил удаль и веселье. А какое тут веселье, если от одной поглядки на Вахрамеева хочется таракана сжевать. — Обметом будем рыбачить! Я щас, мигом найду!

И правда, глазом моргнуть не успели — а он уже вернулся с Иваном Дурыгиным и со всем его приплодом. Парнишки аж подсигивали от нетерпения. Они-то уж знали, что такое обметом рыбачить: один конец невода заводят на веревках, на лодке, чуть не на половину реки, а затем, выбрав большой полой, начинают пританивать. И вот тут важно, чтобы рыба не выскочила через то пространство, где одна лишь веревка тянется. А для того, чтобы не выскочила, бьют боталом, из жести сделанным, отпугивая рыбу и загоняя ее в мотню, а чаще всего выпускают ребятишек и они поднимают такой гам и плеск, визг и писк, что взрослым рыбакам впору уши затыкать или нырять под воду.

Собрались.

— Ну, с Богом! — напутствовала Степановна.

Большущая тесовая лодка Дюжева, еще с весны проконопаченная и залитая смолой, на ходу была легкой, и Васька с Иваном, сев за лопашные весла, быстро поднялись вверх по течению Уени, где был пологий берег и большой полой.

День выдался морочный, по небу бродили тучки, и солнце выскакивало урывками, но вода была теплой, ласковой.

И Феклуша, когда забрела по колено, придерживая колоколом вздувшуюся юбку, неожиданно для самой себя впервые за эти черные дни улыбнулась. Мир словно бы заново открылся перед ней: река, широко разлившаяся после прибывшей коренной воды, прибрежные ветлы с веселой листвой, еще не обожженной солнцем, дальние увалы у самого окоема. Широко, вольно... Она снова улыбнулась, зачерпнула уеньской светлой воды в ладони и ополоснула лицо.

— Эй, Фекла! Хватит мух ловить! Иди к полою, нас жди. Как невод заведем — хватай за нижнюю тетиву и тащи понизу, а вверх подынешь — выпорю! — Ваське плевать было на чужие переживания, ему главное — чтобы азарт горел. Вахрамеева усадил за весла, сам остался у берега, а Иван взялся за веревку, чтобы заводить невод.

Двинулись. На текучей воде закачались коричневые поплавки, сделанные из сосновой коры, выстроились полукругом, как расправился невод, и неторопко потянулись к полю. Дурыгинские ребятишки уже забрели в воду, но стояли не шелохнувшись, послушно дожидаясь команды. Вахрамеев греб плохо, лодка шла тычками, но ругать его едва не через всю реку было несподручно, и Васька матерился себе под нос. Вот и полой. Завели невод, ребятишки закипели в воде, заорали вразнобой, подняли такой тарарам, что уши заложило. Иван соскочил с лодки, потянул невод за стояк, Феклуша ухватилась за нижнюю тетиву — и вдруг явственно ощутила, как тетива забила в ее руках, словно живая.

— Не зевай! — орал Васька, — ниже подхватывай, не зевай!

И в тот же миг здоровенная щука плеснулась из воды, взвилась, изгибаясь коромыслом над верхней тетивой невода, и булькнула, вырвавшись на свободу, оставив рыбакам только яркий взблеск в глазах.

— Задницы полорукие! — еще скандальней завопил Васька, — убью, заразы, таку рыбину!..

Иван, похохатывая, ловко вытягивал невод и приговаривал:

— Ничо, и нам малехо останется...

А какое там — малехо, когда уже видно было, что крылья невода сплошь утыканы рыбой, а мотня кипела и булькала, будто чугунок на плите. Улов, что и говорить, выдался знат-

ный. Крупная щука, золотой линь, блестящий, как серебряный слиток, чебак-красноперик и темноспинная, остроносая стерлядь — все это шевелилось, прыгало, билось в руках и радовало донельзя сердца рыбаков.

За одну тонь добыли три мешка. Васька настаивал, чтобы забрести еще раз, но Вахрамеев воспротивился, застонал, будто ему кости ломали:

— Да хватит ее, и так огрузились, у меня уж и руки отнимаются веслами шкряндать...

Отнекался. Шевелящиеся мешки завязали, невод стащили в воду, чтобы прополоскать и выбрать мусор, дурыгинские ребятишки тут же махом развели костер, нарезали и ошкурили тальниковые палочки, чтобы зажарить на огне свеженькую стерлядку, а Вахрамеев осторожно забрел в речку и, зажав нос двумя пальцами, боязливо окунулся с головой. Раз окунулся, два, а на третий, отступив несколько шагов по течению, нырнул и зацепился за карчу, за острый сучок, и сучок этот, будто нож острый, располосовал ему старенькие порты. Они упали на дно, запутали ему ноги, Вахрамеев испугался, скинул их совсем, и они тут же, подхваченные течением, исчезли. Он дернулся в испуге и об другой сучок распустил рубаху. Кое-как стащил ее с себя, чтобы хоть как-нибудь обмотаться и хозяйство прикрыть, но руки задрожали, и рубаху он тут же отпустил. Стоял в воде, в чем мать родила, крутил головой и не знал, как ему выбираться на берег. Мало того, что Феклуша вместе с ребятишками у костра мельтешила, так еще на дороге, которая в этом месте совсем близко к берегу подкапывала, возы показались. Вот несчастье!

На возах навалом навалены были березовые ветки. В Огневой Заимке в эту пору всегда так делали: собирались две-три семьи по-соседски и отправлялись заготавливать веники. Нарубят веток в ближнем околке, привезут, а уж после сидят и вяжут в огромном количестве, чтобы было чем париться во всю долгую зиму. Работа легкая, веселая, и потому за ветками ездили всегда молодняк да ребятишки. Нарубят полные возы веток, сами сверху вскарабкаются и пока до деревни едут, все песни перепоют. На этих возах, которые на дороге показались, тоже пели. Громко, весело и протяжно...

У ворот трава шелковая:  
Кто траву топтал,  
А кто травушку вытоптал?

И поверх всех, слаженно звучащих голосов, уходил вверх, будто жаворонок свечкой в самое поднебесье, голос Марьи Коровиной — первой певуньи на всех вечерках. Летел, замирал на миг и с новой силой воспарял над округой:

Топтали травушку  
Все боярские сватья,  
Сватали за красную девушку,  
Спрашивали у ближних соседешек:  
— Какова, какова красна девушка?

Феклуша, совсем было развеселившаяся у костерка с ребятишками, сразу узнала звонкий голос своей соперницы. Сколько раз слышала его на вечерках. И вот теперь — сильный, счастливый... Она выпрямилась, сунула дурыгинскому парнишке ошкуренную веточку с наколотой на нее стерлядкой и медленно пошла к воде. А голос Марьи догонял ее, звенел и радовался. Феклуша подняла глаза, и мир, который еще недавно представлял для нее светлым и бесконечным, вдруг почернел, скукожился, словно березовый лист на огне. Сгорела, спаленная пламенем, девичья любовь, горячий пепел остался. И как дальше жить с этим неостывающим пеплом?!

Нос лодки был лишь чуть-чуть затащен на берег. Феклуша легко столкнула ее, ловко запрыгнула и села за весла. Сильными, резкими гребками развернула лодку и погнала ее наискосок течению к самой излучине, где вода, закручиваясь в воронку, светлела, будто заплатка.

— Ты куда лодку погнала, курица?! — заблажил с берега Васька.  
— Я сейчас! — отозвалась ему Феклуша. — Сейчас!

Раз-два-три! Раз-два-три! Тяжелые весла совсем не тяжелые. И откуда только силы взялись! Лодка ходко подвигалась к самой стремнине. И как только нос ее коснулся светлой текучей заплатки, Феклуша бросила весла, перегнулась через борт, опустила руки в прохладную воду, широко раскрытыми глазами увидела перед собой бездну и еще услышала с берега, с дороги, с медленно плывущих возов:

Ростом она, ростом  
Ни малая, ни великая,  
Личиком, личиком  
Бело-круглоликая,  
Глазушки, глазушки,  
Что у ясного сокола,  
Бровушки, что у черного соболя,  
Сама девка бравая,  
В косе лента алая...

Охнула от ледящего страха, который заполнил ей грудь, и невесомо, будто пушинка, соскользнула с борта. Длинная коса вытянулась по течению, мелькнула, извиваясь, и исчезла.

— Утопла! Фекла утопла! — закричал и поперхнулся Вахрамеев. Вылетел из воды, как пробка, и ошалело заметался по берегу. — Уто-о-пла-а!

Голос у него прорезался снова и от собственного крика Вахрамеев совсем потерял голову. Размахивая длинными худыми руками и продолжая орать, как под ножом, он припустил напрямик к деревне, словно скаковая лошадь. Мелькали белые ягодицы, тряслось и подпрыгивало хозяйство, а Вахрамеев все рвал и рвал, отмахивая тонкими ногами огромные прыжки. И вот так, невиданным галопом, он достиг деревни и, продолжая орать, прочесал по улице, распугивая кур и встречных баб. Влетел в дюжевскую ограду, наткнулся на Степановну, как на заплот, остановился и выдохнул:

— Утопла...

Степановна омертвело шлепала губами и не могла вымолвить ни слова.

Ожила она лишь тогда, когда у ворот встала подвода с березовыми ветками и с нее соскочил Иван Дурыгин. Бросив вожжи, он осторожно снял Феклушу и на руках понес ее в ограду.

— Чо рот разинула! — прикрикнул на Степановну, — говори, куда положить, воды изрядно нахлебалась, щас отойдет...

Положили Феклушу под навес, Степановна упала перед ней на колени, передником стала стирать с лица песок и зелень. Феклуша открыла глаза, повела ими вокруг, прошептала:

— За-чем?

— А затем, девка, что жить надо. Нету такой причины, чтобы жизни себя лишать, — сурово и строго ответил ей Иван,

икнул и шустро отбежал к забору, где его тут же вырвало голимой водой. Отплевавшись, он утерся широкой ладонью, увидел все еще голого Вахрамеева и заржал, будто одинокий конь в поле, на всю деревню:

— Слышь, рысак, стыд-то замотай, а то отвалится. На маслену мы тебя на скачки в Шадре выставим. Вот картина будет!

Вахрамеев только теперь опамятовался, пришлепнул двумя ладонями стыдное место и кинулся в дом. На ходу бормотал:

— Чтоб вас черти съели с этой рыбалкой, баламуты...

### 35

По булыжной мостовой глухо простучали кованые ободья тележных колес. Заморенные кони едва тащились, но их не подстегивали, потому как чем тише, тем лучше: лишнего шума Дюжеву совсем не требовалось. Специально рассчитывал длинную дорогу, чтобы в город и до своего дома проскочить по-мышинному неслышно. «Надо же, — думал Дюжев, — до чего тебя, Тихон Трофимыч, честного купца, довели — в собственный дом, как варнак, крадешься. Эх, судьбина, никак не отмучаешь!»

Веские причины имелись у Дюжева, чтобы крадучись въезжать в город: на одной из двух подвод лежали, прикрытые свежескошенной травой, Хайновский и Тетюхин. Лежали смирно, спина к спине, аккуратно связанные, и у каждого во рту — тряпичный кляп. Поначалу, когда из них вытрясли всю подноготную и когда все загадки разгадались, Дюжев впал в ярость и хотел здесь же, не сходя с поляны, и пришибить их, но Петр вовремя схватил за руку, не дал грех принять на душу. Да и то сказать, толку от мертвых будет меньше, чем от живых. Еще понадобятся.

Вот и дом дюжевский. Тихо, ни души вокруг не маячит. Въехали во двор. Высокие глухие ворота закрыли, заперли изнутри на толстенный березовый запор, перевели дух. Ну и ладно. Пронесло. А дальше видно будет.

Лошадей распрягли, Хайновского с Тетюхиным в подвал посадили, где в свое время Петр пребывал, Сергея в трактир к хозяину отправили, и только после этого Дюжев с Петром поднялись наверх. Тихон Трофимович сразу же кинулся к книжному шкафу, порылся в бумагах и вытащил тетрадь в клеенчатом переплете. Шлепнул ее на стол.

— Вот она, родимая. Чуть башки из-за нее не лишился. Ну, Захар, ну, Захар, едрена канитель, знал бы, я бы тебя послал куда требуется...

— И она все время тут лежала?! — изумленно воскликнул Петр.

— А куда бы она делась? — сердито отозвался Дюжев, — у меня в дому еще не воруют. Я ведь, коли по правде, забыл про нее. Поначалу-то приходил этот Тетюхин, почему я его и узнал. Крутил-вертел, мямлил, мямлил, в конце концов разродился: «Продай тетрадь, которую тебе ямщики передали». — «Ну нет, — думаю, — пошел ты к лешему, дело темное». Не знаю, говорю, никакой тетради, в глаза не видел, и ты ко мне с ерундой не приставай. Отправил его сурово: «Еще раз, — говорю, — придешь — с крыльца спущу». Вот тогда они и начали мне подножки ставить, расчет-то у них простой был — либо разорим, по миру пустим, либо тетрадь эту чертову выкладывай.

— Надо бы записи в тетради перевести на русский, тогда бы ясно стало — зачем они за нее так бьются?

— Да я ее сожгу лучше! И спать буду спокойно.

— Глупо это, Тихон Трофимович, глупо...

— Ну ты еще, умник нашелся! Ладно, не серчай, давай-ка лучше поужинаем.

Велел подать ужин наверх, а сам все сидел, листал тетрадь и удивленно хмыкал, раздирая бороду короткими пальцами.

— Никак у меня в голове не укладываются, — заговорил он, когда выпили с Петром по рюмке вина и закусили, — хоть расшиби меня на месте, а только не верится! Ты сам-то веришь?

— А как не верить, Тихон Трофимович? Доказательства — в подвале сидят.

— Да-а... Это верно, — раздумчиво протянул Дюжев и взял за горлышко пузатый графинчик с вином, — вот уж не гадал, не думал, что мне на старости такое выпящется. Давай-ка, Петр Алексеич, ишо по махонькой опрокинем да спать ляжем. Притомился я, братец, не по моим годам такие скачки...

Выпили еще по одной, пожевали лениво и молча разошлись спать. Но уснуть ни тот, ни другой долго не могли, ворочались, вздыхали, и каждый на свой манер обдумывали свое прошлое и пытались загадать будущее.

Не спали в эту ночь и Хайновский с Тетюхиным. Шуршали соломой в разных углах, между собой не разговаривали, а когда нечаянно касались друг друга рукой или ногой, испуганно отдергивались, будто дотронулись до скользкой и холодной змеи.

Хайновский с тоской думал о том, что лучше бы ему уйти по этапу на каторгу, не порываясь на побег, — в этом случае хотя бы оставалась надежда выжить и какая-то определенность. А в сегодняшнем его положении нельзя было даже загадывать завтрашний день — полная неизвестность.

Тетюхин же ничего не загадывал, он лишь ругал себя последними словами за свою жадность. Только из-за нее попался на крючок Цапельмана, а когда заглотил, трепыхаться было уже бесполезно. Да и попался-то, если разобраться, по-глупому: принял первую взятку по расписке, якобы за проданный товар. Изрядная сумма закружила голову — Тетюхин впервые такие деньги увидел, вот и подмахнул каверзную бумажку. Дальше разговор был короткий — либо делай, что прикажут, либо бумага уйдет в нужном направлении и тогда скромному чиновнику Тетюхину только одно останется — сушить сухарики на долгие годы. Сунул коготок и увяз по самый клюв. А дальше — пошло-поехало... И бегал Тетюхин за Дюжевым, как пьяный мужик с топором за своей бабой. Да только напрасны оказались все хлопоты и немалые деньги, потраченные на подкупы, ухнулись, как в прорву. Тетрадь осталась у Дюжева, и тот знает теперь про все замыслы Цапельмана и знает, кто эти замыслы выполнял...

Тетюхин вздохнул, подтянул ноги и, свернувшись калачиком, затих до самого утра, которое, как известно, мудрее вечера.

Утром, чуть свет, Тихон Трофимович был уже на ногах и с готовым решением. Не позавтракав, чаю не попив, он велел заложить легонький возок и скоро уже стоял на крыльце незавидного домика, где проживал одинокий учитель томской гимназии Воронцов. С учителем у Тихона Трофимовича были отношения приятельские — тот снабжал его книгами и любил поговорить на разные темы. Бывало, что в этом домике Дюжев засиживался допоздна. Но в столь ранний час никогда не появлялся, и потому Воронцов, еще в халате и за-

спанной, слегка удивился, но сразу же пригласил в дом, и скоро они уже беседовали о причине столь раннего визита.

— Прочитать и переписать на русский несложно, Тихон Трофимович, — раздумчиво говорил Воронцов, перелистывая тетрадь в клеенчатой обложке, — тут одна только записка — очень уж почерк неразборчивый, дня два мне понадобится, не меньше.

— Уж будь ласков, Николай Иванович, поскорее только — дело не терпит, я за труды отблагодарю.

— Да о чем речь, Тихон Трофимович, я вас не первый год знаю!

— Вот и ладно. И еще одна просьбица, Николай Иванович, ты уж, будь добр, никому про эту тетрадь не рассказывай...

— Не беспокойтесь, Тихон Трофимович, никто не узнает. Это я вам обещаю. Послезавтра, в первой половине дня, приезжайте, и все будет готово.

Два дня Дюжев ерзал, как на иголках. Петр, стараясь не подавать виду, тоже волновался. Они оба понимали: как только ясно станет содержание тетради, тогда и ясно будет, что делать с Тетюхиным и Хайновским, которые продолжали сидеть в подвале.

И снова, рано утром, Дюжев уже подъезжал к домику Воронцова и еще издали увидел — возле домика толпился народ. Велел Митричу остановиться, подошел и услышал: ночью Воронцова убили и ограбили. Из домика между тем, утирая пот с толстой шеи, вышел Боровой, гаркнул на собравшихся:

— Чего рты раззявили?! Расходись!

Увидел Дюжева, подошел поздороваться:

— А ты чего здесь, Тихон Трофимыч, спозаранку?

— Да на базар по делам собрался, еду, а тут... Чего случилось-то?

— Да прирезали беднягу, ножом полохнули по шее... Там кровящи натекло, как на бойне. Ну и вычистили все, как водится, рваных исподников не осталось...

«Исподники им не нужны, — подумал про себя Тихон Трофимович, — им тетрадь нужна была. Но как прознали-то? Не иначе проговорился. Эх, Николай Иваныч, Николай Иваныч, предупреждал ведь тебя — держи язык за зубами...» А вслух сказал:

— Совсем народишко разбаловался, никакого удержу нет, скоро среди бела дня резать станут.

— Не говори, Тихон Трофимыч, дальше в лес — комар все злее. Я уж от этой службицы притомился. У тебя-то как? Спокойно? Мошну растрясти не пробуют?

В безобидном, казалось бы, вопросе Борового почудился Дюжеву скрытый смысл, но виду не подал:

— Да кака там мошна! Так, с тряпичным узелком живем.

— Ну-ну, прибедняйся. Ладно, пошел я службу править, будь она неладна.

Боровой направился в домик Воронцова, а Тихон Трофимыч добрал до своего возка, scomандовал:

— Езжай, Митрич, подале отсюда.

— А куда?

— На кудыкину гору! Домой поехали!

Петр встретил его с неммым вопросом в глазах. Дюжев потупился, крикнул и сердито разворошил бороду. Долго топтался вокруг стола, одергивал рубаху, едва успокоился. Лишь после этого поведал Петру, что вернулся с махонькой дыркой от бублика.

— Чего дале будет — ума не приложу, — горевал он, — а ну как они с другого боку подкатятся, да с такого, что и не угадаешь.

— Не подкатятся, — твердо успокоил его Петр, — теперь, Тихон Трофимович, ты уж не обижайся, ты им нужен, как... Совсем ты им теперь не нужен. Ни капли! Живи спокойно и не оглядывайся. Что им требовалось, они получили.

— А с этими двумя чего делать? Их-то куда? На волю выпустить?

— Тут подумать надо.

— У меня и так голова трещит от этих дум, скоро лопнет.

Решили пока, для надежности, отправить их в другое место. Петр съездил к Бабадурову и договорился с ним, что ночью Сергей отвезет Хайновского с Тетюхиным на Заимку за городом. И пусть они там поживут под надежным присмотром. За это время, глядишь, чего-нибудь и прояснит.

Ночью Сергей вывез Хайновского с Тетюхиным, как договорились, а утром явился и, лупая светлыми нахальными глазами, пожаловался:



— Уж больно приткими они оказались, таки прямо буйные. Развязались — и на меня, душить стали, всю шею исцарапали, я уж думал, и в живых не останусь...

— Да где они, не тяни! — заревел Дюжев.

— Дак в Страшном логу, Тихон Трофимыч. Я изловчился, ножик-то из-за голенища выудил... ну и спихнул их в лог. Прирезанных, сам знаешь, всегда туда скидывают...

— Это Бабадулов велел прирезать, отвечай, сукин кот, как на духу!

— Да сами они развязались, а хозяин здесь ни при чем... При чем тут хозяин?!

Ясно было, что правды от пройдохи не добиться, как ясно было и другое — Бабадулов, наученный опасной жизнью, оказался умней и дальновидней, чем Петр с Дюжевым. Раз, два — и концы в лог. Ищи теперь хоть до посинения — ничего не отыщешь.

Еще неделю после этого прожили Дюжев и Петр в ожидании. Но ничего за это время не произошло, ничего не случилось и жизнь входила в прежнюю, спокойную колею. На исходе недели Петр завел разговор о паспорте и о том, что настало время собираться ему в дорогу.

Дюжев от известия даже растерялся:

— Кто тебя отсюда гонит? Живи, сколько потребуется.

— Нет, Тихон Трофимович, загостился я в этих краях, уезжать надо. Вот паспорт бы мне...

— Будет тебе паспорт, не переживай.

Весь следующий день Дюжев метался по Томску, как угольный, и вернулся только к вечеру. Взмыленный, будто его запрягали в телегу и гоняли по полю, он тяжело шлепнулся на стул и едва отдышался. А отдышавшись, весело подмигнул Петру и потер руки, как будто только что заключил уж шибко выгодную сделку.

— Живем, братец ты мой, Петр Алексеич, живе-е-ом! Вот он, документик-то, чистенький, как слеза непорочная. На-ка, держи, живи и радуйся.

И выложил на стол новенький паспорт на имя томского мещанина Петра Алексея Петрова, православного, тридцати четырех лет от роду.

— А Петровых у нас, что в Сибири, что в Расее, как собак нерезаных! — радовался Дюжев. — И никака холера к тебе не пристанет. Давай-ка, братец ты мой, гульнем по такому случаю на прощаньице!

А когда выпили, Тихон Трофимович запечалился, начал сердито скрести бороду короткими пальцами и в конце концов, размякнув, несмело предложил:

— Может, ты... это самое, плюнь на их! Оставайся, я уж привык к тебе. Женю тебя, какую хошь кралю выпишем! А? Плюнь ты на их!

— Спасибо за все, Тихон Трофимович, — улыбнулся Петр своей извиняющейся улыбкой, — дай Бог тебе здоровья, только дело решенное — еду.

— Ну, как знаешь... Дай-ка я тебя обниму да поцелую... — Дюжев встал из-за стола, попутно смахнул половину посуды на пол, облапил Петра, прижался к нему разлохмаченной бородой и от полноты чувств даже всхлипнул. — Ишь, как вино-то меня рассолодило, прямо потек, как лагушок дырявый... Жаль тебя отпускать, ах, жаль... Да что делать. Езжай; может, и тебе счастье выпадет. Езжай. Коли невоготу станет — вертайся. Со всей душой, братец ты мой, приму!

Вот так, со слезой, распрощался Петр Щербатов с купцом Дюжевым и когда уже тронулся в дорогу, вдруг ощутил в душе тихую печаль и горесть — все-таки успел за короткое время привыкнуть к Тихону Трофимовичу и даже сродниться с ним. Он оглянулся на окраинные домишки Томска, затем закрыл глаза и отдался во власть легкого покачивания рессорного экипажа — дорога теперь у него впереди была длинная.

И вела она его в прошлое.

### 36

До самых краев забивал свою пепельницу окурками полковник Нестеров. Иногда натыкался ошалелым взглядом на оскаленный череп и ему казалось, что череп не скалится, а улыбается. Тогда он брякал в колокольчик и адъютанту, появившемуся в тот же миг на пороге кабинета, раздраженно выговаривал:

— Дмитрий Николаевич, голубчик, у нас что, окурки вытряхнуты некому?!

Адьютант сам брал полную пепельницу, уходил и тут же возвращал ее пустой и протертой влажной тряпочкой, негромко произносил: «Виноваты-с, господин полковник...», ставил ее на место, непременно поворачивая к хозяину кабинета девичьим ликом. Полковник Нестеров упорно переименовывал по-своему и на него снова оскальвался череп, нет, не оскальвался, а определенно ухмылялся, причем весьма ехидно.

От табачного дыма уже подташнивало. Нестеров бросил папиросную коробку в верхний ящик стола, захлопнул со стуком и, поднявшись из кресла, долго ходил по кабинету, заложив руки за спину и наклонившись вперед, словно таранил головой невидимое препятствие.

Четвертый день полковник Нестеров нервничал и пребывал в напряженном ожидании, всем своим богатым опытом предчувствуя, что находится у самого порога разгадки странного и необычного дела, которое началось два с небольшим месяца назад. Среди бела дня с невиданным нахальством и хладнокровием был убит сын аптекаря Фильштинского. Неизвестный человек прошел из общего зала в подсобное помещение, где молодой провизор готовил рецепты к выдаче покупателям, произвел из револьвера три выстрела в несчастного и вышел через черный ход. Выстрелов никто не слышал, потому как дверь в маленькую комнатку была предварительно захлопнута. И хотя в зале толпилось довольно много народу, никто из опрошенных свидетелей не мог сказать ничего вразумительного. Ни одной приметы, ни одной зацепки. Во время обследования места происшествия уголовной полицией неожиданно обнаружили тайник под полом, а в нем — в коробках из-под дамских шляпок — две бомбы. Сразу же стало ясно, что здесь не простая уголовщина, а дело политическое. Донесение об этом в тот же день легло на стол полковнику Нестерову.

И — пошло-поехало. Кто-то, неведомый и очень меткий, накрошил в городе и в пригороде — два убийства произошли на дачах — четыре трупа. И все убитые, как один, входили в организацию «Освобождение», в которую совсем недавно Нестерову удалось внедрить нового агента. Этот новый агент и сообщал, что убийца действует так, словно у него имеется

на руках список членов организации и он прекрасно знает их адреса и привычки. А иначе чем объяснить, что он настигал свои жертвы с удивительной точностью? Ни одной осечки.

Полковник Нестеров, получая одно донесение за другим, успевал лишь крестики ставить против фамилий покойных членов «Освобождения». С самого начала ему было ясно — кто-то уничтожает террористическую организацию, которую он сам, Нестеров, только пощипал, а вырвать с корнем так и не смог за несколько лет непрерывных и упорных поисков, когда он только что землю носом не рыл. В конце концов у жандармского полковника выиграла гордость: черт побери, да кто же это такой?! В хладнокровных и смелых действиях неизвестного Нестерову чудились упрек и насмешка: вот так надо действовать, господин полковник, защитник и опора трона, вот так надо вырывать заразу! Снести подобное старому служаке — все равно что мордой об лавку! И полковник стал плохо спать, а когда забывался в коротком сне, то вздрагивал и вскрикивал, пугая домашних. Супруга даже вызвала доктора, но Нестеров на нее накричал, чего никогда не позволял себе раньше, а доктора бесцеремонно выставил из дома. И в этот вечер, перебрав шустовского коньяка, чтобы избавиться от бессонницы, он впервые за долгое время спокойно уснул, а утром, поднявшись с совершенно ясной и трезвой головой, вдруг четко произнес:

— Поручик Щербатов...

Произнес совершенно машинально, неосознанно, а сам, между тем, даже забыв умыться, уже натягивал мундир, чтобы скорей мчаться на службу. Из архива сразу же подняли старое дело, отправили запросы, и скоро на стол легла бумага, которая извещала: с каторги Щербатов сбежал и до сих пор нигде обнаружен не был.

После недолгого раздумья Нестеров распорядился выставить две засады: одну возле казарм лейб-гвардии грендерского полка, а другую — возле монастыря, где пребывала Татьяна Мещерская, принявшая после пострига имя Феофании. Одновременно агенты, снабженные приметами Щербатова, проверяли гостиницы, постоялые дворы, выявляли новоприбывших жильцов в доходных домах. Правда,

агентов Нестеров поднял на ноги больше для перестраховки, потому как по опыту знал, что при таких обширных розысках больше следует надеяться на слепую удачу, чем на точный расчет. И потому больше всего рассчитывал на две засады. Ну не может такой человек, как Щербатов, не объявиться возле своего полка или возле монастыря. В этом Нестеров был безоговорочно уверен.

И вот уже четвертый день напряженно ждал результата.

А Петр в это самое время, пока Нестеров метался по своему кабинету, спокойно проживал в маленькой чистенькой комнатке, снятой на втором этаже небольшого домика у милой и заботливой Анны Ивановны, пожилой вдовы чиновника Портнягина. Новому постояльцу хозяйка была рада безмерно. Во-первых, потому, что он сразу же заплатил за три месяца вперед, во-вторых, потому, что он производил уж очень приятное впечатление своими манерами, а в-третьих, потому, что он чем-то напоминал покойного Матвея Григорьевича Портнягина, когда тот был молодым и красивым. На супах и всегда свежих булочках, которые собственноручно готовила Анна Ивановна, Петр отъелся, округлился лицом, и на щеках стал пробиваться легкий румянец. По утрам, глядя на себя в зеркало, он не переставал удивляться своему безмятежному виду. «Как же так? — спрашивал самого себя, — ведь ты же убиваешь людей, лишаешь их жизни — и не испытываешь при этом никакого раскаяния; более того, физиономия так и светится довольством. Что же это?» Ему становилось стыдно за свое спокойствие. Но проходила минута-другая — и в памяти быстро-быстро, словно мгновенно нарисованные картинки, возникали серые ленты бредущих по грязи канальников, проявлялись, будто из тумана, мученические глаза Татьяны с застывшей в них тоской и болью, все тело начинало нестерпимо чесаться, как это было на этапах, во вшах и грязи, а в нос явственно ударял запах мочи и кала, исходящий от необъятных размеров параша. Тогда он скорее хватал в руки запашистое мыло, намыливался так, что пена шлепалась большущими хлопьями, смывал ее чистой водой, насухо вытирался мягким большим полотенцем и снова становился безмятежно-спокойным.

В это утро, поднявшись и глянув в зеркало, Щербатов заметил в своих глазах беспокойный блеск, а под глазами — темные круги. И сразу подумал: «Сегодня последний...» И вот тут заметалась, заболела душа. Былое спокойствие и уверенность уходили, разбрызгиваясь, как вода, которой он умывался. Но Щербатов пересилил себя. И даже смог позавтракать.

Перед тем как выйти из своей уютной комнатки, Щербатов присел на краешек дивана, вытянул ноги и долго сидел, прикрыв глаза, на ощупь то застегивая, то расстегивая защелку маленького коричневого баульчика, в котором отныне находилось все его движимое и недвижимое имущество. И снова пришлось пересилить себя. Резко поднялся, в последний раз окинул взглядом комнатку, в которой, пока он умывался, Анна Ивановна уже успела прибраться, и приподнял котелок, прощаясь, — знал, что больше сюда он уже не вернется. Тихо прикрыл дверь и вышел на улицу. Осенняя сырость окатывала город. Мелкий, почти невидный, а лишь осязаемый, моросил дождик. Все звуки раздавались глухо, невнятно, и даже колеса экипажей, обычно говорливые на неровной булыжной мостовой, катились со шлепающим уханьем, будто по сплошной луже.

Щербатов остановил извозчика, и здоровенный патлатый парнишка, оборачивая к нему широкое лицо с приплюснутым носом, пожаловался:

— Зима катит, барин, ску-у-шно... На стакашек для сугреву набросите?

— Будет, будет тебе на стакашек, — успокоил Щербатов, — поехали.

— Не извольте беспокоиться, домчим мигом, как на крыльшках!

Щербатов зябко передернул плечами, поглубже натянул котелок, защищаясь от сырого ветра, и несколько раз про себя повторил: «Никольский Андрей Христофорович, газетный репортер. По средам ему из типографии привозят гранки». Еще раз глянул на свой коричневый баульчик — точно такой же, не отличишь. В прошлую среду он специально побывал у подъезда доходного дома, где квартировал Никольский, специально проследил, когда и с чем приезжает посыльный из типографии.

Ну, вот и дом, вот и подъезд. Извозчик, получив на стакан для сугреву, с надеждой предложил:

— Может, обождать, барин, может, еще куда требуется доставить?

— Нет, братец, я надолго приехал. Не жди.

Витая веревочка с бронзовым наконечником была влажной. Щербатов дернул за нее, и колокольчик за дверью отозвался залихватным голосом. Высокая, полная женщина с кружевной наколкой на пышной груди удивленно уставилась на Щербатова и спросила:

— Вы к кому?

— Посыльный из типографии, гранки для Андрея Христофоровича.

— А... а Гриша где?

— Гриша захворал. Мне вот вручили, — он качнул баульчиком, — срочно велели, прямо горит...

— Ой, да я и не знаю, он, Андрей-то Христофорыч, как бы вам сказать... он не в себе маленько...

— Э, милая, меня не касается, в себе — не в себе, а велено срочно — значит срочно! Куда идти-то?

— Да вот его кабинет, прямо, — она указала рукой на высокие двустворчатые двери, — только я, право, не знаю...

— А нам и знать не положено, милая, наше дело такое: приказали — выполняй!

И Щербатов, не давая прислуге опомниться, быстрым шагом пересек прихожую, уверенно открыл половинку высокой двери и сразу же ее плотно за собой прихлопнул. Мгновенным взглядом окинул кабинет: два окна, рамы открываются внутрь — это хорошо, длинный книжный шкаф вдоль глухой стены, к нему вплотную примыкает широкий стол, заваленный бумагами, газетами, гранками и уставленный... пустыми бутылками. Из-за этих бутылок, словно из-за забора, на Щербатова глядел круглыми, как пуговицы, глазами молодой человек лет двадцати пяти. Узенькая, клинышком, борода была растрепана, как старый, редкий веник, на лбу мелким бисером блестел пот, а узкие, поджатые губы отливали такой темно-густой синевой, какая бывает только у покойников.

— Гранки, из типографии, — открывая баульчик и доставая из него револьвер, Щербатов совсем близко подошел

к столу и поморщился от крутого и застарелого винного перегара. Никольский, увидя револьвер, медленно поднял тонкие руки с трясущимися пальцами и обреченно не сказал, а как бы выдохнул:

— Я так и знал...

Теперь надо было стрелять не раздумывая, открывать рамы и уходить заранее присмотренным проходным двором, как раньше и делал Щербатов, не произнося ни единого слова.

Но он почему-то медлил, и сам не понимал — почему?

Никольский со всхлипом втянул в себя воздух, узкой щелью разомкнув темно-синие губы, и, не опуская поднятых рук, заторопился, заговорил, брызгая слюной:

— Я так и знал, что вы придете, я же последний из пятерки, и я устал, устал ждать, сам хотел наложить на себя руки, но вспомнил, что все-таки когда-то меня крестили... Избавьте... Всё — химера, всё «Освобождение» — химера, только кровь и насилие, и еще денежный еврейский мешок, а я устал... И вырваться уже невозможно, поздно... Вот, я не знаю, кто вы, но это безразлично, вот, я приготовил... — Никольский разворошил лежащие перед ним бумаги и вытащил плотно заклеенный пакет, — возьмите, там все написано, только дайте слово, что заберете с собой, когда меня убьете. Не оставляйте в моем доме этих бумаг, я прошу...

— Что это за бумаги?

— Это золото... экспедиция Гуттенлохтера в Сибирь... в ней был наш человек, Чебула...

— Спокойней, Никольский, все по порядку, рассказывайте с самого начала.

Никольский, захлебываясь, выложил все, что знал. Щербатов разорвал пакет, и в руках у него оказалась тетрадь Гуттенлохтера в клеенчатых корочках.

— А теперь стреляйте... Только сразу...

Щербатов опустил револьвер.

— Не делайте этого, не оставляйте меня в живых, — снова скороговоркой зачастил Никольский, — я боюсь, боюсь жить!..

Щербатов сунул револьвер в баульчик, туда же опустил тетрадь и вышел, закрыв за собой высокие двустворчатые двери. Все-таки каторга, где частенько приходилось скользить по тонкому лезвию между жизнью и смертью, научила его хо-

рошо разбираться в человеческих чувствах: он не раз видел, когда отчаявшиеся бедолаги сами лезли на пулю стражника и воспринимали ее как долгожданное облегчение. Но он такого подарка Никольскому не сделает. Нет, Щербатов не пожалел его, он просто понял, что для Никольского есть кара страшнее, чем смертельный выстрел.

— Ну что? — с тревогой спросила его высокая женщина, теребя на груди накрахмаленную наколку. — Что он?

— Да ничего, горькую пьет ваш Андрей Христофорович, — усмехнулся Щербатов.

На улице по-прежнему плыла осенняя морось.

### 37

На исходе ночи сильно подморозило, под конскими копытами и под колесами экипажа захрустел ледок — казалось, что кто-то разгрызает на молодых зубах куски сахара. Когда непроглядная темь стала редеть и на востоке обозначилась узкий краешек неба, над землей белой стеной встал снег. Крупный, лохматый, он валил хлопьями с ладонь и намертво глушил все звуки. Порою чудилось, что коляска не едет, влекомая лошаадьми, а плывет, сама собой, в беззвучной и сплошной пелене.

— Ты погляди, какие страсти, — бормотал возница, — так и заблудиться недолго...

Щербатов дремал, не прислушиваясь к его бормотанью, иногда открывал глаза, видел густые хлопья, даже пытался поймать их рукой и снова задремывал, безвольно роняя голову на плечо. Ему казалось, что и сам он плывет в неведомом пространстве, между землей и небом, отрешившись от всех дум и напрочь забыв о цели своей поездки.

Гулкий, тягучий звук медного колокола продавил густую стену снегопада и плавно, уверенно поплыл над землей. Удары колокола, следуя один за другим, становились все явственней, звонче, лошади, ободренные величавым гулом, пошли веселее, время от времени задорно всхрапывали, и возница, встряхивая вожжи, тоже повеселевшим голосом подбадривал их:

— Шевелись, родненькие, добрались до места, это к заутрене звонят...

Когда подъехали к монастырю, снег внезапно прекратился, будто его обрезали, а в утреннем еще неярком свете заблистали золотом купола. У высокой монастырской стены стояли несколько экипажей; дальше, у самого входа, уже сидели нищие и убогие. Монастырь, как узнал Щербатов, очень славился в округе и даже в столице, и сюда частенько приезжали люди знатных фамилий, чтобы помолиться и попросить у Господа защиты в житейских делах, потому как высокородные и богатые тоже не всегда бывают счастливы.

Щербатов выгреб из кошелька всю мелочь, какая у него была, раздал нищим и вошел через арочные ворота в монастырь. В храме уже шла служба. Двери были раскрыты настежь, и виделось яркое колебанье горящих свечей, слышалось стройное, согласное пение. Монахини показались ему вначале все на одно лицо и одного, неопределенного, возраста. Но приглядевшись, он стал различать, что стояли и истово молились уже совсем древние старушки и еще совсем юные девушки. И, конечно, все они были разными, а похожими их делала одинаковая отрешенность на лицах от всего, что не имело касательства к молитве. Щербатов осторожно передвинулся ближе к молящимся монахиням и замер, сглотнув тугой комок, когда увидел, что из-под черной ниспадающей материи выбился сияющий окон волос, которые когда-то так поразили его на фоне окна и кружевных штор в доме князей Мещерских. Как это было давным-давно! Да и было ли? Щербатов покачнулся и перекрестился дрожащей рукой. «Господи, укрепи!»

Служба закончилась, и монахини, вслед за священником, медленно стали выходить из храма, чтобы совершить крестный ход вокруг обители. В руках у них горели, трепеща яркими огоньками, свечи, и на лицах у всех скользил неверный, качающийся свет. Но и в этом свете успел разглядеть Щербатов родные черты. Татьяна чуть повернула голову, повела взглядом — и увидела Щербатова. Увидела и узнала его. Он это почувствовал, что узнала, и даже сделал невольный шаг вперед, но тут же и остановился, замер, потому как во взгляде Татьяны не промелькнуло никакого чувства — ни удивления, ни тревоги, ни радости. Она смотрела на него

отрешенно, как и на всех остальных, приехавших в столь ранний час на утреннюю службу. Прежняя Татьяна умерла, оставшись в прошлой жизни, ее не существовало в этом мире, мимо Щербатова проходила сейчас монахиня Феофания, и ей, монахине, уже не было никакого дела до бывшего лейб-гвардии поручика и тем более до нынешнего господина Петра Алексеева Петрова, томского мещанина. Щербатов отступил назад, опустил голову и так, с опущенной головой, вышел из храма, даже забыв остановиться на паперти и перекреститься.

Не оглядываясь, быстрым шагом пересек монастырский двор, миновал строй нищих и остановился, отыскивая свой экипаж. И зачем он только сюда приехал? Зачем? На что надеялся? На чудо? «Чудес не бывает, — спокойно подумал Щербатов, — я зря надеялся».

С неба снова повалил снег, но теперь уже реденький, мелкий, и он не закрывал ни монастырской стены, ни куполов, ни зубчатой стены соснового леса, подходившего вплотную к обители. Виделось даже, как раскачиваются колокола на колокольне.

— Вы никак свой экипаж ищите, господин Щербатов? Не ищите, мы его задержали ненадолго, — цепкие, сильные пальцы ухватились за локоть, — только не надейтесь глупостей, еще пальнете сдуру, а бежать вам некуда — тут кругом мои агенты. Меня, надеюсь, вы не забыли? Полковник Нестеров.

Щербатов обернулся. Перед ним, действительно, стоял полковник Нестеров, одетый в длинное мешковатое пальто и бобровую шапку. На плечах пальто, и на шапке толстым слоем лежал снег — значит, давно дожидается здесь. И даже дал возможность зайти в храм и увидеть Татьяну. Благородно, конечно, со стороны жандармского полковника.

— Ну что, Петр Алексеевич, пройдемте, у меня к вам много вопросов накопилось... — Нестеров чуть разжал пальцы и, по-прежнему придерживая Щербатова за локоть, повел его к низенькому крытому возку, стоявшему в отдалении от других. Отогнул полог, запорошенный снегом, и пригласил: — Прошу...

В возке было полутемно, и Нестеров не стал опускать полог. Забросив его наверх, долго разглядывал Щербатова, молчал. И вдруг неожиданно сообщил:

— А Никольский после вашего визита прямиком ко мне отправился. Предлагает свои услуги в качестве тайного агента. За какие доблести вы его помиловали?

— Пусть трясется всю жизнь.

— Хм-м... Да вы еще и знаток душ человеческих. Похвально, весьма похвально... Что мне с вами делать, Петр Алексеевич?

— Что хотите, то и делайте. Мне безразлично.

— Хорошо. Тогда приступим к допросу. Протокола пока писать не будем. Я могу надеяться на вашу откровенность?

— Вполне. Я же сказал, что мне безразлично.

— В ваши годы ставить крест на себе... Рановато...

— Господин полковник, в наставлениях и утешениях я не нуждаюсь.

— Тогда к делу. Каким образом у вас оказался список членов организации «Освобождение»?

— Его мне сообщил Хайновский.

— При каких обстоятельствах?

— При каких обстоятельствах... Весьма грустных, господин полковник. Я помог ему бежать с этапа, доставил в укромное место и там, под угрозой вот такого ужасного гвоздя, который иногда вколачивают конокрадам в пятку, Хайновский выложил весь руководящий состав «Освобождения», всех тех, кто вынес мне приговор, рядовые члены организации меня не интересовали...

— Где он теперь?

— Нашли с перерезанным горлом в Страшном логу. Очень темное место в Томске, там много убиенных находят, иногда и личность установить не могут.

— Кто вам во всем этом помогал?

— Этого от меня не услышите. Даже не утруждайтесь спрашивать.

— Как и при каких обстоятельствах вы совершали убийства членов организации?

— Здесь мне скрывать нечего... — Щербатов помолчал и стал подробно рассказывать, абсолютно ничего не утаивая.

Нестеров слушал, не перебивал. Время от времени сцеплял пальцы, хрустел ими, но лицо было непроницаемо. И лишь однажды, когда речь зашла о Никольском, отрывисто спросил:

— Что в пакете? И где сам пакет?

Щербатов замешкался. Тетрадь Гуттенлохтера, отправленная по почте, давно уже путешествовала в сторону Сибири, на адрес томского купца Дюжева.

— В пакете подробное описание чудских копей в Кузнецком крае. Якобы, в этих копиях хранится золото древних сибирских народностей. Описание вполне научное и вызывает очень большую степень доверия. По моим сведениям, Хайновский и некоторые члены еврейской общины в Каинске предполагали потратить золото на создание транзитного пути для сбжавших с каторги либо с этапа на всем протяжении от Урала до Владивостока. Похоже, что задумывалась целая система обеспечения и прикрытия...

— Я так и предполагал! — воскликнул Нестеров, поднял взгляд и, в упор уставясь на Щербатова, добавил: — Боюсь, что они ее все равно создадут. Денег у них хватит и без ваших копей. Кстати, где теперь пакет?

— У того, кому он изначально принадлежал.

— А сказали, что будете откровенным...

— Во всем, что касается лично меня.

— Станный вы все-таки человек, господин Щербатов. На моем веку таких, как вы, почти и не попадалось. И куда теперь стопы направите?

— Я так думаю, что меня повезут в ближайший участок.

— А вот этого, Щербатов, не дождетесь. Желаете полковнику Нестерову, старому служаке, который на сыске зубы съел, фитиль вставить? Не выйдет! Ну сами посудите, голубчик, что же это получается? Нестеров несколько лет ищет это проклятое «Освобождение», не пьет, не ест, ночей не спит, а извести его подчистую никак не может. И тут появляется этакий богатырь, судьбой обиженный, и — трах-тарарах! — в ореоле благородного мстителя. Да меня же паршивые газетчики испаскудят, как последнюю девку из публичного дома, мне одно останется — в отставку! Да еще и с позором. Один раз вас укупили с моей помощью на каторгу, теперь я делаю вид, что ничего не вижу, не слышу, не помню и никогда не знал. Прощайте, Щербатов. Последний совет: империя у нас велика и огромна, найдите место подальше от столицы и обо всем забудьте. Прощайте... Дай Бог, чтобы мы больше

никогда не свиделись. Идите, вон-о-н ваш экипаж стоит...

Нестеров из возка долго смотрел в спину уходившего Щербатова, и в глазах его, всегда непроницаемо уверенных, сквозила растерянная жалость.

Перепуганный возница крутил головой, озираясь во все стороны, и, едва только Щербатов уселся, как он с маху понужнул лошадей бичом и не сбавлял их хода, пока не отъехали от монастыря. Только верст через пять, бросив бич под ноги, возница обернулся:

— Ну и напугали они меня, господин хороший, я их сроду боюсь, городских да жандармов, я их как увижу, мне сразу тюрьма мерещится.

— В тюрьме тоже люди живут, — ответил Щербатов и добавил: — Правда, житье там скушное...

— Не приведи Господи, я уж тут как-нибудь с хлеба на квас перебиваться буду. А едем-то мы куда, господин хороший, в город обратно?

— Куда мы едем? Куда мы едем... До постоялого двора далеко отсюда?

— Версты две, однако, будет...

— Тогда останови, братец.

— А, по нужде... Тппрру, комар вас забодай...

Лошади встали. Щербатов открыл баульчик, достал деньги и протянул их вознице:

— Держи, братец, благодарю за езду. Дальше я не поеду.

— Не понял я ничего, господин хороший... Дальше-то как — пешком?

— Держи деньги, дальше я еще не придумал.

Возница пересчитал деньги, долго благодарил и после долго оглядываясь на Щербатова, одиноко стоявшего на пустой дороге, припорошенной свежим снегом и разрезанной извилистыми лентами тележных следов, — будто черные змеи ползли по белому.

Щербатов и впрямь не знал — куда ему дальше либо ехать, либо идти. Стоял под низким небом, под реденьким падающим снежком, посреди огромной русской равнины, и хотелось ему сейчас только одного — лечь на холодную, снегом прикрытую землю и умереть.

## Часть третья

### 1

— Фу ты ну ты, лапти гнуты, — Тихон Трофимович хохотнул и спросил: — Может, ты перед им и польку-бабочку плясать станешь?

— Наше дело такое, потребуется — спляшем! — Дидигуров маленькие свои ручки за спину завел и ловко, звонко выбил замысловатую дробь плясовой, будто медяки по полу рассыпал.

Тихон Трофимович захохотал еще пуще. Да и как было не развеселиться, наблюдая за шустрым и щедушным Дидигуровым, который разодел был в этот день в пух и прах: на ногах — блестящие, остроносые штиблеты с золочеными пряжками, на плечах — тщательно подогнанный, ни одной морщинки не маячило, великолепный фрак, а на хилой груди потрескивала до невозможности накрахмаленная манишка. И весь Феофан Степанович, нарядный и прилизанный, с легким, возбужденным румянцем на личике, сиял, как новенький полтинник, только что выданный в казначействе.

Сам Тихон Трофимович шибко наряжаться не стал: натянул на себя обычную пиджачную пару, бороду гребешком расчесал и решил — хватит. В конце концов, не к царю же на прием едут.

Ехали они на встречу с датским подданным мистером Гарденсеном.

А до этого была целая история.

Человек Дидигурова, отправленный в Курганский уезд, чтобы разнюхать и разведать в подробностях, как там ставят маслобойни и что из себя представляет новое дело, очень скоро подал весточку, из которой стало известно: новое дело покапталось у курганцев, как по маслу. Тамошние купцы уже успели побывать в Дании и везут оттуда сепараторы и инструкторов. А в данный момент находится в Кургане представитель датской компании мистер Гарденсен.

«Для дурной собаки сто верст не крюк», — рассудил Дидигуров и перевел своему человеку в Курган кругленькую сумму с одним-единственным наказом: Гарденсен должен быть в Томске. Уж как там изворачивался дидигуровский посланник перед датчанином — неизвестно, но результат явился отменный: со вчерашнего дня европейский гость пребывал в гостинице «Европа» на Магистратской улице. Вот туда и направлялись старые компаньоны для серьезных переговоров. Задумка у них была проста, как голое коленко: заключить с датчанином контракт на поставку сепараторов и иного оборудования для маслобоек, но заключить таким образом, чтобы денег сразу отдать только половину, а вторую половину — лишь после прибытия заказанного товара на место. Датчанин же, по сведениям дидигуровского гонца, держал линию своей компании и был неуступчив и непрошибаем, как кирпич, — деньги вперед и все до копеечки.

— Это мы еще посмотрим, — бормотал Дюжев, напяливая на себя богатую шубу, которую не любил носить, потому как больно уж широка и просторна она была — хоть в три раза заворачивайся, — мы еще поглядим, кто кого на хромой кобыле обскачет...

— Нам перед им подвигаться никакой возможности нет, — в спину ему, уже на выходе из дома, приговаривал Дидигуров, — может, у их в датских землях и есть такой порядок, а у нас не заведено. Ишь, удумал — вломи разом таки деньжищи, а после жди с моря погоды. Чуешь, чего говорю, Тихон Трофимыч?

— Да все я чую, как та собака, только твякать не дозволено. Ладно, не причитай, в драку вяжемся — разберемся...

Подпихивая друг друга, Дюжев и Дидигуров взгромоздились в кошевку, Митрич гикнул, и застоявшаяся тройка рванула с места, откидывая из-под копыт ошметья пухлого, еще не улежалого снега. День выдался с легким морозцем, с ярким и блескучим солнцем. Всё вокруг сияло и сверкало, будто родилось заново.

Магистратская улица, одна из главных в Томске, была в этот полуденный час многолюдной и разноголосой. С визгом и криком резались в снежки реалисты, позванивали колокольчики на входных дверях винных погребов, пекарен,



кондитерских, колбасных заведений и модных мастерских. Почти на всех домах висели торговые вывески, и Дидигуров, забавляясь, вслух прочитывал знакомые фамилии, растягивая их своим тоненьким голоском нараспев: «Ку-у-хтери-и-н и сыновья... а?!» И сразу же добавлял: «Тятя-то еще куда ни шло, а сыновья — тьфу, ветерок в голове!» И так, не останавливаясь, он перечислял томских купцов и в каждом из них, либо в наследниках, непременно находил изъян: тот жулик, тот пьяница, а этот... этот за копейку в церкви пернет.

— Ой, беда, и не говори, така беда, — не удержался Тихон Трофимыч и подал голос, — у нас в деревне все бабы бляди, одне мы с кумой честны!

Дидигуров намек понял и ненадолго примолк. Но тут же и вскинулся, как молодой петушок, задорно выкрикнул:

— Обскачем мы их, Тихон Трофимыч, помяни мое слово, и на хромоу кобыле всех обскачем! И Кухтерина, и Гадалова, и кто калибром помене!

— Ну-ну, — хмыкнул Тихон Трофимович и поплотнее запахнулся в свою необъятную шубу — хоть и не сильно морозно было, а встречный ветер пронизывал.

И больше ни единого слова до самой «Европы» не сказал. Покачивался, прикрыв глаза, думал, готовясь к долгому разговору с датчанином, и пытался представить: каков он из себя, заморский гость, что у него на уме?

Для переговоров на втором этаже гостиницы друзья-купцы откупили большую залу с огромными зеркалами, мягкими креслами и диванами, посредине которой стоял длинный стол под зеленым сукном с придвинутыми к нему стульями с высокими резными спинками — все чинно, благородно и с намеком: не абы кто принимает, а люди серьезные и при средствах. Тихон Трофимович по-хозяйски обошел все, оглядел и остался доволен.

В двенадцать часов, минута в минуту, в зале появился мистер Гарденсен, а при нем — молодой человек невыразительной наружности: маленький, тощий, словно приплюснутый, волосики — рыженькие, щечки — в прыщах. Рядом с Гарденсеном, высоким, дородным, до краев налитым природным здоровьем, молодой человек казался бледной поганкой, нечаянно притулившейся к ядреному грибу-боровику.

Познакомились, пожали друг другу руки, расселись за столом, по одну сторону — Гарденсен с помощником, по другую — Дюжев с Дидигуровым. Первым заговорил Гарденсен и заговорил жестко, напористо, словно топором отрубал каждую фразу. Молодой человек быстро переводил, и его тонкий, без перерывов льющийся голосок напоминал писк надоедливой комара:

— Моя компания известна во всей Европе, это очень серьезная компания, и она вступает в деловые отношения только с теми, кто может доказать свою состоятельность и кто обладает нужными денежными средствами. Русские еще не научились вести свои дела так, как это умеем мы, поэтому, ознакомьтесь с вашими предложениями, мы можем вступить в нужные отношения и заключить контракт, но поставки начнем лишь после того, как все необходимые средства будут уплачены.

— Ишь ты как! С места в карьер и все по кочкам... — Дидигуров пошоркал под столом подошвами новых штиблет и перебил переводчика: — Ты ему перетолмачь, у нас в Сибири люди степенные и дела ведут раздумчиво, пусть сначала нас послушает...

Молодой человек перевел. Датчанин выслушал, оттопырил нижнюю губу и кивнул головой.

— Так оно лучше, а то как с коня упал... Твое слово, Тихон Трофимыч...

— Мое слово недолгое будет, — Тихон Трофимович кашлянул в кулак, помолчал и вдруг, навалившись грудью на стол, будто лбом хотел достать Гарденсена, сидевшего напротив, напористо спросил: — А ваша компания что — одна-единишенька на всю Европу?

Датчанин подобрал нижнюю губу. Тихон Трофимович, не дожидаясь ответа, столь же напористо повел дальше:

— А известно ли господину Гарденсену, что скоро здесь чугунку построят? А известно ли ему, что в Барабе лучшие пастбища для скотины, что молоко у наших коровок — слаще не бывает? Мы тут такое дело разведем — маслом телеги мазать станем. А сепараторы эти паршивые, если он упираться будет, мы и в других землях найдем, на нем, слава Богу, свет клином не сошелся. И коли он опоздает, тогда не взъщи, дорожка перекрыта будет.

Выслушав переводчика, Гарденсен помотал головой:

— Мы всему охотно поверим и будем сотрудничать, когда денежные средства полностью окажутся в нашей компании!

— И дались же ему эти деньги! — искренне и негодуя воскликнул Дидигуров, — прямо жить без их не может!

Переводчик не удержался и хихикнул, сморщив гармошкой прыщеватые щеки. Гарденсен недоумевающе посмотрел на него. Переводчик посерьезнел.

— Если вы нам на уступку пойдете и первую партию поставите в рассрочку, — продолжал гнуть свое Тихон Трофимович, — вы здесь первыми будете. А кто первый успел, тому и пенка...

Но Гарденсен был упрям, как ездовой бык. Стоял на своем: сумма контракта должна быть уплачена однократно и полностью, и лишь после этого начнется поставка сепараторов.

Больше часа бодались. Вспотели. Тихон Трофимович хлопнул широкими ладонями по столешнице и радушно разулыбался, будто внезапно увидел дорогого родственника:

— А давайте-ка, господа хорошие, передохнем малехо и перекусим. На сытый живот и разговор приятней. Попрошу к столу пройти...

Первым поднялся и пошел, не дожидаясь согласия, в соседнюю залу, где был накрыт стол.

Хочешь не хочешь, а за ним следом двинулись и остальные.

В узком коридорчике, отделявшем залы, Дидигуров ухватил переводчика за рукав, спросил:

— Ты, парень, каких кровей будешь? Датских или нашенских?

— Московских...

— Оно и видно — хлипенькой. А при этом господине как?

— Служу в датской компании.

— Ишь ты, служишь, значит... А нам послужить не хочешь?

— Служу тем, кто платит.

— Оно, конечно, конечно, — Дидигуров чихнул, потянул из кармана наглаженный носовой платок, встряхнул им и высморкался, вытер под носом тщательно и, засовывая платок обратно в карман, глянул себе под ноги, ахнул: — Ах ты, да у тебя, парень, никак перстенек с пальчика свалился...

Проворно нагнулся и поднял с мягкой ковровой дорожки большой золотой перстенек с изумрудом. Пальчики у переводчика были тоненькие, почти ребячьи, и в толстый обод перстня вошли сразу два — указательный и безымянный. Дидигу-

ров же, проделав это с непостижимой быстротой, отступил на шаг, ручки отвел за спину, спросил, как ни в чем не бывало:

— А зовут-величают как вас?

— Александр Васильевич меня зовут, — переводчик сдернул перстенек с пальцев и воровато сунул его в карман, — Александр Васильевич Рагозин...

— Ну, а я Сашей буду звать, мне по-стариковски извинительно. Скажи-ка мне, Саша, у господина датского страсть какая-нибудь имеется — водочку, может, пьет, бабенок любит, али меха собольи глянутся... Не может такого случиться, чтобы у человека страсти азартной не наблюдалось...

— Не пьет, к женскому полу равнодушен, потому как атлет.

— Кто-кто, не понял?

— Атлет, любитель французской борьбы. Даже в цирках выходил бороться и коллекционирует все победы. Для этого специально с собой фотографический аппарат возит, чтобы победы эти увековечивать. У него из таких карточек целый альбом составлен.

— И шибко побеждать любит?

Рагозин развел руками — о чем спрашивать?

— Ой, пойдём, пойдём, а то мы тут с тобой задержались...

И Дидигуров проворно проскользнул из коридорчика в залу.

Стол был накрыт по-царски. Жареный поросенок держал в припухлых губах, облитых жиром, рясную веточку темной, переспелой брусники, каждая ягода — с мужичий ноготь, в фарфоровой посудине, изукрашенной по выпуклым бокам диковинными цветами, дымились пельмени, на длинном подносе возлежал, как живой, крутолобий таймень, золотистые и хрустящие даже от взгляда пироги с разной ягодой высились горками, пыхали жаром стопы блинов, только что скинутых со сковородок, янтарный холодец покоился в глубоких тарелках, а еще — кисель облепиховый, кисель смородиновый, кисель черничный, а еще — ядрышки кедровых орехов в сахаре, а еще — батарея винных бутылок разной емкости, а еще...

Рагозин ошарашенно уставился на стол, и остренький кадычок на тонкой шее задергался вверх-вниз, видно, слюну никак не мог проглотить парень. Гарденсен только глазами хлопал. А Тихон Трофимович ласково подталкивал его к столу, приглашая садиться.

Расселись.

И только Тихон Трофимович начал было командовать за столом, желая спросить у гостей, кому что наливать, как Гарденсен вскинул обе руки и быстро заговорил. Рагозин перевел:

— Господин Гарденсен не пьет вина и не может так много кушать неизвестных блюд, он просит подать овсяной каши...

Тихон Трофимович осекся на полуслове и сквасился. Один только Рагозин уверенно тыкал пальцем, показывая официанту, что наливать и накладывать. И, никого не дожидаясь, весело принялся за обед. Тихон Трофимович с Дидигуровым молчком глядели на Гарденсена, а тот ни к чему не притрагивался и поглядывал на стеклянные двери, правильно понимая, что именно оттуда ему должны принести овсяную кашу.

Но с кашей запаздывали.

От удивления у поросенка выпала из губ ветка брусники, две темные ягодки, оторвавшись, докатились до краешка стола и упали на пол. Тихон Трофимович в ярости размичал их ногой, но тут же осек себя и заулыбался, глядя на Гарденсена, думая при этом: «Вот и скаль зубы, как дурачок на Пасху. А ты и есть дурак чистопородный, без всякого подмеса, ничего не разузнал, не разнюхал, а разбежался — здрасьте вам, а оне вам — по шарам! И этот, пенек босой...» Недобро глянул на Дидигурова. Тот поднялся, манишку расправил и объявил:

— Я сию минуту, потороплю блюдо для гостя...

И почапал мелкими шажочками, тихонько прикрыл за собой стеклянную дверь.

Прошло еще некоторое время. Наконец-то принесли кашу. Гарденсен ел, а Тихон Трофимович смотрел на него, как на новые ворота, и никак не мог сообразить — что ему делать-то, о чем разговор вести? И Дидигуров не идет — где его черти носят?

Появился Дидигуров, когда Гарденсен доел кашу и поднялся из-за стола. Появился и зачастил, как ни в чем не бывало:

— Простите великодушно, что задержался, я тут нечаянно известие услышал — мужики на Ушайке нашу сибирскую борьбу показывать будут. Хочу съездить да поглядеть — уж до того глядеть любо, как они — раз, раз...

И тут Дидигуров, будто вспомнив давно канувшую молодость, так ловко изогнулся, так победно показал, как он супротивника на землю обрушил, что Гарденсен встрепе-

нул, передернув плечами, как от озноба, и выдернул из-за стола все еще жующего Рагозина, быстро стал его о чем-то спрашивать.

— Ты толмачь ему, толмачь, — скороговоркой подсказывал Дидигуров, — у нас мужики есть, борцы отменные, и они на речке борьбу устраивают, самые наилучшие мужики, против их никто устоять не может...

Тихон Трофимович угрюмо уставился на Дидигурова:

— Ты чо, спятил? Кака борьба? Каки мужики? Ты чо буровишь?

— Не встревай, Тихон Трофимыч, не рушь мой замысел... — и, отвернувшись от него, Дидигуров подскочил к Гарденсену едва ли не вплотную, продолжил той же сорочьей скороговоркой: — Пять наилучших мужиков бороться станут, а вот шестого седни не будет — извоз уехал. Така беда... Но все равно завлекательно... Ты его спроси, Саша, он не желает на борьбу поглядеть?

— Господин Гарденсен говорит, что ему очень любопытно поглядеть на сибирскую борьбу.

— Дак с нашим удовольствием покажем! Сей момент и поехали!

Две тройки, уже наготове, стояли у подъезда. Дюжев с Дидигуровым первыми вышли из гостиницы, на тротуарчике замешкались, дожидаясь Гарденсена и Рагозина.

— Ты какую хренотень выдумал? — снова приступил с расспросами Тихон Трофимович.

— Да после, после... — отмахнулся Дидигуров, — я не я буду, если не клюнет...

— Кто — петух в задницу?

— И такое может случиться, если планида от нас отвернется. Ты только под ногами у меня не путайся... Вот он, родимый, шествует...

Гарденсен появился на крыльце в длинном пальто, в теплой шляпе, горло было замотано ослепительно белым шарфом. Ступал он и впрямь важно, величаво. За ним торопился Рагозин и тащил укрепленный на треноге фотографический аппарат, замотанный в кусок черной материи.

— Это чо за беда, чо за... астролябия? — спросил Тихон Трофимович.

— Сказано тебе — не встривай! Ключнул он, ключнул! — Дидигуров проворно подбежал к Гарденсену, ухватил за локо-ток, словно девицу, повел к возку. Туда же усадил Рагозина с фотографическим аппаратом, и сам прилепился сбоку. Тихону Трофимовичу пришлось одному усаживаться к Митричу.

Свистнули-гикнули, и две тройки одна за другой рванули по улице. Ехали недолго. Вот и берег Ушайки. Большой круг с притоптанным свежим снегом, пообочь, на снегу, — шубы, шапки навалены. А в кругу — здоровые, ражие мужики в одних рубахах возюкаются друг с другом, перехватываются на поясах, подсекают противников хитрыми уловками и шлепают с маху наземь, да так важно — аж селезенки екают. Пар над ними стоит, будто в натопленной бане дверь открыли. На подъехавших господ никто даже и не взглянул.

Гарденсен, забыв о своей степенности, вдруг на глазах преобразился: пошел боком-боком, вскидывая голову, как боевой петух, холодные равнодушные глаза жадно заблестели, словно у пьяницы, увидевшего рюмку.

А Дидигуров, след в след, не отставая от него и не давая отставать Рагозину, докладывал:

— Самые наилучшие силачи наши собрались тут, сильнее их никого нет в округе! Как вам, господин Гарденсен, глянется?

Гарденсен мотнул головой и стал разматывать белый шарф, расстегивать пальто — все полетело на снег, рядом с мужичьими шубами и шапками. Под пальто у него оказался свитер, и свитер — тоже долой. Оставшись только в сапогах, в широких брюках и в голубом трико, которое плотно, будто приклеенное, облегло мускулистое тело, Гарденсен повернулся к Рагозину, коротко буркнул что-то.

— Он хочет бороться с самым сильным из них, — перевел Рагозин.

— Эй, ребята! Кто из вас тут самый могучий? — крикнул Дидигуров.

Жаркая схватка замерла, запыхавшиеся мужики подвинулись к гостям, разглядывали, не скрывая любопытства, Гарденсена.

— Вот, ребятки, побороться с вами желает гость наш иностранный.

— А нам чего — потопчемся! Только чтоб без обиды после и без подвохов, — коренастый, кучерявый мужик с русой бородкой выступил чуть вперед.

Рагозин быстро переводил. Гарденсен кивал головой.

— Ну чо, поехали? — мужик поддернул рукава серенькой застиранной рубахи и двинулся на Гарденсена. Сошлись, сцепились. Гарденсен сразу же попытался бросить мужика захватом через бедро, но тот ловко вывернулся и успел перехватить за руку, да так крепко, что Гарденсен только крикнул.

— Эй, эй, — заголосил Дидигуров, — дурак расейский, ты мне его порушить не вздумай! Саша, это не пересказывай!

Мужик после команды Дидигурова напор ослабил, и Гарденсен, воспользовавшись крохотной заминкой, поднырнул под него, заламывая руку, и, выпрямляясь, оторвал от земли, грохнул на спину, на обе лопатки. И сам навалился, не давая подняться.

— Вот как знатно! Вот как знатно! — радовался Дидигуров.

Гарденсен, ошалело блестя глазами, хрипло кричал что-то Рагозину, а тот суетился, расставив треногу фотографического аппарата, напяливал себе на голову кусок черной материи, а она все соскальзывала и соскальзывала. Наконец приладил. Гарденсен поднялся, руку картинно упер в бок, грудь напыжил, а ногу в сапоге поставил на грудь мужику, лежавшему на земле.

— Ну уж нет, господа хорошие! — мужик ладонью похлопал по голенищу сапога Гарденсена, — такого уговору не было. Ножку-то убери, парень, я теперь встану...

И встал.

Раскинул руки и двинулся на Гарденсена. Тот отступил и тоже изготовился. Снова сцепились. Дидигуров и крикнуть не успел, а Гарденсен, распластавшись на спине, соскребал каблуками снег до земли, пытался поднять голову и ронял ее.

— Зашиб! — заголосил Дидигуров, — зашиб, дубина!

— Да не, — протяжно отозвался мужик, — щас оклематся, вон какой кабан здоровый, его так запросто не упестаешь...

Протянул руку, помог Гарденсену подняться. Датчанин всхрапывал, встряхивал головой и никак не мог прочно утвердиться на ногах — его пошатывало.

Дидигуров исподтишка грозил мужику своим кулачком, а тот ухмылялся в бороду и бормотал:

— Такого уговору не было, чтобы меня сапогом топтать. Тоже мне, привезли хрена заморского, да я таких кидал и перекидывал!

— Ни копейки не дам! — визгнул Дидигуров.

— Да сунь ты эту копейку себе в задницу! Я и на свои выпью! Э, мужики, пошли, ну их к лешему!

Мужики разобрали одежду, оделись и, похохатывая, потянулись гуськом друг за дружкой, оставляя после себя притоптаный серый снег. Гарденсен глядел им вслед, сплевывал сукровицу с разбитых губ и все покачивался.

— Ключнул... вот тебе и ключнул, пердун старый, — ругнулся Тихон Трофимович, разгадав весь нехитрый замысел Дидигурова, — теперь он с обиды две цены заломит, не меньше... тьфу ты, зараза!

Гарденсен между тем очухался, утвердился на ногах и стал натягивать на себя свитер, пальто. Замотал шарф на шею, водрузил на голову шляпу, поманил к себе пальцем Рагозина.

— Господин Гарденсен говорит, что борьба была не по правилам, но тем не менее он уважает сильных людей и благодарит за доставленное удовольствие. Теперь он желает проехать в гостиницу и продолжить обед.

— Мухой домчим, — засуетился Дидигуров.

Через несколько часов в гостинице «Европа» явилась следующая картина: пышный, богатый стол был разорен дотла; Рагозин, свернувшись калачиком в уголке дивана, сладко спал и во сне улыбался, вполне счастливый. Дидигуров придерживал двумя руками собственную голову, чтобы не сронила она в тарелку с холодцом, и неведомо кому рассказывал:

— А я сразу сообразил — должна быть страсть у человека. И Никишку, приказчика моего, снарядил... да.. снарядил, значит... А по какого хрена я его снарядил-то? А надо было! Он и подрядил мужиков этих, в трактире нашел, договорился, чтобы поддались ему, а они ишь чо удумали... Атлеты! Ладно, не сердчай, Феофан Степанович, не сердчай, все как надо изладили, и никуда он, голубчик, от нас не делся. Вот он, родимый, тепленький...

Красный и потный, как после бани, Гарденсен скидывал на пол обглоданные косточки поросенка, туда же сгребал подвернувшиеся вилки-ложки и фужеры, расчищая себе пространство на столе, чтобы прилечь и отдохнуть. Но Тихон Трофимович всякий раз его останавливал и сурово вопрошал:

— А еще на полгода дашь отсрочку? Тебя спрашиваю!

Гарденсен, спотыкаясь, начинал говорить, но Тихон Трофимович его тут же перебивал:

— Ты мне не бормочи по-датски, ты мне по-русски головой кивни — дашь отсрочку или не дашь?

Гарденсен устало икнул и положил голову на стол. Протяжно, с легким присвистом, засопел.

— Ну вот, — развел руками Тихон Трофимович, — и поговорить не с кем!

Тяжело поднялся из-за стола и, не обращая внимания на бормочущего Дидигурова, твердо дошел до дивана, лег, положив ноги на Рагозина, и уснул.

На следующий день Гарденсена парили в бане, отпаивали квасом и веселого, чистенького привезли обратно в «Европу», где быстро и без лишних споров подписали контракт, согласно которому Дидигуров с Дюжевым уплачивали сразу только половину всей суммы, а вторую половину — после получения партии сепараторов.

Расстались, как родные.

Когда возвращались из гостиницы, Тихон Трофимович вдруг вспомнил:

— Ты с мужиками-то расплатился?

— С какими? — искренне удивился Дидигуров.

— Которые на речке боролись...

— Ишь чего захотели! Уговор какой был? Поддаться датчанину, лечь под него и не топорщиться. А они чего выкинули... Чуть было иностранного подданного не зашибли!

— Ну ты и гусь!

— Гусь не гусь, а яичко снес.

## 2

До самой полуночи тихо и споро шел снег. Когда он улегся и засиял, в избе стало светло. Феклуша от этого света проснулась. И сразу же вспомнила: скоро Покров, а в Покров у

Митеньки Зулина и Марьи Коровиной — свадьба. Гостей, сказывали, наприглашали несчитано: на свадебный поезд до Шадры, где молодые венчаться станут, двенадцать троек снаряжают, и тех, говорят, мало будет. А еще, говорят, печи у Коровиных и Зулиных день и ночь топятся, потому как за-года готовятся угощения, а подружки Марьи, собравшись по вечерам, под звонкие песни без устали лепят пельмени. Феклуша вздохнула и рукой придержала быстро-быстро заколотившееся сердце. Болит оно, болит, никак успокоиться не желает. Не отнимая ладони от груди, она поднялась с постели, подошла к окну, раздернула занавески и едва не грохнулась на пол от страха: с улицы на нее, облитый неверным светом, смотрел человек, весь в снегу, смотрел и не шевелился.

Одолев страх, Феклуша ближе подвинулась к окну и разглядела: Митенька. Стоял он, по всему видно, очень долго, снег не стряхивал, и намело на него целый сугроб. Робко, словно боясь спугнуть Феклушу, Митенька поднял руку и стянул с головы шапку, а саму голову низко опустил на грудь, осыпав с плеч снег.

Как ветром сдуло Феклушу в темные сени. Босая в одной исподней рубашке, она совсем не чуяла холода и дергала, дергала, совсем в другую сторону, дверной запор. Наконец, сообразила, отперла и настежь распахнула двери. Митенька был уже на нижней ступеньке крыльца, и Феклуша сверху, со всего маху, упала в его расставленные, донельзя холодные руки.

Одиноко, спросонья хрипло, взлаяла в светлой тишине собака на соседней улице, подождала, но ей никто не откликнулся, тогда она еще тьякнула пару раз для собственного успокоения и затихла. Ни шороха, ни звука, словно весь мир уснул намертво в этот глухой час полуночи, и только два сердца бухали соразмерно и часто, сливаясь воедино. Кожушок на груди у Митеньки успел покрыться ледяной коркой, и она под жаркой щекой Феклуши таяла, смешивалась со слезами. Ни слова не сказали друг другу, стояли не шелохнувшись, до тех пор, пока не опаматовались.

— Пойдем... — упавшим голосом обреченно позвала Феклуша.

— А отец?

— В Шадре он, в Шадру уехал, краснодеревщики там для церкви иконостас делают... Пойдем, а то я заледенела вся...

Свежий снег на ступеньках крыльца не отозвался даже скрипом, неслышно закрылась распахнутая настежь дверь, и только крепкий березовый запор чуть слышно стукнул о железную скобу, отделяя избу от всего остального мира и от лишних, ненужных глаз.

Загремел, будто жестяной, кожушок, сброшенный на пол, шлепнулась тяжелая, отсыревшая шапка, а руки Феклуши не останавливались и, вздрагивая, путаясь, расстегивали нахолодавшие пуговицы на рубашке Митеньки...

Ни о чем не думала Феклуша, ничего не загадывала, она только одно-единственное чувствовала: вот он, родной, рядом...

И сама, за руку, отвела и уложила его на свою девичью постель.

В неисправимой горечи короткое счастье вдвойне сладко, да только счастье ли это — горит, как спичка, и гаснет скоро.

И кончилось все под утро. Целования сладкие, речи горячие, уверения Митеньки, что он уведет ее убегом, что они обвенчаются тайно, переждут где-нибудь, а после вернутся и бухнутся на колени перед маменькой, вымолят родительского прощения; и согласие Феклуши бежать с Митенькой куда угодно, только бы жить вместе — все-все, что в жарких ласках казалось осуществимым и простым, поблекло и отлетело в сторону, как легкий дымок отлетает и развеивается при порыве ветра. Схлынула горячая искупленность, будто вода скатилась после разлива, и увиделось ясно на обнаженном песке: ничего этого не случится, это лишь желания, в которые хочется верить, но которые никогда не сбудутся.

Как сама завела в избу Митеньку, так сама и вывела его Феклуша, за руку, на крыльцо. Подняла голову, глянула на светлеющее небо, на котором тускло обозначились редкие звезды, прошептала:

— Пусть тебя Бог хранит, Митенька...

— Погоди, я... — начал было Митенька и осекся, потому как говорить было некому — мгновенно закрылась дверь, стукнул березовый запор и больше ни единого звука из избы не доносилось.

Митенька еще потоптался на крыльце и тяжело спустился по ступенькам. Зачерпнул полную пригоршню снега, остудил пылающее лицо и побрел прочь, не зная куда, оставляя за собой неровные следы.

По этим следам его и настигли Иван с Федором, когда он выбрался уже за околицу. Митенька, оглушенный переживаниями, даже и не слышал, как братья, оба на конях, вершни, сначала окликали его, а после, видя, что он не оглядывается, пустили бичи в дело — кони наждали, пробивая снег копытами до черной земли, и едва не стоптали бедолагу, махом догнав его. От конского храпа, а он раздался прямо над ухом, Митенька отпрянул в сторону, но сильная рука тут же ухватила его за воротник колушка, вздернула над землей и шваркнула вниз, как кусок теста на сковородку. Он екнул нутром, попытался вскочить, но Иван, слетев с коня, уже придавил его ногой, наступив на спину. Митенька выворачивал голову, желая увидеть, кто его сшиб, но видел только голенище белого пима и потрескавшуюся полу старого полушубка.

— Слезай, Федя, бичик покрепче перехватывай, — голос у Ивана спокойный, даже ласковый, хоть и задышливый после скачки, — поучим жениха на семейную жизнь будущую... Чтобы дом свой знал, а через чужие заплоты не перелазил. Ну, чего мешкаешь?! Сказал — слезай! Пори! По ногам! По ногам пори, чтоб думал, куда ими ходить!

Митенька хотел перевернуться, подтягивал под себя ноги, но Иван с такой силой прижулькнул его к земле, что не вздохнуть, а бич в руках Федора, взлетая и опускаясь, только посвистывал. Митенька не пытался больше вывернуться, не кричал, а молча, закусив до крови губу, терпел. А что ему еще оставалось делать? Не голосить же на всю округу, прося о пощаде...

Впервые в жизни били его старшие братья, да еще столь сурово. Знал Митенька распрекрасно — за что лупцуют, но душа смиряться не желала, голосила безмолвно от несправедливости и обиды. «Зарежу Марью, в первую же ночь зарежу, змею подколодную...» И едва только проскочила в горячей голове эта шальная мысль, как он ухватился за нее, будто голодный за краюху хлеба — намертво, не вырвать. Ведь все по-другому могло случиться, если бы Марья дорогу не перешла! Все из-за нее! Все! И Митенька уже не думал, что

выбор-то маменька сделала, он уже тонул в своей ненависти к Марье, и ненависть эта была столь неистовой, что даже боль от бича ослабевала.

— Ну и будет, — остановил брата Иван, — поучили и хватит. Подымайся, жених, невеста ждет.

Митенька поднялся. Иван шагнул к нему, ухватил обеими руками за грудки, вплотную притянул к себе, отдельно, как молотком по наковальне, отчеканил:

— Родову свою грязью мазать — последнее дело. Не брошишь — хребет сломаю, — отпихнул с такой силой, что Митенька, запнувшись пятками, задом сел в снег. — А теперь домой побежали.

Братья — на конях, а Митенька — впереди них, трусцой, прихрамывая сразу на обе ноги, потянулись к деревне. На крайней улице Иван скомандовал:

— Федор, скачи вперед, чтоб всем гуртом тут не маячить. А ты, жених, рядом ступай.

Так и до дома добрались.

На крыльце Митенька обмел пимы березовым голиком, потянулся к железному кольцу, чтобы открыть дверь, но Иван переиначил по-своему:

— Некого там делать. Шум да гам. Ступай-ка ты, братец, в подклет, и сам охолонешь, и нам доуки не будет. Ступай, ступай...

Митенька спустился с крыльца, толкнул низкую дверь в подклет. Здесь хранили солонину, тут же бочки с брусничной стояли, в углу лежали старые половики. На эти половики Митенька и улегся, вытянул ноющие ноги и закрыл глаза. Уснуть бы, заспать все, что случилось, но ничего подобного — сна ни в одном глазу не было. Дверь снаружи Иван запер на замок, подергал, проверяя — прочно ли? — и пошел, тяжело вздыхая, поскрипывая пимами по снегу.

Утром похолодало, но в подклете было еще не очень зябко. Митенька пригрелся на половиках, лежал и не шевелился. Вдруг откуда-то сверху донеслось:

— Митенька, а, Митенька, ты живой?

Обернулся на голос и невольно разулыбался. Подклет был перегорожен стенкой из тонких бревен, но не вплотную до потолка — оставалась узкая щель. Вот в эту щель Гаврюшка

и просунул свою головушку, тарашил глазенки на любимого дядьку.

— Се молсис, Митенька, живой аль нет? Я тебе санеску пинес, госяся, у бабуньки стыл.

Гаврюшка изловчился, перекинул ручонку через перегородку и уронил дядьке в подставленные ладони румяную, горячую шанежку. Митенька ее сразу же и в рот сунул — проголодался. А Гаврюшка, свесив головушку вниз, частил без перерыва:

— Бабунька говоит — тебя дезать тут до венца будут, а потом ты никуда не денесся... А тятя говоит — на Маске пахать мозно. Это се, весной запьягать ее станем? Я есе не видал, как на бабах пасут, посмотрим...

Развеселил любимый племянничек. Митенька смотрел на его шкодливую мордашу, и на душе становилось чуть легче.

— Ты не оборвись.

— Не, я тут есенку... — договорить Гаврюшка не успел, только глазенки округлил, головушку из проему убрал и загремел.

— Сильно ушибся? — спросил через стенку Митенька.

— Да не, тут солома... Ладно, посол я, а то хватятся — гьеха не обеесся...

Митенька снова улегся на половики, доел шанежку и долго смотрел на узкий зазор между верхним бревном стенки и потолком подклета. А ведь если бревно приподнять с одного края, можно его и из паза вывернуть. Митенька вскочил, нашел палку, и бревно легко подалось, вывалилось и неслышно упало на солому. Митенька протиснулся в узкую щель, перевалился на вторую половину подклета.

Злоба на Марью, неистовая, которая обожгла его еще там, за околицей, под бичом Федора, разгоралась так, что дрожали руки. Митенька закружился на одном месте и вдруг зацепился взглядом за старый ржавый нож с деревянной ручкой, который торчал в пазу. Выдернул его, толкнул вторые двери, не закрытые Иваном, и выскочил в ограду, а из ограды — на улицу.

Бежал он напрямки, через огороды, почему-то уверенный, что переймет Марью на улице — не в ограде ее дома, а в узком переулке, который откатывался от коровинской усадьбы к Уени.

«А ты согласишься на убивство — отпущу...» — откуда же голос этот? Да он ведь во сне его слышал, летом, когда начали строить церковь... И Митенька тогда не смог разгадать странный сон. А ведь сон этот обозначал одно: возьми грех на душу, убей — и станет легче...

Марья, как он и ожидал, выбежала ему навстречу в самом истоке переулка, широко раскинула руки и кинулась к нему, пытаясь обнять. Митенька зажмурился и со всего маху всадил ей нож в грудь. Марья даже не вскрикнула, только уронила разведенные руки и тихо, послушно опустилась на снег. И снег под ней сразу стал мокрым и красным. Митенька кинулся прочь, запинаясь, падая и вскакивая вновь, но не успел миновать переулок, как снова увидел свой ржавый нож с деревянной ручкой. Но что это? Нож торчал в груди у Феклуши! А сама Феклуша лежала посреди переулка, и снег под ней также был мокрым и красным.

Ноги у Митеньки подсеклись в коленях, он упал с разбегу и увидел над собой потолок подклета, увидел его до последней трещинки в разошедшихся плахах. Повернул голову: верхнее бревно стенки лежало на месте, в пазу, и в узкую щель только Гаврюшка мог просунуть свою головушку. «Господи, да это ж наважденье!» Сполз с половиков, встал на колени и принялся жарко молиться. Молился так, как никогда в жизни. «Ничьей смерти не желаю, нож в руки не возьму, как Богу угодно — так пусть и будет...»

Вечером, когда Иван выпустил его из подклета, Митенька предстал перед родными тихим, покорным и на все согласным...

### 3

Назначенный день свадьбы выдался солнечным, блестящим и в этом бескрайнем играющем свете искрились редкие, словно парящие в воздухе снежинки. Свадебный поезд взлетел на последний бугор перед Шадрой, взорвался свистом и визгом от восторга бешеной скачки и скатился разноцветным, гремящим бубенцами потоком прямо в деревенскую улицу, промелькнул по ней, взвихривая над собой ленты и концы полшалков, замедлил ход и остановился возле церкви.

Молодых повели на венчанье.



В церкви было многолюдно, колебались язычки свечей и особенно слаженно, громко пели певчие. Митенька шел к аналою, переставляя враз одеревеневшие ноги, и его пошатывало от волнения. Тогда Марья ближе прислоняла крепкое свое плечо и он обретал равновесие. Взгляд прояснился, он стал различать вокруг себя знакомые лица, ощутил на себе строгий взгляд шадринского батюшки, на миг возникло в памяти лицо Феклуши и тут же исчезло, растаяло, оставив под сердцем легкую, медленно уходящую боль. И когда наступил черед, он легко и твердо ответил: «Да».

После венчания долго усаживались в сани, ездовые кричали, что они вожжи не возьмут в руки, если их в сей же момент не обнесут по махонькой. Устинья Климовна уважила и собственноручно вдоль всего поезда прошла с большим подносом, на котором стояли рюмки. Мужики пили вино, крикали, разглаживали усы и бороды, разбирали вожжи, и кони, чуя нетерпение людей, нервно перебирали ногами, копытили притоптанный снег.

Вот и последнему ездовому досталась положенная и заслуженная им рюмка. Устинью Климовну под ручки усадили в кошевку, по серединке; по правую руку, грузно, так, что полоз скрипнул, уселась Настя, а по левую молодецки заскочил, беспрестанно крутя черной жуковатой головой, Захар Коровин.

— Ну, поехали!

И свадебный поезд ринулся в искрящемся свете в сторону Огневой Заимки.

Деревенские собаки, ошалелые от обилия лошадей и многолюдья, рвались, подсакивая к саням, лаяли истошно и кубарем откатывались назад, когда над ними оглушительно хлопал бич. Визгом своим и мельтешением они только поддавали пару в общую сумятицу, и кони еще злее рвали построжки, до невозможности ускорая и без того стремительную скачку.

Мелькнули и остались далеко позади крайние избы Шадры, вздыбился гладкой прикатанной макушкой бугор — и тоже остался позади. Впереди — ровная, прямая дорога, которая уходила в небо.

Марья выпростала ладонь из теплого рукава богатой шубы, взяла Митеньку за руку, крепко сжала и, наклонясь, горячо прошептала ему в ухо:

— Ты ни капельки не пожалешь, что на мне женился... За всю жизнь ни капельки не пожалешь...

Митенька согласно кивнул, но на пожатие руки невесты не ответил даже легким движением.

Гуляли три дня. Широко, с размахом. Молодые от усталости с ног валялись. А надо было еще к теще на блины ехать, а еще надо было отдельно родню угостить...

Захар Коровин или на радостях, или от расстройства забрался на крышу зулинского дома и там, на скользком оснеженном ребре, лихо взялся отплясывать, как молодой, заставляя столпившихся внизу гостей обмирать от страха. Одна только Настя спокойно глядела на раздухарившегося муженька и вздыхала: «Сверзится ить, дурак...» А сама подвигалась, приподнимая голову, готовясь к тому моменту... Вот он и грянул! Захар выкинул по-особому мудреное коленце, оснеженное ребро выскользнуло у него из-под ног, и он покатился, стучаясь головой о тесины, ахнулся с края крыши, и быть бы непременно беде, если бы Настя не успела принять его, как малого ребенка, на свои сильные руки.

— Настя, не кидай меня, — не унимался и на руках у нее Захар, — держи крепше, я тебя поцеловать должен!

И целовал свою благоверную так, что треск стоял...

Но всему бывает конец. Кончилась, слава Богу, и свадьба.

Настали будние дни. Марья вошла в большую зулинскую семью — и будто всю жизнь провела под этой крышей. Работящая, скромная, ко всем почтительная... Даже Устинья Климовна и та над ней не строжилась — причины не находила.

И никто, кроме Митеньки, даже не догадывался, что у девки творится на сердце. А творилось — никому такого не пожелаешь: муж от нее в постели отворачивается. Уткнется носом в стенку и — как умер.

Марья сначала рвала сердце, плакала втихомолку, а после переломила себя и переиначила по-своему. Митенька к стенке отворачивается, а она через него перелезает, и снова — личико к личику. Митенька на другой бок переваливается — и Марья не ленится еще раз через него переползти. Митеньке надоело винтом на кровати без сна крутиться, и решил он: коли уж надумал судьбе подчиниться, так подчиняйся полностью, без остатка.

И подчинился.

Марья, остывая, лежала счастливая, тихая, как вода в омуте, и в темноту едва слышно шептала:

— Ты, Митенька, ни капельки не пожалешь...

4

Снегу после Покрова навалило обильно. И сразу же придал мороз. Реки встали. По большим и малым трактам закрипели зимние обозы. В Огневой Заимке началась своя страдная пора — ямщицкая. С подрядами, как и всегда в начале санного пути, никаких хлопот не было: за осеннюю распутицу грузов накопилось преизрядно, и все их теперь в срочном порядке требовалось доставить в нужное место. Но Зулины от всех подрядов отказывались. И была на это веская причина. Еще до Покрова подал через Вахрамеева весточку Дюжев, просил никому не обещаться, а ждать его, Тихона Трофимовича, приезда. Подряд будет серьезный, и доверить его можно только Зулиным, только на них вся надежда. Соответственно, и оплата такая же, серьезная.

Зулины дюжевскому слову доверялись без оглядки, поэтому не суетились, откармливали коней и готовились в дальнему извозу.

А Тихон Трофимович запаздывал. Все не ехал и не ехал. Неделя мелькнула, другая. Иван с расспросами уже и к Вахрамееву сходил, тот как раз в лавке торговал, — нет ли каких известий? Известий не было.

— Да ты не сомневайся, сказано было — пускай ждут. Вот и ждите, никуда он не денется, — успокаивал Вахрамеев, — без езды не останетесь...

— Так-то оно так, а время идет... Ладно, подождем... — Иван отправился домой и по дороге встретил старосту Тюриня. Поздоровались, поговорили, и староста между делом пожаловался:

— Мужики все в извозе, а надо бы лесу подвезти, пока снегу не навалило по пуп. Амбар-то наш прохудился, вчера сам глядел — по весне нижние венцы менять надо. Вот и ломаю голову — как быть?

С незапамятных времен на отшибе Огневой Заимки стоял большой общественный амбар, куда каждая семья после жатвы отвозила свою долю урожая. На тот случай, если

грянет пожар или какая другая беда приключится, чтобы не остаться по весне без посевного зерна. Каждую осень прошлогоднее зерно заменяли на новое, а старое, по приговору схода, раздавали вдовам да калечным. Вот об этом амбаре общественном и хлопотал староста Тюрин. Иван сразу же проникся его беспокойством и предложил, не раздумывая:

— Мы пока свободные, от Дюжева весточку ждем. Поможем, чем можем, завтра и вывезем, еще бы кого-нибудь на подхват...

— Ну, спаси Господи, Иван Аверьяныч. Сложим их штабельком, укроем, и никаких забот не будет. А уж по лету и венцы поменяем. До завтраго, подмогу я соберу...

Тюрин заторопился вдоль по улице, а Иван отправился домой, чтобы подготовиться к завтрашнему дню. Вместе с Митенькой они выкатили в ограду длинные сани, специально сделанные для перевозки бревен, оглядели — все ли в порядке? — и составили рядком. Также заранее припасли веревки, крепкие березовые стяжки, чтобы бревна ворочать, — все сделали.

И на следующий день, когда у зулинских ворот появились мужики, откликнувшиеся на просьбу Тюриня, лошади были уже запряжены в сани, в санях лежали веревки и стяжки, а Митенька с Иваном держали в руках вожжи. Нисколько время не потеряли, сразу сели и поехали.

Через Уень успели накатать хорошую санную дорогу. Следы полозьев на ней ослепительно вспыхивали под солнцем, перемешивались, пересекая друг друга, и так отражали искрящийся свет, что глаза у всех невольно прищуривались.

Дорогу мужики коротали за разговорами и незлобиво посмеивались над Колей Симпатичным — добродушным, туповатым парнягой, который прозвище свое — Симпатичный — заслужил обличем: широкущий нос с большущими ноздрями, в каждую из них кулак можно было запихнуть, по всему лицу веснушки, как пятаки, рассыпаны, а вперемешку с веснушками — глубокие выбоины от оспы. Жили они вдвоем с матерью, душа в душу, и старая Агриппина не могла наглядеться и надышаться на свое чадо, тревожась лишь об одном — Коля ни в какую не желал жениться. Девочек сторонился, на вечерки не ходил, а в ответ на хитрые вопросы и насмешки протяжно, нараспев, басил:

— Мне маменька вот такую масальгу с мясом заварит, — разводил ручищами и показывал — какую, — я ее смолотил и сам частушки пою, без ваших девок. От девок писк один, а от писка у меня голова болит.

На сани Коля Симпатичный завалился, как на топчан, мохнашки под голову сунул, прижмурился и тут же начал похрапывать, ноздри широкого носа заходили, будто кузнечные меха.

— Миколай, а, Миколай... — окликнул его Иван Дурыгин.

— Ну...

— Миколай!

— Ну, я...

— Да ты проснись, я тебе новость сказать хочу.

— Ну, скажи... — Коля приоткрыл один глаз и перестал похрапывать.

— К тебе сваты завтра собираются.

— Каки сваты? Сваты к девкам ездят.

— Дак вот, коли ты на девок не смотришь, решили прямоком к тебе ехать.

— А зачем?

— Как зачем?! У вас красный купец, а мы красный товар привезли... Не успеешь глаза протереть, а уже под венцом стоишь.

— Да ну!

— Вот те и «да ну»! Прощайся с вольной жизнью — недельку погарцуешь, а там — женатый...

— Мне так не глянется, — Коля встрепенулся, сел и хлопнул мохнашками по колену, — шибко не глянется! А от кого сваты-то приедут?

— А я не сказал разве? — искренне изумился Иван Дурыгин, — само-то главно и забыл! От Дуньки Струковой сваты к тебе заявятся, она по тебе, Коля, все глазыньки выплакала!

Громовой хохот смахнул снегирей с верхушки старого тополя, и они брызнули врассыпную, растворяясь в студеном воздухе ясного дня. Дунька Струкова, старая-престарая бобылка, на улицу выползала только летом, чтобы посидеть на лавочке и погреть ноющие кости, а в зимнее время вообще не показывалась, и соседи только по дыму из трубы догадывались: жива еще, бедолага.

Коля оглядел хохочущих мужиков, будто впервые их видел, тяжело сообразил, что над ним пошутили, и укоризненно покачал головой:

— Ну и ботало ты, Иван, и вы таки же. Я и вправду испужался... — помолчал и, счастливо улыбаясь, добавил: — Мне и с мамкой любо-дорого.

Снова улегся, сунул мохнашки под голову, захрапел, но во сне продолжал улыбаться, вполне счастливый.

Дорога пошла снежней, непритоптанней, от лошадей повалил пар, и мужики слезли с саней, пошли следом за подводами. С тревогой прикидывали, что эти полверсты от намеченной порубки надо будет одолевать с тяжелыми бревнами и придется помяться.

— Ничо, проберемся, — говорил Иван Зулин, шедший сбоку саней с вожжами в руках, — первы подводы полегче нагрузим, они и притопчут.

Скоро добрались до места намеченной порубки. Быстро разобрали пилы, топоры, и вот уже первая сосна, дрогнув макушкой и осыпав снежную шапку, которая повисла на мгновение сверкающей дорожкой до самой земли, сначала лениво и нехотя, а затем все стремительней рухнула, вздыбив над собой белый столб. Мужики застучали топорами, обрубая сучья, заширкали пилами, сразу же раскряжевая сосну на ровные бревна.

Снегу было изрядно, едва не по пояс. Митенька взял деревянную лопату, пошел огребать сосны, намеченные к валке, потому как пилить в сугробе было неловко, а оставлять высокие пни — этого сроду не допускали. Откидал снег от одной сосны, от другой, разогнулся передохнуть и увидел совсем неподалеку калиновый куст. Тяжелые, перезрелые ягоды, собранные в гроздь и насквозь прохваченные крутым морозом, ярко атели из-под белого снега и невольно притягивали к себе взгляд, словно предлагая попробовать на вкус. Митенька отставил лопату в сторону и побрел к калиновому кусту, уже представляя, как ледяные ягоды заставят сморщиться от кислого своего вкуса.

Добрел до куста, нагнул нижнюю ветку и потянул на себя, ощутил на руке сухой, сыпучий снег — и тут же услышал за спиной глухой, нутряной рык. Вскинулся, оборачиваясь,

запнулся и повалился на спину прямо в середину куста. Эта оплошка и спасла его. Медведь-шатун промахнулся в страшном своем прыжке, тяжело рухнул рядом, обдавая тяжелым, душным запахом, и сразу же рванулся, разламывая и раскидывая в стороны куст калины, с которого густо и бесшумно сыпались ягоды. Митенька хотел крикнуть и не смог — голос пересекло, только услышал, как хрипло и страшно заржали лошади, и тут же резкий удар настиг его, вышибая из сознания. Медвежья лапа с раскоряченными когтями косо прошла по голове Митеньки, но удар смягчила шапка, соскользнувшая с головы. Уже в беспамятстве, елозя ногами и пытаясь отползти, Митенька тонко и пронзительно закричал, как кричат только в смертный час, надеясь лишь на чудо, которое сохранит жизнь.

Медведь от этого крика зарычал еще утробней и, выбросив перед собой лапы, коротко прыгнул, подгреб Митеньку под себя. Тот еще дергал ногами, упирался в холодную воняющую шерсть руками, пытаясь скинуть с себя тяжесть, но медведь уже и не чуял этих жалких дерганий, трепал и ломал под собой человека, будто тряпичную куклу, безвольную и податливую.

Первым очнулся, несмотря на свою валоватость, Коля Симпатичный. Взвился и пошел отмахивать огромными скачками, казалось издали — будто и земли не касается, будто снег ему обжигает ноги и потому он летит, как по воздуху. И вот так — с лету, с размаху — Коля всадил топор по самый обух в медвежий загривок. Медведь рванулся, пытаясь подняться, но Коля дернул топор, застрявший, словно в березовой чурке, раз, другой и, вызволив, снова рубанул медведя. Зверь все-таки развернулся, буровя снег задом, выкинул лапы, готовясь прыгнуть, но Коля опередил — с хрипом падая вперед, со всей силы, какая только была, опустил окровавленное лезвие топора на медвежью голову. Удар был столь тяжким, что топориче хрустнуло и в руках у Коли осталась только переломленная, расщепленная палка. С оглушительным ревом зверь выпрямился, чтобы подмять и растерзать человека, но Коля кинулся вбок и теми же огромными скачками, почти не касаясь земли, ломая ветки и оставляя за собой всплески снега, ломанулся к саням.

Медведь прыгнул на пустое место, попытался вскочить — и не успел: подоспели мужики с топорами...

5

— Господи, с маменькой-то чо будет, — бормотал Иван, когда подъехали к дому и распахнули ворота в ограду, — она ж с ума сойдет, если увидит...

Устинья Климовна тихо охнула и застыла, глядя, как Митеньку осторожно опускают на лежанку. Он лишь судорожно зевал, и тогда среди сплошного, красного и живого мяса размыкалась темная дыра.

Выскочила Марья, жутко заголосила, как на похоронах. И от этого воя Устинья Климовна будто опаматовалась. Вся выструнилась, вскинула голову, словно выше ростом стала, и сверху сурово прикрикнула на домашних:

— А ну живо хайло закрыли! Воду греть ставьте! Скорей поворачивайся! Скорей!

Подстегнутые ее криком, домашние засуетились, затопили печку, поставили греть воду. Устинья Климовна сама принесла пучки трав из своей светелки, заварила их, велела остудить настоей. Промокнула в этом настое чистую тряпицу и недрогнувшей рукой взялась обтирать изуродованное, разорванное лицо Митеньки. Тот не издавал ни звука, только по-прежнему изредка разевал рот, и сиплое, тяжелое дыхание вырывалось изнутри тела.

— Иглу накали на огне. Слышь, Иван? И нитку суровую, — не оглядываясь, скомандовала Устинья Климовна.

Сама заправила нитку в иголку, мелко перекрестилась и щепотью соединила распластанную живую плоть, чтобы проколоть ее и зашить. Не разгибаясь, беззвучно, она колдовала над Митенькой, пока не закончила своего тяжелого дела. И только после этого поднялась, отерла потное лицо, вздохнула и снова скомандовала:

— Раздевайте...

Митеньку раздели. Устинья Климовна быстрыми пальцами ощупала тело сына, истово перекрестилась — кости были целы. Но раны — страшные.

И опять кипятили воду, снова Устинья Климовна заваривала травы, замешивала мазь, перевязывала Митеньку, заставляя старших сыновей переворачивать его с боку на бок. Марья

собирала с полу изорванную одежду, прижимала ее к лицу и, боясь плакать в голос, лишь тихо-тихо всхлипывала, все ниже и ниже опуская полные плечи.

В доме стояла тишина, даже ребятишки не шумели. Забившись на полати, они тесно прижимались друг к другу и сверху тарасили глазенки на бабку и на всех, кто суетился возле лежанки. Лишь один Гаврюшка неотступно, столбиком, стоял в ногах любимого дядьки и шептал, опустив голову, расквасив губешки:

— Митенька, ты живой будь, живой...

Всуете его ненароком отталкивали, отпихивали, но он опять упорно заступал на прежнее место и продолжал шептать:

— Митенька, ты живой будь...

Закончив врачеванье, Устинья Климовна едва разогнувшись, спотыкающимся шагом добрела до лавки, присела. Долго и невидяще глядела в стену остановившимися глазами, затем поманила к себе рукой Ивана, тихо спросила:

— Как случилось-то?

Тот присел рядом, начал рассказывать. Устинья Климовна слушала и не перебивала; сморщенные руки, лежащие на коленях, вдруг начали вздрагивать, и тогда она сжала пальцы в сухонькие кулачки. Дослушав, закрыла глаза, вздохнула. На старческую щеку одиноко выкатилась мутная слеза и заблудилась, затерлась в морщинах.

К вечеру уже вся Огнева Заимка, от мала до велика, знала, что младшего Зулина заломал медведь-шатун. Новость обсуждали на все лады, она обрастала небылицами, потому как каждый добавлял, что ему прислышалось, и до Феклуши она докатилась в жуткой безысходности: Митенька при смерти и вот-вот отдаст Богу душу, Устинья Климовна велела старшим сыновьям гроб ладить.

Земля под ногами Феклуши качнулась, вода из ведер — она как раз от колодца шла, — плеснулась на снег и на юбку, и плескалась по дороге до самого дома, потому как Феклуша то шла рывками, то останавливалась, замирая, и снова срывалась с места, мелко перебирая ногами. Уже дойдя до дома, до самых ворот, Феклуша скинула с плеч коромысло и бросилась на бугор, к церкви.

Бежала так, будто за ней гнались волки. Запиналась на ровной дороге, несколько раз падала, вскакивала и неслась еще

быстрее, не чуя под ногами земли. Вымахнула на бугор, взлетела на приступок, настеленный еще на живульку из толстых плах, и, помедлив, вошла в церковь.

Там было пусто, пахло деревом, на некрашеном еще полу сухо потрескивали свежие стружки. Иконостас был уже готов, и иконы, заказанные Дюжевем в Сузун-заводе, где на всю округу славились иконописцы, на днях доставили в Огневую Заимку и бережно установили. Теперь суровые лики безмолвно взирали на людей, словно хотели что-то строго спросить с них. Перед этим новым иконостасом и остановилась, замерла Феклуша, а затем медленно опустилась на колени и так же медленно осенила себя крестным знаменем. Губы ее беззвучно зашевелились, шепча горячую молитву.

Плотники, работавшие в церкви, издали поглядывали на нее, но с расспросами и утешениями не лезли, занимаясь своими делами. А Феклуша все молилась и молилась, не поднимаясь с колен. День скатился к вечеру, темнеть стало — она даже спину не выпрямила. Два раза подходил Роман, трогал ее за плечо, говорил успокаивающие слова — Феклуша и головы не повернула в его сторону.

Простояла она на молитве до следующего утра. Сухими, молящими глазами истово смотрела Феклуша на иконостас, и губы продолжали шевелиться в беззвучном шепоте. Не слышала она, как скрипнула дверь, не различила легких шагов и прервала свой горячий шепот лишь тогда, когда услышала за спиной голос Устиньи Климовны:

— Ступай домой, девка, вымолила ты его, лучше стало...

## 6

Тихие снегопадные дни быстро кончились. Круто заломили морозы, и луна по ночам висела над землей в оранжевом ободке.

— Прямо не луна, а луница, черт бы ее побрал, — досадовал Тихон Трофимович, шлепая босыми ногами по половицам и поглядывая в окно поверх занавески, — ишь пялится, как баба гулящая — никакого сна нету...

— Да что оно с какого рожна на сон-то потянет? Целый вечер сидим и никак один графинчик осилить не можем, — подал голос Боровой.

— Ты пей, пей, на меня не гляди, я старый.

— Ну а я молоденький, зеленый, как вино. Пожалуй, и плесну. Эх!

Боровой выпил, крикнул и прямо ручищей загреб из чашки пригоршню крупной клюквы, уже успевшей оттаять. Поморщился, помотал головой и признался:

— А все равно у меня душа горит, Тихон Трофимыч. Горит... Кто же мне подсуropил-то? Раз-два, и, как щенка паршвого, за дверь выкинули... А? Это как? Беспорочного служаку!

— Так уж и беспорочного? Эка — девица невинная!

— Ну, бывало, принимал... подношения. Но слуга государев я верный был. Таких верных поискать надо!

— Вот и поищут, взамен тебя. Ладно, хватит жалиться. Ты сам-то догадываешься — почему так выплясалось?

Боровой помотал головой — «не знаю». А выплясалось, надо сказать, совсем криво. Внезапно к Боровому нагрнуло с проверкой начальство — нашли, как он клялся, кой-какие мелкие орехи, но пыль подняли — до потолка, и шум — до губернатора. В оторопелости Боровой не успел и голову крутнуть на своей бычьей шее, а его уже и со службы выставили — ступай, милый, куда захочешь, а на пропитанье тебе Бог подаст...

Так ничего до конца и не поняв, Боровой заявился к Дюжеву, и вот уже три битых часа они рассуждали, ломали головы, пытались понять причину начальственного гнева, но ответа им не маячило. Одно было ясно: выставили Борового со службы не за мелкие грешки, обнаруженные при внезапной проверке — причина иная была, более важная, но вот ее-то и утаили.

Хотя, если честно, Тихон Трофимович подозревал, что давний его знакомец хитрит: не иначе сорвал с кого-то крупный куш, вот и отомстили, а он не признается и корчит из себя сиротину приютскую. Водился за бравым Боровым такой изьян: поймать на позорном деле иного знатного и богатого туза, который огласки боится больше, чем каторги, и за свою услугу — никому ни слова, молчок, тс-с-с... — запустить волосатую лапищу в пухлый кошелек. Один такой случай Тихон Трофимович знал доподлинно, потому как сам участвовал в высоких переговорах, выручая Дидигурова.

Крупно не повезло тогда дюжевскому компаньону, пролетел Степан Феофанович, как дурная пуля, — со свистом! Авсе блуд... Решил на старости лет именитый купец разговеться

и завел себе пышную — груди, как два чугуна ведерных, — развеселую макаташку. Тихон Трофимович даже имя ее запомнил, нездешнее, — Клеопатра. Или, как звал ее в приливе нежных чувств Степан Феофанович, — Клепа-Клепочка. Говорила она, что из ссыльных полячек и даже, якобы, наполовину из графских кровей состояла. Вот и потянула графская кровь на нехитрый замысел: обчистила Клеопатра пьяненького Дидигурова в гостиничном номере, как липку. Да мало того, что всю наличность выгрехала, еще и бумаги деловые с вексельями прихватила, которые у Дидигурова в отдельной папочке лежали. Их бы, бумаги-то с вексельями, в контору сначала завезти после разговора с компаньоном, тем же Дюжевским, а после уж в номера шастать. Да, видно, невтерпеж было... Никуда заезжать не стал Дидигуров, напрямик — в гостиницу... Гули-гули, воркованье, а утром очухался — мама родная, дай воды холодной! Ни денег, ни бумаг, ни векселей, а самое потешное — Клеопатра и штаны уперла, хоть в исподниках домой возвращайся. Ну, штаны-то ладно, нашли штаны, сам Тихон Трофимович и привез ему, а вот с бумагами и вексельями — дело аховое.

Тогда-то и пришлось Тихону Трофимовичу, выручая компаньона, идти на поклон к Боровому. Тот расспрашивать стал — какая она из себя, Клеопатра эта? Какого роста, какого цвета глаза и волосы, как говорит, как ходит, да нет ли на левом мизинчике большой родинки, издали на перстенец похожей? Пришлось звать Дидигурова, чтобы он на все вопросы ответил. Степан Феофанович долго мялся, отнекивался — ну никак ему не хотелось, чтобы кто-то еще, кроме Дюжева, про это происшествие ведал. Но деваться некуда, пришлось и ему с Боровым встречаться, отвечать на все его расспросы, да еще и удивляться — откуда тот про родинку на левом мизинце знает? «Служба у меня такая, — хмыкнул Боровой, почесал мясистый загривок и дальше заговорил, как по писаному, будто бумажку читал: — Тютюкина Капитолина Никифоровна, двадцати восьми лет от роду, из мещан, вероисповедания православного, по кличке «Графиня». Быстро входит в доверие к состоятельным людям. В год совершает не больше одной кражи, но крупной. Представляется домашней учительницей, либо служащей Сибирского отдела Императорского Русского Географического Общества, либо Технического Общества, либо Общества ис-

следователей Западной Сибири, что дает ей возможность везде обозначаться как приезжей. Ну, а дальше — скука... Вошла в доверие, обворовала... Такая вот Клеопатра Никифоровна... Чо, на сладенькое потянуло? И сколько нынче сладости такие стоят, а, Степан Феофаныч?»

Дидигуров на стуле заерзал, засопел, ногами в пимах под столом зашоркал, но признался — сколько... И векселей, и денег. Боровой только присвистнул — кругленькая получилась сумма. Пообещал, что все возможные меры примет, девицу Тютюкину разыщет и украденное, если оно к тому времени уцелеет, возвратит. Само собой разумеется — без огласки. И выполнил обещание — разыскал девицу Тютюкину, вернул Дидигурову векселя и деловые бумаги, а также деньги. Во сколько обошлось «без огласки», узнать не удалось даже Тихону Трофимовичу. Дидигуров в ответ на такой любопытный вопрос лишь вздохнул и стал жаловаться на здоровье, которое совсем похильнулось, особенно по ночам донимают сердцебиения... Больше Тихон Трофимович его ни о чем не спрашивал, только посоветовал принимать перед сном касторовое масло.

Глядя сейчас на Борового и вспоминая давнюю историю с Дидигуровым и девицей Тютюкиной, Тихон Трофимович все-таки склонен был думать, что гость хитрит, чего-то утаивает. Да и ладно, его дело, а мужик-то надежный, проверенный, придется пособить.

— И куда ты теперь сани свои направлять станешь? — спросил он Борового, пытаясь заглянуть тому в глаза и угадать потаенные мысли. Но глаза у Борового, весело-пьяненькие, так и мечутся под белесо-поросычьими ресницами, будто все разом оглядеть желают и ни на чем не останавливаются.

— А я и сам не знаю, Трофимыч, куда мои сани выползут. Семейно-то кормить надо, девок замуж выдавать, у меня их пять голов, девок-то, и все неказистеньки, в тятю на личико удались. Вот и посуды. Припрет безденежье — куда мне? Под мостом с кистенем стоять? Так меня там варнаки по старой памяти зашибут сразу! Эх, крути не крути, Трофимыч, а я как на духу — принимай на службу к себе!

— И в каком ранге-звании тебя принимать?

— Да в каком хошь! Я не гордый... Надо будет — я и с Митричем на облучок рядом сяду.

— Облучка по твой зад не хватит.

— Эка беда! Дошшечку приколотим.

Тихон Трофимович только хмыкнул — на каждую загогулину у Борового готовый ответ имелся. А ведь придется брать его к себе на службу, никуда не денешься — надо выручить по старой дружбе. Тихон Трофимович поднялся из-за стола, прошлепал по полу босыми ногами, у окна остановился и долго смотрел вверх кружевной занавески на стылую луну. Оранжевый обод, опоясавший ее, понемногу редел, истончался.

— Однако, потеплеет к утру, — раздумчиво произнес Тихон Трофимович, — вот с утрачка и поедем...

— Куда? — встрепенулся Боровой.

— На кудыкину гору счастья искать... В Огневу Заимку поедем, я все никак собраться не могу, а там дела ждут. Заодно и про твою службу на вольном ветерке подумаем. А теперь давай спать.

— Спать так спать. Еще одну капелюху на сон махну... — Боровой всклень набухал водки в пузатую рюмку, выпил ее одним глотком и зябко, как от мороза, передернул плечищами: — Ах, хороша, зараза... И когда я только разлюблю тебя?!

## 7

Зимний тракт скрипел коваными полозьями, кряхтел от мороза и окутывался летучим паром. По краю степи, на горизонте, лениво катилось блеклое солнце, такое же холодное и негреющее, как и вся округа. И лишь одни колокольчики под резными, крашеными дугами заливались звонко и живо, будто радовались этой стыни, накрывшей землю и поднявшейся в небо. Митрич горячил тройку, обгонял медленно ползущие возы, иногда обгонял так рискованно, что чуть не цеплялся за розвальни, и тогда ямщики ругались вослед, грозились бичами, да толку-то — дюжевская тройка скоро терялась из виду.

Боровой, завернувшись в шубу, спал, как сурок, и от мочу-чего храпа воротник так трепало, словно на улице была паде-ра. Тихон Трофимович время от времени тыкал его под бок:

— Да передохни ты, сердешный, оглушил напрочь...

Боровой встряхивался, замолкал и тут же снова намертво засыпал, сначала чуть слышно посапывая носом, затем начал посвистывать и вдруг, без всякого перехода, по-конски всхрапывал и воротник будто оживал. Ни толчки на колдобинах, ни крики ямщиков, ни звон колокольчиков — ничто не нарушало праведного сна бывшего государева слуги.

Летели, проскакивали под лошадиными копытами версты, одна за другой, порошило легкой снежной пылью, и бойкое движение невольно настраивало на неспешные думы. Тихон Трофимович думал о том, что надо отправлять Зулиных с обозом в Тюмень, куда скоро по чугунке должна была подойти первая партия сепараторов от Гарденсена, думал о том, что пора уже освящать церковь в Огневой Заимке, а еще думал о том, что в последнее время не успевает он управляться со своими обширными делами, и только, досадуя, замечает: там прореха обнаружилась, здесь недоглядел... А как везде поспеть — ума не приложить, хоть разорвись. Тяготили его эти бесконечные кружения в одних и тех же заботах. Покоя хотелось, неспешности. Да где их взять?

Между тем уже замаячило впереди крайними своими избами Оконешниково, и Тихон Трофимович велел Митричу править к постоялому двору. Пора было обогреться и попить чайку.

На площади перед постоялым двором, как всегда, шум и гам, толкотня, от саней и коней повернуться негде. Митрич едва-едва пристроился, начал выпрягать тройку, чтобы лошади не остыли на морозе после долгой скачки, а Тихон Трофимович растолкал Борового:

— Прибыли, господин хороший, пойдем чайку пошвыркаем.

— Чай — не вино, шибко много не осилить, — Боровой потянулся с хрустом и вылез из кошевки, путаясь в длинных полах шубы. Зевнул, оглядываясь, и удивленно воскликнул: — Никак Оконешниково?! Ну, Митрич, тебе бы губернаторские эстафеты гонять!

— Да куда нам до губернаторских! — заскромничал Митрич, хитровато ухмыляясь в бороду, — мы — дюжевски, нам казенной платы нету, нам быстрее губернаторского надо поспевать... Так иль нет, Тихон Трофимыч?

— Так-то так, да не совсем, Митрич... Сначала сбрыкал, а после спрашивашь — как? Коли сказал, на том и стой, не оглядывайся. Ладно, пошли, а то все нутро застыло.

Половой, только завидя Дюжева, который показался на пороге, разбежался со всех ног:

— Милости просим, Тихон Трофимович, вот за этот стол усаживайтесь. Чего изволите?

— Чаю, чаю для начала, покрепче.

Не успели глазом моргнуть, а на просторном столе, накрытом чистой скатертью, уже пытел самовар, поблескивая на боках медалями и вензелями. Горячий, обжигающий чай пили с морозу в охотку — до обильного пота. Похрустывали белым комковым сахаром, закусывали мягкими шаньгами.

По сторонам оглядываться было некогда, и никто не заметил поначалу, как с краешку стола примостился, будто из-под пола выдулся, престранный человек. Длинноволосый, с жиденькой, уже седой бороденкой, одетый в немыслимую рваную хламиду, в которой уже нельзя было угадать, чем она первоначально была — то ли пиджаком, то ли поддевкой, то ли рубахой. Одну руку человек прижимал к груди и там, у груди, под грязным тряпьем, что-то едва заметно шевелилось. Боровой подозрительно потянул носом, принялся и сурово глянул на неожиданного соседа:

— Ты бы, братец, переселился куда подальше...

От человека и впрямь так крепко припахивало, будто он явился из хлева, где убирал навоз.

— Я понимаю, господин хороший, — поспешно заговорил человек, обращаясь почему-то к одному Дюжеву, — прекрасно осознаю, что лицезреть мой ничтожный образ удовольствия не доставляет, но я прошу набраться терпения и выслушать меня. Окажите божескую милость в моем трудном положении. У вас глаза хорошие, я сразу увидел — хорошие...

— Ну?! — грозно спросил Тихон Трофимович и отставил в сторону блюдце с чаем.

— Понимаете, господин хороший, — заторопился человек, боясь, что его не дослушают и прогонят, — понимаете, по причине моей запойности и бедственного положения, я могу загубить очень близкое мне существо, которое ни в чем



не виновато. Возьмите ее, она расходов никаких не требует, так, по малости, а вам радость большая будет. Я от отчаянности вынужден, но никто не берет, все смеются, а мне до слез жалко, что она погибнет из-за меня. Вот...

Человек разгреб на груди тряпье, вытащил маленькую кошечку. Она была абсолютно белой, и только на лбу, будто солнышко, маячило рыжее пятнышко. В дрожащих руках хозяина кошечка доверчиво выгнулась и прижмурилась, подняв розовый носик. Пушистый хвостик заплясал, изогнулся колечком и притих. Неверные, вздрагивающие пальцы с черными ободьями грязи под ногтями почесали ее за ухом, кошечка замурлыкала, и серое, изжультканное, как тряпка, лицо человека перекосилось — он всхлипнул. Но тут же переборол себя, заговорил по-прежнему торопливым голосом:

— Это все, что у меня от прежней жизни осталось, пусть живет, я-то погибну, а ее жалко...

— И какая она, прежняя жизнь, у тебя была? — спросил Тихон Трофимович.

— Долго рассказывать, да и не хочется. А была она, — человек задумался и выдохнул: — Счастливая!

— Решь ты все, братец, — вмешался Боровой, — нутро у тебя печет и опохмелиться хочешь. А кошшонку ты не иначе где на улице подобрал и турусы нам на колесах жалобные разводишь. А?

— Правда ваша, но только наполовину. И нутро печет, и выпить охота, но я ее, дорогушу, так хочу отдать в хорошие руки — бесплатно, без всякой услуги. Я себе не прошу, если ее на что-то выменяю.

— Да брось ты, болезный! Кого обдурить хочешь?! Я вашего брата за версту насквозь вижу! Э-э, любезный, — позвал он пологого, — подбеги к нам! Выкати винца графинчик.

Половой обернулся мигом, и на столе встал запотевший графинчик зеленого стекла с узким и высоким горлышком. Боровой выплеснул остатки чая из своей чашки и щедро набулькал туда водки, протянул через стол:

— Пей, болезный, не стесняйся, а кошшонку себе оставь, глядишь, и другие дурачки подвернутся, разжалобишь. А?

Водка через края чашки плескалась на скатерть. Человек проглотил слюну, кадык на худой жилистой шее дернулся под

кожей туда-сюда, и еще раз, еще... Но тряские руки, в которых он держал кошечку, остались в прежнем положении.

— Пей! — уже с угрозой в голосе не предлагал, а приказывал Боровой.

Тихон Трофимович не вмешивался, молчком поглядывал то на одного, то на другого и терпеливо ждал — чем кончится?

Человек руки к чашке так и не протянул, только покачал головой и тихо сказал:

— Грех ваш, господин хороший, — слабого человека искушать. Я же вам объяснял: мне ее спасти надо, она мне сейчас дороже жизни своей пропащей. А вы не поверили... Прощайте, извиняйте за беспокойство.

Он поднялся с краешка лавки, удобней перехватил на руках кошечку. Боровой со стуком поставил чашку на стол, выплеснув водку едва не до доньшка.

— погоди, — остановил Тихон Трофимович, — погоди убежать. Давай мне свою кошку, в хорошие руки. Сохраню.

— Правда?! — воскликнул человек, все еще не решаясь передать кошечку, и на сером землистом лице замаячило подобие улыбки.

— Сказал же — верное слово, а я сказал — отрезал. Давай сюда.

— Тьфу! — плюнул Боровой, — комедь ломают!

Но Тихон Трофимович на него даже не глянул, принял кошечку в свои раскрытые ладони и ощутил пальцами, как трепыхается под тонкой и теплой шкуркой сердечко. Вдруг ошеломила простая мысль: тоже ведь жизнь, пусть и кошачья, и хрупкая до невозможности. Сожми сейчас пальцы — и нет ее. Была и нет. Он тяжело, совсем по-стариковски, вздохнул и стал натягивать шубу, неловко придерживая одной рукой свое неожиданное приобретение. Натянул, запахнул на груди, укрывая кошечку, направился к выходу, но остановился возле порога, вспомнив:

— Как ее кличешь?

— А просто — Белянка. Белая — значит Белянка. Спаси вас Бог, господин хороший, — и странный человек низко поклонился, тряпье на груди разъехалось, и выпал, повиснув в воздухе, простой крест на грязной, пожелтевшей от пота веревочке.

— Тебя-то как звать-величать?

— А я — никто, и зовут меня — никак. Зачем это? Прощайте.

— Прощай и ты, братец.

Вышли на улицу. Митрич уже сидел на облучке, разбирал вожжи. Подошли к кошевке, стали усаживаться, но Боровой все никак не мог успокоиться, плевался и вскрикивал:

— И ты ему поверил?! Прохиндей, клейма ставить некуда!

— Да не разоряйся ты, — осаживал его Тихон Трофимович,

— человек он, и все тут! Только жизнь стоптала. А человеком остался.

— Уж сколько лет тебя знаю, Трофимыч, а все удивляюсь! Ты другой раз как дитя малое, даже неразумней. Ты бы ему еще денег отвалил полмешка!

— Я бы дал, да он не возьмет.

— Не возьмет?! Не смей меня! Это он с водкой себя переломил, а деньги — за милу душу!

— За милу душу, говоришь? А давай проверим! — Тихон Трофимович вытащил кошелек, достал из него деньги. — Митрич, забеги, отдай бедолаге.

Митрич вернулся скоро. Протянул деньги хозяину, удивленно хмыкнул:

— Правда твоя, Тихон Трофимыч, — не берет. Только благодарность тебе пересылает.

— Вот так, Боровой, а ты говоришь... Ладно, поехали, — он сунул руку под шубу и удивился: — А теплая какая! Будто печка за пазухой!

Улыбаясь, Тихон Трофимович уселся в кошевку. В дороге время от времени выпрастывал руки из мохнашек, засовывал под шубу и снова улыбался.

Боровой сердито сопел и косоротился так, будто его кровно обидели.

## 8

В Огневу Заимку прибыли уже по темну. И поэтому все дела Тихон Трофимович решил отложить на завтра, даже баню топить не стали. Велел Степановне подавать ужин да в отдельные плошки налить молока и положить сметаны — для Беянки.

— И где ты тако чудо раздобыл, Тихон Трофимыч, глянь на ее — как снегом обсыпали! Надо же — кака баска... И глаза

голубы, ровно у девки... — приговаривала Степановна, наливая в плошку молоко из кринки.

— Знаем места, да не проболтаемся, — отвечал Тихон Трофимович, хитро поглядывая на Борового, который все еще пребывал в сумрачном настроении. Вина не пил, лениво жевал и о чем-то думал, хмуро сведя над переносицей белесые брови.

— У нас тут делов без тебя натворилось, Тихон Трофимыч, ой, каких делов, — завела Степановна, но Дюжев ее перебил:

— Про дела завтра расскажешь, давай стели нам спать, а то притомился я что-то... Васька когда, говоришь, вернется?

— К завтраму, к обеду обещался. Я уж ему говорила — не ездь никуда, вдруг хозяин подоспеет, да много он меня слушат, Васька этот, коня запряг, подчепурился и айда. Только ветерок за им вьется.

Васька, как еще раньше успела сообщить Степановна, отправился за Вахрамеевым, который гостил у дальней родственницы в Шадре.

Сразу после ужина легли спать. Тихон Трофимович долго ворочался, никак не мог уснуть — все стоял у него перед глазами странный человек, одаривший его Беянкой, слышался его торопливый, просительный голос... Это надо же — вдоль и поперек судьба измордовала, а до конца не раздавила. И почему-то захотелось Тихону Трофимовичу еще раз его увидеть, поговорить... О чем? А там бы видно стало — о чем разговаривать...

Он перевернулся на другой бок, скомкал под головой подушку и почувал, что поверх одеяла в ногах у него кто-то шевелится. Приподнялся, протянул руку и ощутил под ладонью теплый живой комочек. Беянка выгнулась, замурыкала, махом проскочила по одеялу и уткнулась в бороду холодным носом.

— Ты погляди, какая шустрая, — удивился Тихон Трофимович, невольно прислушиваясь к домашнему мурчанию, от которого становилось покойно и незаметно клонило в сон. А Беянка, между тем, вполне освоившись, уютно расположилась у него на груди и, выпустив коготки, взялась расчесывать ему бороду. Тихон Трофимович от неожиданности только и смог вымолвить:

— Ах, ты...

И уснул он в этот вечер с расчесанной бородой.

А утром, проснувшись, увидел, что подружка его лежала рядом, на подушке, крестиком сложив лапки, и смотрела на него голубыми, казалось, не кошачьими, а человеческими, все понимающими глазами.

Но долго им полюбоваться друг на дружку не дали. Застучали ворота, визгнул под полозьями саней промерзлый снег, и прорезался заполошный, визгливый голос. Кричал Вахрамеев, кричал так, словно его резали. Тихон Трофимович сунул ноги в пимы, в одном исподнем выскочил на крыльцо.

Батюшки-светы! Вот картина!

Заиндевелый Игренька, напряженный в плетеную кошевку, переступал с ноги на ногу и все воротил голову назад, круто загибая шею, словно хотел разглядеть и понять — да кого же он доставил на хозяйский двор, какое такое чудо-юдо? Но даже если Игреньке удалось бы развернуться и разглядеть, то и в этом разе он бы спервоначалу не понял — кто сидит в кошевке. А сидели там, друженько, Васька с Вахрамеевым, оба с побитыми рожами. Но и это еще не венец — с побитыми рожами. Главный фокус — как сидели!

Ноги у Васьки были вытянуты вдоль кошевки и связаны, на ногах у него ерзал Вахрамеев и орал во всю глотку. Да и как тут не заорешь, если вахрамеевские ноги, изогнутые калачиком, были заведены за Васькину задницу и тоже связаны. И выше оба седока были накрепко прикручены друг к дружке, а руки у каждого, заведенные за чужую спину, тоже были захлестнуты на крепкие узлы. Не пожалели веревки, накрепко присобачивая Ваську к Вахрамееву, а Вахрамеева — к Ваське. Только и оставались свободными, несвязанными, головы, вот головой и бодался Вахрамеев, пытаясь достать до Васькиной рожи, разбитой в кровь. Но удавалось ему это худо, потому как Васька в ответ тоже бодался, и тогда Вахрамеев, злой от невозможности уязвить ненавистного напарника, голосил еще громче:

— Варнак! Шарамыжник! Змей подколодный! Блядун поганый! Убить мало! Гнать в три шеи!

Расхлестанные губы плохо слушались, и Вахрамеев широко разевал рот для просторного крика: казалось издали, что он не ругается, а поет.

— Хватит базззз! — осадил Тихон Трофимович, — прихлопнись, а то нутро застудишь. Степановна, нож тащи!

Толстые промерзлые веревки резались с большой наругой, нож несколько раз сорвался, и Вахрамеев, испуганно дергаясь головой в сторону от блестящего лезвия, наконец-то удачно двинул Ваську по носу, чего ему никак раньше не удавалось сделать. Васька промолчал, только хлюпнул, подтягивая красные сопли.

Вызволив седоков из веревок, Тихон Трофимович бросил нож и грозно рыкнул:

— Ну?

Не дождавшись ответа, окинул презрительным взглядом изрядно ошипанных орлов и уже другим, ласково-вкрадчивым голосом попросил:

— Докладайте, любезные. Где были, чего видали, кто вам рожи намял? Уж явите такую милость, поведайте нам... — и снова рыкнул: — Где таскались, сукины дети?!

— Он! Он, варначина проклятый, виноват! — опять заголосил Вахрамеев, показывая на Ваську пальцем. — Я все скажу! Я утаивать не буду! Я только щас, я щас...

И боком, боком, по-петушиному прискакивая на затекших ногах, устремился к тесовой стайке, за которой стоял нужник. Тихон Трофимович аж сплюнул с досады, глядя ему в спину, и крикнул:

— У нас всегда так — не золотуха, так дристуха! Ладно, ступайте все в дом, там говорить станем.

Через недолгое время, слегка обывавшись в тепле, обтерев побитые лица мокрыми полотенцами, Вахрамеев с Васькой предстали перед хозяином и поведали, почему у них столь печальный вид. Правда, рассказывал Вахрамеев, а Васька больше помалкивал, потому как был кругом виноватый. Ему только и оставалось, что покаянно кивать головой и время от времени бормотать:

— Не хотел я так, оно само получилось...

И то верно — само собой получилось, Васька и подумать не мог, что на его долю такие страсти-мордасти выпадут. У него в задумках совсем другое было — прокатиться до Шадры, повеселиться всласть на тамошней вечерке, а раненько утром

подкатить к дому вахрамеевской родственницы и доставить приказчика в Огневу Заимку.

Поначалу так все и происходило, по задуманному.

Налегке Васька скоренько домчал до Шадры, подгадал по времени и явился в самый разгар вечерки. Шубу-барнаулку скинул, чтобы красная рубаша с наборным пояском во всей красе явилась, и сразу же взялся одаривать девок пряниками, заранее украденными из лавки. Сыпал щедрой рукой направо-налево, подмигивал шальным голубым глазом и без умолку балаболит. Девкам такой подход глянулся, и внимание они Ваське оказывали неподдельное. А вот парням шадринским — как раз наоборот. И чем гуще Васька пускал пыль в глаза на вечерке, тем смурней становились лица парней. Может быть, шадринские и стерпели, если бы Васька на этом остановился — ну, покрасовался, снял пенку и будет, приличие иметь надо. Но дюжевского разбитного работника будто черти понесли по кочкам. Выглядел самую ловкую плясунью, Наталью Четверикову, перемигнул, перешепнулся, и они потихоньку утекли из избы, где шумела вечерка. Игренька здесь же, у избы, стоял наготове и нерасседанный. Наталья и пикнуть не успела, как оказалась в кошевке, а после — на сеновале.

Под утро, попрощавшись с ней и наобещав золотые горы, Васька чин-чинарем подкатил к дому вахрамеевской родственницы. Подождал, пока Вахрамеев соберется и усядется в кошевку, понужнул и поехал.

Но дальше околицы им уехать не дали.

Шадринские парни высыпали гурьбой из-за ветел, Игреньку — под уздцы, седоков из кошевки вытряхнули, покатали по дороге, насыпали горячих оплеух безразмерно, а после усадили друг против дружки обратно в кошевку и накрепко примотали. Ваське руки захлестнули в запястьях, в ладони вожжи вложили. Еще и похохатывали при этом:

— Вот теперь гарцуй!

— И милуйся сколько влезет, вон тебе какую рожу баску подсунули!

— Только бородавки ему с носа не откусывай!

Шлепнули Игреньку по крутому боку, засвистели, заулююкали, и долго еще вослед слышали Васька с Вахрамеевым обидные слова и злорадный хохот.

— А если бы Игренька понес да из кошевки нас вывалил?! Это как?! Это ж чистая погибель! Ни за что, ни про что я бы прямиком на тот свет отправился! — тут у Вахрамеева голос пресекался, и он от жалости к самому себе даже слезу пустил: — Тихон Трофимыч, гони его, гони, пока он до смертоубийства нас всех не довел!

Тихон Трофимович молча посидел в раздумчивости и шлепнул себя ладонями по коленям, озаренно вскрикнул:

— А я его женю! Как, говоришь, девку кличут? Наталья? Вот на ей и женим! Денег на свадьбу и на обзаведенье я вырешу. Завтра и сватать поедem. А теперь ступай и баню топи.

Васька ошарашенно вытаращил глаза и с грохотом бухнулся, опрокинув табуретку, на колени перед Дюжевem.

— Тихон Трофимыч, отец родной! — в отчаянии Васька даже по половицам ладонями зашлепал, — не губи! Я к семейной жизни никак не способный!

— Приноровишься. Кому сказал — ступай баню топить! Проваливай, чтоб я тебя не видел!

— Тихон Трофимыч, яви милость...

— Хватит по полу елозить. Ступай.

Васька поднялся, обреченно уронил голову, пошел к двери, но от порога, обернувшись, еще раз попытался разжалобить Дюжева:

— Тихон Трофимыч, в последний раз... я больше... да ни за что!

— Зарекалась свинья в грязь не лазить. Уйди с глаз, зараза! Скройся!

Вид у Васьки был настолько пришибленный, что даже Вахрамеев, подождав, когда закроется дверь, подал голос:

— А не шибко круто, Тихон Трофимыч, он в семье сам измается и жену замучит. Жалко девку — говорят, неплохая...

— Ну, коль ее жалко, тогда на Дуньке Струковой женим. В самый раз будет парочка... — Тихон Трофимович ругнулся, махнул рукой: — Да это я так, для остротки напужал. Только ты помалкивай, пускай на ровном месте покрутится. Ну и работничков я собрал — не заскучаешь... Скажи там Степановне — пусть на стол подает.

За завтраком, уже успокоившись, Тихон Трофимович рассказал Боровому о том, что случилось, пока тот спал. Боровой так развеселился от этого рассказа, что чуть по полу не катался. Глядя на него, и Тихон Трофимович зашелся мелким

смешком. И вдруг посреди неожиданного веселья, определился с Боровым: пускай вместе с Зулиными отправляется до Тюмени за сепараторами, надежней будет. Сразу же, не откладывая в долгий ящик, спросил:

— На службу-то ко мне не раздумал?

— Некогда было передумывать, спал я, Тихон Трофимыч, как зарезанный. В силе моя просьба остается.

— Ну и ладно. Пойдешь с обозом до Тюмени, за сохранность головой отвечаешь. О цене после договоримся. А я теперь к ящикам нашим, к Зулиным.

Тихон Трофимович допил чай, оделся и вышел из дома. Белянка, не отставая ни на шаг, будто была привязана веревочкой, проводила его до самого порога.

9

В большом зулинском доме внешне все оставалось по-старому. Ничем не нарушался давным-давно заведенный порядок, дни текли своим чередом, но с недавних пор во всех обыденных делах явственно чувствовалось присутствие беды. О ней старались не говорить, делали вид, что ничего страшного не случилось, но беда то и дело сама напоминала о себе: Устинья Климовна, забывшись, иногда вдруг посылала Митеньку по какой-нибудь хозяйственной надобности, спохватываясь на полуслове и надолго замолкала, сам Митенька время от времени впадал в бред и начинал нести столь несуразное, что домашние испуганно крестились.

Лицо у Митеньки, изуродованное медвежьей лапой, немало поджило и, скукожившись, съехало на сторону. С уголка перекошенного рта стекала беспрерывно тонкая нитка слюны, иногда Митенька забывал ее вытирать и рубаха на груди была мокрой.

Марья от него почти не отходила, дневала и ночевала рядом. Поила настоями и отварами, перевязывала, мыла, сама переворачивала легкое, будто высушенное тело мужа. И всегда при этом наговаривала-напевала, словно возилась с малым дитем:

— Потерпи, мой хороший, я скоренько... Вот так вот, поддержи руку, вот и славненько, вот и молодец...

Митенька молча подчинялся и смотрел на нее столь внимательно, будто мучительно хотел что-то вспомнить, но, так

и не вспомнив, закрывал глаза, и тогда из-под красных, воспаленных век неожиданно выкатывались слезы. Марью они всегда пугали, и она начинала ворковать над Митенькой с удвоенным усердием, гладила его, целовала, но он не отзывался, словно куда-то уходил далеко и не желал возвращаться.

В это утро, уже умытый и обихоженный, переодетый в чистую рубаху, Митенька сам поднялся с постели, дошел, опираясь о стену, до лавки, присел и попросил Марью:

— Иди сюда, рядышком...

Обрадованная Марья присела, взяла его за руку, спросила:

— Полегше стало?

Митенька не ответил, долго молчал, прислонившись головой к теплому плечу Марьи. Вдруг всхлипнул и сказал:

— Жалко мне...

— Кого жалко? — испугалась Марья.

— Всех нас жалко... всех-всех... Мне видется стало, разное, и я знаю, что так будет, как видится... Страшное...

— Да Бог с тобой, Митя!

— Погоди... Ты никому только не рассказывай, никому, даже маменьке не говори, а тебе я буду рассказывать, мне одному, в самом себе, тяжело носить...

— Да ты о чем речь ведешь? Скажи мне толковей, не пойму я...

— После скажу, мне главное, что не одному знать... А то тяжело... Тяжелей, чем увечность моя теперешняя...

— Митя, не пугай меня, говори сразу!

— Я скажу, только не теперь, как-нибудь после...

Тут застучали двери, послышались голоса — пришли старшие Зулины, а вместе с ними Тихон Трофимович.

Важного гостя усадили в передний угол, подали чай. Из своей светелки спустилась Устинья Климовна, заняла законное место во главе стола и сразу же взяла вожжи в свои руки:

— По какому делу пришел, Тихон Трофимыч? Ты ведь без дела к нам не заглядываешь?

— Без дела, матушка, — отвечал Тихон Трофимович, насколько не смутившись, — только гуеваны по деревне шарятся, а мне недосуг, вот и хожу — все по делам да по делам...

Тихон Трофимович уже знал про несчастье, приключившееся с Митенькой, и хотел при встрече с Устиньей Климовной посочувствовать ей, но сейчас, увидев, сразу же и понял:

не надо никаких сочувствий, лишние они. Старуха — как кремень, ей от чужих слов, пусть и сочувственных, ни жарко, ни холодно. Потому и не стал крутить-вертеть словами, а сразу же и выложил — какая нужда привела к Зулиным:

— Договаривались мы, матушка, как помнишь, обоз снаряжать и по рукам ударили, да я вот замешкался, потому как сам не знал — куда мне потребуется. Теперь все уладилось — до Тюмени надо ехать и важный груз обратно доставить; до Тюмени, само собой, тоже с грузом, чтобы порожними не кататься. Вот и пришел спросить — договор наш в силе?

— Долго ты, однако, собирался, мы уж тут всем наотказывали.

Тихон Трофимович развел руками — мол, возразить нечего. Устинья Климовна глянула на сыновей: что скажете?

— Оно, конечно, подряд знатный, — неторопливо заговорил Иван, — да только не можем мы все-то ехать. Митенька — хворый, а из нас кому-то дома надо остаться.

— Ты и останешься, — решила Устинья Климовна.

— Тогда со стороны кого-то подрядить придется.

— Со стороны не надо, а вот сват, сказывали, из извоза вернулся. С им и потолкуйте завтра.

— Да чего уж, матушка, оттягивать, — вмешался Тихон Трофимович, — давай тут и решим, не сходя с места. Сбежать бы к Коровиным, позвать Захара, пусть сюда подойдет.

Послали Марью. Та скоренько оделась и ушла.

Захар был дома. Только что привез из-за Уени стог сена и перекидал его на поветь. Выслушав дочь, он не стал распрягать коня и, разбирая вожжи, сказал:

— Я к сватам поехал, а ты зайди, посиди с матерью, переживает она. Поворкуйте там по-бабьи. Да и малые соскучились. Зайди, зайди...

Едва только Марья переступила порог, как в доме поднялся радостный визг и писк. Младшие облепили старшую, ластились к ней, а она едва успевала их гладить по головкам, стараясь никого не пропустить. Мать подождала, когда схлынет первая радость, обняла дочь, поцеловала.

— Раздевайся, проходи, доченька...

В родительском доме Марья пробыла до полудня. Разговаривала с матерью, игралась с младшими и, отобедав вместе со всеми, засобиралась.

— Посидела бы еще, — уговаривала мать.

— Да нет, пора уже, и так замешкалась, — Марья глянула в окно, где уже истаявал солнечный свет короткого зимнего дня, — вон и тятя приехал...

— И посиди, отец тоже по тебе наскучался. Если с дюжевским обозом подрядился, когда теперь увидетесь.

Марья послушалась и осталась. Захар, отправив парнишек распрягать коня, сел за стол, похлебал горячего супа, но видно было, что через силу, и скоро отложил ложку. Заговорил, напрямую не обращаясь ни к жене, ни к дочери, а как бы сам с собой:

— До Тюмени с дюжевским обозом пойдем, я и сваты, — и тут же, без всякого перехода, выложил: — Эх, Марья-Марья, не повезло тебе, поглядел я на зятя-то... Не обижают хоть тебя там? Порядки-то у их монастырские...

— Да что ты, тятя! Они мне, как родные! А Митя... Выздоровеет! Я его выхожу, еще посмотрите!

И столько было звонкой уверенности в голосе, так Марья счастливо улыбалась, глядя на родителей чистыми глазами, что Захару только и оставалось, что тряхнуть головой и перевести разговор на домашние дела.

## 10

Обоз отправляли через два дня.

Утро выдалось морозным и ярким. Пар от коней, пронизанный солнечным светом, будто золотился. Поскрипывали полозья саней. Мужики незлобиво пошумливали на своих лошадок и в последний раз проверяли, расправляли упряжь. Путь им предстоял сначала до Томска, где надо было взять груз, а после — до самой Тюмени и обратно. Сотни верст по бесконечному тракту, на котором может случиться любая неожиданность. У Тихона Трофимовича под ложечкой сосала неосознанная тревога, и он знал по опыту, что не пройдет она до тех пор, пока не прибудет долгожданный груз в целости и сохранности.

— Ты сомнений не держи, Тихон Трофимыч, — говорил на прощанье Боровой, — все в нерушимости доставим. После царевой службы твоя для меня — семечки, только поплевай.

— Гляди, не проплюйся.

— Не, мы ученые, битые да ломаные, нам палец в рот не клади — откусим! Ну, до свиданья.

— С Богом! — отвечал Тихон Трофимович.

Обоз неторопливо тронулся, выполз за околицу Огневой Заимки и скоро истончился, растаял в сверкающей белизне окоема, обозначаясь лишь дальними-дальними, едва различимыми голосами колокольчиков.

Вот и они стихли.

Васька, услужливый и послушный в эти дни, как скромная девица в строгой семье, подогнал Игреньку, вспушил сено в кошевке, пригласил:

— Усаживайтесь, Тихон Трофимыч... Куда прикажете?

— К церкви поехали.

У подножия бугра велел Ваське остановить Игреньку, вылез из кошевки и медленным, неторопким шагом стал подниматься наверх, не отрывая взгляда от красавицы-церкви, которая словно плыла посреди снежных просторов, освещенная искрящимся светом. Ее купол поднимался и парил над округой; стены, опушенные инеем, искрились, а крест, уже поднят и установленный, горел золотым огнем. И чем ближе Тихон Трофимович подходил к церкви, тем выше она вздымалась в небо, словно вырастала, расправляя стены и купола, как крылья. Он шел, как замороженный, все выше и выше поднимая голову. Возле паперти остановился, отдышался и, перекрестившись, тихо вошел внутрь.

Сквозь высокие окна на пол падали косые солнечные лучи, похожие на золотые прозрачные полотнища, отражались на всем убранстве, на иконостасе, заставляя все вспыхивать, сверкать и переливаться. Тихон Трофимович даже прижмурился от обилия этого света и долго стоял посреди церкви не шевелясь, словно боялся спугнуть эту благодать. На душе было мирно и тихо, светло, как давно уже не было.

Он и не заметил, как к нему подошел Роман, и вскинулся от неожиданности, когда тот тронул его за рукав.

— Доброго здоровья, Тихон Трофимович.

— А, ты, Роман! Ну, вижу — построил! Прими поклон...

И низко, с трудом сгибая поясницу, поклонился.

— Да зачем мне-то, Тихон Трофимыч, — запротестовал Роман, — не мне, а Богу кланяться. Его воля на все дела наши.

Тихон Трофимович не отозвался. Выпрямившись, он словно забыл о Романи и долго, не отрываясь, смотрел на

иконостас, беззвучно шевелил губами, читая молитву. Роман его не тревожил, тихо стоял рядом, опустив тяжелые, натруженные руки.

Тихо и благостно было в пустой церкви. Пахло строганым деревом и свежей краской. Уходить не хотелось.

После долгого молчания Тихон Трофимович обратился к Роману:

— Как благодарить тебя, мастер?

— А давай об этом не здесь поговорим, Тихон Трофимыч. Поехали ко мне, ты ведь у меня ни разу не бывал. Не побрезгуешь?

— Еще чего, — недовольно буркнул Тихон Трофимович, — поехали.

Они вышли из церкви, спустились с бугра и долго еще стояли у его изножия, любясь куполом и горящим на солнце крестом.

Васька и тот притих, стащил с головы шапку и перекрестился. А после вез их по улице тихо и неторопко, придерживая Игреньку, чтобы тот не переходил на рысь.

В доме у Романа было чисто и пусто, и так тихо, будто недавно отсюда покойника вынесли. Феклуша неслышно собрала на стол и также неслышно вышла на улицу, оставив Тихона Трофимовича с отцом одних. Молчаливая, с потухшими глазами, она была не похожа на саму себя, и Роман, когда закрылась за ней дверь, кивнул вслед и сразу же сказал:

— Вот какую благодарность у тебя просить хочу, Тихон Трофимыч... За нее, за дочку...

— погоди, не так скоро, — рви с места, толково говори, по порядку. Я для Феклуши все сделаю.

— Возьми ее отсюда, увези в город. На глазах девка чахнет, а тут еще всякое... Эх, просил же его, как человека просил — отступись! Выпросил! У меня сердце всякий раз заходится, как на нее гляну. Что ты хочешь — родная кровь!

— Взять-то я ее возьму, — безо всякого раздумья сразу согласился Тихон Трофимович, — а польза будет? Может, она еще быстрее там завянет?

— Да хуже не будет.

— Решено, пускай собирается. Вот церковь освятим и поедем.

— Собраться ей недолго, сундуков с приданным грузить не надо. Спасибо, Тихон Трофимович, уважаю я тебя и выпить желаю за уважение.

— И тебе, Роман, спасибо.

В гостях Тихон Трофимович долго засиживаться не стал, заторопился домой, где еще дел невпроворот было. Роман проводил его до самой кошевки и, прощаясь, поклонился.

— Ну, будет, — сердито прикрикнул Тихон Трофимович, — нашел великого господина! Трогай, Васька, чего рот разинул!

Васька понужнул Игреньку, и тот с места пошел убористой рысью.

Остаток дня Тихон Трофимович провел в мелких хлопотах. Оглядел хозяйство, сходил в лавку, принял отчет у Вахрамеева, терпеливо выслушал Степановну, которая ему уже по третьему разу докладывала все новости, случившиеся за его отсутствие, поигрался с Белянкой, которая все больше и больше его удивляла: умудрилась залезть в карман шубы, и он обнаружил проказницу лишь на улице. Пришлось до лавки и обратно нести ее в кармане. Чудеса в решете, да и только! Втихомолку Тихон Трофимович сам над собою посмеивался, но ему уже не хватало чего-то, если под ладонью не было пушистого, теплого комочка.

На ночь Белянка расчесала ему бороду, улеглась рядом на подушке, замурлыкала, и Тихон Трофимович под это мурлыканье задремал, успев еще напоследок подумать: «Надо же, как Феклушу несчастье перевернуло, не узнать девку... Ладно, отвезу в Томск, глядишь, развеселится. Как она все-таки на Марьяшу похожа!»

И только проскользнуло вслух произнесенное имя, как сразу послышался знакомый и незабываемый голос: «Тиша, а какая наша церковь красивая вышла, светится, радуется. Недолго ждать осталось, скоро мы повенчаемся в ней, скоро уже, совсем скоро...»

Тихон Трофимович хотел и дальше слышать этот голос, внимать ему, но голос истончился, сошел на нет и остался только в памяти, накрепко, потому что и утром, проснувшись, он его все равно слышал.

## 11

И заторопился, прямо на следующий день, Тихон Трофимович с освящением церкви. Первым делом отправился в Шадру, чтобы выяснить — пришел ли ответ на прошение, посланное архиерею, Преосвященному Макарию, в котором содержа-

лась просьба назначить в Огневу Заимку священника. Прошение послали давно, но ответ задерживался. Вот и поспешил Тихон Трофимович в Шадру, чтобы узнать — в чем причина?

— Да простая причина, Тихон Трофимович, — улыбаясь, ответил ему отец Георгий, встретивший его на паперти шадринского храма, — я дела здесь другому батюшке сдавал. Теперь все сдал, поеду к вам, буду у вас служить.

— Надо же! — обрадовался Тихон Трофимович, — вот как славно! И когда ж за вами подводу посылать, батюшка?

— А прямо завтра с утрачка и посылайте, Тихон Трофимович. А уж все остальное на месте обсудим.

На следующий день отец Георгий прибыл в Огневу Заимку, и они втроем, пригласив еще старосту Тюрина, решили, что освящать храм будут через десять дней, в воскресенье. А десять дней для того надобны, чтобы выбрать церковного старосту, подобрать певчих, составить список почетных гостей да и просто отцу Георгию поближе познакомиться с прихожанами.

Все эти десять дней в Огневой Заимке только и разговоров было, что про батюшку Георгия, про новый храм и про торжество в воскресенье, которого ждали все с великим нетерпением. Бабы по собственному почину вымыли, вычистили, протерли, только что не вылизали внутреннее убранство храма, расчистили всю ограду от снега, снежные валы прихлопали, выровняли и украсили по гребням еловыми ветками.

В воскресенье, с утра, нарядными ручейками из улиц и переулков Огневой Заимки народ потек к храму и там, на площади, сливаясь в одно целое, заколыхался, будто внезапно расплеснувшееся озеро. Все поздравляли друг друга и целовались, как на Пасху.

В храме, перед началом службы, Тихон Трофимович и Роман, а следом за ними плотники встали впереди всех и притихли, сами того не ожидая, от красоты и благолепия, которые только сейчас явились перед ними во всей полноте. Отражая отблески множества свечей, горел иконостас, золотом отсвечивали царские врата, а когда зарокотал голос отца Георгия и запели певчие и звук устремился вверх, под купол, людские души устремились следом, отрываясь от обыденной жизни, от забот и тревог, туда, где царствовали свет и радость.



Служба шла своим чередом. Тихон Трофимович молился вместе со всеми, осеняя себя размахистым крестом, и никак не мог избавиться от странного чувства — все казалось ему, что жить теперь он будет только с неизбывными светом и радостью. Душа у него тоже взмывала вверх, под купол храма, и оставляла внизу, на грешной земле, все заботы, хлопоты и суетные дела.

«Господи, радостно-то как!» — думал он и смаргивал нечаянно набежавшую слезинку.

Семейство Зулиных, кроме Павла и Федора, которые находились в извозе, стояло следом за плотниками, все были по-праздничному одеты, даже ребяташки, все истово молились и жарче всех — Митенька. Но молитва его была особой: почти не слыша отца Георгия, он повторял и повторял только одно: «Господи, не допусти! Господи, не дай свершиться». И рука его, когда он подносил ее ко лбу, часто и мелко вздрагивала.

Марья чувствовала, что с мужем творится что-то неладное, зорко взглядывала на него сбоку, готовая в любой миг прийти на помощь, и тоже молилась, жарко упрашивая Бога, чтобы он послал Митеньке исцеление.

Закончив службу, отец Георгий сказал проповедь, призывая всех к праведной жизни и выразив надежду, что теперь жители Огневой Заимки, имея свой Божий дом, никогда не забудут к нему дорогу. Отдельное слово в проповеди он уделил благодаянию Тихона Трофимовича Дюжева и благодарности всем плотникам и всему обществу за возведение храма.

— Душа христианина не может жить без гласа Господнего. А глас Господен явственней всего слышится в храме, в дому молитвы. Так пусть наш храм всегда будет наполнен молитвой и покаянием! — говорил отец Георгий, и прихожане внимали ему в полной тишине, нарушаемой только потрескиванием горящих свечей.

Отстояв службу, люди вышли из церкви, но долго еще не расходились, разговаривали друг с другом, поднимали головы и снова и снова смотрели на храм, который величаво стоял и будто парил над всей округой, освещая ее блеском позолоченного креста.

Тихон Трофимович тоже взглядывал вверх, поднимая голову и придерживая шапку, чтобы она не свалилась, тоже видел крест, горящий посреди яркого морозного дня, и от радости, переполнявшей его сердце до самого края, у него даже кружилась голова.

Вдоволь налюбовавшись, он заторопился домой, потому как скоро должны были явиться на торжественный обед гости, которых он пригласил еще загодя. Хотя мог бы и не торопиться: Степановна с Феклушей успели и приготовить все, и на службу сходить, и, вернувшись раньше него, накрыли столы.

Гости подходить стали только к обеду. Отец Георгий, староста Тюрин, Роман, плотники, Иван Зулин — никого не забыл Тихон Трофимович, приглашая отпраздновать торжественное событие. И когда после молитвы все расселись, когда установилась за столом тишина и он поднялся, чтобы сказать первое слово, увидел: не было за столом Митеньки Зулина. Старший брат был, а его — нет. Затревожился, но спрашивать не стал. Только по прошествии некоторого времени, улучив момент, тихонько задал вопрос Ивану. Тот в ответ лишь махнул рукой и неохотно сказал:

— Неладно у нас с парнем, да это другой разговор, не для нынешней минуты, после как-нибудь скажу...

С Митенькой и впрямь творилось неладное. Едва только вышли из церкви и направились домой, как он с полдороги, внезапно обернувшись назад, вдруг зарыдал и сквозь рыдания выдавил:

— Крест-то, крест, такой красоты... веревку привязали и сдернули!

Домашние плотно окружили Митеньку и, подхватив его под руки, торопливо повлекли домой, озираясь и боясь, как бы кто ненароком не услышал его слова. А Митенька, влекомый сильными руками по дороге, все выворачивал голову, оглядываясь назад, на храм и крест над храмом, и рыдал еще безутешней.

Дома, когда его раздели, он обмяк, успокоился и, напоенный горячим чаем, уснул. Марья осталась дежурить рядом с ним; горбясь, сидела на стуле и держала в руках его вздрагивающую ладонь.

Но Митенька спал недолго. Неожиданно вскинулся на постели, как от толчка, распахнул совсем незаспанные глаза и спросил:

— А где все?

— Маменька у себя, — отвечала ему Марья, — а братчики к Дюжеву, на обед, ушли.

— Напугал я вас, — раздумчиво произнес Митенька, передргивая плечами и скрестив на груди руки, — а пуще вас сам напугался. Вижу! Вот как тебя вижу... Люди из церкви все тащат, бросают на землю, орут, орут... Колокол вниз сбросили, он упал на землю и треснул... А к кресту веревку привязали, схватились за нее и крест вывернули...

— Да что ты такое говоришь, Митенька! — в страхе вскричала Марья, — это же богохульство!

— А я вижу, — опустил голову Митенька, — не хочу, а вижу, так ясно, даже слышу, как крест трещит. Страшно... Погоди, погоди, Марья...

Он вскочил и, как был в одной рубахе, без шапки, выбежал на улицу. Марья — следом за ним. Но далеко Митенька не убежал. За воротами остановился посреди улицы, откуда виден был храм, долго глядел на светящийся крест и говорил самому себе:

— Вот же он, на месте... Почему тогда мне другое видится? Марья, почему мне это видится?

Марья, ничего не отвечая, накинула ему полшубок на плечи и, приобняв, повела в дом.

Митенька послушно шел рядом с ней и больше уже не оглядывался.

## 12

Феклуша прямо-таки сразила Романа своей покорностью и смирением. Молча выслушала отца, не вставив ни единого слова, и просто ответила:

— Я согласна, батюшка, в город, так в город...

И сразу принялась собирать нехитрые пожитки.

Было это накануне освящения церкви, а через три дня, рано утром, Митрич уже подогнал кошевку к дому Романа, уложил небольшой узел и, подождав, когда отец попрощается с дочерью, весело понужнул тройку. Не оборачиваясь, весело крикнул Феклуше:

— Ну чо, девка, за городской житухой поскачем?! Эх, красота, разбегайся, босота, — богатство прет!

Феклуша ему не ответила: обернувшись, она смотрела на Романа, который одиноко и горестно стоял у ворот, приставив широкую ладонь козырьком к глазам, и даже не шевелился.

Подъехали к дому Дюжева и скоро, провожаемые Вахрамеевым, Степановной и Васькой, тронулись в путь.

Уже за околицей, вспомнив, Тихон Трофимович подосадовал:

— Забыл Ваське напоследок хвоста накрутить. Ему, обороту, на каждый день остратка нужна. Свалился же подарочек на мою седую голову!

— Сами выбирали, — подьеддыкнул Митрич, — сами говорили — «удалой парнишка»...

— Ты, Митрич, помалкивай, тебя не спрашивают, — обрехал Тихон Трофимович и удивленно развел руками: — Это надо же так народишко распустить! Кто куда хочет, туда и воротит, а мне, хозяину, одно осталось — утираться. Погодите, разгребусь с делами, я до вас доберусь, вы у меня по одной половичке ходить будете, а на другую и глядеть забоитесь... Тьфу, зараза, с утра разозлили! Хоть бы ты меня, Феклуша, развеселила!

— Да как же я развеселю, Тихон Трофимыч?

— Как? Ну хоть песню спой, что ли! Песни-то знаешь?

— Да знаю, мама-покойница еще учила, там, дома. Мы раньше с ей много пели. Только песни-то все невеселые, печальные они...

— Давай печальную, коли нам с тобой веселья нету!

Феклуша замолчала, прикрыла глаза, глубоко вздохнула и не запела, а будто с сердца сняла давно накопившиеся там и не находившие выхода слова:

Не пой, не пой, соловушек, не пой, молодой,  
Не давай тоски-назолушки ретиву сердцу —  
И так тошно, грустнехонько сердцу моему!  
Вспомни, вспомни, дорогая, прежнюю любовь,  
Как мы с тобой, дорогая, сызмалехоньку росли,  
Короткие летни ноченьки прогуливали,  
Осенние темны ноченьки просиживали,  
Забавные тайны речи говаривали...

Притих под необъятной шубой Тихон Трофимович, словно придавленный неизвестной тяжестью; Митрич перестал бичом размахивать, и даже тройка замедлила свой убористый бег по накатанному, искрящемуся под солнцем тракту. Ямщики и седоки со встречных возов удивленно поворачивали головы на раздольный голос, внимали ему, но вот возы разъехались и уже не слышно его, он дальше стремится, долетая до новых встречных.

Тебе, мой друг, не жениться, а мне замуж не идти,  
Тебе, мой друг, нет невесты, а мне нету жениха!  
Из-под камушка горячего вода не течет,  
Из-под кустика ракушечника река протекла.  
За речушкой за быстрою зелен сад растет,  
Во садике во зеленом нов терем стоит.  
Во тереме во новым девушки сидят,  
Тихохонько, хорошихонько песенки поют,  
Знать, там мою любезную сговаривают.  
За речушкой за быстрою в цымбалики бьют:  
Знать, там мою любезную замуж отдают!  
Поил, кормил сударушку, прочил за себя;  
Досталася красавица иному, не мне,  
Иному-то она не мне — лакею-свинье!

А тракт знай себе стелется и стелется, покорно подставляя себя кованым конским копытам, и стоит над ним недвижимое солнце, нестерпимо слепящее в этот морозный день.

С того крыльца ведут к венцу красну девицу,  
Жених ведет за рученьку, дружка за другу,  
Третий стоит, сердце болит — сам речь говорит:  
— Красавица-забавница, простимся с тобой!  
— Я рада бы простилася — кони не стоят,  
Извозчики молоденьки не могут держать;  
Возгой тронут, кони дрогнут, земля задрожит!  
— Красавица-забавница, махни хоть платком!  
— Я рада бы махнула бы — платка в руках нет!  
— Красавица-забавница, взгляни хоть глазком!  
— Я рада бы взглянула бы — закрыты глаза,  
Закрыты ли мои глаза черною фатой.

Закончилась песня, как все рано или поздно заканчивается в жизни. Ушел голос Феклуши в необъятные поля, укрытые снегом, в березовые колки, окованные серебристым инеем, и лег, успокоился на макушках дальних увалов, теряющихся в сизой дымке и едва различимых для глаза.

— Ах ты, моя сердешная, — Тихон Трофимович сронил нечаянную слезу и подгреб Феклушу к себе, укрывая полрой необъятной шубы, — вот как развеселила, в слезу старика вогнала.

Феклуша притихла под полрой дюжевской шубы, пригрелась и даже не заметила, как задремала. А Тихон Трофимович смотрел обочь тракта и никак не мог сморгнуть влагу с ресниц. Сунул руку в карман шубы, нашупал теплый комочек, почесал за ухом Белянку и, успокоенный, тоже заснул, склонив голову на грудь.

В Поломошном, как всегда, остановились, чтобы дать лошадам роздых, попили чаю и уже собирались выезжать, как на пороге появился урядник, соскреб с пышных усов намерзлые сосульки, качнулся с носков на пятки и громовым голосом, перекрывая шум постоялого двора, гаркнул:

— Где ваш бродяга?! Показывай!

Подбежал половой, услужливо доложил:

— Во дворе, с той стороны. Мы его и не трогали — как нашили, так и лежит, только рядом прикрыли.

— Веди! — приказал урядник.

Половой, не одеваясь, как был в одной рубахе, так и выскочил на улицу, за ним по-царски прошествовал урядник. Тихон Трофимович, даже не успев ни о чем подумать, повинувшись неожиданному внутреннему толчку, поднялся из-за стола, накинул на плечи шубу и тоже вышел на крыльцо постоялого двора. Половой семенил, уже огибая угол, за ним, впечатывая в снег сапоги с резными подковками, шел урядник. Тихон Трофимович спустился с крыльца и двинулся следом за ними.

Вдоль глухой стены, под дощатым навесом, снегу было совсем немного, в углах он даже не закрывал чернеющую землю. И вот в дальнем углу, прямо на земле, лежал непонятный холмик, накрытый старым и рваным рядом.

— Открой, — скомандовал урядник, пальцем указывая на рядом.

Половой нагнулся, боязливо стащил серую рванину и отступил на несколько шагов, угодливо поглядывая на урядника, ожидая от него очередного приказа. Нелепо сужившись, подтянув к животу колени, лежал, прижавшись в последний миг к стене, бродяга. Тот самый, от которого принял Белянку в свои руки Тихон Трофимович. Длинные волосы у бродяги успели заиндеветь, но лицо было чистое, белое, будто смерть смыла с него все следы тяжелой жизни. Тихон Трофимович подвинулся ближе и поразился до внезапного озноба: на лице у бродяги навсегда застыла счастливая улыбка...

До самого Томска Тихон Трофимович угрюмо молчал, гладил Белянку, уютно лежавшую в кармане его шубы, и никак не мог избавиться от наваждения: стоило лишь закрыть глаза, как сразу же виделось чистое и белое лицо и счастливая улыбка, застывшая на нем. «О чем же он думал, сердешный, коли так улыбался?» — спрашивал самого себя Тихон Трофимович, но ответа не было.

Поздним вечером, уже в глубоких сумерках, прибыли в Томск. Первым делом Тихон Трофимович взялся определять Феклушу. Отвел ей отдельную светлую комнатку с двумя большими окнами, велел поставить кровать, принести перины и подушки.

— Сегодня так переночуешь, а завтра оглядись, будет в чем надобность — скажи. Да ты не тушуйся, будь как дома, тут никто не обидит, — приговаривал Тихон Трофимович, выходя из комнатки.

После этого поднялся к себе наверх, позвал приказчиков. Погрозил пальцем и строго-настроено наказал:

— К девке — полное почтение. И смотрите у меня — без баблоства!

— Да как можно, Тихон Трофимович, — в один голос зароптали приказчики, делая вид, что обиделись, — да разве мы...

— Ладно-ладно, не курлыкайте, знаю я вас, орлов летучих! Теперь докладывайте — какие новости?

— Новостей особых никаких нет. Обоз загрузили, пошел на Тюмень. Дидигуров вчера был, спрашивал, когда вернетесь, и вот еще письмо утром доставили, мальчишка из номеров. Велено прямо в руки, как только появитесь.

Тихон Трофимович разорвал голубенький, продолговатый конверт, вытащил напололам согнутый листок бумаги, развернул. Четким, красивым почерком на листке было написано: «Тихон Трофимович! Я в Томске. Хотел бы встретиться. Мещанин Петр Алексеев Петров».

13

Обнялись они, как родные.

— Проходи, проходи, милоч, — легонько подталкивал Тихон Трофимович своего гостя и удивлялся: — Какими ветрами тебя занесло? Я уж, грешным делом, думал, и не увидимся больше. А вспоминал часто — где он нынче, сердешный? А он вот он — явился, не запыхался. Садись, дай я хоть на тебя погляжу...

Петр охотно подчинился хозяину, улыбался своей тихой улыбкой и молчал. С тех пор как они не виделись, он сильно изменился: грубей и резче прорезались черты лица, на висках густо обозначился седой волос. В глазах затаилась давняя боль много повидавшего человека.

— Да-а-а, — приглядевшись, протянул Тихон Трофимович, — пообтесало тебя, парень. Видно, не шибко сладко там намазано было... А? Или как?

— По всякому, Тихон Трофимович, — улыбнулся Петр, — но больше, как ты говоришь, — не сладко намазано...

Они замолчали, дожидаясь, когда Феклуша подаст на стол, а после, оставшись наедине, чокнулись хрустальными рюмками и одновременно, в один голос, сказали:

— За встречу!

Рассмеялись и выпили.

Было уже далеко за полночь, когда Петр закончил свой долгий рассказ. От вина и давно пережитых воспоминаний он побледнел, лоб покрылся мелкой испариной, а голос стал глухим и хриплым. «Укатали сивку крутые горки...» — с жалостью подумал Тихон Трофимович, но вслух сказал совсем другое:

— Давай, Петр Алексеич, за того мужичка выпьем, чтоб ему весело жилось...

— Дай Бог ему долгих лет, — отозвался Петр и передернул плечами, как от озноба, будто вновь оказался на пустынной дороге, припорошенной снегом и исчерченной черными следами тележных колес...

...Тогда он решил, обрываясь в полное отчаяние, что это — конец. Что будущего у него в жизни нет, а раз так, то и сама жизнь ему больше не нужна. Поставил баульчик на землю, открыл его и достал револьвер. Крутнул барабан — все патроны были на месте. «А зачем мне все, если хватит одной пули?» — недоуменно подумал Петр и прислонил вплотную к виску наголодавший ствол.

— Э-э, барин, не балуй, возьмет да стрельнет! Ну-ка брось, я кому сказал!

Петр машинально опустил револьвер и оглянулся.

На дороге, за спиной у него, стояла неказистый мужичонка в разбитых лаптях, за мужичонкой — такая же неказистая лошадка, запряженная в старую, от времени почерневшую и потрескавшуюся телегу.

— Дай-ка игрушку, дай, дай, — мужичонка безбоязненно шагнул к Петру и протянул руку, — давай сюда!

Петр, ошарашенный внезапным появлением мужика и его напористым голосом, протянул револьвер. Тот ловко перехватил оружие и, вскинув его над головой, стал стрелять в воздух, приговаривая после каждого выстрела:

— Ай, знатно, ай, звонко, ай, грохотно!

Лошадка, пугаясь выстрелов, встряхивала жиденькой гривой и пятила телегу назад. Выпалив в воздух все патроны, мужичок еще пощелкал курком и вернул револьвер Петру:

— Забирай игрушку. И не вздумай баловать! Садись, подвезу! Да садись, не стесняйся, за так довезу!

Будто какое наваждение исходило от мужичка — Петр подчинялся ему, не успевая ни о чем подумать. Сунул револьвер в баульчик и залез в телегу, примостился, свесив ноги, на охапке старой, истертой соломы.

— Но, чалая! — весело поторопил мужичок свою лошадку, громко хлопая ее по худым бокам веревочными вожжами. Лошадка качнулась вперед-назад, словно раздумывая, и неторопко затрусила по дороге, лениво перебирая ногами. Колеса телеги скрипели и вихлялись — казалось, что она и на малом ходу вот-вот рассыпется. Но — дюжила. А мужичок, не ослабляя напористости, поворачивал голову, обращаясь к Петру, и выговаривал:

— А все от сытой жизни, барин! Чего удумал — в голову себе стрелять! Не хлебал ты беды настоящей, вот и скукожился!

— Все я видел, — вяло отозвался Петр, только теперь ощущив во всем теле дрожь и противную слабость.

— Все да не все! — продолжал строжиться мужичок, — вот тебе бы шестерых ребятишек на руки, да баба померла... А? Не желаешь? То-то и оно, барин! Их растить надо, кроме меня они кому нужны? Колочусь день и ночь и застрелюсь недосуг!

Лошадка неожиданно встала, вздыбила хвост, ударила в землю тугой струей.

— Ну, растащило тебя, старую. Опрастывайся скорей, ехать надо!

В ответ лошадка громко пукнула, постояла, качнулась вперед-назад и лишь после этого тронулась.

Так и доехали до ближнего села, где был постоялый двор. Всю дорогу мужичок ругал Петра, ставя ему в вину сытую, беспечную жизнь, каковая, по его мужицкому разумению, была у всех, кого он называл «баре», произнося это слово коротко и резко, будто плевался. Петр молчал, слушая нравоучения, ничего не отвечал и разговора не поддерживал. Он лишь теперь начал осознавать, чем могла завершиться его минутная слабость, и поэтому с особой, прямо-таки животной радостью вдыхал сырой воздух, оглядывал белые поля, лежавшие по обе стороны дороги, и с умилением смотрел на серое, низкое небо.

На прощанье он одарил мужичка деньгами, и тот с нескрываемой радостью сунул их за пазуху, подмигнув:

— Живи, барин, радуйся! — Дернул вожжи, прикрикнул: — Но, чалая, ступай веселей!

На постоялом дворе Петр сразу же заказал лошадей и вечером был в столице, а рано утром, на следующий день, он уже сидел в вагоне и паровоз, ретиво покрякивая короткими гудками, стремительно летел на восток.

От Тюмени до Томска Петр добирался на лошадях, никуда не торопился и подолгу задерживался на промежуточных станциях, радуясь солнечным дням, крепкому морозу и необычному ощущению собственной свободы: ни от кого не зависел — куда хотел, туда и ехал, сколько спалось, столько и спал...

— А ехал я к тебе, Тихон Трофимович: больше, как понимаешь, мне на этом свете ехать не к кому...

— И хорошо, хорошо, что ко мне приехал! — радовался Тихон Трофимович, — мы теперь с тобой такое дело разведем — шире моря!

— Купец из меня едва ли получится, а вот историю нашу развязать до конца — есть такое желание.

— Какую историю? — насторожился Тихон Трофимович, — опять с тетрадью да с золотишком! Пропади она пропадом, такая история! Слышать не желаю!

— Ладно, как знаешь. Саму-то тетрадь, надеюсь, не выбросил?

— Какую еще тетрадь?

— Как? Разве ты не получал?

— Откуда бы я получил ее? От жидов-разбойников?

— Да я тебе ее посылал! Я! Из столицы!

Тихон Трофимович развел руками:

— Никакого пакета мне от тебя не было, Петр Алексеич. Ты не спутался?

— Подожди, — Петр тяжело поднялся из-за стола, принес свой баульчик, порылся в нем и вытащил бумажку, развернул и протянул ее Дюжеву, — вот, гляди, квитанция. А отправляя я тебе тетрадь Гуттенлохтера, которую забрал у Никольского. Теперь понимаешь?

— Чего ж не понять? Чай, не дурные! Выходит, опять эту тетрадь клятую уворовали?

— Выходит, так, — невесело подтвердил Петр.

— И холера с ей, с тетрадью! Спокойней жить! Все, слышать ничего не желаю! Давай лучше вино пить! Наливай!

#### 14

Зима отморозила, отметелела и неторопливо переломилась на вторую свою половину. День прибавился, и ощутимо потянуло теплом. Ночи стояли тихие, звездные, небесный шатер над землей распахивался до бесконечности.

Именно в такую ночь подходил к Томску обоз, ведомый братьями Зулиными и Захаром Коровиным под охраной Борового, который безмятежно спал на последнем возу и пугал коня громовым храпом. Ямщики же, жалея притомившихся лошадей, шли обочь возов, придерживая в руках вожжи,

и время от времени перекрикивались, чтобы не так скучно было шагать по неровно утопанному тракту. Ход у лошадей был медленный, надсадный, да и то сказать — столько верст позади осталось! А тут еще, на середине пути от Тюмени, попали в злую метель, которая перехлестнула тракт высокими сугробами. Приходилось порой сначала снег раскидывать, а уж после возы перетаскивать через заносы.

Набедовались — по самую маковку.

Но теперь оставалось совсем немного — каких-то пять-шесть верст. Вот одолеть их и — здорово живем, Тихон Трофимыч! Принимай товар, выкладывай деньги за службу ямщицкую, тяжелую и хлопотную.

Уже и дымком запахло; впереди, в сиреневой темноте, замаячили желтые огоньки; лошади, почуяв жилье и близкий отдых, заметно прибавили шаг, а одна из них даже призывно заржала, прерывая однообразный, тоскливый скрип полозьев. От этого ржанья проснулся Боровой, открыл глаза, увидел прямо над собой яркие, студёные звезды и, смачно зевнув, так, что щелкнули скулы, удивился:

— Однако, ночь уж на дворе!

— Не ночь, не ночь, ваше превосходительство, — весело отозвался Захар, — утро скоро будет!

— До утра дожить надо, — буркнул Боровой, — а с какой стати я превосходительством-то стал?

— Нарочный тут с указом проскакивал, чтоб, значит, тебя обратно в должности утвердить и повышенье в чине выдать!

— Ага, держи карман шире — туда ордена ссыпать будут... — Боровой потянулся, легко соскочил с воза и весело пошел скорым шагом, широко размахивая руками.

Лошади еще прибавили ходу, и обоз бойко вкатился на окраинную улицу Томска. Теперь оставалось — рукой подать.

Нарушая сонную тишь пустых улиц, обоз дошел до дидигуровских складов и остановился.

Все! Слава Богу, приехали!

Один из сторожей сразу же отправился к хозяину. Скоро Степан Феофанович уже стоял в дверях склада и по описи принимал груз, заставляя своего приказчика держать над головой фонарь. Придирчиво сверялся с записями, разглядывал каждую коробку.

— Ты на зуб, на зуб попробуй, — ехидничал Боровой.

— Надо будет — и жевать станем, — отвечал ему Дидигуров, нисколько не обижаясь, — в это дело столько денег вбухано, что мало не покажется, если обсчитаемся.

— Ладно, считай, душа копейная. Да живей поворачивайся, нам пить-есть пора!

— Не помрете.

Стало уже светать, когда весь груз занесли в склады. Гуськом потянулись на порожних санях к дюжевскому дому. Там, на просторном дворе, стояли у коновязи мешки с овсом, в печах жарилось-парилося, а в нижней комнате, накрытый белой скатертью, дожидался изголодавшихся мужиков просторный стол. Боровой, не желая отрываться от общей компании, домой не пошел, а отправился вместе со всеми к Дюжеву. Был он весел, разговорчив, казался довольным собой и своей новой жизнью.

Тихон Трофимович встречал у ворот, распахнутых настежь. Каждого благодарил, каждого обнимал, обласкивая добрым словом, приглашая проходить в дом и о лошадях не беспокоиться — Митрич распряжет.

Утро разгулялось и совсем рассвело, когда сели завтракать. Подавала на стол Феклуша, и щеки ее всякий раз окатывало румянцем, когда она протягивала чашку кому-нибудь из Зулиных. Те, конечно, видели ее смущение, знали причину, но виду не подавали и поддерживали степенный разговор с Дюжевым, рассказывая ему о том, как попали в метель и из-за этого вышла задержка с доставкой груза.

Сразу после завтрака ямщики повалились спать, а Боровой, выспавшийся ночью на возу и свежий, как огурчик, не торопился подниматься из-за стола, нахваливал Феклушу за стряпню и ел так азартно, будто его от самой Тюмени до Томска морили голодом. Наконец-то отвалился от стола на кожаную спинку высокого резного стула и сыто икнул:

— Ну, спасибо, молодка, угодила, чуть язык не проглотил от такой вкуснятины.

— На здоровье, — тихо отвечала Феклуша.

— Да у него здоровья и так сверх меры, об лоб можно пороят хряпать, — хохотнул Тихон Трофимович, донельзя доволь-

ный, что все так хорошо выстроилось: и обоз пришел, и груз в полной сохранности, и теперь еще до Огневой Заимки можно попутно товар для лавки добросить, чтобы до самой весны, до сухой дороги, его с избытком хватило. А еще грело душу, что вернулся Петр. Нечаянно-негаданно прикипел он к нему, как к сыну. Все эти дни, после приезда нежданного гостя, ходил Тихон Трофимович в добром расположении духа и все вокруг казалось и виделось ему только в ярком и благодушном свете.

А вот и Петр, легок на помине. Умытый, причесанный, он появился, улыбаясь тихой своей улыбкой, но в глазах у него, при виде незнакомого человека, вспыхнул тревожный блеск. «Эка его передряги вымуштровали, — подумал Тихон Трофимович, заметив этот тревожный блеск, — каждого куста боится, еще и оглядывается».

— Вот, хочу представить тебе, — обратился Тихон Трофимович к Боровому, — мой новый управляющий, Петр Алексеич Петров, прошу любить и жаловать. По всем делам к нему, как ко мне, обращайся. Садись, Петр Алексеич.

Петр четко поклонился, протянул Боровому руку. Тот загреб его ладонь в свою широкую лапищу и, не выпуская, стал радостно трясти, приговаривая при этом:

— Военную-то косточку не пропьешь-не прогуляешь, сразу видно — коренной офицер! А выправка, выправка! Только и осталось сказать: «Честь имею»! Слышь, Тихон Трофимыч! А почему не сказал? Никак застеснялся?

— Ты чего буровишь? Пирогов переел?! — крикнул, багровея, Тихон Трофимович и поднялся со стула.

Петр оставался спокойным, не пытался выдернуть свою ладонь из лапищи Борового и только чуть нахмурился, будто хотел притушить тревожный блеск в глазах.

— Пирогов я в самый раз, в аккурат, откушал. Не изволь беспокоиться, Тихон Трофимыч, в голове у меня яснее ясного. Теперь садитесь, голуби, и будем тихо-мирно разговор приговаривать, — Боровой освободил ладонь Петра и первым сел на свое место. Раздвинул перед собой чашки, грузно облокотился на столешницу, — да садитесь вы! Чего пнями встали?! Разговор долгий будет...

Петр с Дюжевым переглянулись и сели. Боровой помолчал, катая по столу крошки от пирога, потом собрал их в кучку и прихлопнул широкой ладонью. Звук в тишине получился громкий и резкий, будто от выстрела.

— Дела у нас такие, господа хорошие, — напористо заговорил Боровой, — слушайте меня старательно и не перебивайте. И глаза круглые не делайте, что я не я и шапка не моя. А теперь так: тетрадошка, которую вы, господин Щербатов, из столицы Дюжеву отправили, у меня находится, на сохранности. Кто побег арестанту устроил — тоже знаю, и как этот арестант вместе с Тетюхиным в Страшном логу оказался — тоже ведаю. Все знаю, почти до капли. Чтобы время не тратить — карты на стол! Как только соберемся — отправляемся по следу ученого немца, выгребая золотишко из горы и честно его делим. На три части. А чтобы обмана не случилось, мы с господином Щербатовым вместе отправимся, прогуляемся по бурелому да и вернемся.

Вязкая, напряженная тишина нависла над столом. Так неожиданно все произошло, что ни Петр, ни Тихон Трофимович не знали — с чего начать? Ясно лишь одно было: какими-то им неизвестными путями Боровому удалось все разнюхать, завладеть тетрадью, а теперь он хотел еще и корысть свою поиметь, урвать немалый куш.

— Почему один не идешь, если тетрадь у тебя? — спросил Дюжев.

— Несподручно одному, Тихон Трофимыч, дорога дальняя, опасная. А новых товарищей зазывать — дело хлопотное. Каждому объясни, расскажи, куда и зачем, а он возьмет да и тюкнет тебя топориком от жадности.

— Меня же берете в напарники и не боитесь, — подал голос Петр.

— Потому и беру, что не боюсь. Офицерская честь не позволит сонного у костра топором рубить. Вот и весь сказ. Теперь вы думайте, а я домой пойду, по ребятишкам соскучился.

Боровой накинул шубу, нахлобучил шапку и ушел.

— Не зря его со службы поперли, — только и сказал Тихон Трофимович, глядя на закрывшуюся дверь, — совсем ожаднел, все к рукам прилипать стало. Тьфу, зараза, не было печали!

На развилке глухой дороги, не дороги даже, а узкой тропы, где и двум встречным возам не разъехаться, понуро переступала с ноги на ногу лошаденка, запряженная в легонькие сани. Возница лежал на охапке сена, с головой укрывшись рваной шубой, и казалось, что он спал. Но едва только послышался дальний, едва различимый скрип полозьев по снегу, как возница тут же откинул шубу, сел и, сдернув с головы шапку, прислушался. Скоро донесся глухой по снегу топоток конских копыт. Из-за крайних к тропе елей показалась повозка, в которой сидели два человека. Один из них легко, прямо на ходу, соскочил и пересел на другую подводу. Возница укрыл ему ноги шубой и подстегнул свою лошадку, направляя ее по узкой и почти неезженной тропе.

Никто ни одного слова не сказал, даже кивком головы не поздоровались, не взглянули друг на друга. Встретились и разъехались. Лишь после того, как развилка дороги осталась далеко позади, возница обернулся к своему пассажиру, коротко спросил:

— Живой, значит?

— Живо-о-й, мне сносу долго еще не будет.

— Тогда со свиданьем, Зубый!

— И тебя тоже — со свиданьем. Слух проскочил, будто в большую силу вошел, заматерел? Так или нет?

— Да как сказать... Сразу и не скажешь. Не гони меня, Зубый, вот приедем до места, там и расскажу.

— И то верно.

Снова ехали молча, не обронив больше ни слова. Тропа виляла, делала большущие круги, огибая глубокие лога, завалить которые до краев не смог даже обильный в эту зиму снег. Темный еловый лес смыкался плотнее, в иных местах оглобли задевали за ветки, и тогда сверху обрушивались целые сугробы. Солнце шло на закат, и в узкие прогалы между густо стоящими деревьями проскакивали алые полосы. Но скоро они побледнели и исчезли. Сумерки сразу же затопили ельник, тропу, даже голова лошаденки словно бы расплывалась в потемках.

Внезапно ельник кончился, словно обрезанный, и перед ними открылась просторная поляна, которая полого скаты-



вася к маленькой вилюжистой речке. На поляне стоял широкий, приземистый дом, обнесенный заплотом, за домом — дворы, хлев, конюшня, такие же широкие, приземистые, неказистые на вид, но срубленные крепко и основательно. Почти на самом берегу речушки прилепилась банька, мимо нее была протоптана широкая тропа, по которой гоняли на водопой скот. Проруби, выдолбленные во льду, темнели прямоугольными заплатами на белом снегу, различимые даже в сумерках.

Навстречу подводе выскочила из-под ворот бойкая рыжая собачонка, залаяла бестолковым лаем.

— Вот, Зубый, моя спасительница, если б не она, валялись бы мои косточки за речкой...

— Значит, осел и остепенился?

— Да как сказать... Я твой наказ выполнил, во всем, что требовалось, помог, купца твоего Дюжева выручили. Они — в город, а я — в тайгу, дело привычное. До осени перебился, а осенью захворал. Жар напал страшный, меня, как листок осиновый, трепало. Свету белого не вижу, бреду, как в тумане, а в голове только одна думка — не упасть. Понимаю: упал — значит пропал. Как я до этой речки дотелепал — не помню, и как свалился на том берегу — тоже не помню. Очнулся — в избе, в тепле, и баба за мной ухаживает. Сказка, да и только. А почувала меня вот эта рыжуха, полночи надрывалась, лаяла, пока Анну не подняла. Анна меня на санях и вытащила. Что еще? Мужик у нее конокрад был, станок здесь держал. Ну и отловили его в одной деревне, два года назад случилось, нутро отшибли, он даже и помяться не успел. А я выздоровел, на ноги поднялся, ну и стал заместо мужика Анне. По лошадям промышляю, станок держу, кличут меня теперь Ваня-конь. Вот и вся история.

В красивом и дородном мужике с коротко остриженной бородой теперь никто бы не признал безродного бродягу, которого видели Петр и Дюжев в сосновом бору, надалеко от села Поломошного. Раздобрел, раздался в плечах и помолодел.

— А ты здесь как, Зубый?

— По срокам выпустили, даже бумага имеется, казенная.

Да и то сказать — притомился. В одно местечко мне надо попать, ты поспособствуешь. Ну, да об этом еще потолкуем. Веди, показывай хоромы с хозяйкой...

— Проходи, Зубый, будь гостем.

В доме их встретила дородная хозяйка, плавная в движениях и в голосе. Широко повела полной рукой, приглашая к столу, сказала, словно пропела:

— Милости просим, гость дорогой, откушайте, чем богаты...

Стол прогнулся от угощений, будто за него должна была сесть добрая артель. Дымились пельмени, пыхали жаром рыбные пироги, вздрагивал кисель в тарелках и золотился студень.

— Богато живешь, — усаживаясь за стол, говорил Зубый, — видно, передом удача к тебе повернулась.

— Пока передом, — отвечал Ваня-конь, — да дело-то наше рискованное, может и задом в любой момент обернуться.

— А ты не думай и не загадывай, живешь и живи, по сторонам не оглядывайся.

Просидели они долго, до полуночи. Вспоминали каторгу, прошлые дела, даже спели, расчувствовавшись, «Милосердную», всплакнули и лишь после этого, хмельные и тяжелые, уснули.

Утром парились в бане и там, досыта нахлеставшись веником, переводя дух в пребаннике и попивая квас, Зубый наконец-то заговорил о главном:

— Мне в Огневу Заимку надо попать. Ты бы мне лошадок хороших выправил.

— А зачем тебе самому-то на лошадаках? Есть друзья-товарищи, с рук на руки передадут и доставят в Огневу.

— Нет, никто не нужен, сам поеду, такая моя задумка. Только лошадок не давай ворованных, пусть честные будут, как хочешь делай — покупай, меняй, но чтобы не ворованы...

— Да будут тебе лошадки, будут. Может, передумаешь, возьмешь кого в подмогу, вон как хрипишь, словно удушанный...

— Никого не надо. Сам...

16

Щедро оделенные деньгами, с небольшой поклажей на возах, братья Зулины и Захар Коровин возвращались в Огневу Заимку и гадали: никак не могли отыскать причину смурного вида Дюжева, с которым тот проводил их в дорогу.

— Уж такой невеселый, как назьма наелся, — удивлялся Захар, — и чего с им случилось?

— Да не бери в голову, — рассудительно говорил Павел Зулин, — купеческое дело — оно такое, сегодня густо, а завтра — пшик... Видать, чего-то не заладилось, а коли не сказал причины — значит, нам ее и знать не следует. Эх, скорей бы до дома да в баню!

— В баню — это знатно! — поддержал его Захар, — по баньке я соскучился, прямо спасу нет.

И разговор у них плавно перекатился на домашние дела, по которым тоже успели наскучать за долгую отлучку. Толковали о том, что надо успеть вывезти сено из-за Уени, пока еще лед держит, да неплохо бы выбраться на охоту, чтобы зайцев погонять, а всего больше хотелось им, хоть и не говорили про это вслух, снова увидеться с родными, с ребятишками поиграться, а ночью закатиться под теплый бок жены.

За этими разговорами и застиг их внезапно ошалелый всадник, вымахнувший из-за пригорка так быстро, словно свалился с неба. Каурый жеребчик под ним был в мыле, и на мокрых боках змеились темные полосы от плетки. Перед возом, на котором сидели Захар с Павлом, всадник так резко остановил жеребчика, что тот, задирая голову и оскалив зубы, встал на дыбы.

Захар быстро сунул руку под полог, ухватил ложе ружья и на всякий случай взвел курок — чем черт не шутит.

— Мужики! — хрипло заорал всадник, — люди добрые! Выручай! Кони понесли, мост всмятку, человека спасти!..

Ничего нельзя было понять из этого крика, но главное — что беда случилась — до мужиков дошло. Быстро раскидали один воз, пали на сани и, понужая бедного конягу в две плети, скоро оказались на боковой дороге, ведущей к тракту. Дорогу пересекала речка, а через речку стоял мост. Когда подошли к этому мосту, увидели — перила снесены напрочь, а сам мост, наполовину обрушенный, рухнул на лед речки.

— Кони понесли! Кони понесли, заразы! — надрывался в неистовом крике всадник, — а его и вытряхнуло на лед. Да сверху пришмякнуло!

Соскочив с воза, мужики огляделись и поняли, что случилось: с горюшки, которая скатывалась к мосту, лошади вынесли так, что санями напрочь сшибло ветхие перила,

а мгновением раньше на лед вылетел седок, и перила обрушились прямо на распластавшегося бедолагу. Благо, что лед выдержал и не проломился, иначе бы седок утонул сразу. Теперь же, придавленный сверху досками и бревнами, он лишь бессильно царапал снег растопыренными пальцами. В отдалении от моста кружила тройка и таскала за собой изуродованные сани.

— А я следом за им, гляжу — понесли! Ему бы вожжи круче и вбок от моста, — в снег бы залетел и целый! А тут — только треск пошел! Я побегал вокруг, да разве один такую махину сдвинешь! — все кричал и никак не мог успокоиться всадник.

— Да передохни ты, оглушил всех, — осадил его Захар, — вон веревка в санях, спускай коня вниз, растаскивать будем.

Растащить перила оказалось делом непростым. Сколоченные из толстенных, наполовину распущенных бревен, они, хоть и с подгнившими столбиками, были столь тяжелы, что конь, упираясь, соскребал снег задними ногами до голого льда. Но вот поднатужились разом, подстегнули коня, перила чуть приподнялись, и Захару хватило этого мгновения, чтобы выдернуть из деревянного плена незадачливого седока. Подхватили его на руки, вынесли на берег, уложили в сани. И только тут разглядели — кого от смерти выручили. Лежал на санях глубокий старик, лицо — в серых морщинах и старых шрамах, на синюшных губах размазана сукровица, а из-под шапки вывалился клок совершенно седых волос.

Это был Зубый.

— Дед, ты живой, али помер? — Захар потрянул его за плечо, — дай знак!

Зубый закричал, открыл мутные глаза, подернутые белесой пленкой, повел ими вокруг себя, оглядываясь, и вдруг растянул губы в довольной ухмылке, показывая бело-кипенные, будто из сахара-рафинада выточенные зубы.

— Едрит-твою за ногу! Обошел я, косую-то, на вороних обошел! Знать, не время мне туда, нет, не время... — и тоненько захихикал, но тут же закашлялся, схватился рукой за грудь, в которой все булькало и хрипело. Едва-едва отхаркался, отплевался и, вытирая выступившие слезы, просипел:

— Мне, мужики, в Огневу Заимку надо, до зарезу... Свезите, за деньгами не постою...

— Свезти-то свезем, — отвечал Захар, — а ты по дороге не окочуришься?

— Не, я же сказал — рано мне туда.

— Коли так — поехали.

Лишний раз решили старика не тревожить, оставили на той же самой подводе, на которой прискакали к мосту. Тройку выпрягли из саней, разбитых напрочь, связали гуськом и приставили к общему обозу.

Всю дорогу Зубый охал, хрипел и кашлял, но глядел бойко, и время от времени, отдыхаясь, приговаривал:

— Рано мне туда, рано...

Как только въехали в Огневу Заимку, он велел везти к храму. Подвезли, остановились у самой паперти. Зубый высоко задрал голову, долго смотрел слезящимися глазами на церковный купол, на сияющий крест, вровень с которым плыло синее облачко. Лицо Зубого светилось. Казалось, что даже глубокие и кривые морщины распрямились.

— Теперь, мужички, последние хлопоты вам, — он пошарил за пазухой, вытащил деньги, — это вам за то, что живого доставили, а коней после себе заберете, за то, что похороните меня. Все понятно? Теперь несите в церковь.

— Погоди, дед, ты чего так легко конями бросаешься? — удивился Захар, — уж не ворованы ли они?

— Мои кони, мои, деньги за их плачены, владей и не сомневайся. Неси в церковь.

Отец Георгий встретил их у порога, выслушал сбивчивую просьбу старика о том, что хочет тот исповедоваться, и велел перенести его поближе к алтарю.

— Подсадите меня, ребятки, — попросил Зубый, — на ногах не сдюжу, а сидеть смогу.

Его подсадили, и он, прокашлявшись, тяжело поднял руку, перекрестился. В груди у него булькало, как в самоваре, но лицо по-прежнему оставалось светлым и даже радостным. Отец Георгий показал мужикам на дверь, и те неслышно вышли. Спустились к коням и сели на подводы, дожидаясь, когда отец Георгий исповедует старика.

— Он до того негожий, что его зараз и отпевать надо, — раздумчиво сказал Захар, вздохнул и добавил: — И откуда

он такой вывалился? Денег отвалил и коней... Хошь не хошь, а куда-то определять надо на постой.

— Определим, — ответил ему Павел, — живого не закопаем.

Ждать им пришлось долго, очень долго. День уже пошел на вторую половину, мужики успели продрогнуть на свежем ветерке, а из церкви никто не выходил.

— Видно, грехов полная коробочка накопилась, долго пересказывает, — усмехнулся Захар, постукивая себя по настывшим коленям. И в это время на паперти показался отец Георгий. Его лицо, всегда строгое, на этот раз было суровым. Он махнул рукой, подзывая мужиков, и когда те подошли, сказал:

— Гроб надо сделать и похоронить по-христиански. Преставился...

— А кто он, батюшка, откуда? — спросил Павел, — мы и знать его не знаем!

— Раб Божий, — задумчиво ответил отец Георгий.

В тот же день мужики изладили гроб, выкопали могилу на краю деревенского кладбища и опустили в нее новопреставленного.

Добротный, хорошо оструганный сосновый крест розовел под лучами закатного солнца, охраняя последнее пристанище бывшего почтового чиновника Ильи Серафимовича Тархова и бывшего разбойника и каторжника по кличке Зубый.

## 17

По чистому и белому, словно только что народившемуся снегу, щедрыми пригоршнями раскидана была темно-алая клюква. Целая поляна усеялась ею, и нельзя было сделать и единого шага, чтобы не наступить на ягоду. Тихон Трофимович замер у края поляны, не зная — куда поставить ногу. Поднял глаза — на другом краю стояла Марьяша. Улыбалась ему и расплетала не до конца расплетенную косу. На белой рубашке густо рассыпались пшеничные волосы.

«Вот, Тиша, и церковь наша встала, как я ее видела — такой и встала. Мы в ней венчаться будем, скоро уже, совсем скоро. Я тебя позову, ты жди...»

И медленно-медленно стала отходить, истаивая, исчезая в струящемся свете.

Тихон Трофимович дернулся за нею следом, но кругом лежала ягода и некуда было поставить ногу, чтобы не раздавить крубокие клюквины. А давить их он почему-то боялся.

Так и остался он на краю поляны, не шагнув вслед за Марьяшей, а проснувшись, долго не открывал глаз, и мысли скользили такие же зыбкие и летучие, как сон: это ведь знак, думал он, ясный знак, что Марьяша его к себе, туда, зовет. Значит, скоро и наступит пора собираться. Думалось об этом без страха, а спокойно и даже умиротворенно, как бывает после тяжелой работы, когда наступает долгожданный и совсем уже близкий отдых.

Но едва он только поднялся с постели, едва сел завтракать, как позвали и властно притянули к себе обиденные дела, отодвигая в сторону предутренний сон.

Спозаранку, как это он всегда делал, заявился Дидигуров и сразу, не тратя времени на лишние слова, начал рассказывать о том, где он побывал, с кем переговорил и где уже по весне можно будет ставить первые молоканки.

— Главное, как я уразумел, надо со старостами вась-вась заиметь, кому потребуется, тому и денежку дать... маленькую, чтобы пошибче разговоры крутили. Дело наше — твердо говорю — золотое будет, надо только шевелиться резвее. А ты, я гляжу, не торопишься?

— А я совсем, пожалуй, из дела выйду.

Дидигуров даже перестал шоркать подшитыми пимами под столом. Примолкнул, наклонив голову, снизу вверх внимательно разглядывал старинного компаньона. Ждал — чего еще Дюжев отчебучит?

Тот лишь сопел, раздувая широкие ноздри.

Не дождавшись больше от него ни слова, Дидигуров снова зашоркал пимами и взялся выговаривать:

— Лихо ты, Тихон Трофимыч, поворачиваешь. Кашу вместе заваривали, а теперь на попятную: на, Степан Феофаныч, расхлебывай. У нас такого уговора не было! Вместе начинали, вместе, стало быть, и до ума доводить будем! И на иное-прочее я никак не согласный!

Тихон Трофимович мотнул головой, будто бык на привязи:

— Отвяжись!

— Ну уж нет, Тихон Трофимыч, не отвяжусь, а привяжусь, пристану, как банный лист к заднему месту, — не стряхнешь и не отцепишь. Норов-то спрячь свой, дело — оно превыше норова.

— Сказал — отвяжись! Все!

— Да какая тебя муха укусила, что с глузду съехал?!

— Никакая!

— Ладно, ладно, ладненько, — Дидигуров поднялся из-за стола, — я пойду, а ты охолони, подумай. Не барышня ты, а купец именитый! И нечего капризы устраивать!

Легонькой, вьющейся походкой Дидигуров направился к двери и взялся уже за ручку, но вдруг круто развернулся и снова — к столу. И по столешнице — сухоньким кулачком, да с такой силой, что чашки звякнули. И раз, и два, и три! Тихон Трофимович только вздрагивал от неожиданности и все выше вскидывал голову, тараща удивленные глаза — никогда таким сердитым он Степана Феофановича не видел.

— И вот еще! Чуешь?! — под самый нос Тихону Трофимовичу сунул Дидигуров сердитую дулю и далеко высунутым большим пальцем пошевелил для вящей убедительности: — Вот тебе — выйду!

Двери за ним закрылись с грохотом.

Тихон Трофимович оглядел стол с нетронутыми шаньгами и пустыми чашками, полюбовался на захлопнутую дверь, словно впервые все видел, и тихонько захихикал, будто пьяненький — шибко уж забавен был Дидигуров в своем неподдельном гневе.

— Нет, брат, — вслух сказал самому себе, — не отбояришься, до самого упору колготиться придется.

Печально покивал головой, опять же с самим собой соглашаясь, разломил шаньгу и принялся наливать чай. Все-таки Дидигуров по столу кулачком своим не зря стучал — Тихон Трофимович начал перебирать в уме хозяйственные дела, которые срочно следовало сделать, но сбивался и сосредоточиться на них никак не мог, потому что иное беспокоило его сейчас больше всего: припер Боровой их с Петром к стенке, так крепко припер — не вывернешься. Выставил жесткое условие: либо они с Петром отправляются по весне в Мариинскую тайну, либо он их обоих с потрохами сдает полиции.

Как Тихон Трофимович с Петром ни ломали головы, ничего дельного, что могло бы остановить Борового, не придумали. А тот, чуя их слабину, с каждым разом напирал все настойчивей. Что делать? Не убивать же его! И пришлось дать согласие. Когда это решение приняли, Петр как будто даже обрадовался, чем донельзя удивил Тихона Трофимовича, который не удержался и спросил:

— Это с какого квасу радость у тебя такая?

— Сам не знаю, Тихон Трофимович, — отвечал ему Петр, — наверное, скушно мне стало, а тут все-таки живое дело.

— Разбойное, а может и мертвое — вот какое дело, — недовольно бормотал Тихон Трофимович, но бормотал больше для собственной укоризны, потому как прекрасно понимал: будет их Боровой водить на веревочке, как бычков, пока своего не получит.

И не ошибся.

Скоро Боровой пришел с новым условием: надо им с Петром срочно съездить до Мариинска и там оглядеться — куда и как им весной отправляться, чтобы добраться до нужного места. Скрепя сердце, пришлось и на это согласиться. Неделю назад Боровой с Петром отбыли в Мариинск, и до сих пор от них не было ни слуху, ни духу.

Тихон Трофимович дошвыркал чай с блюдца, велел Феклуше позвать приказчика и до самого вечера просидел с ним за бумагами: зима заканчивалась и надо было до точности подсчитать какие прибыли и убытки она доставила. В сумерках, уже при свете лампы, они закончили работу, и Тихон Трофимович со стуком поставил деревянные счета на ребро. Хорошая зима выдалась! С прибылью.

Он отпустил приказчика, собрал бумаги и запер их в шкаф. Потоптался, не зная, куда себя девать, оделся и вышел на улицу. С неба сыпал мелкий, сухой снежок, дул резкий, пронизывающий ветер и к его лихим посвистам добавлялся протяжный собачий лай. Где-то на конце улицы невнятно звучали пьяные голоса запоздалых гулеванов. Тихон Трофимович прошелся по своему двору, проверил запоры, замки и, вернувшись, сел на ступеньку крыльца. Вздрагивал, замерзая от ветра, стряхивал с коленей мелкую ледяную крупу и было ему

так тоскливо и нерадостно, что хотелось задрать голову и завывать, присоединяясь к собачьему лаю.

И снова, как утром, подступило желание — бросить все, уйти куда-нибудь, спрятаться, затихнуть, чтобы никого и ничего не видеть.

Дверь за спиной у него едва слышно скрипнула, под легкими шагами скрипнула снежная крупа. Тихон Трофимович повернул голову: рядом стояла Феклуша, зябко куталась в теплую шаль. Ничего не спрашивала, не говорила, а стояла рядом и смотрела в темноту.

— Ты чего, Феклуша?

— Тихон Трофимович, давно хочу спросить у вас, — она подобрала юбку и присела рядом на ступеньку, — а Петр Алексеич — он кто?

— Как кто? — развел руками, — Петр Алексеев Петров, человек.

— Я не про то... Он откуда?

— А зачем тебе?

— Да чудной какой-то, он как будто нездешний, он как будто в другой стороне живет...

— Знаешь что, девонька, ты сама у него спроси — в какой он стороне живет... А теперь пойдем спать, время позднее.

Петр, легок на помине, явился назавтра к полудню. Проголодавшись с дороги, он жадно ел, а Тихон Трофимович смотрел на него и с расспросами не торопился, хотя его и разрывало от любопытства — какие известия приехали?

Феклуша принесла свежую, только из печки, стряпню, положила, что Митрич лошадей распряг и обиходил, а теперь просится съездить в кузню, чтобы подковать пристяжную.

— Пускай едет, — махнул рукой Тихон Трофимович.

— Мне еще... — замялась Феклуша.

— Ну...

— Не знаю, как и сказать...

— Как есть, так и говори.

Не сходя с места, Феклуша прижала руки к груди, и видно стало, что пальцы у нее вздрагивают.

— Да ты не бойся, девонька, — ласково успокоил ее Тихон Трофимович, — говори.

Феклуша вздохнула и призналась:

— Боюсь я... Напугал меня Боровой. Я на улицу выскочила, когда Петр Алексеич приехали, Боровой за ворота вышел, а после вернулся, схватил меня за рукав и давай пугать. Если, говорит, ты не будешь мне все про хозяина рассказывать, я тебя в полицию сдам. Я говорю — за что же меня сдавать? А он лыбится и говорит — найдем за что. И велел мне про вас докладывать, и про вас тоже, Петр Алексеич, — куда ездили, с кем виделись и о чем разговаривали. Деньги мне сунул, сказал, что после еще добавит. Вот они...

Феклуша шагнула к столу и положила на самый краешек два рубля серебром.

— Мог бы и поболее отвалить, — хмыкнул Тихон Трофимович, глядя на деньги, — заведи их себе. А что Боровому говорить, мы тебя научим. Ступай, Феклуша, и никому про наш разговор ни слова. И само главное — не бойся, ни один волос с тебя не упадет.

— Я за себя не боюсь, я за вас и... вот, за Петра Алексеича...

— И за нас не бойся. Ступай.

— Уж простите, Тихон Трофимович, а деньги я не возьму, нехорошие они...

— Возьми, возьми, разменяй помельче и убогим раздай. В церковь пойдешь и оделишь сердешных.

Выпроводив Феклушу, Тихон Трофимович долго молчал и в упор смотрел на Петра. Тот спокойно допивал чай и улыбался.

— Плакать надо, а ты скалишься!

— Рано плакать, Тихон Трофимович. Это он от боязни, сам боится, больше чем мы.

— Это еще как поглядеть. Ладно. Чего там делали, в Мариинске?

## 18

До Мариинска, как следовало из рассказа Петра, они не доехали. Верст за тридцать Боровой, который сам правил лошадами, свернул с тракта в сторону и они по колдобинам и сугробам долго добирались до глухой заимки, притулившейся в распадке на берегу горной речки. Заимка была огорожена высоким заплотом, столь мощным, что издали он смахивал на крепостную стену. Хозяин, угрюмый и немногословный

мужик, заросший дремучей бородой по самые глаза, кивнул Боровому, как старому знакомому, и широко открыл ворота. Обиходил коней, провел гостей в избу, скомандовал такой же угрюмой и некрасивой бабе:

— Исть подай.

Ели в полном молчании, только деревянные ложки постукивали. После ужина баба убрала со стола посуду, постелила гостям на полу в боковой комнате, а сама ушла вместе с хозяином в горницу. Слышно было, как скрипнула деревянная кровать, и все стихло, только в дальнем углу настырно скреблись мыши. Петр лежал с открытыми глазами, смотрел в темный, едва различимый потолок и чутко прислушивался — уснул Боровой или нет? Тот, словно угадав его мысли, закричал, переворачиваясь с боку на бок, и утешил:

— Ты почивай, почивай, господин офицер, не опасайся, никто не зарежет. Хозяева — надежней надежного, а что неласковые, так у них порода такая, — помолчал и добавил: — А почему ты не спрашиваешь ничего? Куда приехали, куда поедем? Неужели узнать не желаешь?

— Жду, когда сам расскажешь.

— Ты погляди, какой он терпеливый и без любопытства. Дело у нас такое — по снегу, до распутицы, мы сюда со всем припасом должны прибыть. И как только лед пронесет, будем по речке сплавляться. Рисково, да все лучше, чем через бурелом с лошадами и с поклажей царापаться — на одну дорогу больше месяца уйдет. А тут сядем на плотик и — со свистом! Только поглядывай на порогах, чтоб в щепки не разнесло.

— А если разнесет?

— Боишься? Значит, господин офицер, судьба у нас такая, неласковая. Ну, все, давай спать, завтра день длинный.

На следующий день Боровой о чем-то долго говорил с угрюмым хозяином, а после, взяв лыжи, отправился вниз по речке, наказав перед этим Петру:

— Ты пока отдыхай, господин офицер, я к завтраму вернусь, сбегаю тут недалеко. Не вздумай за мной следить, а то хозяин рассердится.

Хозяин и впрямь не спускал с Петра глаз, а если куда отлучался, за гостем приглядывала баба, щуря холодные, раньше

времени выцветшие глаза. Но Петр и не собирался следить за Боровым. Как тут уследишь? Без лыж далеко не уйдешь, снег хоть и просел под солнышком, но сугробы все равно высились под самую маковку.

Чтобы скоротать время, Петр отыскал во дворе большую палку, изогнутую так, что она походила на трость с ручкой. Примерил ее для себя, обрубил и стал украшать резьбой. Сам не ожидал, что это заделье ему так понравится. Резьба получалась ровная, красивая, а гладко обструганная ручка сама влипала в ладонь. Петр даже не удержался и прошел, опираясь на палку, по двору.

Так и день минул.

После молчаливого ужина Петр сразу уснул, но посреди ночи, будто его толкнули, внезапно пробудился. Прислушался. В избе, как и в прошлую ночь, было тихо, даже мышинного шебаршанья не слышалось, а вот за окном, на улице, не прерывался тоненький и непонятный звук, тянулся, как нитка, без единого обрыва. Стараясь не шуметь и осторожно наступая на половицу, чтобы она не скрипнула, Петр поднялся, неслышно подошел к окну и отшатнулся: по стеклу, даже в темноте было видно, беззвучно скребли кривые растопыренные пальцы, а снизу поднимался тонкий звук, не разобрать — то ли визг, то ли плач. Казалось, что щенок ноет. Но нет — человеку принадлежал этот странный звук. Пытаясь разглядеть — кто там, Петр встал на цыпочки, едва не выдавливая лбом стекло, но успел уловить только неясное шевеленье — в горнице заскрипела кровать.

Кашляя и ругаясь себе под нос, хозяин громко протопал к печке, натянул пимы и вышел на улицу. Петр, босиком, скользнул за ним следом.

Из-за горы поднимался серпик месяца, иззубренные макушки кедрача на вершине озарялись бледным светом, темнота раздергивалась и редела. В этой полутьме неясно, но все-таки виделись и могучий заплот, и наглухо запертые ворота, и темная стена угрюмого, настороженного бора.

Хозяин уверенно дотопал до угла, завернул, и оттуда донесся его хриплый после сна голос:

— Какого рожна скулишь? Жрать хочешь? Ступай в баню! Там тебе жратва стоит! И не лазай через заплот, не лазай, а то подстрелю ненароком. Сколько раз талдычить, чурка ты с глазами!

В ответ — неясное бормотанье, и вдруг, прерывая его, как всхлип, ясно и отчетливо прозвучало:

— Майн готт! Майн готт!

— Будет тебе и майна, если меня слушать не станешь, — хозяин откашлялся, сплюнул себе под ноги, — давай в баню, ступай, ступай...

Послышалось за углом сопенье, затем шаги, Петр попятился с крыльца в сени, оставив дверь приоткрытой. И в эту широкою щель увидел, как хозяин вытолкал из-за угла какое-то странное, лохматое существо. Только приглядевшись, Петр понял, что это мужчина, донельзя заросший бородой, которая доставала ему до пупа. Длинные волосы на голове космами валялись на плечи. Одет он был в немыслимое рванье, которое при ходьбе шевелилось на нем, как живое, — каждая тряпочка по отдельности.

— Иди, иди, — приговаривал хозяин, нетерпеливо подталкивая странного ночного гостя в спину и направляя его к бане, стоявшей в дальнем углу широкой ограды. И еще раз, перед тем как двери бани захлопнулись, донеслось до Петра:

— Майн готт!

Хозяин оглядел двор, подошел к воротам, подергал крепкий березовый запор и направился к крыльцу. Петр на цыпочках проскочил в боковушку, лег и, делая вид, что спит, тихонько захрапел. Хозяин, прежде чем пройти в горницу, прислушался. Скоро скрипнула кровать. И — тишина.

«Что же это за оборванец, который бормочет по-немецки? — мучительно думал Петр, — какая связь между ним и хозяином? И какая связь с Боровым?» Но никакой, даже самой маленькой зацепки, ухватить не мог. Получалось, что Боровой тащил его за собой, как незрячего.

С этими безрадостными мыслями он и забылся тревожным сном.

Боровой появился на следующий день, к обеду. Потный, запаренный так, что над ним дымок курился, он скинул лыжи и бухнулся на нижнюю ступеньку крыльца. Покряхтывая от усталости, вытянул натруженные ноги. Глазки под белесыми поросычками бровями весело поблескивали. Блаженно улыбаясь, Боровой подмигнул Петру:

— Вот, вернулся, как обещал. Какие новости, господин офицер? Все тихо, спокойно?

— Почти что так, — ответил ему Петр, — если не считать появления одной странной особы...

— Какой такой особы? — насторожился Боровой.

— Да скребся ко мне ночью в окно какой-то юродивый, — Петр помолчал, наблюдая за выражением лица Борового, и продолжил: — На вид — бродяга бродягой, но бормочет по-немецки. Я уж не знаю — может, приснилось?

— Приснилось, приснилось, господин офицер! — Боровой упруго вскочил со ступеньки и кинулся в дом. Оттуда сразу послышался его разъяренный крик, перемежаемый матерками.

Хозяин в ответ пытался что-то глухо и невнятно бубнить, но Боровой тут же перебивал его и начинал орать и материться еще громче. Внезапно все стихло, как отрезало, и в наступившей тишине послышался смачный звук увесистой оплеухи.

Боровой выскочил на крыльцо, едва не сшиб со ступеньки Петра и бросился к бане, косолапо раскидывая в беге толстые ноги. Рывком распахнул дверь, согнувшись, нырнул в темное нутро, но тут же вылетел обратно, размахивая пустой глиняной чашкой.

— Затопчу! — ревел он, — затопчу, сволочуга!

И снова — в дом. Хряпнулась об пол чашка, слышно было, как с глухим стуком разлетелись осколки. А дальше, без перерыва, сплошные, хлесткие удары. Истошно заголосила баба. Удары прекратились. Боровой вывалился на крыльцо, изумленно оглядел свой сжатый кулачище и нежно подул на него. А после пожаловался:

— Морда у дурака, как каменна! У-у-ух, господин офицер, дела у нас — хуже некуда! Собирайся, поедem.

— Куда?

— Домой поедem, хватит, попутешествовали!

— А юродивый-то ушел?

— Улетел! На ковре-самолете! Собирайся скорей и не приставай с расспросами, надо будет — сам скажу. Ты же клялся, что нелюбопытный.

Петр не отозвался.

Хозяин, сплевывая кровь с разбитых губ, быстро запряг лошадей, сам отчинил тяжеленные ворота. Делал все это, не поднимая глаз, уперев взгляд себе под ноги.

— И гляди у меня, — обернувшись, размашисто погрозил ему бичом Боровой, — во все шары гляди, иначе я тебе их вышибу!

Хорошо отдохнувшие лошади сразу взяли веселый ход. К вечеру выбрались на тракт и заночевали на первом же постоялом дворе, где беспощадно разбойничали голодные и вездесущие клопы. Петр с Боровым чесались, ворочались и, в конце концов, не выдержав, дружно поднялись еще до рассвета, отказались от чая и выехали на Томск.

Всю дорогу Боровой мычал непонятную песню без слов, о чем-то напряженно думал и время от времени, встряхиваясь, протяжно выговаривал:

— Ничо-о-о, па-а-ря, вы-ы-едem!

## 19

Поездка с Боровым никакой ясности не добавила — наоборот, еще сильнее все запутала. Тихону Трофимовичу с Петром только и оставалось, что теряться в догадках и предположениях. Между тем миновала масленица, наступал Великий пост и в аккурат накануне Прощеного воскресенья взыграло солнце и обвалилось тепло, да такое напористое, что на склонах томских улиц забулькали первые ручьи. Правда, утром придавил морозец и улицы зазвенели хрупким ледком, но солнце поднималось яркое и уже по-весеннему веселое. Сосульки на крышах дружно ударили гулкой капелью; воробьи, пережившие зиму, захлебывались в радостном чириканье. В прохладном, звенящем воздухе ядрено пахло конским навозом.

Всякому знающему человеку было ведомо, что еще десяток таких дней — и тракт расквасится до голой земли. Боровой заторопился, назначил время отъезда, и начались спешные сборы. Ехать решили на двух одинарных подводах, третьего



коня брали для запаса, на всякий случай, пускай бежит в по-  
воду без груза. На двух саних, стоящих во дворе, основатель-  
но укладывали топоры, пилы, веревки, гвозди, скобы, таганок,  
котел... — Боровой сам следил, чтобы ничего не забыли.

— В буреломе просить не у кого будет, там одна надежда  
— на самих себя, — приговаривал он и хитровато при этом  
ухмылялся.

На другие сани укладывали съестное: сушеную рыбу, вяле-  
ное мясо, чай, соль, сахар...

— Как там сухари, поспели? — спросил Боровой у Петра,  
и тот отправился в нижнюю половину дома, чтобы узнать  
у Феклуши — готовы ли сухари. Их собирались засушить  
мешка три, с запасом.

Узкие деревянные ступеньки вели вниз. Там стояла боль-  
шущая, как беременная корова, печь, столы, лавки, и тянуло  
отсюда всегда теплом, запахами жареного и пареного, а так  
как дверь из-за жары частенько оставляли приоткрытой, то  
запахи эти выползали во двор и были настолько соблазни-  
тельны, что хочешь не хочешь, а слотишь слюнку, сам того  
не замечая. С недавних пор Петр стал наведываться сюда все  
чаще и чаще. Особый уют, царивший здесь, обволакивал его  
неведомым доселе спокойствием; временами ему даже каза-  
лось, что он наяву задремывает, ни о чем не думая, ничего не  
вспоминая из прошлого и ничего не загадывая на будущее.  
Феклуша проворно хозяйничала, изредка и украдкой погля-  
дывала на него, а он, придвинув табуретку поближе к зеву  
печки, не отрывал глаз от плавно загибающегося пламени,  
беззвучно ускользавшего в дымоход. На лице шевелились  
алые отсветы, и казалось, что Петр вот-вот истает, исчезнет...

Сегодня печь уже протопилась, и из ее жаркого нутра Фе-  
клуша доставала железные листы, на которых прокалились до  
звона широкие, с мужичью ладонь, сухари.

— Сейчас, Петр Алексеич, — опережая его вопрос, заторо-  
пилась Феклуша, — вот охолонут маленько — и ссыплю, вон  
и мешки готовы.

От печного жара она разругнулась, глаза блестели, на  
лбу металась пушистая прядка волос, выскользнувшая из-под  
платка. Под просторной обыденной кофточкой колыхалась

высокая грудь, и Петр, сам того не замечая, невольно загля-  
делся. Словно почувствовав его взгляд, Феклуша обернулась,  
спросила:

— Хотите песню послушать, Петр Алексеич? Душевную...

— Песню? — удивился он, — и кто петь будет?

— Да вот, деда Семен, он меня своим песням учит, я его  
кормлю, Тихон Трофимович разрешил, а он учит...

Только теперь Петр заметил, что в самом дальнем углу,  
притулившись на краешке широкой лавки, сидел согбенный  
старичок в заплатанной и вылинявшей, но чистой рубашке.  
Реденькие седые волосы были аккуратно расчесаны на две  
стороны, такая же седая борода волнисто пушилась, плавно  
опускаясь на хилую, усохшую грудь. Но маленькие карие  
глазки светились по-молодому задорно, и все личико ста-  
ричка тоже светилось, будто он держал перед собой невиди-  
мую свечку.

— Доброго здоровья тебе, радость моя, — заговорил ста-  
ричок, отодвигая от себя пустую чашку. Старательно обли-  
зал деревянную ложку, соскреб в ладонь хлебные крошки со  
стола, кинул в рот, — мужа тебе удалого да разумного, чтоб  
жалел тебя, а от людей — почтение. Песню сыграть просишь?  
Со всей душой для тебя, ягодка. А ты присаживайся, молодец,  
в ногах, говорят, правды нет.

Петр шагнул, присел на другой край лавки. Теперь ста-  
ричок был прямо перед ним. А с другой стороны неслышно  
опустилась на табуретку Феклуша, сложила на коленях руки  
и напонила:

— Деда Семен, ты новую обещаешь. Не забыл?

Старичок закрыл глаза и будто пригасил веселый свет, оза-  
ривший его лицо. Запел:

Житейское море  
Играет волнами,  
В нем радость и горе  
Всегда перед нами.

Никто не узнаит,  
Никто не ручится,  
Что завтра с ним станет,  
Что может случиться...

Голос у него был негромкий, но такой чистый, без трещинки, что сразу ложился на душу, брал в свою волю и будто за-вораживал, заставляя сильнее биться сердце.

Богат ты сегодня,  
Пируешь роскошно,  
Но волю Господню  
Узнать невозможно.  
Легко может стать:  
Сроднившись с сумою,  
Пойдешь ты скитаться  
С горючей слезою.

Слова были ясными, простыми и пронизывали, словно невидимые иглы, заставляя заново переживать уже прошлые лета, заставляя думать о том, что судьба человеческая такая же хрупкая, как льдинка...

Петр будто окаменел.

Феклуша все ниже, ниже клонила голову и даже не замечала, как слезы густо падают на ее неподвижно лежащие на коленях руки. А старичок пел, и казалось, что он поднимается, вырастает вместе с песней, воспаряет в запредельную высь и голос не теряет по дороге своей силы, а, наоборот, только набирает ее. И странное происходило от этого голоса и щемящих слов песни: Петр и Феклуша, даже не глядя друг на друга, даже не сделав ни одного движения, двинулись навстречу и сблизились так, словно стояли рядышком, заглядывая в глаза напротив и читая в них боль и печаль, как в открытой книге, где без утайки было рассказано обо всем пережитом.

А в море житейском  
Волна за волною  
Сменяются резко  
Под нашей ладьею...

Старичок довел до конца песню, помолчал, по очереди их оглядывая, и вздохнул:

— Какая жизнь, така и песня. Спасибо, солнышко, за приют, за ласку, пора собираться мне, засиделся я в тепле у тебя.

Петр поднялся и молча вышел.

На улице он долго стоял, привалившись плечом к стене, смотрел на подводы, на суетившегося вокруг них Борового, на шустрых воробьев, разорявших конские кучки, смотрел на ясный весенний день, наполненный солнцем, но в глазах было черно.

— Где сухари-то? Готовы? — поторопил Боровой, — ты кого там, уснул?

Петр не отозвался и продолжал стоять на прежнем месте. Он слышал голос Борового, но смысл слов не доходил. В памяти, не затухая, все еще звучала песня, которую пел старичок своим необыкновенным проникновенным голосом.

20

Ранним утром, когда еще толком не рассвело, все было готово к отъезду. Тихон Трофимович вышел проводить, на прощание обнял Петра, чуть слышно шепнул на ухо: «Ты там аккуратней, поберегись...» — и безнадежно махнул рукой, прекрасно понимая, что побережься в этой опасной затее очень непросто.

Открыли ворота, кони сдвинули с места тяжело груженные сани. Напоследок Петр обернулся и увидел, как в нижнем окне отпахнулась занавеска и мелькнуло лицо Феклуши. Мелькнуло и исчезло. Ему вдруг до смерти не захотелось никуда ехать. Но он тут же пересилил себя, подобрал вожжи и удобней уселся на санях — путь предстоял долгий, тяжелый.

До восхода солнца успели порядком отъехать от города. Тракт на глазах становился все оживленней, тишину сменяли голоса, скрип полозьев, конское ржанье. Хрустел под копытами подмерзлый наст. Розовели макушки дальних бугров, а в низинах еще лежала темная синева и издали казалось, что они висkenь наполнены тихой водой. Боровой изредка оглядывался, оборачиваясь всем туловищем, проверяя — не отстал ли Петр, затем понужал коня и снова застывал на возу неподвижной глыбой, низко опустив голову в старой, лохматой шапке. Был он в это утро смурной, неразговорчивый, сердито сводил белесые брови над переносицей, и его маленькие глазки совсем терялись на широком, необъятном лице. Как-я-то неизвестная тревога мучила Борового, но Петр не рас-

спрашивал. Придет время — сам расскажет, не может ведь он без конца водить своего напарника в потемках. Вот доберутся до места — и тогда все станет ясным.

Длинна и скучна дорога, когда лошадки бредут неторопкой рысью, и только встающее над горизонтом солнце да яркое сияние округи под ним наполняли взгляд разнообразием. Под мерное движение приходили такие же неспешные мысли, и Петр вдруг поймал себя на том, что ему сейчас больше всего хочется вернуться к Дюжеву, который стал для него почти родным, снова увидеть Феклушу. «Как быстро человек привыкает даже к чужому гнезду, — думал он, — если этот человек бездомный. Бездомный, бесфамильный, беспаспортный... Странно, вот я еду, я существую — Петр Щербатов — и в то же время меня в этом мире нет, и как будто никогда не было. А я есть!» И уже вслух громко повторил:

— А я есть!

На душе стало легче, словно ему не хватало именно этих слов, сказанных прямо в огромный мир, расстилающийся вокруг.

У первого же постоялого двора Боровой сделал роздых, а на вопрос Петра — не рано ли? — сердито буркнул:

— В самый раз, еще успеем, наскочимся...

Обед подавала разбитная, шаловливая бабенка, которая в открытую пялилась на Петра и даже попыталась затеять разговор, спросив, откуда и далеко ли они едут, но Боровой сурово ее пресек:

— Цыть, мокрощелка, не до тебя!

Заказал чаю и водки, долго пил то и другое, вперемешку, никуда не торопился, словно собирался сидеть здесь до самого вечера, а может, и ночевать. Петр от водки отказался, да и чаю ему совсем не хотелось, но все-таки осилил чашку и стал терпеливо ждать, когда Боровой встанет из-за стола, чтобы ехать дальше. Но тот молчал и лишь громко швыркал, схлебывая с блюдечка горячий чай, и так же громко кричал после каждой рюмки водки. Лицо у него обнесло мелким бисером пота, и Боровой тяжело отпыхивался, обтираясь прямо широкой ладонью.

— Может, пора? — не выдержал Петр.

— А куда ты торопишься, офицерик мой разлюбезный? Думашь, там калачей напекли?! Там таки коврижки ждут — не прожевать! Ладно, поехали!

Нахлобучил на самые глаза шапку, и вид у него стал еще угрюмей. Выходя из постоялого двора, Боровой пинком открыл дверь, на крыльце задержался, словно забыл что-то, но затем плюнул и подался к подводе. Устроившись на возу, он даже не оглянулся на Петра и снова замер неподвижной глыбой, еще ниже опустив голову.

После этой ранней остановки роздыху лошадям не давали до вечера. В сумерках уже Боровой свернул с тракта и по какой-то заячьей тропе, немилосердно лупцуя коня бичом, выбрался к приземистой избушке, приткнувшейся едва не вплотную к старым огромным ветлам, которые мрачно чернели посреди синеватого снега.

— Тут ночуем, — объявил Боровой, — спать по очереди будем, ружье достань, держи под рукой. Коней распрягай, а я пойду гляну...

Он скрылся в избушке, и скоро из низенькой трубы пошел ленивый дымок. Петр распряг лошадей, щедро отсыпал им овса и огляделся. Место было глухое — никаких следов: ни конских, ни человеческих. Только спиленный неподалеку от избушки тополь, раскряжеванный на чурки, напоминал, что по лету или по осени здесь были люди.

Из гущи ветельника на поляну стали напозать потемки. Прибавил морозец, и лошадиные бока, не успевшие обсохнуть от пота, заиндевели. Снег под ногами начал похрустывать.

Боровой высунулся в дверь избушки, позвал Петра:

— Давай сюда! Пельмени скоро поспеют.

Петр достал ружье, укромно лежавшее на возу, еще раз оглядел поляну и вошел в избушку, где в низенькой печке, обмазанной глиной, постреливали дрова, а в чугунке уже булькали замороженные пельмени, настряпанные Феклушей в дорогу в полном изобилии. У стены — длинные нары, закиданные сеном; в стене, напротив дверей, — крохотное оконце. Низкий потолок не давал Боровому выпрямиться во весь рост, и он то и дело стучался об него головой, и тогда сверху, из разошедшихся щелей, сыпалась земля.

Приоткрыв дверку печки, чтобы в избушке стало чуть по-светлее, они молча поели пельменей, а после долго смотрели на весело пляшущий огонь.

— Так, господин офицер, — словно очнувшись, Боровой вскинул голову, ухватил Петра за рукав и притянул к себе, — слушай меня хорошенько и запоминай. Перво-наперво — без моего ведома ни единого шага. Это особо заруби. Дальше... Спи вполглаза и все время оглядывайся. Жизнешки наши теперь за здорово живешь фукнуть можно. Все уяснил?

— Ничего не уяснил. Одни загадки, а разгадывать их у меня нет никакого желания.

— Будет, будет желание! Как на хвост наступят да прищелят побольней — оно сразу появится. А теперь спать ложись, а я на караул, на морозец, чтоб не дремать.

Пригревшись у печки, Петр разомлел и, едва прилег на нары, как сразу же и уснул, только и успев подумать: «Веселое предстоит дело...» Никакого страха он не испытывал, предстоящая опасность и неизвестность не вызывали в нем даже легкой тревоги, поэтому и спал он, вопреки наказу Борового, крепко, даже без сновидений.

21

— Петр Алекс-е-е-и-и-ч! Петр Алекс-е-е-и-и-ч!

Он готов был услышать что угодно, но даже внезапный выстрел не бросил бы его в такое замешательство, как этот радостный крик, догнавший его у самого свертка с тракта, когда, следом за Боровым, Петр уже заворачивал лошадь, направляя ее на узкую дорожку, по которой они добирались в прошлый раз до потаенной заимки, где ночевали в доме угрюмого хозяина. Медленно, еще надеясь, что это ему послышалось, он обернулся назад. Нет, не послышалось. К свертку, далеко раскидывая копытами ошметья подтаявшего снега, летел конь, а на нем встряхивалась в седле Феклуша и продолжала радостно кричать:

— Петр Алексе-е-и-и-ч!

Длинный конец размотавшейся черной шали взмахивал за ее правым плечом, словно крыло.

Крик услышал и Боровой. Мигом соскочил с воза и проворно кинулся наперерез. Перехватил запаленного коня за

узды, выдернул из седла Феклушу, поставил ее перед собой, схватил ручищами за плечи и стал так трясти, что у той, бедной, голова моталась, как у тряпичной куклы.

— Ты зачем здесь? Ты зачем здесь, дура?! — Боровой захлебывался от злости, не находил других слов и повторял, словно заведенный, только одно: — Ты зачем здесь?!

Наоравшись вволю, он отпустил Феклушу и, потоптавшись на одном месте, пошел к своему возу, на ходу буркнул:

— Давай подальше отъедем.

Отъехали подальше. В мелком березняке, примыкавшем прямо к краю узкой дороги, Боровой остановил своего коня, настороженно огляделся и поманил к себе Петра и Феклушу. Когда они подошли, он, не слезая с воза, нагнулся и вытащил из-под мешка ружье, положил его на колени. Перехватил взгляд Петра и пояснил:

— Теперь так будем ехать, по-военному. Рассказывай, девка, каким тебя ветром надуло? Кто надоумил?

— Никто, я сама... Погодите присяду, ноги с непривычки...

Феклуша начала рассказывать, и Боровой, чем дальше ее слушал, тем сильнее мрачнел.

Оказывается, после их отъезда отбыл и Тихон Трофимович вместе с Дидигуровым. Как было сказано — по делам в Каинск. Это было в обед. А вечером, когда приказчик уже собирался закрывать магазин, появились два прилично одетых господина. Потолкались у прилавка, разглядывая товары, и позвали приказчика:

— Любезный, подбеги к нам... Сколько эта штучка стоит?

Приказчик подбежал, наклонился над прилавком, и тут же один из пришедших приставил ему нож к горлу. Произошло это так мгновенно, что Феклуша, собиравшаяся мыть полы в магазине, замерла в темном коридорчике и даже не ойкнула от страха. Прижалась к стене, скрываясь за цветастой занавеской, и в широкую щель видела все, что разворачивалось прямо на ее глазах.

— Не дергайся, парень, а то у меня рука легкая, зарежу и не замечу, — пришедший, не давая приказчику выпрямиться, не убирал нож, а другой в это время уже запирали изнутри двери и задергивали шторы на окнах.

Феклуша, прижав к груди руки, не шевелилась.

— Отвечай быстро и не задумывайся. Когда Боровой уехал?

— Вчера, вчера уехал, — с готовностью отозвался приказчик.  
— Хорошо. Сколько у них подвод?  
— Две. И конь запасной, под седлом.  
— Лошади какой масти?  
— Чалая и жеребец вороной. А под седлом — серый, в яблоках.  
— Ружья взяли?  
— Взяли.  
— Еды много?  
— Полные возы.  
— На сколько уезжают, говорили?  
— На сколько — точно не знаю, но надолго — месяц-два, не раньше.

— Молодец. А Дюжев куда отправился?  
— Хозяин в Каинск отбыл, по делам.  
— Сходится! Ну, ты, парень, золотой! Торгуй дальше, но язык за зубами держи, а то я его отрежу. Чик — и нету! Вот так!

Лезвие ножа хищно блеснуло, и к ногам приказчика упал большущий кусок от полы его сюртука. Приказчик икнул, глянув под ноги, а оба господина, открыв двери, неслышно выскользнули, как испарились.

Феклуша не могла сдвинуться с места, ноги будто приросли к полу, а приказчик, медленно выпрямившись, тупо смотрел на прилавок, и видно было, что он боится оглянуться назад.

— Да ушли они, — у Феклуши прорезался голос, и она сдвинулась с места.

— Ушли? — приказчик снова икнул и вытер со лба пот, — а ты здесь была?

— Да вот, стояла...

— И ничего не видела! И не слышала! Понятно?! Это хозяйское дело — пусть разбирается, а нам с тобой под нож вставать никакого резона нет! Слышишь, что говорю?! Слышишь или нет?

— Слышу, — пролепетала Феклуша, которая все еще не могла отойти от страха.

Они вместе закрыли магазин, вместе прошли в дом, и приказчик все повторял и наказывал Феклуше, чтобы она никому ничего не рассказывала. Та согласно кивала, а вечером, уже в потемках, заседлала коня, тихонько вывела его в поводу за ворота и, перекрестившись, взобралась в седло.

— Ночью уж шибко страшно было. Скачу, а сама боюсь — вдруг не догону, на постоялых дворах спрашивала... — Феклуша потуже перевязала шаль и, опустив глаза, попросила: — Мне бы хлебца кусочек, я как без ума выскочила, ничего не взяла...

— Хлебца ей кусочек! — взревел Боровой, — кнута бы тебе хорошего!

— За что? — растерялась Феклуша.

— А за то! Сидеть надо было и не рыпаться! Куда мы теперь с тобой? В игрушки играть?!

— Я за вас напугалась.

— Слышь, господин офицер, напугались за тебя! Я-то ей и на дух не нужен!

— Замолчи! — отчеканил Петр и вплотную придвинулся к Боровому.

Тот удивленно вскинулся, потому что стоял перед ним совершенно иной человек. Даже следа не осталось от прежнего спокойствия и равнодушия. В прищуренных глазах прорезался стальной блеск, голос наполнился нутряной силой, и Боровому в момент стало ясно, что такие глаза и такой голос могут принадлежать лишь тому, кто умеет командовать и подчинять людей своей воле. Он даже слегка отшатнулся от Петра.

— Сейчас, не сходя с этого места, — продолжал тот, — ты все расскажешь. Все! Иначе я ее забираю и уезжаю отсюда.

— А не боишься? Что Дюжев скажет? А если я скажу?

— Плевать!

Боровой помолчал, раздумывая, махнул рукой:

— Будь по твоему. Только давай до места доедем и девку покормим.

И снова их встретил угрюмый хозяин заимки. Ничего не говоря и не спрашивая, распахнул ворота.

— Скажи своей, чтоб жрать подала без задержки, девку в первую очередь накормите, —скомандовал Боровой хозяину, а затем обернулся к Петру: — Пойдем.

Уверенно поднялся на крыльцо, но в дом не пошел. В темных сенях свернул к лестнице, которая вела на чердак. Толстые сосновые перекладыны заскрипели под его тяжестью, но сдюжили. На чердаке, в полной темноте, он долго шарил руками, поднимая старую пыль, затем попросил:

— Спичку запали.

Петр чиркнул спичкой, Боровой подставил под колеблющийся огонек оплывшую половинку стеариновой свечи. Толстый фитиль медленно занялся, и пламя растолкало темноту. Перед ними высился большой деревянный ларь, накрытый толстым слоем пыли, сбуровленной местами руками Борового. По углам ларь был обит жостью, прошитой для надежности еще и гвоздями. Боровой молча передал свечу Петру, уперся обеими руками в толстую крышку, и она подалась с тягучим скрипом, открывая темное нутро. Пахло тошнотным, застоялым запахом. Петр подвинулся, вытягивая перед собой свечу, и отсвет пламени, покачиваясь, выхватил из темноты человеческую голову, обтянутую высушенной пергаментной кожей. Пустые глазницы чернели двумя жуткими впадинами. Тело, замотанное в грубую дерюгу, не умещалось в длину ларя и было уложено с угла на угол. Под ним лежало что-то еще. Петр нагнулся, рука со свечой дрогнула и отсвет пламени заколебался сильнее, шарахаясь среди деревянных стенок и освещая еще одну голову. Трупы были уложены крест-накрест, друг на друга.

Боровой со стуком опустил крышку. Забрал у Петра свечу, задул ее, на ощупь положил на прежнее место и осторожно пошел на мутный свет входа на чердак, где к стене была приклонена лестница.

На улице, едва спустившись с крыльца, он поманил Петра за собой и направился, не дожидаясь его, к саням, из которых уже были выпряжены кони.

— Садись, тут ловчей, чтобы лишние уши не слышали.

Присел на розвальни, оставив для Петра свободное место, уперся локтями в колени и сгорбился.

## 22

За долгую свою службу Боровой побывал во всяких переделках и видеть-перевидеть ему довелось столько, что иному и на три жизни хватило бы по самые ноздри. Но это дело, в которое пришлось встрять не по своей воле, было совершенно особенным. Такое ему даже в пьяном сне не могло помешаться.

А началось все с того, что по осени его срочно вызвал к себе полицмейстер, прислав в участок нарочного. Боровой явился, как и велено было, без промедления, доложил и за-

мер, кинув руки по швам, изобразив на лице готовность исполнить любое приказание. Полицмейстер, всегда строгий, ворчливый и всегда недовольный своими подчиненными, был в этот день необычно любезен и широким жестом пригласил Борового садиться, даже сам подвинул ему стул. Боровой, до нельзя удивленный, скромно присел.

Полицмейстер начал издалека: как служба идет, как в семье дела обстоят, нет ли какой просьбы или жалобы... Боровой, наученный богатым и горьким опытом, с начальством никогда не откровенничал и отвечал кратко: все хорошо, так точно, никак нет...

— Ну и замечательно, — полицмейстер раскурил запыленную папироску и вызвал своего помощника, коротко приказал: — Пригласи!

Помощник исчез, а через минуту в кабинет вошел невысокий полноватый господин с незапоминающимся, словно стертый лицом, одетый в мешковато сидящий на нем сюртук. По-хозяйски, не глядя на полицмейстера, господин взял себе стул и поставил так, чтобы сесть как раз напротив Борового. Сел — и тоже потянулся за папиросой, которую вытащил из коробки на столе полицмейстера. Тот услужливо зажег спичку, представил:

— Вот — пристав Боровой. Надежней не сыскать.

— Хорошо, — господин выпустил дым колечками, полюбился на них, неожиданно спросил:

— Вы, пристав, человек храбрый?

Боровой с ответом замешкался, но сказал четко:

— Так точно!

— А хитрый?

Боровой снова запнулся, но решил, что прибедняться не стоит:

— Так точно!

— Да, от скромности вам помереть не суждено. А теперь — к делу. Я из Петербурга, служу в жандармском корпусе. Звать меня — Сергей Николаевич. Просто — Сергей Николаевич. Запомните. Дело, по которому я прибыл, государственной важности. Го-су-дарст-вен-ной! С этого дня вы будете подчиняться только мне. И никому больше. Подтвердите, господин полицмейстер.

— Совершенно верно!

— Встретаться будем на частной квартире, адрес вам скажут. Здесь нас видеть никто не должен. Жду через два часа.

Через два часа Боровой уже стоял перед добротным аккуратным домиком, обнесенным высоким забором. Домик приютился под высокой раскидистой черемухой на одной из окраинных улиц и не бросался в глаза, был почти незаметен. У краешка ворот, запертых изнутри, висела веревочка звонка, который ласково тренькнул, извещая хозяев. Двери открыл сам Сергей Николаевич. Провел в дальнюю комнатку, где на подоконнике стояла герань, а в углу, в большущей кадке, рос раскидистый фикус, доставая макушкой до самого потолка. Большой круглый стол на гнутых ножках, застеленный белой скатертью, был завален бумагами, но все они были перевернуты так, что сверху лежали только чистые листы.

— Чаю не желаете? — предложил Сергей Николаевич.

— Благодарствую, сыт.

— Ну, чай не еда, а удовольствие, я все-таки скажу хозяйке, чтобы приготовила.

Но чай, разлитый в чашки, так и остался нетронутым — не до удовольствия было. Сергей Николаевич быстро задавал один вопрос за другим, иногда перебивал, не дослушав ответ до конца, и все время повторял:

— Постарайтесь все вспомнить, до мельчайших подробностей...

В первую очередь его интересовал купец Дюжев, попытки грабежа его обозов и магазинов, а дальше, словно узелки на веревочке, завязывались, возникали, пока еще в непонятной для Борового последовательности, некий Петр, бывший в работниках у Дюжева и затем неизвестно куда исчезнувший, чиновник Тетюхин, убийство учителя Некрасова, побег с этапа каторжанина в Поломошном, смерть неведомого бродяги в Кольвани, который умер в телеге у ямщиков, и откуда у них взялась золотая вещичка, проданная затем Цапельману, о чем они сами же, по пьяному делу, проболтались... На иные вопросы Боровой ничего не мог ответить, тогда Сергей Николаевич досадливо морщился и на большом листе, лежавшем перед ним, рисовал карандашом кружки и ставил под ними минусы.

Просидели они до самого вечера, и ушел Боровой в полном недоумении, в голове у него все перемешалось. Полночи не спал, ворочался, а утром, как штык, снова сидел в маленькой комнатке под раскидистым фикусом и снова отвечал на вопросы Сергея Николаевича.

А их, этих вопросов, становилось все больше и больше. И все заметней начинал нервничать Сергей Николаевич. Виду он, правда, не показывал, голос не повышал, но порою минусы карандашом ставил так сердито, что дырявил бумагу.

На третий день, явившись в назначенный час, Боровой получил первый приказ: срочно отправиться в Каинск, разыскать ямщиков и вытрясти из них все возможное, если это не удастся — арестовать и доставить в Томск.

В Каинске Боровой разыскал Кузьму Проталина, пугать его и грозить арестом не стал, а позвал в ближайший кабак, выставил угощение и попросил, как о великой милости: ты уж, дорогой человек, скажи, как было, иначе меня начальство по шеям со службы, а семья-дети жрать просят... ну и дальше, по второму и по третьему кругу, — только еще жалостливей. Боровой распрекрасно знал, что таких, как Кузьма, на испуг и на глотку не возьмешь: озлится — из него потом и клещами ни одного слова не вытянешь. Поэтому и старался, как нищий на паперти.

— Добро, — согласился в конце концов Кузьма Проталин, — только уговор — Тихон Трофимыч тут не при чем, и сами мы тоже не виноваты. Из уважения к тебе расскажу, но коли до судейских разбирательств дойдет — отопрусь. Не знаю, не видел, пьяный был, ничо не помню... Разумеешь?

— Да какой разговор, милый ты мой человек! Ты ко мне с уважением, а я к тебе с тремя такими уважениями!

— Тогда слушай...

Боровой внимательно выслушал и сразу же из Каинска, миная Томск, махнул в Кольвань, но и там долго не задержался, скоро уже был в Черном Мысе и сидел за столом напротив Грини-горбатого, который при одном только виде казенной бумаги с фиолетовой печатью так испугался, что вспотел. И выложил все, что знал, как на исповеди: перевозил через Обь по весне четырех ученых людей, один из которых немец,

потому как по-русски плохо выговаривал. А по лету один обратно вернулся, и он его на ночлег к себе определил, угостил от души, а печку рано закрыл — тот и угорел, сердяга... Хорошо, что ямщики помогли со двора покойника вывезти.

— Как они себя называли?

— Немец который — того Иван Ивановичем они кликали, а угорелый который — тот Чебула. Я еще ему говорил, что у нас за Обью деревня така есть — Чебула. А еще двух — помню, парнишки, совсем молоденьки. Мне чо будет? На каторгу пошлют?

— Там без тебя тесно. Гребни дальше и за печкой хорошенько приглядывай.

Хотя Сергей Николаевич и держал Борового на коротком поводке, не посвящая целиком во все дело, тот и сам прекрасно догадывался, что ямщики и Гриня — не главные персоны. Они лишь зацепочки — правда, совсем худенькие, но тут уж ничего не поделаешь — какие есть...

На этот раз, внимательно слушая Борового и не перебивая его ни одним вопросом, Сергей Николаевич любовно рисовал под кружочками восклицательные знаки, иногда откладывал карандаш и быстро-быстро потирал руки, словно у него горели ладони. На его незаметном, будто стертом лице даже появилось подобие улыбки: уголки рта опустились, а на нижней губу напозла верхняя.

— Благодарю вас, пристав, очень благодарю, — Сергей Николаевич пошоркал ладонями, помолчал и подобрал губы. — Но хочу сразу предупредить — это лишь начало. Всего лишь начало. Немец, Иван Иванович, действительно, немец, профессор Иоганн Гуттенлохтер, двое других — студенты, его помощники, а Чебула — проводник. Все они с научной целью ушли в тайгу под Мариинском. Чебула, как мы теперь знаем, вышел обратно, а об этих троих до сегодняшнего дня ни слуху, ни духу. Как в воду канули. Да-а... Вот что, пристав, задание вам будет такое: сегодня же, не откладывая, прямо сейчас, снова отправляйтесь в Каинск и постарайтесь выяснить — не встречался ли кто из них с Цапельманом? Это для нас очень важно.

«Все важнее важного, — сердито думал про себя Боровой, — если и дальше так пойдет, ты меня загоняешь, как дурную собаку, пока язык на два аршина не отвиснет...» Но поду-

мать-то подумал, а сам выструнился, руки по швам, и отправился выполнять приказание, еще раз убедившись, что Сергей Николаевич — птица высокого полета: не успел еще и до дома дойти, чтобы собраться, а у ворот его уже поджидала казенная тройка, на которой Боровой тут же и отбыл в Каинск.

Хозяин постоянного двора подтвердил, что останавливались у него такие люди, но один из них заболел, но уже на следующий день выздоровел и утром выходил в город, а вот куда и к кому — неведомо. После отправился догонять своих и просил нанять бойкого ямщика. Нашел Боровой и ямщика. Тот, не виляя, выложил все, что знал, самое же главное — вроде бы видел человека, который входил в лавку к Цапельману, и вроде бы он был похож на седока, которого пришлось на следующий день мчать до Кольвани.

И снова Сергей Николаевич потирал руки и рисовал под кружочками восклицательные знаки. А затем взял и огорошил:

— На этой неделе, пристав, вас выгонят со службы.

Боровой так растерялся, что даже не спросил — за что? А Сергей Николаевич, заметив его растерянность, поторопился добавить:

— На время, пристав, на время, так для дела нужно.

Со службы Борового выставили в два дня. И еще три дня дали на отдых. Никуда не вызывали, ничего не спрашивали и не приказывали. Боровой даже стал подумывать на третий день: а вдруг все по-настоящему, и совсем не для дела, которым занят Сергей Николаевич? Хотел уже идти к полицмейстеру, но тут явился нарочный и передал приказ, чтобы срочно прибыл по известному адресу.

Валил влажный снег, все расквасилось, грязь и мокреть лтели в разные стороны, а тут еще Боровой, пока добирался, умудрился оступиться в яму и обрызгался до самых ушей. Поэтому и явился к Сергею Николаевичу в угрюмом настроении — надоела, если честно сказать, вся эта долгая канитель, неизвестно с какой целью затеянная. Хотел он уже проситься, чтобы его отпустили и посадили на прежнее место, но Сергей Николаевич опередил:

— Вот теперь, пристав, для вас и начинается главная работа, и главную надежду во всем нашем деле мы возлагаем на вас. А дело, еще раз напоминаю, — государственное!



«Слышали мы про это, — молча досадовал Боровой, — не такие уж бестолковые, чтоб по десять раз одно и то же вдалбливать...»

Но тут же и забыл о своих мыслях, потому что Сергей Николаевич нарисовал ему такую картину, от которой крепкая голова Борового пошла кругом. Он узнал о государевых преступниках, о путевой тетради Гуттенлохтера, о неудавшейся экспедиции и о том, что тетрадь, отосланная из столицы на имя Дюжева, была перехвачена уже здесь, в Томске, а самое главное — неизвестные злоумышленники вновь собираются добраться до старых чудских копей и выгрести золото.

— Но им нужен точный маршрут и точное место, — говорил Сергей Николаевич, в упор глядя на Борового, — а узнать это можно только из путевой тетради Гуттенлохтера, которую мы изъяли, как я уже сказал, но пустили слух, что она вновь у Дюжева. Ваша задача — поступить на службу к Дюжеву, войти в доверие и убедить его, чтобы он отправил вас в Мариинскую тайгу за этим золотом. А они пойдут следом и обязательно себя выявят. Вот тогда мы их накроем, одним разом. Это, конечно, в общих чертах, о деталях будем говорить после.

Весь этот план, изложенный Сергеем Николаевичем, показался Боровому столь мудреным, что он с трудом представлял, как это может осуществиться. Но все дело ускорило появление Петра, о котором Борового известили еще в дороге, когда он шел с дюжевским обозом из Тюмени в Томск.

## 23

И вот теперь Боровой с Петром сидели на розвальнях и смотрели, как над высоким заплотом быстро догорает закат, а тени во дворе становятся длиннее и темнее. На крыльце дома несколько раз появлялся хозяин, но подойти так и не решился — терпеливо ждал, когда они закончат разговор.

— Получается, что мы живцы для крупной рыбы и забота у нас одна — сидеть и ждать, когда заглотят. Мрачно-то... — Петр повернулся к Боровому, спросил: — А как же мы сплавляться будем? На первой же излуине засаду устроят и прихлопнут.

— А мы сплавляться не будем.

— Что, по тайге пойдём?

— И по тайге не пойдём. Нам с тобой, братец, похоже, одна дорожка — на небеси. Возлетим, как на воздушях. Пока я скакал на перекладных то в Кольвань, то в Каинск, тут без меня меня женили. В великой секретности специальная команда была снаряжена, она золотишко это все подобрала и тихо, без шума, вывезла. Оно теперь, как я понимаю, давным-давно в столице, это золотишко.

— Получается, что... — раздумчиво заговорил Петр, но Боровой его перебил:

— Да не май голову! Получается — хреновей не придумаешь! Проводником у секретной команды вот этот пень был, который на крыльце стоит. И у меня с ним договор имелся — все мне докладывать. Щас! Доложил! Признался, когда ему морду расхлестал. Команду он вывел как надо, без ошибки. И золото нашли, и двух мертвяков, которые теперь в ларе лежат, и даже немца сумасшедшего. Непонятно как, но выбрался, голова ученая, и кружил там. Одичал вконец, едва связали. И его здесь оставили, вместе с мертвяками, для приманки.

— Для какой приманки?

— Да погоди ты, не суетись! С самого начала рассказываю: тетрадь у Дюжева, Дюжев посылает нас за золотом, а темный народишко крадется следом. В удобный момент заворачивает нам салазки, берет эту тетрадь и дальше самостоятельно двигается за золотом. А немец сумасшедший и мертвяки — как подтверждение. Дошло?

— Не совсем. Не совсем понимаю.

Петр, действительно, многого не понимал, слушая Борового, а тот, по обычной своей осторожности, боялся и сейчас полностью раскрыть карты, не договаривал главного — их просто-напросто послали на убой.

Обычно тугодумистый и непрворный в спокойном течении жизни, Боровой в минуту опасности становился по-звериному быстрым в движениях, буквально все замечал и видел, а решения принимал мгновенно. Вот и сейчас, нутром ощутив угрозу, он сразу же все выстроил по порядку: о том, что снаряжена команда и золото уже вывезено, Сергей Николаевич не обмолвился ему ни словом, как ни слова не сказал о сумас-

шедшем немце и двух мертвяках. А самое главное — первоначальный план, подробно оговоренный, в последний момент был круто изменен, и об этом Боровой тоже ничего не знал. Согласно этому плану, еще на первом постоялом дворе его должны были ждать люди Сергея Николаевича и затем передавать с рук на руки до самой заимки. А уже здесь, на заимке, должны были быть пять расторопных и толковых агентов. Иными словами — обещано было, что рядом с ним во всякую минуту окажется помощь.

Вот ее-то и не маячило!

А люди Цапельмана крючок заглотили, они уже идут по их следу, и окончательно в этом Боровой убедился после известия, которое принесла Феклуша. Все происходило, как было задумано, за исключением одного: будет ли в нужный момент необходимая помощь и будет ли она вообще — неизвестно. Скорее всего — нет.

Боровой не мог знать, что именно в это время в комнате Сергея Николаевича сидел под фикусом полицмейстер и говорил о том же самом:

— Как же так! Он оказался без всякого прикрытия! Это ж верная смерть! Надо что-то предпринимать!

Сергей Николаевич неторопливо собрал листы со стола, аккуратно сложил их в одну стопку, придвинул к себе и накрыл узкими ладонями. Вдохнул, как человек, окончивший тяжелую работу, и тихо, но твердо сказал:

— Всякие чувства, даже самые благородные, в нашем деле неуместны, господин полицмейстер. Жаль, что я вынужден вам об этом напоминать. Мы не имеем права спугнуть злоумышленников, они должны быть твердо уверены, что Боровой отправился только с напарником и что тетрадь у него. Все! И брать мы их будем только с поличным. Все будет так, как решено. Вы свободны.

— Но позвольте! — полицмейстер вскочил со стула, — позвольте сказать!

— Не позволю, — тем же тихим, но твердым голосом прервал его Сергей Николаевич, — вы свободны.

Поднялся из-за стола, широким жестом указал полицмейстеру на дверь. Тот вышел, словно побитый.

Сергей Николаевич прикрыл за ним дверь, повернулся лицом в передний угол, где висела маленькая иконка Спасителя, и перекрестился. Больше он уже ничего не мог сделать для пристава Борового, только попросить: «Господи, помоги ему!»

Штабс-капитан жандармского корпуса Сергей Николаевич Воротынцев до недавнего времени находился в непосредственном подчинении полковника Нестерова, судьба которого была уже predetermined: без всяких намеков, ясно и четко, тому было сказано, чтобы он готовился в отставку. Причины такого недовольства тоже были ясными и четкими: обезглавленное Щербатовым «Освобождение» возродилось почти мгновенно, как сказочное чудовище. Новые люди, вставшие во главе организации, признавали только одно — террор. Они же ввели новое понятие — экспроприация, что на языке членов организации звучало так: эхсы. При удобном случае грабили банки, не брезговали под угрозой револьвера вышибать деньги из столичных богатеев. Действовали при этом нагло, расчетливо и выскальзывали из рук правосудия, как налимь. Дошло уже до того, что они организовали на Урале нападение на тюремный этап и смогли освободить нескольких арестантов, следы которых отыскать так и не удалось.

Постоянно пополняя свою казну все новыми и новыми средствами, «Освобождение» выползло из столицы, его ответвления появлялись в губернских городах — зараза ползла и ширилась.

В какой-то момент в организации возникла в очередной раз история неудавшейся экспедиции в Мариинскую тайгу, и тайный курьер «Освобождения» снова был отправлен в Каинск, к Цапельману. Об этом Нестерову удалось узнать от своего агента. От него же через некоторое время поступило новое сообщение: после возвращения курьера также тайно отбыла в Сибирь самая опытная и решительная боевка организации из пяти человек во главе с неким Крамским. На месте к ним должны были присоединиться люди, завербованные Цапельманом.

На этот раз, помня прошлые неудачи и прекрасно понимая, что это его последний шанс, полковник Нестеров решил действовать наверняка. И для этого откомандировал в Си-

бирь опытного Воротынцева с одним-единственным наказом: «В средствах не стесняться!» Главная надежда на успех операции возлагалась на то, что для Цапельмана и для боевки «Освобождения» необходимо было бросить наживку. И чем правдоподобней она будет выглядеть, тем больше надежды на успех. Все пригодилось и пошло в дело: тетрадь Гуттенлохтера, рассказ Щербатова — ничего не пропало из поля зрения Нестерова.

Воротынцев, благодаря стараниям полковника, получил самые широкие полномочия и действовал без оглядки, прекрасно зная, что победителей не судят.

Первым делом, пользуясь перехваченной на почте путевой тетрадью Гуттенлохтера, он тайно снарядил специальную команду в Мариинскую тайгу, и золото, обнаруженное в пещере, было вывезено в столицу. Он же приказал не забирать сумасшедшего Гуттенлохтера и трупы его студентов, правильно рассудив, что слухи все равно просочатся и достигнут ушей тех, кому это надлежит услышать. Одновременно шла подготовка к отправке в Мариинскую тайгу Борового и Щербатова, которые стали главной приманкой.

Регулярно докладывая о своих действиях полковнику Нестерову и неизменно получая согласие и одобрение, Воротынцев не забывал наказа своего начальника: в средствах не стесняться. Слишком серьезным было дело, слишком многое было поставлено на карту, чтобы маяться угрызениями совести. И поэтому в последний момент Воротынцев принял решение: пристав Боровой отправится без всякого прикрытия, как настоящая наживка, чтобы люди Цапельмана и боевка «Освобождения» ничего не заподозрили.

Нестеров это решение одобрил и еще добавил: не будет большой беды, если Борового убьют, это даст дополнительный аргумент для психологического давления на арестованных, чтобы выпотрошить из них все имена, пароли и явки.

Так Воротынцев и сделал.

Теперь оставалось только ждать.

24

Марья стояла у окна, глядела на широкий зулинский двор и радостно улыбалась — на душе у ней было светло, как давно уже не случалось. Улыбалась она, наблюдая за Митенькой, ко-

торый в последние дни перестал задумываться, по утрам поднимался бодрым и рьяно брался за хозяйственные дела. Вот и сегодня успел еще до обеда очистить двор от снега, а затем взялся колоть дрова и так быстро и ловко крушил толстые березовые чурки, что большая куча из белых поленьев росла прямо на глазах. Шапку сбил на затылок, раскраснелся, и казалось, что даже страшный шрам, уродовавший лицо, стал меньше.

Вдоволь налюбовавшись на мужа, Марья отошла от окна, взялась наводить порядок в куте и даже сама не заметила, как потихоньку задела. Все у нее в руках горело и ладилось, скоро куть блестела, как новенький, а подоспевший хлеб, вытасканный из печки, пыхал жаром и чистые полотенца, которыми Марья накрыла пышные булки, становились от этого жара волглыми. Хлебный запах плавал по всей нижней избе и, учуяв его, зулинская детва махом оказалась в куте, нетерпеливо дожидаясь, когда их оделят, всех по очереди, поджаристой корочкой.

— Да погодите вы, — смеялась Марья, — пусть он немного отойдет, а то руки обожгете!

— Мы дуть будем, — за всех отвечал бойкий Гаврюшка, — когда дуис, то не згется.

— Ой, ладно, налетайте...

Управившись с детвой и хлебом, Марья накинула шаль, вышла на улицу, чтобы позвать Митеньку на обед, а его нигде не было. Валялся на притоптанном снегу колун. Марья заглянула в конюшню, в хлев — нету. Да где же он может быть? И только тут увидела, что ворота распахнуты настезь. Выбежала из ограды, но и там, за оградой, Митеньки нигде не маячило.

Был он в это время уже далеко от дома, бежал, не чуя под собой земли, и видел перед собой только одно: огонь, огонь бушевал неистовый, а из этого огня Феклуша тянула руки, призывая на помощь, и рот ее был распахнут в безмолвном и страшном крике, молящем о помощи. Картина эта явилась ему так внезапно и так зримо, что он словно бы ощутил на лице жар неистово бушующего пламени. Бросив колун, Митенька выскочил на улицу и побежал, а видение не исчезало и стояло перед глазами, как в яви.

Одним махом домчался он до бугра с церковью, вылетел на выселки, прямо к дому Романа. Затарабанил в закрытые во-

рота с такой силой, что грохот разнесся по всей Огневой Заимке. Роман выскочил без шапки, в одной рубашке, распахнул ворота и ошалело отступил в сторону, пропуская растрепанного, запаленного Митеньку. Но тот сделал только один шаг, чтобы дотянуться и ухватить Романа за плечи.

Тряс его и, задыхаясь, твердил:

— Беда с Феклушей! Я вижу! Беда с ней! Выручай! Беда! Я вижу! Слышишь или нет?! Вижу! Беда!

В первой растерянности Роман ничего не мог понять из суматошных выкриков Митеньки, который с такой неимоверной силой встряхивал его за узкие плечи, что у Романа лязгали зубы.

— Беда с Феклушей! Огонь горит! Чуешь, огонь горит! А из огня рученьки тянутся! К тебе тянутся! Кто выручит?! — тут Митенька ослаб в коленях, повалился наземь и, не отпуская крепко зажатой в ладони рубашки Романа, распустил ее от ворота до пупа. Холод, еще крепче ухвативший настывшее тело, словно палкой ударил Романа: увиделся ему огонь, а оттуда, из крутящихся языков пламени, тянулись вздрагивающие руки дочери.

Митенька снизу смотрел на него, мучительно перекосив и без того изуродованное лицо, всхлипывал, и слезы из пораненного глаза катились без удержу.

Только еще одну секунду раздумывал Роман. Качнулся вбок и, провернувшись на одном месте, кинулся в дом. Шапку — на голову, полушубок — на плечи, деньги, какие были, за пазуху, успел еще ухватить кнут и вылетел во двор. Махом обратал незавидную, но ходкую кобылку, купленную совсем недавно по случаю у проезжего прасола.

Он так жестко и зло присадил ее, что кобылка всхрапнула, приседая на задние ноги, но тут же спружинилась и выстелилась вскачь. В длинной, сразу взвихрившейся гриве, заиграли узкие, солнечные блестки.

Тракт еще был пуст. Редкие, тяжело груженые возы лениво тянулись и отворачивали от греха подальше, завидя шального всадника. Роман же, войдя в раж от безудержного движения, толком даже и не смотрел на дорогу — все чудилось, словно в яви: огонь безудержный, острые языки плещутся, а меж ними — тонкие трепещущие пальцы...

Хо́да, мгновенного и летучего, не хватало ему, и Роман без передыху работал толстым витым кнутом — все казалось ему, что скачка слишком уж медленна. Но чем сильнее и чаще хлестал он кобылку, тем тяжелее становился ее скок, и наконец она замерла, словно уперлась в неодолимую преграду. Кнутовищем Роман колотил ее по морде, но она только выворачивала голову, пытаясь укрыться от ударов, и даже умудрилась зубами схватить его за носок пима.

— Стой, касатик, конь с места не сдвинется, пока я не отпущу...

Роман в ярости вскинулся: сгорбленная старушка, изогнутая, как старый и сухой сучок, легонько придерживала узду и, с трудом разгибаясь, поднимала вверх голову.

— Узнал меня, родимый? — едва слышным голосом, похожим на шуршание сухой соломы, прошелестела она. — Судьба ваша. Вот и припасы принесла. Знай, что случиться может.

Одной рукой она не отпускала узду, и кобылка стояла, как вкопанная по самые колени, а другую руку старуха сунула в рваную сумку, перевешенную на веревке через плечо, и выдернула оттуда аспидно-черный плат, такой черный, словно достала его из самой темной непроглядной ночи. Хитрым узлом притянула его к конской гриве, и он бойко защелкал за левым плечом лошади, готовно откликаясь на порыв свежего ветра.

Роман смотрел на старуху, как замороженный, даже усилием не делал, чтобы вздернуть узду и наддать стремянами под лошадиные бока. А старуха неторопливо, словно совершала важнейшую работу, неторопко выскреблась через высокий сумет на другую сторону, снова пошарилась в рваной сумке и так же стремительно выдернула другой плат — ослепительно белый, как первый снег. И тоже притянула ловким узлом к конской гриве, только теперь уже с правой стороны. Вздернула узкую, птичью головку, накрытую старенькой шалью, почиканной молью, протяжно прошелестела:

— Теперь скачи. Что выпадет — того уж не миновать...

И — исчезла. Сгорбленная, скукоженная, как сквозь снег провалилась. Ни следа не осталось, ни чутешной вмятинки от кривого, суковатого бадожка.

Роман ошалело повел вокруг глазами — пусто. Только тащится впереди едва видный в морозной дымке, незавидный возок с сеном, готовый вот-вот свалиться на землю.

Взвился со свистом кнут, Роман махом настиг возок, не удержался и окликнул на ходу мужика, лежавшего на возу:

— Бабка не проходила?! Не видел?!

Мужик поднял голову без шапки, всю в сене, зевнул и ответил:

— Я свету белого не вижу, а ты — бабка...

И уронил голову в прежнее, уютно выдавленное в сене место.

Роман снова взвил кнут, кобылка выстелилась в галопе, и встречный ветер весело сорвал сбиту ю на затылок шапку. Возвращаться и подбирать ее Роман не стал. Втянул голову в воротник, нагнулся, сливаясь вровень с лошадиной шеей, и уже не видел перед собой дороги, не замечал бешеной скачки, только слышал слева и справа громкие хлопанья плата черного и плата белого.

Летела навстречу белая земля, осиянная полуденным солнцем, гудели копыта, екала перетруженная конская селезенка, но все перекрывали два плата, хлопая так упруго и громко, словно в любой момент готовы были изорваться в клочья от нестерпимой натуги.

Роман и не помнил толком, как он догнал до Томска. И, когда очутился на дюжевском дворе, не смог поверить своим глазам: мыслимое ли дело одолеть столько верст, не запалив лошадь и не убившись в безудержной скачке. Обессиленный, сполз на землю, каралькой раскорячил негнущиеся ноги и лишь теперь заметил, что оба плата — черный и белый — изодраны в мелкие ремушки.

— Здорово живем, Роман Аверьяныч! — весело встретил его на крыльце Тихон Трофимович, сам только что вернувшийся из Каинска и еще не заходивший в дом.

Роман молчком взгромоздился на верхнюю ступеньку крыльца, тяжело рухнул на оснеженную лавку и одним звуком выдохнул:

— Феклуша... где?

Минуты не прошло, а весь большой дюжевский дом уже стоял вверх тормашками. Феклуши, действительно, нигде не было, в конюшне не оказалось коня, и Тихон Трофимович, гремя мерзлыми сапогами, влетел в магазин, сгреб за шкурки обоих своих приказчиков, прижулькнул их к стенке:

— Где девка?! Убью, сукины дети! — ревел, как недорезанный бык, и был столь охвачен неудержимой яростью, что даже голова тряслась. От испуга, — никогда еще хозяина таким не видели, — затряслись и приказчики. Раскололись, как тонкокорые арбузы.

Тихон Трофимович отпустил их, пошел, сам не зная куда, наткнулся на стул, пинком отбросил его, а напоровшись на стол, где стояла выставленная на продажу посуда, смахнул ее на пол и перетоптал в крошево.

Едва-едва уgomонился. Замер, оперев взгляд в Романа, который все это время толкался возле порога, и опустил руки:

— Куда нам теперь бежать, Роман Аверьяныч? Кому жалиться?

— Я ведь тебе ее доверил, — дрожащим голосом напомнил Роман, — на твоём попечении была она, Феклуша.

Тихон Трофимович ничего не отвечал, продолжал смотреть на Романа, и чем дольше смотрел, тем суровей и решительней становилось его лицо — вот уже и следа не осталось от былой растерянности.

— Роман, будь тут! — круто повернулся к приказчикам, — магазин закрывайте, из дома — ни шагу! И чтоб ни единого слова никому, пока не вернусь! Митрич! Где пропал, пень старый?!

Оскальзываясь на полу подошвами неоттаявших сапог, выскочил из магазина, и вот уже тройка, заново запряженная, вынеслась на улицу и Митрич, дико вращая вытаращенными глазами, заорал:

— Уй-ю-юй!

Встречные прохожие сигналы через сугробы и намертво приклеивались к заборам. После долго ругались вослед и выковыривали из пимов снег. Но Тихон Трофимович назад не оглядывался, лишь толкал кулаком в спину Митрича и сквозь зубы командовал:

— Гони! Шибче гони, косорукий!

С разгону едва не проскочили полицейское управление, пришлось Митричу заворачивать разгоряченную тройку и делать круг по небольшой площади. Тихон Трофимович, не дожидаясь полной остановки, выскочил на ходу, на ногах не устоял и плашмя грохнулся на снег. Поднялся с руганью, шубу не отряхнул и в приемную полицмейстера ввалился в таком виде, будто вынырнул из сугроба.

Сухонький, лощеный секретарь попытался ему заступить дорогу, но Тихон Трофимович только махнул рукой — не засти! — ухватил теплую медную ручку двери, нетерпеливо дернул ее на себя, ввалился в большой и просторный кабинет.

Полицмейстер поднял голову от бумаг, недовольно скривился:

— Я занят, подождите.

— Мне годить некогда, — Тихон Трофимович протопал к столу, удобней придвинул стул, чтобы сидеть как раз напротив полицмейстера, и сел, вольно распахнув шубу, показывая всем своим видом, что просто так отсюда он не уйдет, даже если в три шеи толкать будут. Полицмейстер его понял, пригладил рыжую, курчавую бородку и склонил к плечу голову:

— Слушаю, господин Дюжев.

Тихон Трофимович глубоко вздохнул, словно собирался нырять нагишом в жарко натопленную баню, и вдруг, неожиданно для самого себя, сказал дрогнувшим голосом:

— Беда случилась.

— Слушаю, господин Дюжев, — еще раз повторил полицмейстер.

Дюжев начал рассказывать. Ничего не утаивал, понимая, что всякие недомолвки теперь уже никакого значения не имеют. Полицмейстер не перебивал. Но как только очередь дошла до Феклуши, он снова взялся разглаживать бородку и уточнил:

— Когда она исчезла?

— Позавчера ночью.

— Не было печали! — полицмейстер поднялся из-за стола и закружил по комнате. Тихон Трофимович следил за ним, не отрывая взгляда. Терпеливо ждал.

— Всего я тебе, господин Дюжев, рассказать не могу. Служебная тайна. Но одно скажу: если девка их догнала и нашла... Можете ее больше никогда не увидеть. А выручить можно

только при одном условии — добраться и предупредить, чтобы уметалась оттуда в сию же минуту.

— Да где ж ее найти?!

Полицмейстер постоял в раздумчивости, затем подошел к столу и, не присаживаясь, обмакнул перо в чернильницу, что-то быстро начертил на листе бумаги и положил перед Дюжевым, протянул перо:

— Разобрался?

Тихон Трофимович кивнул.

— Теперь перепиши.

Скрипя пером и разбрызгивая чернила, Тихон Трофимович переписал: на какой версте тракта сверток, сколько верст до заимки...

Когда он это сделал, полицмейстер взял свой лист, скомкал его и чиркнул спичкой. Дождался, когда бумага сгорела, и аккуратно ссыпал пепел себе под ноги. Отряхнул руки. Тихон Трофимович всматривался в свой лист, считал версты и, сочитав, воскликнул:

— Да как же успеть?! На ковре-самолете?!

— Такого у меня не имеется, — полицмейстер снова закружил по кабинету, неожиданно остановился и махнул рукой: — А, гори оно!.. Попробую... Господин Дюжев, сейчас езжай к каталажке. Из нее как раз Ваню-коня выпустят, за буйство сидел. Конокрад он знатный и наездник — каких в округе нету... Понимаешь? Все, господин Дюжев, иди и запомни: у меня ты не был и я тебе ничего не говорил.

Повторять два раза Дюжеву не потребовалось, он тут же выскочил, разметывая полы шубы, из кабинета полицмейстера и скоро уже стоял возле высоких, сплошь обитых железом ворот каталажки и ждал Ваню-коня, о котором много ходило рассказов в последнее время. Говорили разное: будто он самолучших коней умыкал из любой конюшни и из-под любой стражи, а чтобы по следам не нашли, привязывал лошадям на ноги пимы и сбивал преследователей с толку. Еще говорили, что из любой лошади, даже самой дохлой доходяги, он, непостижимо каким образом, выжимал последние силы и та скакала, как породистая. А еще говорили, что знает он особое лошадиное слово, но в эту ерунду Тихон Трофимович не верил.

Да и не нужно было ему лошадиное слово, ему теперь позарез сам Ваня-конь требовался: только он мог за короткое время домчаться до неведомой заимки и предупредить Феклушу, а заодно и Петра, чтобы уходили они оттуда немедленно.

В высоких воротах каталажки, также обитая железом, была еще небольшая калитка. Изнутри скрипуче пропел застав, и калитка распахнулась. В узком проеме возник высокий мужик в рваной красной рубахе, весь всклокоченный и изрядно побитый: нижняя губа оттопырилась сплошной коростой, а под обеими глазами светились большущие синяки, уже начинавшие по краям желтеть. Мужик получил в спину крепкий тычок, сильно качнулся, едва не рухнув, но устоял. Утвердился на ногах, обернулся к закрытой уже калитке, молча погрозил кулаком и начал собирать на себе в клочья разодранную рубаху.

— Эй, любезный, — негромко окликнул его Тихон Трофимович, — иди ко мне, согрею. Шуба большая, на двоих хватит.

Мужик недоверчиво подошел, взгляделся и воскликнул:

— О, здорово, купец! Каким ветром надуло?

— Значит, это тебя Ваней-конем кличут?

— Меня, меня, купец, так зовут нынче. Уж не за мной ли ты подкатил?

— За тобой приехал. По великой надобности. Прыгай!

Ваня-конь запрыгнул в кошевку, укрываясь полкой необъятной дюжевской шубы.

— Домой гони! — приказал Тихон Трофимович Митричу, а Ване-коню отрывисто бросил: — Разговор у меня к тебе... на пачку красненьких...

— Красненькие мне нужны, — весело откликнулся Ваня-конь, — а еще лучше — снабди одежкой, а то ободрали, как не знаю кого...

— Приоденем, погоди до дому.

Разговор в дюжевском доме получился у них коротким. Ваня-конь дал согласие, но деньги, предложенные Тихоном Трофимовичем, не взял:

— Дело лихое — вдруг сорвется. А я за так деньги не люблю. Сделаю — расплатишься. Да и о Зубом в память, пусть ему земля будет пухом, он же все о тебе заботился. Помер он, Зубый-то, в вашей Огневой Заимке помер. Не слышал?

— Нет, — растерянно ответил Тихон Трофимович, — я там давно не был. А отчего помер?

— Сроки ему, купец, вышли, вот и помер. Своей смертью. Приедешь в деревню — расскажут. Давай к делу, купец, время ждать не будет...

— И то верно, — согласился Тихон Трофимович.

Увидев скорые сборы, Роман тоже кинулся к своей кобылке, но Ваня-конь осадил его:

— Дед, мне лишняя обуза не нужна, даже не собирайся.

Перед тем как вскочить в седло, Ваня-конь попросил водки, выпил, осторожно промокнул ладонью разбитую нижнюю губу и лихо подмигнул Тихону Трофимовичу:

— Если что — не поминай лихом, купец!

## 26

Накоротке вздремнув с вечера, Боровой поднялся после полуночи, вышел на крыльцо, цепким взглядом огляделся. Двор заимки был пуст, ущербная луна уходила за тучи, и зыбкие потемки быстро выползли из тени высокой ограды. Тишина стояла оглушительная.

И в этой тишине чутким своим слухом Боровой сразу различил едва слышный скрип. Петр, который нес караул в дальнем углу ограды, расположившись так, чтобы виден был весь двор, тоже услышал крадущийся звук, выпрямился и настороженно поднял ствол ружья. Скрип затих. Почти неразличимая в потемках, взлетела над высоким забором веревочная петля, зацепилась за остро затесанный кол — и вот уже кто-то мелькнул летучей тенью, перемахнув через преграду, и оказался внутри двора. Но не успел сделать и единого шага, как в грудь ему уперся ружейный ствол.

— Тихо, — шепотом скомандовал Петр, придавливая неожиданно свалившегося пришельца к забору, — кричать не вздумай — пристрелю.

— Дурное дело не хитрое, — также шепотом отозвался ему Ваня-конь, — все бы тебе стрелять, господин хороший... Лучше бы поздоровался сначала — как-никак, а знакомцы старые. Узнаешь бродягу, который в бору был? Вот, то-то и оно, а то сразу — стрелять...

Петр признал бродягу по голосу, потому как теперь, без большущей бороды, он мало был похож на себя, прежнего.

— Поклон я вам доставил от купца Дюжева, — обращаясь теперь уже не только к Петру, но и к подоспевшему Боровому, все также шепотом сообщил Ваня-конь, — за девкой послал, вытащить ее отсюда. Да, видно, припоздал я, обложили уж вас, да так хитро, что и не поймешь сразу — кто за кем охотится...

Боровой сноровисто обшарил Ваню-коня, из-за голенища сапога вытащил большой кривой нож, деловито спросил:

— А чего ж без ружья?

— А чтоб тебя не смущать. Ружье, братец, оно стрелять должно, а шум нам совсем ни к чему.

— Ступай до крыльца, сейчас разберемся, — скомандовал Боровой.

Ваня-конь согласно кивнул головой и послушно, не оглядываясь, пошел к крыльцу. На крыльце он удобно сел, привалившись к перилам, спросил:

— По порядку рассказывать или спрашивать будете?

— По порядку, — перебил его Боровой, — а надо будет — спросим.

Ваня-конь снова согласно кивнул головой и начал рассказывать с самого начала, с того момента, как Дюжев встретил его при выходе из каталажки. Но самым важным в его рассказе оказалось не это известие — как он здесь оказался, а совсем другое: что он увидел на подходе к заимке.

А увидел Ваня-конь нечто странное. Еще задолго до свертка с тракта на заимку он битым нутром почувал неладное: примерно через полверсты стояли на обочине возы, а возле них толпились возчики — по три-четыре на каждую подводку. И хотя одеты они были в шабуры, перехваченные опоясками, что-то проступало в них явно не ямщицкое: плечи расправлены, спина прямая... «Солдаты...» — сразу сообразил Ваня-конь. Выбрал удобный момент и незаметно исчез с тракта, направив измученного и загнанного коня в глубь лесной чащи. Там огляделся и по невысокой хребтине, где было меньше снега, добрался до свертка. Здесь тоже стояли возы и возле них толпились возчики. Удалось и мимо них проскользнуть незаметно. Дальше конь не пошел. Встал, забредя по самую грудь в снег, дернулся и, обессиленный, повалился набок, выгибая шею и кося на седока кровавым глазом, словно

хотел укорить за безжалостность. Ваня-конь успел выдернуть ногу из стремени, соскочил с седла и дальше двинулся убродом прямо по снежному целику, боясь выходить на дорогу, которая вела к заимке.

Ночь наступила светлая, и на подходе к заимке Ваня-конь решил все-таки выбраться на дорогу — сил уже не было буровить глубокий снег, успевший взяться сверху хрустким настом. Взял влево и потихоньку, от сосны к сосне, выбрался. Дорога была пуста. Он перевел дух и пошел по ней, радуясь твердой основе под ногами. Но скоро вновь нутром, безотчетно, почувал опасность. И свернул с дороги.

Отдышался, прикинул пройденный путь и понял, что вот-вот выйдет к заимке. Тревога не отпускала. Таясь, сторожа самого себя, чтобы не обнаружили, Ваня-конь дальше двигался так, словно шел по первому льду, ожидая, что тот в любой момент может под ним проломиться. Весь его бродяжий и конокрадский опыт подсказывал: есть, есть, и где-то совсем неподалеку, люди. И поэтому нисколько не удивился, когда уловил в свежем звенящем воздухе запах табачного дыма. А скоро различил невдалеке мигающую красную точку папиросы, которая тут же и потухла.

Пришлось сделать большой крюк, но и в этот раз на подходе к заимке он наткнулся на людей. Еще поплутав, Ваня-конь догадался: заимку обложили со всех четырех сторон, но чего-то выжидали и вплотную к ней не подходили. Он отыскал маленькую ложбинку, ползком пробуровил ее на животе до самого забора и перемахнул через него.

— Давайте вашу девку, я ее тем же макаром выведу, — Ваня-конь замолчал, ожидая решения.

— Буди ее, — Боровой локтем толкнул Петра в бок, — и сам уходи с ней.

— А ты?

— Я слуга государев, мне отсюда хода нету. Иди, буди.

Петр помедлил, раздумывая, нерешительно шагнул к двери и остановился, взявшись за скобу. Не оборачиваясь, твердо произнес:

— Я остаюсь.

— Не дури, парень, — резко возразил Боровой, — тебе никакого резона нет голову свою подставлять...



— Я остаюсь! — и Петр, крепко прихлопнув дверь за собой, словно отсек все ненужные разговоры.

Едва он вошел в дом, как сразу же натолкнулся на хозяйку. Она стояла над плоской с сальной свечой и чиркала спичками, которые вспыхивали и гасли. В короткие промежутки, когда озарялось ее лицо, было видно, что она что-то шепчет, беззвучно шевеля губами. Наконец спичка загорелась, от нее занялся фитиль оплавленной свечи; хозяйка осторожно подняла плоскую, осветила Петра и ровным, деревянным голосом сообщила:

— Девка ваша рожать собралась.

— Как рожать? — опешил Петр.

— Обыкновенно, как бабы рожают. Таилась от всех, а сама на сносях. Растряслась на коне-то, вот и началось раньше сроку. Иди, полюбуйся...

Она двинулась вглубь дома, держа перед собой плоскую. Петр пошел следом за ней и услышал протяжный, сдавленный стон, который доносился из боковушки, куда вечером определили занемогшую Феклушу. Неверное пламя свечи покачивалось, бросая по стенам шевелящиеся тени, фитиль чуть слышно потрескивал. Хозяйка, войдя в боковушку, поставила плоскую на подоконник, и Петр, не перешагивая через порог, увидел измененное от боли лицо Феклуши, покрытое крупными каплями пота, и ее глаза, расширенные до невозможности и до краев наполненные страданием. Феклуша тоже его увидела и, прервав долгий стон, выкрикнула:

— Петр Алексеич, уйди Христа ради... Уйди!

Повинуясь, он так и не переступил порог, попятился назад, натолкнулся в потемках на проснувшегося хозяина заимки, оттолкнул его и выбрался на крыльцо. Боровой и Ваня-конь стояли на нижней ступеньке, ожидая его, но не успели даже ни о чем спросить — через высокий забор в разных местах мелькнуло несколько быстрых теней. Ваня-конь молнией метнулся к забору, и в руках у него тут же оказалось ружье — видно, заранее переброшенное на двор.

— За дом, быстро за дом! — скомандовал Боровой Петру, — держи ту сторону!

А сам, вскинув ружье, выстрелил. В ответ вразнобой захлопали револьверы. Еще несколько теней скользнули через забор и рассыпались, укрываясь за углами конюшни и бани.

Петр кинулся, огибая дом, на противоположную сторону и только обогнул угол, как столкнулся, лицом к лицу, с одним из нападавших. В полусумраке блеснули оскаленные зубы, и Петр, почти не размахиваясь, тычком, впечатал в них приклад ружья. Заваливаясь от удара на спину, нападавший успел нажать на курок револьвера, и пуля, цвиркнув у самой щеки, сбила с головы Петра шапку. Петр еще раз впечатал приклад в распластанное перед ним тело и не услышал, а руками ощутил, как хрустнули кости. Выдернул револьвер из безвольно отброшенной на сторону руки и в два прыжка укрылся за жердями, которые стояя были прислонены к глухой стене дома. Вслед ему — несколько выстрелов. С сухих жердей полетела тонкая кора и осыпала голову.

Петр раздвинул жерди, приник к узкой щели и огляделся. Потемки совсем поредели, и в прозрачной синеве уже хорошо было видно: забор с подтаявшими шапками снега между кольев, разлапистые ели, почти вплотную примыкавшие к забору, и светлеющее небо в проемах между деревьям. Но вот над кольями показалась голова — Петр сразу же выстрелил. Голова исчезла. И еще несколько раз попытались одолеть забор, но Петр не медлил, стреляя на упреждение, не давая даже подняться над кольями. Ни страха, ни азарта боя у него не было — он будто исполнял работу, к которой не лежала душа, но которую просто необходимо было сделать. Прислушивался — что творится с другой стороны дома? Там шла настоящая пальба. Но и сквозь эту пальбу, сквозь толстые бревенчатые стены дома громко прорезался вдруг отчаянный женский крик, словно острым ножом проткнул все иные звуки. Петр вздрогнул. Крик, не переставая, длился и вдруг оборвался разом, как срезанный.

«А ведь она из-за меня, из-за меня сюда кинулась, даже будущим ребенком рискнула! — эта мысль, не покидавшая Петра с тех пор, как он увидел расширенные, наполненные болью глаза Феклуши, прорезалась вдруг по-особенному пронзительно. — Из-за меня! И что сейчас с ней?»

Выстрелы с другой стороны дома стали доноситься реже, реже и скоро совсем стихли.

В тишине громко прозвучал из-за забора громкий, хрипловатый голос:

— Эй, за жердями, вылезай наружу! Отдашь тетрадь — и разойдемся по-мирному! Ты один остался, всех остальных ухлопали!

«Неужели всех?» Петр вслушивался, ожидая выстрелов, криков, но ответом ему была непривычная после пальбы тишина. Он выжидал, не подавая голоса, и зорко наблюдал за кромкой забора — не высунется ли кто, пользуясь передышкой. Вдруг жерди с грохотом полетели вправо и влево, Петр попытался схватить их и удержать перед собой, но сверху, прямо на голову, на него кто-то рухнул и подмял под себя.

27

Мягкая, влажная трава холодила ноги. На траве густо лежала роса и казалось, что до самого берега Уени земля осыпана неведомым семицветьем, которое вспыхивало и искрилось до рези в глазах под утренним, только что проснувшимся солнцем. Вместо следов оставалась позади темная извилистая полоска. А вот и берег, серый песок стекает к самой реке и следы на нем — четкие, глубокие. Вода в Уени теплая-теплая. Течет меж пальцев, тоже вспыхивает, искрится и звенит, звенит легким, серебряным звоном. И звон этот, и теплая, утекающая вода будто вымывают боль из тела, и оно становится легким, почти невесомым, готовым подняться и взлететь над росной травой, над серой полоской песка у берега, над всей Уенью, извилисто текущей между ветел и кустов белой, будто накрытой снегом, черемухи.

И Феклуша взлетела. Поднялась не только над Уенью, но и над Огневой Заимкой и над всей округой, увидела сверху церковный купол, горящий над ним в солнечном свете крест, облегченно вздохнула и открыла глаза, избавляясь от забытья, в которое опрокинула ее нестерпимая боль.

Полный мрак нависал над ней. Рядом кто-то шевелился, сопел и толкал ее в бок острым локтем.

— Где я? — спросила Феклуша.

— Где лежишь, там и есть, — она узнала голос хозяйки заимки, — только тихо лежи, девка, голос шепотом подавай. Поняла? Слава Богу, оклемалась маленько...

— Ребеночек мой...

— Здеся он, на руках у меня. Боюсь, девка, не жилец он, шибко уж раньше срока ты им опросталась. Хорошо хоть отруби успела схватить, обложила его отрубями, держу вот... Парень родился. Будто чувствует, даже не пикнет.

— Дай мне его.

— Держи, не разматывай только, чтоб отруби не высыпались. Нашарила? Ну и держи.

Феклуша в темноте осторожно обняла руками маленький сверток, прижала его к груди, услышала легкое, едва различимое дыхание и успокоенно улыбнулась, даже забыв спросить — почему они оказались с хозяйкой заимки в какой-то тесной яме, в непроглядной темени? Хозяйка же, не дожидаясь расспросов, заговорила сама:

— Как пальба началась, мы тебя сюда и переташили. Схорон здесь у нас, сроду никто не найдет. Только бы мужика моего не зашибли.

— А он где?

— Да тоже, поди, воюет. Страх, что творится! Как зачали стрелять, меня прямо ознобом окатило. Ну, даст Бог, пронесет...

«И Петр Алексеич там... А там стреляют... — эта мысль, внезапно появившись, тут же слилась с тревогой за ребенка и Феклуша сторожко прислушалась к его дыханию. Дышит... — Сколько же нам тут сидеть? Господи, только бы не убили, только бы кровиночка моя выжила...» Феклуша теснее прижимала к себе теплый сверток, ладонями, грудью ощущала, что там, пересыпанная отрубями, — живая жизнь. Ее жизнь. И от этого сознания она беззвучно заплакала, и слезы, которые она не могла вытереть, вольно скатывались по щекам.

— Господи, хоть бы одним глазком взглянуть — чего там деется, — вздохнула хозяйка и замолчала, ворочаясь в тесном пространстве и невольно тыкая Феклушу в бок острым локтем.

А делалось наверху, во дворе заимки, страшное, кровавое дело.

Боровой был ранен в ногу и отползал, пятная снег бурыми пятнами, в сторону от крыльца, чтобы укрыться в подвале, к которому вели крутые ступеньки. Какое-никакое, а все-таки за этими ступеньками было укрытие. А если еще вход в подвал не заперт... Ваня-конь, как мог, прикрывал отползающего Борового, но в него самого палили столь густо, что он, распластавшись на земле, то и дело совался лицом в снег, оберегая голову.

Действовали нападавшие зло, напористо и даже не обращали внимания на свои потери: один из раненых истощно

кричал, прижимая к животу руки, но к нему никто не попытался даже приблизиться и он в безнадежности елозил по снегу раскинутыми ногами, похожий на черного жука, не до конца придавленного сапогом.

Возле бани лежал толстенный сосновый сутунок. Нападавшие сдвинули его, оторвав от примерзлой земли, и покатали к крыльцу, укрываясь за непробиваемой толщиной дерева. Они толкали сутунок перед собой руками, он медленно, будто нехотя, переворачивался, и три человека ползли за ним. До крыльца, до распластанного на земле Вани-коня, оставалось совсем немного. Боровой, между тем, добрался до ступенек подвала и кубарем скатился вниз. И как только он скатился, Ваня-конь перекатом, не поднимая головы, устремился навстречу сосновому сутунку, а когда до него осталось мизерное расстояние, вскочил на ноги, махом перепрыгнул его, успел выстрелить в одного из ползущих и в неизменно быстром, прямо-таки конском скоке пересек двор и вылетел в открытые ворота. Вслед ему запоздало хлопнуло несколько выстрелов. Мимо...

По лестнице, прислоненной к пологому скату сеней, один из нападавших быстро вскарабкался на крышу, растолкал жерди и сверху обрушился на Петра. Подросли еще двое и махом его скрутили.

Все было кончено. Лишь один Боровой оставался отсиживаться у входа в подвал, но его не торопились оттуда выкуривать — только держали под прицелом, дожидаясь, когда он сам высунется.

Петра тычками загнали в дом, накрепко связали руки, велели сесть на лавку. Шею у него неизменно ломило, но он все-таки повернул голову и, одолевая боль, глянул в сторону боковушки, увидел через распахнутую дверь, что там никого нет. Даже постели на полу не было. Осторожно оглядываясь дальше — ни хозяйина, ни хозяйки нигде не видно. Понял, что они спрятались. И ему стало легче. «Может, пересидят...» — подумал с надеждой. За самого себя, за свою жизнь он ни сколько не боялся, готовый ко всему, что бы ни случилось. Жила в душе твердая уверенность, что его крайний час наступит не раньше, чем он увидит Феклушу.

— Ворота заперли? — послышался с крыльца твердый, командный голос. В ответ — неразборчивое бурчанье, и снова: — Ворота закрыть! Я неясно сказал?!

Быстрые шаги — и в дом, нагнув в дверях голову, вошел высокий человек в распахнутом полушубке. Шапки у него на голове не было, и длинные волосы вольно торчали во все стороны, как и борода, похожая на растрепанный веник. С правой стороны на висок выползал широкий багровый шрам. Свежий, еще не затянувшийся как следует. Что-то неуловимо знакомое было в этом человеке, но Петр никак не мог вспомнить.

— Встать!

Петр неторопливо поднялся. На него в упор смотрели серые леденистые глаза. Человек еще ближе придвинулся к Петру и, не моргая своими леденистыми глазами, сказал:

— Здравия желаю, господин Щербатов. Что, никак не признаете? А мы вас не забыли. И вас помним, и Мещерского, и еще кое-кого. Всех помним! И в любом случае, — приставил револьвер к подбородку Петра, — в любом случае уж для вас-то мы пули не пожалеем. Вы для меня пожалели, а я для вас — нет!

«Никольский?! Не может быть! Неужели тот слизняк, которого я не пристрелил, так разительно изменился?»

— Вижу, что удивлены. Вижу... Как же! Подарили жизнь раздавленному трусливому человечку, а он взял да и явился в другом обличии. Я тогда, после вашего визита, настолько испуган был, что даже к полковнику Нестерову бегал услуги свои предлагать. И служил ему! А потом плюнул. Надоело бояться. Взял револьвер и посреди белого дня отправил на небо городского. Подошел и застрелил. И скрылся. Этого оказалось достаточно. Перешагнул через себя и — другой человек. Ваш вшивый психологический эксперимент, господин Щербатов, полностью провалился. Пшик! И застрелить мне теперь вас — все равно что муху прихлопнуть. Я понятно говорю?

Петр молчал. «Прав Никольский, — думал он, — стрелять надо было, сразу и не задумываясь».

— Я понятно говорю или нет?

Не открывая рта, Петр кивнул головой.

— Где тетрадь Гуттенлохтера? Какой маршрут? Можно ли сплавиться по реке? Когда вы собирались выходить? Вопросы

несложные, ответить на них можно без всякого труда. Если ответите — я вас отпущу. Если нет... — ствол револьвера, еще теплый от стрельбы, плотнее притерся к подбородку.

Петр сел на лавку и вытянул ноги. Снизу вверх посмотрел на Никольского, негромко ответил:

— Стреляй, я смерти не боюсь, я боевой офицер, я каторгу прошел. И ты хочешь меня напугать? Время зря потеряешь. А тетради здесь нет, она в другом месте, и маршрута я не знаю, от меня все скрывали. Я здесь так, для подхвата... — Петр говорил эти слова ровным, спокойным голосом, а сам лихорадочно прогонял одну мысль за другой и, ухватившись за нечаянно пришедшую ему придумку, уже следовал только ей: — Тетрадь в другом месте, там же профессор Гуттенлохтер, который тронулся умом. Здесь только перевалочный пункт, и добираться отсюда еще верст сорок, по бурелому.

Никольский на мгновение задумался, опустив револьвер, но тут же его снова вскинул и придавил ствол прямо в лоб Петра, крикнул:

— Врешь! Нам доподлинно известно — тетрадь здесь, у вас! Говори! Иначе — стреляю!

Петр спокойно продолжал смотреть на него снизу вверх:

— Стреляй, мне больше сказать нечего.

И замолчал, закрыл глаза. Он был уверен, что сейчас его не убьют, он нужен живой, а еще не убьют потому, что он должен увидеть Феклушу.

И оказался прав.

Никольский нехотя опустил револьвер, качнулся в раздумье, процедил, почти не размыкая тонкие губы:

— Ладно, к разговору еще вернемся.

Оставил возле Петра охрану из двух человек и быстро вышел во двор, на ходу отдавая быстрые и властные команды. Но слов этих команд Петр не расслышал. Закрыв глаза, он пытался вспомнить Никольского, который униженно кричал, что боится жить. И вспомнил. Вспомнил даже, что лоб у него был покрыт мелкими бисеринками пота. «И, действительно, другой человек. Эх, Петр Алексеевич, палить надо было, пока патроны не кончатся!»

Он открыл глаза, осторожно стал рассматривать своих охранников. Молодые крутоплечие парни с разбойными ржа-

ми сидели спокойно, даже казалось, что они подремывают. «Эти здешние, — догадался Петр, — этих Цапельман нанял. А главный у них — Никольский. Главарь боевки возрожденно-го «Освобождения». Как же у них быстро головы отрастают!»

Во дворе снова раздалось несколько выстрелов. Один из охранников толкнул своего напарника локтем в бок: «Глянь, что там делается».

Тот послушно выскочил, скоро вернулся и сообщил:

— Там еще одного выкуривают, в подвал забился. Ершистый гад, огрызается! Побегу пособлю...

И снова выскочил.

Петр проводил его взглядом до распахнутой двери, увидел в светлом проеме кусок двора, высокий забор и молча ахнул: через забор густо сыпались люди. Без криков, без выстрелов они тут же открыли ворота, и снаружи, столь же густо, вбежала целая толпа, сразу рассредоточиваясь в разные стороны.

Нехорошая, тягостная тишина повисла над всей заимкой.

Охранник, почуяв недоброе, сорвался со своего места, кинулся на крыльцо и, крутнувшись там, влетел обратно в дом, сдернул с лавки Петра и прикрывшись им, как щитом. На крыльцо уже вбежали люди, слышалось их запальное дыхание. Охранник неожиданно тонким, почти бабьим, голосом заверещал:

— Не подходи! Не подходи ко мне, а то я его порешу!

— Бросай револьвер, сволочь! — послышалось ему в ответ, — бросай! В капусту покрошим!

— Не подходи! — продолжал верещать охранник и тянул Петра за воротник вглубь дома, — порешу! Не подходи!

И еще что-то хотел крикнуть, но не успел: выстрел, грохнувший сзади, прозвучал в доме так, будто пальнули из пушки. Рука, державшая Петра, ослабла, тяжелое тело глухо стукнулось об пол. Петр обернулся. В углу стоял хозяин заимки, держал в руках ружье и удивленно смотрел на конец ствола, из которого тонкой сизой ленточкой выползал ленивый дымок.

К полудню, когда по-весеннему яркое солнце встало в зенит, навалилось тепло и большой пласт снега съехал с половины крыши, глухо ухнул в землю. Все невольно обернулись на этот звук, ожидая внезапной опасности, но, разобравшись,

в чем дело, облегченно вздыхали и улыбались. Двор заимки напоминал одну большущую коновязь: везде плотно стояли подводы, суетились люди, подтаявший снег был испятнан желтыми ноздреватыми кругами от конской мочи, а бурые пятна человеческой крови успели уже затоптать. На одних санях были сложены трупы и укрыты грубой дерюгой. На трех других, лицами вниз, лежали связанными те из нападавших, кто уцелел.

Среди них, уцелевших, был и Никольский. Он лежал крайним, скреб ногами, пытаюсь улечься удобней, но ноги не находили опоры и он лишь выворачивал голову на сторону, чтобы не упираться носом в днище саней. Петр подошел почти вплотную и поразился: в серых леденистых глазах Никольского не было ни капли страха, только шрам от напряжения стал багровей. Никольский еще круче вывернул голову, оскалил зубы, словно хотел укусить, и голосом, почти веселым, негромко сказал:

— А выстрел, господин Щербатов, за мной остается. Чует мое сердце — не последний раз видимся.

Петр ничего не ответил, продолжая в упор смотреть на него. — Не забудьте, Щербатов, за мной выстрел.

— Не забуду.

Петр отошел от саней и поднял голову в небо, чтобы не видеть вокруг себя людской кутерьмы и не смотреть на трупы. Устал он, только сейчас почувал, как безмерно устал. Но пришлось пересилить себя — надо было еще увидеть Борового, которому так не повезло сегодня.

Боровой метался в бреду. В последний момент, когда его выкуривали из входа в подвал, он словил еще одну пулю — в грудь. И теперь, перевязанный, удобно уложенный на санях, укрытый шубами, он время от времени что-то неразборчиво бормотал, и тогда на губах у него начинала пузыриться розовая пена.

— Тронулись! — прозвучала команда, и первая подвода выехала в широко распахнутые ворота заимки.

Петр ладонью стер розовую пену с губ Борового, и тот вдруг открыл глаза, четко, отдельно произнес:

— Скажи Дюжеву — пусть девок моих не оставит...

И снова забормотал что-то неразборчивое.

Петр проводил подводу до самых ворот, долго смотрел ей вслед. Сзади его тронули за плечо, обернулся — Ваня-конь.

— Пойдем, пережужим это дело, хозяйка печку вон затопила...

Над домом, действительно, весело поднимался курчавый дымок, черный над самой трубой, он быстро редел, становился сизым, а скоро и совсем истаивал без следа в теплом воздухе. Мирный, домашний дымок.

— Да не печалься ты так, не убивайся, — говорил Ваня-конь, подталкивая Петра к дому, — на вороных беду объехали. Я уж, грешным делом, думал, что не выцарапаться, а вот видишь — выскочили! Ну?! Чего ты такой малахольный?

Петр, ничего не отвечая, послушно пошел в дом, где уже всю гудела печка, а хозяйка, громко орудуя ухватом, записывала в ее широкий зев черные чугуны. Она лишь мельком глянула на вошедших и отвернулась, лицо у нее было по-прежнему угрюмым, точно такое же, как и у хозяина, который вставлял в куте на место крашенные доски. Этими досками была забрана небольшая и узкая — как раз одному человеку в притирку встать — аккуратно выдолбленная в бревнах ниша. В этой нише хозяин и пережидал кутерьму, а в нужный момент вывалился. Второй схорон, где пересидели Феклуша и хозяйка, был выкопан в подполе и сверху заставлен старыми бочками, да так искусно, что можно было до скончания века искать и не найти.

— У тебя не заимка, а крепость! — восхитился Ваня-конь.

— На отшибе живем, — нехотя ответил хозяин, — опаска не помешает, — вставил на место последнюю доску, нетерпеливо буркнул, оборачиваясь к жене: — Скоро там у тебя сварится?

— Как сварится, так подам. Сверху чугуна что ль садиться?

Хозяин хотел что-то сказать — видно, желал построжиться, но передумал и только чертыхнулся.

Петр прошел в боковушку, где лежала Феклуша с ребенком, присел, взял ее за горячую руку и прижал к своим губам.

— Да вы что, Петр Алексеич! — Феклуша испуганно отдернула руку, — как можно?!

— Можно, — шепотом, и не Феклуше, а самому себе сказал Петр, — теперь все можно...

Через два дня, убедившись, что ребенок и Феклуша чувствуют себя в порядке, он выбрался с заимки и направился в сторону Томска. Ваня-конь убрался еще раньше. Хозяин и хозяйка одарили его продуктами, заверили, что приглядят за Феклушей и за парнишкой, и проводили, прочно заперев за ним ворота.

Дорога уже начинала подтаивать, конь под Петром шел неторопко, то и дело проваливаясь в ослабевший наст. Петр его не подстегивал и не торопил. Теперь ему некуда было спешить, теперь ему требовалось только одно — хорошенько подумать за долгую дорогу. И он неспешно думал, перебирая, как четки, свою прошлую жизнь, которая казалась ему сейчас далекой и несурзадной. Словно задремывая, он видел себя юным гвардейцем, из глубины памяти вдруг начинал вздыхать полковым маршем оркестр, но его тут же глушил звон кандалных цепей, а звон этот сменялся пушечными раскатами и выстрелами... Петр встряхивался, озирался вокруг себя, щурясь от яркого солнца, и улыбался, сам того не замечая.

Первым, кто встретил его в Томске, еще на подъезде к дюжевскому дому, был Роман. Ухватил коня за повод, вздернул вверх голову, в глазах — немой вопрос.

— Все хорошо, — сообщил ему Петр, — жива, здорова, поклон передает.

— Слава Богу! — Роман истово перекрестился.

А вот и ворота дюжевского дома. В воротах, накинув на плечи шубу, стоял Тихон Трофимович.

## 29

Полковник Нестеров получал по телеграфу из Томска зашифрованные сообщения, прочитывал и тут же отдавал приказания. Тихо, без шума, шли аресты. В далеком Каинске взяли Цапельмана и теперь, под надежной охраной, он был уже по дороге в столицу. Нестеров чувствовал, что в неводе, который он забросил, уже бьется крупная добыча. Но придавливал в себе радость, боясь спугнуть удачу. Вся операция проводилась в строжайшей тайне, как в столице, так и в Томске, где даже раненого Борового поместили в городской больнице в отдельную палату, а к дверям приставили стражника.

Боровой об этом ничего не знал. Он лишь изредка вырывался из забытья, дикими глазами смотрел в белый потолок, украшенный трещинами, пытался понять — где он и что с

ним? — но трещины начинали извиваться, ползли, как змеи, спускались вниз, на кровать, и туго обвивали его тело, сдавливали; Боровой начинал всхрапывать от удушья, выплевывая на подбородок сукровицу, и снова терял сознание.

Умер он рано утром. Тихо, никого не позвав и не вскрикнув.

Хоронили его суетливо и торопясь, в тот же день. Казалось, даже священник торопится, совершая обряд отпевания. Вдова, маленькая, худенькая женщина, в отчаянии беззвучно рыдала и не убирала тоненькую ладошку с широкой груди Борового. За спиной у нее, как цыплята за наседкой, выстроились дочери, которые и впрямь были все похожи на отца. Ошеломленные, испуганные, они оглядывались, словно хотели понять — зачем они здесь и почему так много вокруг чужих людей...

Петр и Дюжев стояли рядышком, плечо в плечо, и когда священник всех призвал попрощаться с покойным, они разом, неловко подошли к гробу и по очереди прикоснулись губами к широкому ледяному лбу Борового. Затем вышли из церкви и невольно прижмурили глаза от яркого, прямо-таки обломного солнца, которое буйствовало в небе уже который день.

— Погода-то... глянь... жить да жить в такую погоду, — Тихон Трофимович тяжело засопел, вздохнул и добавил: — Жить и радоваться.

Похоронили Борового на церковном кладбище, под молодой вербой, которая готовилась вот-вот опуститься мягкими, ласковыми почками. Люди, толпившиеся вокруг могилы, задевали за ветки, и верба вздрагивала, как в ознобе, до самой верхушки.

— Ты иди пока, — сказал Тихон Трофимович, обращаясь к Петру, — подожди там с Митричем, а я со вдовой переговорю. Пособить надо, коли Боровой просил...

Петр вышел с кладбища, миновал церковь и оказался на улице. Тройка Митрича подремывала, опустив головы, далеко на противоположной стороне. Петр не торопясь направился к ней, минуя неприметный крытый возок. И как только он поравнялся с ним, чьи-то сильные руки, ловко зажав рот, жестким рывком вбросили его внутрь, опустили полог. Возок сразу же тронулся. Петр дернулся, пытаясь вырваться, но его стиснули еще сильнее, и спокойный голос предупредил:

— Не топорщись, а то стрельну. Полиция...

Когда глаза немного обвыклись в полутьме возка, Петр осторожно огляделся: справа и слева, плотно придавливая его, сидели два дюжих городских с каменными лицами.

— Позвольте, — начал было Петр, — на каком основании...

— Не знаю, — угрюмо отозвался один из городских, тот, что сидел справа, — привезем — там объяснят. Помалкивай.

Ехать пришлось недолго. Возок остановился, Петра вывели из него; городские, крепко взяв с двух сторон за руки, повели его на невысокое крыльцо. Это было полицейское управление. В кабинете полицмейстера сидел Воротынцев, а в приемной, вместо секретаря, стоял вооруженный городской. Он распахнул дверь в кабинет, втолкнул Петра и сам хотел войти следом, но Воротынцев, не поднимаясь из-за стола, махнул на него рукой:

— Выйди, — а вслух добавил: — И дверь закрой.

Дверь за Петром неслышно закрылась, и Петр остался в кабинете вдвоем с Воротынцевым. Долго всматривались друг в друга, словно примеривались.

— Ну-с, господин Щербатов, — первым нарушил молчание Воротынцев, — прошу, садитесь. Будем знакомиться. Моя фамилия — Воротынцев. До недавнего времени служил под началом небезызвестного вам полковника Нестерова. Надеюсь, вы его не забыли?

Петр неопределенно пожал плечами.

— Понимаю, понимаю... Пытаетесь уяснить — откуда ветер дует и почему вы здесь оказались? — Воротынцев пожевал губы и продолжил: — Я объясню. Оказались вы здесь для того, чтобы ответить на следующие вопросы: как и при каких обстоятельствах сбежали с каторги, как и при каких обстоятельствах вы встречались после этого с полковником Нестеровым, как и при каких обстоятельствах снова оказались в Томске, а затем и на заимке? Ну-с, начнем отвечать?

— Спросите лучше у самого Нестерова, вы с ним, как я понимаю, по одному ведомству служите.

— Я у вас спрашиваю! — повысил голос Воротынцев.

— А вот кричать на меня ни в коем случае не надо. У меня от крика, знаете ли, голова болит, и я тогда ничего не соображаю. На вопросы отвечать не буду.

— Перестаньте фиглярничать, Щербатов! Или вам так хочется на каторгу? Она вам обеспечена. С большим довеском!

Петр посмотрел на Воротынцева, словно хотел запомнить его рассерженное лицо, и отвел глаза в сторону. Увидел, что в переднем углу кабинета висела маленькая иконка Спасителя и, невольно перекрестившись, молча взмолился: «Господи, сколько мне еще мытариться?!»

— Эй, кто там?! — закричал Воротынцев. — Зайди быстро! — в дверях тут же вырос городской, грозно сдвинул большие, пышные усы. — Этого — в одиночную камеру, под особый догляд! — и уже в спину, когда Петр перешагнул порог, Воротынцев крикнул: — Запомни, Щербатов: все, что мне надо, — вышибу!

Петр не обернулся, подталкиваемый все теми же городскими, которые его арестовали, покорно пошел туда, куда его повели, — опять в неволю.

Камера оказалась узкой, как пенал, с узкими же нарами, намертво прикрученными к стене, с высоким зарешеченным окошком, сквозь которое даже через грязное, почти черное стекло весело ломился солнечный луч, ложась неровной полосой на пол. Петр наступил на него и долго стоял, покачиваясь, пытаюсь примириться с новым своим положением.

«Почему же меня сразу не взяли? Ведь могли взять еще там, на заимке? Столько прошло времени... Значит, за это время что-то случилось?»

30

Да, Петр Алексеевич Щербатов не ошибся. Случилось...

Полковник Нестеров почти всю ночь не спал. Едва лишь начинал задремывать, как ему лезла в голову всякая чертовщина, от которой он хотел отмахнуться обеими руками, но руки не шевелились. Он вздрагивал, просыпался, пил холодный чай, курил и, зная, что предстоит тяжелый день, снова ложился, заставляя себя заснуть. Но как только засыпал, так сразу же оказывался в глубокой яме, наполненной разнокалиберными гадами: мерзкие холодные змеи, лягушки с оттопыренными животами, черные пиявки толщиной с оглоблю — все это шевелилось, ворочалось, ползало у его ног и вот-вот готово было вцепиться в тело...

В очередной раз очнувшись, Нестеров долго сидел на постели, опустив босые ноги на мохнатый коврик, шевелил искривленными пальцами и внимательно, затеплив свет в лампе, рассматривал их — нет ли следов укусов? «Тьфу ты! Надо же такому присниться! Неврастения, однако, господин полковник, как у курсистки...» И так, ехидничая над самим собой, он прошлепал босиком к шкафчику, плеснул в пузатую рюмку коньяка, выпил и, больше уже не мучая себя, продолжал сидеть при свете, перебирая подробности последних допросов. Почти все арестованные по делу «Освобождения» в тюрьме оказались разговорчивы и словоохотливы. Постепенно вырисовывалась сеть ячеек, боевок, имена и явки руководителей, почти каждый новый арестованный приносил с собой дополнительные сведения, и схема построения всей организации «Освобождения», которую тщательно вырисовывал полковник Нестеров, становилась все более законченной.

Оставалось приложить последние усилия, чтобы вычистить это треклятое «Освобождение» под корень...

Нестеров улыбнулся, представив, как он сложит все дела и донесения в большие папки, завяжет на них тесемки и поверх лиловых казенных штампов размашисто напишет: «В архив». «Вот тогда, — думал он, — со спокойной душой можно будет и на покой отправляться». Все эти мысли грели душу, радовали, и Нестеров начинал забывать мерзость, являвшуюся ему во сне, и уже мечтал о том, что, как только развяжется со служебными делами, так сразу поедет за город, снимет на лето хороший дом, обязательно на берегу речки, и будет целыми днями сидеть на берегу с удочкой и таскать красноперых окуней. Так размечтался, что представил и неподвижную тихую воду, и поплавок, резко уходящий вглубь, и даже ощутил рукой, как упруго сгибается удище, когда забьется на крючке крупная добыча...

С этим и уснул под утро, часа на полтора, уже без всяких сновидений, спокойно, и пробудился на удивление свежим и отдохнувшим, словно помолодел.

После завтрака, ровно без четверти десять, он вышел из дома. Возле подъезда его уже дожидался казенный экипаж, доставлявший Нестерова на службу. Молодой каурый жеребчик повернул к нему голову, кося шальным взглядом, и Несте-

ров невольно залюбовался крутым изгибом шеи, не удержался и погладил его по чистой шерсти на лбу. Жеребчик, будто откликаясь на ласку, замотал головой, а Нестеров натянул перчатку и весело сказал:

— Ну, будет тебе, братец, будет, разыгрался...

Повернулся, кивнул кучеру и пошел к экипажу, но не успел он сделать и двух шагов, как навстречу ему, неизвестно откуда взявшись, будто выскочив из-под земли, набежал человек с бледным лицом, одетый в студенческую шинель, полы которой развевались, как крылья. Руки у него были засунуты в карманы. Вот он замер всего в нескольких шагах, выдернул руки на волю, и в каждой из них мелькнуло по вороненому стволу. Нестеров услышал только первый выстрел и сразу же ощутил жгучий укол под сердцем, наполненный такой болью, что он опрокинулся навзничь. В покидающем его сознании почему-то возник поплавок с красной меточкой наверху, который мгновенно ушел под воду. Нестеров дернулся, распластавшись на мостовой, и даже не ощутил, как в тело ему вошли еще три пули, не увидел, как, изогнувшись в немыслимом прыжке, сиганул с облучка кучер и рухнул на человека в студенческой шинели, выворачивая ему руки, в которых все еще были револьверы и они стреляли, пока не кончились патроны...

Внезапная гибель полковника Нестерова неожиданно сделала Воротынцева первым лицом во всей операции по окончательной ликвидации «Освобождения». Сразу же последовал приказ: незамедлительно прибыть в столицу. Сначала Воротынцев растерялся от этих внезапных событий, свалившихся на него, как снег летом. Но растерялся лишь на краткое время, пока уяснял для самого себя — что произошло...

А когда уяснил — возликовал.

Он давно уже примеривался к креслу своего начальника, давно уже дожидался, когда того отправят в отставку. И вот сама судьба, будто прочитав его затаенные мечты, раздобрилась и послала неслыханный и бескорыстный подарок: теперь все лавры достанутся ему, Воротынцеву. А Нестерову... Нестерову — почетные похороны. А так как о покойниках говорят только хорошее либо ничего не говорят, то он, Воротынцев, конечно же, будет говорить только хорошее, но...



Но есть долг службы, есть, в конце концов, присяга, и он просто обязан будет доложить о тех, ранее неизвестных обстоятельствах, которые открылись ему в Томске. Неважно, что обстоятельства эти в доверительной беседе перед отправкой в Сибирь изложил ему сам Нестеров, убедительно попросив не арестовывать Щербатова. И Воротынцев, узнав от своего начальника печальную историю бывшего поручика, совсем не собирался заниматься Щербатовым, нынешним мещанином Петром Петровым. Сыграл отведенную ему роль подсадной утки, остался в живых, и слава Богу — радуйся.

Но обстоятельства изменились. Теперь все, что связывало Щербатова с Нестеровым, приобрело совершенно иной смысл, иное значение. И Воротынцев без всяких колебаний отдал приказ об аресте.

Теперь оставалось самое главное — добиться признания от самого Щербатова. И тогда Воротынцев вернется в столицу... если уж не на белом коне, то на тройке вороных — точно.

В запасе оставались вечер и ночь, на утро был уже назначен отъезд.

Воротынцев доехал до домика, где квартировал все это время, забрал заранее собранный саквояж, внимательно проверил — не оставил ли каких бумаг, попрощался с хозяйкой и скоро уже снова сидел в кабинете полицмейстера, рисовал закорючки на бумаге и обдумывал самые разные аргументы и доводы, которые он выложит Щербатову и выложит так уверенно и доказательно, что тот заговорит откровенно.

Возбужденный, с порозовевшим лицом, Воротынцев, не вставал из-за стола и все черкал пером по бумаге, изводя один лист за другим. Утомившись, велел подать себе чаю. Обжимая ладонями серебряный подстаканник, прихлебывал чай мелкими глоточками и понемногу успокаивался. Логика подсказывала ему: никуда Щербатов не денется и все расскажет, надо только пообещать, что за такое содействие его не отправят снова на каторгу.

— Эй, кто там?! — крикнул Воротынцев. — Приведите этого, которого сегодня взяли. Да живой, живой!

Поджидая Щербатова, велел подать еще один прибор с чаем и сушек. Дробя их на крепких зубах, Воротынцев широким жестом пригласил Щербатова, когда тот появился, за стол:

— Присаживайтесь, угощайтесь. Мы, знаете ли, погорячились, давайте теперь спокойно поговорим. Да садитесь, садитесь, Щербатов, вот чай, вот сахарок. Сибиряки, как я заметил, чаю безмерно хлебают, а вы, как я понимаю, совсем осибирячились. Или нет?

Петр ничего не ответил и к стакану с чаем не прикоснулся. Воротынцев, словно не замечая этого, продолжал говорить:

— А если честно — мне в Сибири понравилось. И что у нас в столице всех Сибирью пугают! Воздух здоровый, климат бодрящий, люди крепкие, совсем не то, что в чахоточном Петербурге. А? Или вы не согласны, Щербатов?

— Вполне согласен, — Петр покивал головой. — Только скажите — вы меня на допрос вызвали?

— Зачем так, по-казенному, — «допрос, допрос»... Поговорить хочу с вами. Честно и откровенно.

— Слушаю.

— Мне известно, что полковник Нестеров вам покровительствовал; известны все обстоятельства, при которых вы попали на каторгу и затем сбежали. Более того, мне даже известно, что именно вы уничтожили первый руководящий состав «Освобождения». Последний раз вы виделись с Нестеровым совсем недавно, он должен был вас арестовать, но отпустил. И я сюда прибыл с инструкцией — не трогать вас. Видите, я знаю даже чуть больше, чем вы сами.

— Что вы от меня хотите?

— Самую малость. Вот перо, вот бумага, напишите об этом подробно, поставьте подпись, и я вам гарантирую, что вас не отправят снова на каторгу. Ну, выдворят на поселение, годика на два, так это ж не каторга!

— Вам нужно мое письменное свидетельство?

— Совершенно верно!

— И вы его подадите по инстанции, а отвечать будет Нестеров?

— Да нет его, Нестерова, — не сдержавшись, закричал Воротынцев, — нет его на этом свете! Убили! У подъезда собственного дома! Из двух револьверов напоявал! Ему сейчас ни жарко,

ни холодно там, где нет ни печалей, ни воздыханий. Понимаете? У вас теперь нет заступника! Единственный заступник — это ваше признание на бумаге.

Петр вздохнул, и ему стало горько: еще и еще раз приходилось убеждаться в том, что многие люди подвержены подлости, как оспе, если вовремя не поставлена прививка. Не зная подробностей, он верно догадался, что его признание нужно Воротынцеву против мертвого Нестерова.

— Если я напишу этот донос...

— Какой донос?! — громко возмутился Воротынцев, — о чем вы?!

— Если я напишу этот донос, — твердо продолжал Петр, — его можно будет расценить как плевок на память о покойном. У нас в полку таких, как вы, даже на дуэль не вызывали, а просто били канделябром по голове и вышвыривали вон из приличных домов.

Сказано это было таким негромким, усталым и спокойным голосом, что Воротынцев понял — добиться от Щербатова ему ничего не удастся.

— На каторге сгниешь, сволочь! — задохнувшись от ярости и уже не сдерживая себя, Воротынцев орал и громыхал кулаком по столу. — Заживо сгниешь! Я это тебе обещаю! На цепь посадят, как собаку!

Петр отхлебнул чаю, сунул в карман горсть сухек и поднялся:

— Я готов. Отведите.

### 31

Земля, освободившись от последних сугробов, лежала аспидно-черная. На дорогах закисло жирная грязь, а тепло подваливало и подваливало. Солнце грело по-летнему, заставляя людей скидывать зимние одежды. В пригонах волновалась скотина, шевеля жерди, а когда ее выпускали, матерые коровы, задрав хвосты, летели сломя голову наперегонки с телятами. Весеннее буйство властвовало под высоким и прозрачным небом.

Вдруг неожиданно ударили заморозки. Сковали голую землю до железной твердости, солнце подслеповато мигало сквозь белесую муть и совсем не грело. И сразу же свалились

откуда-то дикие ветры, забуянили с такой силой, что едва не сшибали с ног. Круглыми сутками выло и ухало так, будто приближался конец света.

И в тот день, когда широко распахнулись ворота тюремного замка в Томске, выпуска в долгий путь очередной этап, ветер неистово хлестал с удвоенной силой. Сдернул с одного из арестантов рваную дерюгу, которой тот пытался прикрыться от режущего холода, вскинул ее вверх и понес, распластывая в воздухе, как неведомую черную птицу. Пустил два раза широкими кругами дерюгу над головами людей, вздернул еще выше и унес так стремительно и далеко, что она мигом пропала из вида. Петр проводил взглядом дерюгу, поежился, передергивая плечами под арестантским халатом, и вытер глаза, из которых сами собой выдавливались слезы.

Серая лента этапа полностью выползла из тюремных ворот и остановилась. Конвойные, уворачиваясь от ветра, матерясь хриплыми голосами, подгоняли арестантов, чтобы они сразу набрали ход, но серая безликая лента сопротивлялась, расплзалась, и тогда конвойные заорали громче, злее и сдвинули ее с места. Она потянулась, волоча за собой подводы с понурыми лошадьми. Колеса телег громыхали на колдобинах, и на них подпрыгивало арестантское барахлишко.

Крики, громыханье телег, свист ветра — все сливалось в один сплошной гул, который плотно забивал уши. Но и сквозь этот гул Петр различил тонкий, захлебывающийся голос:

— Петр Алексеич! Петр Алексеич!

Медленно повернул голову, прикрываясь рукой от ветра, и только теперь увидел, что в стороне, в истоке переулка, стояла, за спиной угрюмого конвойного, тройка Митрича, а возле нее — Дюжев и Феклуша. Дюжев не кричал, не звал Петра, даже рукой не взмахнул, он лишь тяжело и угрюмо смотрел перед собой и переступал с ноги на ногу, как стреноженный конь. А Феклуша, вскинув вверх руку в белой вязаной варежке, не прерываясь, кричала:

— Петр Алексеич! Я приеду! Где будете, туда и приеду! Петр Алексеич! Я приеду!

Петра подталкивали идущие сзади, но он успел еще несколько раз обернуться и запомнил посреди серой ветреной мути

прощально вскинутую руку в белой варежке. Этап между тем все набирал ход, уже без понуканий конвойных, сам по себе, потому что ветер пронизывал насквозь, а движение согревало. Миновали последнюю городскую улицу, выбрались в открытое поле, сгрудились еще теснее и почти побежали. Арестанты кашляли, отплевывались, ругались вполголоса, но Петр ничего не слышал, потому что в ушах стоял, не утихая, тонкий крик: «Петр Алексеич!» — и крик этот поддерживал его, обогревал, и верилось, что, пока он его слышит, с ним ничего не случится. Еще никогда за последнее время ему не хотелось с такой неистовой жадной жить, как в это хмурое и нерадостное утро. Он теперь твердо знал — ради кого надо жить.

Арестантский этап давно уже скрылся из глаз, а Феклуша все смотрела ему вслед, наивно надеясь, что произойдет чудо и он вернется обратно.

— Ладно, хватит, — Тихон Трофимович тяжело засопел и потянул Феклушу за рукав. — Пошли. За минуту не надышишься, пошли, а то продует еще...

Феклуша нехотя подчинилась, пошла следом за Тихоном Трофимовичем, села рядом с ним в коляску и только теперь тихо, почти неслышно, заплакала. Тихон Трофимович не утешал ее, сопел, вздыхал и время от времени тяжело пришлепывал ладонью по колену. Коляску на мерзлой, бугристой земле подкидывало, покачивало, и шапка сползала Тихону Трофимовичу на глаза, он сердито сдвигал ее на затылок, искоса взглядывал на Феклушу и, не зная, что сказать, снова вздыхал. Лишь перед самым домом спросил:

— Ты это как, для ободренья ему крикнула, что приедешь? Или как?

— Я уж давно решила, Тихон Трофимыч. Где он будет, там и я. Только отцу раньше времени не скажите. Я уж сама, как соберусь, так и скажу.

— А парнишку куда?

— Ванюшку с собой возьму, вот за лето окрепнет, подрастет, а по осени отправимся. К тому времени и знать будем, где Петр Алексеич находится.

— Ты, девка, подумай хорошенько...

— Да я уж столько передумала, ночами не спала — все думала. Не отговаривай, Тихон Трофимович. Видно, судьба такая.

С тех пор как Феклуша вернулась с заимки с сыном, над которым хлопотала, выхаживая его, день и ночь, Тихон Трофимович с удивлением заметил, что ее словно подменили. Была одна, а вернулась — другая. Тихая, сосредоточенная, девичий блеск в глазах сменился глубоким, затаенным светом, а быстрая порывистость в движениях обернулась степенностью, какая бывает только у людей, много повидавших и уверенных в себе. Роман в первые дни после ее возвращения, когда схлынула начальная радость, даже растерялся, не зная, с какого бока подступить к дочери, пытался завести разговор и выяснить, что случилось, но ничего не добился. Феклуша только пожимала плечами и отвечала односложно:

— Что поделает, тятя, теперь вот такая стала...

Домой, в Огневу Заимку, Роман так и уехал растерянным, с беспокойной душой. После него пытался и Дюжев разговаривать Феклушу, но получил тот же самый ответ.

От кухни Тихон Трофимович ее отставил, наняв новую кухарку, и велел заниматься только ребенком, для которого специально приглашал доктора. Парнишка, благодаря неунынным хлопотам, наливался в тельце, пускал пузыри и бойко чмокал материну грудь, зажмуриваясь от удовольствия. Вечерами Тихон Трофимович брал на руки Белянку, приходил в комнатку к Феклуше и подолгу просиживал, глядя на мальчика, испытывая неведомое ему раньше чувство умиления. Тишина, покой, благодать — большего он и не желал в такие вечера. И поэтому крик Феклуши о том, что она отправится следом за Петром, заставил его грустить, потому что оставаться одному в своем доме ему совсем не хотелось. Вот если бы Петр был здесь же, Тихон Трофимович ни минуты бы не раздумывал: оделил бы их с Феклушей деньгами, пристроил бы к своему делу, определил бы за наследников — живите, ребята, плодитесь, радуйте старика... Да в этом и закавыка вся — если бы...

Вечером Тихон Трофимович взял на руки Белянку, которая сразу же свернулась мягким пушистым клубком в согнутом локте, и прошел в комнату к Феклуше. Та как раз перепеленывала Ванюшку, и малец, недовольный доставленным беспокойством, тарашил круглые глазенки и ревел, разевая беззубый рот с розовыми деснами. Феклуша ворковала над ним, укладывая ручки и ножки, плотно заворачивая малень-

кое тельце в чистые пеленки. Пригревшись в них и в теплых материнских руках, Ванюшка разом успокоился, плямкнул губешками и уснул.

— Спать-то хоть дает? — участливо спросил Тихон Трофимович.

— Да как когда, — улыбнулась Феклуша, — иной раз и уросит.

— Раз уросит — бойкий будет, — Тихон Трофимович погладил Беянку и присел на краешек лавки. Помолчал, собираясь с духом и сказал: — Я вот что, девка, надумал. Коли уж ты собралась следом на каторгу, вижу — не отговорить тебя, так вот знай и Петру скажи, по-бабы скажи, тонко, чтобы он уразумел... Наследников у меня нет, один я, как перст, дело передавать некому. А веку мне недолго осталось, но я еще потелепаюсь, пока вы не вернетесь. А вернетесь — все в свои руки возьмете. Уяснила?

Феклуша уложила сынишку в зыбку, качнула ее, прислушалась к ровному дыханию и только после этого подошла и тихо села рядом с Тихоном Трофимовичем на лавку, прижалась щекой к его могучему плечу.

— Тихон Трофимович, я за вас каждый раз молюсь в церкви, за здоровье, и благодарна буду, до конца веку. Столько добра сделали! А вот наследства не надо, живите лучше долго. Да и раньше времени этот разговор — нам еще вернуться предстоит... Когда это будет?

— Вернетесь, — твердо вымолвил Тихон Трофимович и засопел, громко хлюпая носом, украдкой смахивая с ресниц тяжелые слезы...

...В начале сентября Феклушу отправили вместе с Ванюшкой в дальний путь — в неведомый Нерчинск.

## 32

Стекали быстрые дни, месяцы и годы, как вода в Уени.

Все той же прежней жизнью жил великий сибирский тракт, не замирая круглый год ни днем, ни ночью. Все так же тащились по нему тяжело груженные возы, все так же налегке проскакивали экипажи и коляски, кошевки и легкие санки, вздымая за собой то летучую пыль, то снежную порошу. И в Огневой Заимке ничто не нарушало давным-давно заведен-

ный порядок: пахали, сеяли, убирали, уходили в извоз, женились, рожали детей, старились и умирали.

Но новое, как всегда неизвестное, накатывало неумолимо. Сначала были только невнятные слухи: построят, будто бы, вместо тракта неведомую чугулку и будут по ней возить грузы. А чугулка та — вся железная, и машина, доселе невиданная, которая станет по той чугулке ездить, — тоже железная. Не верилось... Мужики обсуждали эти слухи на разные лады, веря им и не веря и больше всего тревожась лишь об одном — а как же тогда с ямщицким промыслом?

Никто ничего толкового объяснить не мог, даже староста Тюрин, который на все вопросы отвечал просто:

— От начальства указаний не было. Будут — скажу. И не лезьте с глупостями, давайте лучше в воскресенье городьбу на поскотине поправим, наемни прошел — четыре пролета сломаны...

Мужики, обескураженные, отступали от старосты, чесали в затылках, долго еще толпились кучками, разговаривали и расходились по домам.

В самый разгар этих слухов и разговоров пожаловал в Огневую Заимку, после долгого перерыва, Тихон Трофимович Дюжев вместе со своим компаньоном Дидигуровым. Не успели они глотнуть чаю с дороги и отведать стряпни Степановны, как стукнула калитка и прибыли гости — Иван Зулин и Захар Коровин. Помялись у порога и приступили все с теми же вопросами: что это за штука такая — чугулка и что теперь с ямщицким делом будет?

Тихон Трофимович усадил гостей за стол, велел Степановне, чтобы еще угощений подсыпала, налил винца, а на все вопросы лишь рукой махнул в сторону Дидигурова:

— Вот его спрашивайте, он парень бойкий — все скажет...

Дидигуров пошоркал пимами под столом, отставил в сторону чашку с чаем и, порывшись в своем саквояже, вытащил сложенную газетку, бережно развернул ее и тоненьким, писклявым голосишком своим стал читать:

— «Ваше Императорское Высочество! Повелев ныне приступить к постройке сплошной через всю Сибирь железной дороги, имеющей соединить обильные дары природы сибирских областей с сетью внутренних рельсовых сообщений,

Я поручаю Вам объявить таковую волю Мою, по вступлении вновь на Русскую землю, после обозрения иноземных стран востока. Вместе с этим возлагаю на Вас совершение во Владивостоке закладки разрешенного к сооружению, на счет казны и непосредственным распоряжением правительства, Уссурийского участка Великого Сибирского рельсового пути. Знаменательное участие Ваше в начинании предпринимаемого дела послужит полным свидетельством душевного Моего стремления облегчить сношения Сибири с прочими частями Империи, и тем явить сему краю, близкому Моему сердцу, живейшее Мое попечение о мирном его преуспевании. Призывая благословение Господа на предстоящий Вам продолжительный путь по России, пребываю искренно Вас любящий Александр».

Дочитав, так же бережно сложил газетку и вернул в саквояж на прежнее место.

Ивану с Захаром этого показалось мало, и Дидигуров битый час рассказывал про Наследника Государя, который после путешествия по чужим странам вернулся в Россию, про то, что, согласно царскому рескрипту, строительство начнется по всей Сибири, рассказывал про чугунку, про паровозы и вагоны, про то, как укладывают шпалы и рельсы, и поверг в конце концов мужиков в полную растерянность.

— А мы-то куда?! — воскликнули они в один голос.

— А вы на печку — тараканов давить! — весело отвечал Дидигуров.

— Да не слушайте его! — снова махнул рукой на компаньона Тихон Трофимович, — нагородит — семь верст до небес. Знаете как: улита едет — когда-то будет. Чугунку-то сначала построить надо, а на постройку столько возчиков понадобится — возить вам не перевозить. Ну, не будете в дальние извозы ходить, а к станциям-то все равно подъезжать надо, к каждой деревне рельсу не положишь.

— Ну уж нет, Тихон Трофимыч, — резонно возразил Иван Зулин, — это уж другой коленкор будет, а наш, ямщицкий, похоже, рвется...

— Да погоди ты помирать раньше времени, — успокаивал его Дюжев, — вот когда развидняется, тогда и горевать станем. А может, радоваться...

Иван с Захаром выпили еще винца, покряхтели, не прикасаясь к угощениям, и ушли в тревоге.

— Все теперь зашевелится, — потирал руки Дидигуров, — попомни мое слово — наше маслице со свистом полетит. Всю Расею им завалим!

Для радости у Дидигурова были все основания: первые молокоулавливатели, на которых установили сепараторы, полученные из Дании, поначалу лихорадило, никак не могли приноровиться: то молоко грязное сдавали, то сроки не могли угадать и масло никак не хотело сбиваться, выходило жидким, но со временем все налаживалось, вкатывалось в нужную колею, и вот уже первые партии маслица, как любил говорить Дидигуров, были отправлены на ярмарки и там их не просто купили, а с руками, как опять же любил говорить Дидигуров, оторвали. Теперь, по всем статьям, нужно было бы расширять дело, замахиваться по большому счету, но не получалось. На дальние расстояния масло можно было отправлять только зимой, потому как летом на телеге ледник не сделаешь, поэтому получался большой перерыв. И поэтому Дидигуров радовался всякому новому известию о строительстве железной дороги, потирал руки и не давал никакого покоя Тихону Трофимовичу, который все больше и больше остывал ко всяким делам, будь они торговыми или маслодельными. По привычке еще тащил, не останавливаясь, тяжелый воз, но уже не испытывал прежнего азарта и душа была холодна.

Он и сейчас, сидя за столом, вполуха слушал бодрый голос Дидигурова, иногда рассеянно кивал головой, а сам думал совсем о другом и мысли его были далеко-далеко — в Нерчинске. Полгода назад добралась оттуда до Тихона Трофимовича последняя весточка: Петра выпустили из каторги и определили на поселение, они сняли с Фекушей домик и теперь ждут не дождутся ответа на прошение, чтобы разрешили отбывать поселение в Томской губернии. «Хоть бы скорей возвращались, — думал Тихон Трофимович, — скорей бы меня освободили, уж притомился я...» Долгая разлука с Петром и с Фекушей была для него тяжелой. Он впадал в беспричинную тоску, томился и ему все больше верилось: вот только вернуться Петр с Фекушей, вот только окажутся они рядом — и жизнь расцветится совсем по-иному — весело.

— Вот еще чего я вызнал, — все про свое долдонил Дидигуров, — есть такие специальные вагоны — ледники, в них даже летом морозина стоит, как на Крещение. Загрузил маслице в такой вагон — и гони его куда хошь — хоть в любое государство! А? Ты меня слышишь иль нет?

— Да слышу, слышу... Прямо в ухо дундишь — как не слышать. Давай-ка, друг ситцевый, на покой определяться. Вон там, в спальне, Степановна тебе постелила, а я пойду пройдуся маленько...

Дидигуров еще что-то хотел сказать напоследок, но Тихон Трофимович уже дверями стукнул. В сених столкнулся с Васькой.

— А ты чего не спишь?

— Как можно, Тихон Трофимович! — Васька даже сделал вид, что обиделся. — А вдруг понадобится.

— Ну, коли не спишь — ступай за мной.

И Тихон Трофимович первым выбрался на крыльцо.

Ночь стояла лунная, звездная. Земля, как обычно бывает ранней весной, пахла влагой, недавно стаявшим снегом. На улицах покачивались, как зыбкие полотнища, фиолетовые тени. В окнах светили еще кое-где огоньки, иногда запоздало стучала калитка и на стук разом отзывались беспокойные в это время собаки.

Шел Тихон Трофимович без всякой цели и стараясь ни о чем не думать. Шагал, твердо ставя ноги в сапогах на мягкую, беззвучную землю, глядел на улицу, смутно видную в лунном свете, и убеждал самого себя, что беспокойств никаких нет, что все обстоит ладно и можно ни о чем не тревожиться. А оказалось — шиворот навыворот. Об этом подумал Тихон Трофимович, когда остановился напротив дома Романа и уперся в запертые ворота. Вот, оказывается, куда его притянуло.

Но стучать и будить хозяина Тихон Трофимович не стал, представил печальный, с немым вопросом — может, какую новость принес? — взгляд Романа и повернул обратно. Не было у него никаких новостей от Феклуши с Петром, а была только одна душевная маята и тоска.

Когда вернулись домой и уже поднялись на крыльцо, Васька, до этого молчавший, простодушно спросил:

— А мы куда ходили-то, Тихон Трофимович? Зачем?

— За вчерашним днем, — буркнул ему в ответ хозяин.

33

Собрался он и сходил к Роману только через несколько дней, когда проводил обратно в город Дидигурова, который на прощанье все увещевал его в Огневой Заимке не задерживаться. Тихон Трофимович согласно кивал головой, а сам досадливо думал: «Да отбивай ты скорей, тарактелка, дай от тебя передохнуть!» И, выпроводив компаньона, действительно, вздохнул с облегчением.

В тот же день, после обеда, и пошел к Роману. Хозяина застал за сборами: на широкой лавке аккуратно разложен был плотницкий инструмент, а сам Роман запикивал в большой мешок свою небогатую одежку.

— Вот и ходи к такому в гости: ты к нему в дом, а он — из дома. Куда собрался?

Роман поднял голову, долго вглядывался, словно не узнавал Дюжева, наконец кивнул и пригласил:

— Проходи, Тихон Трофимович, присаживайся. А я задумался... Собираюсь вот... Посыльные позавчера были, алтайские, зовут церковь ставить, наша им шибко поглянулась. Подумал-подумал, да и согласился. Все-таки в деле веселее, глядишь — и дни быстрее побегут. Теперь вот собираюсь; правда, мне собраться — только подпоясаться...

— А я шел — думал, у тебя какая весточка про Феклушу с Петром. Сам понимаю: была бы — так сказал бы давно, а все надеюсь.

— Нету весточки, Тихон Трофимович, нету... В этом и печаль вся...

— Ладно, вся не вся, а будем надеяться. Когда отправляться-то думаешь?

— Завтра. Они, алтайские, к обеду и подводу обещали приехать. Соберусь сегодня, а завтра потихоньку тронусь.

Нет, не получалось душевного, как раньше, разговора. Будто совсем чужие, сидели они друг перед другом и тяготились, не зная, о чем говорить. И попрощались холодно, невесело. Тихон Трофимович медленно побрел домой и, когда добрался до своей спальни, сразу же завалился спать, и сон

его настиг тяжелый, душный, непонятный. Что снилось — он и вспомнить не мог, только одно осталось в памяти — большой розовый шар катился по пустой дороге.

«Приснится же дребедень всякая... — досадовал Тихон Трофимович, поглядывая в окно, за которым уже собирались сумерки, — и чего меня на дрыханье растащило, теперь ночью буду глазами в потолок лупать... Ох, грехи мои тяжкие!»

Но спать в эту ночь Тихону Трофимовичу не довелось совсем по другой причине. Вечером, когда уже стало смеркаться, в ворота кто-то громко затарабанил. Белянка, сидевшая на груди хозяина, торчком поставила ушки и насторожилась, словно почуяла что-то тревожное.

— Ну-ну, не бойся, — Тихон Трофимович погладил свою любимицу по макушке, бережно ссадил на пол и поднялся, чтобы узнать — что за гости явились на ночь глядя.

Оказалось, что пришел староста Тюрин. Непохожий на самого себя и донельзя растерянный, даже большущая окладистая борода и та была взъерошена и будто сдвинута набок. В руках — бумага, свернутая в трубочку, и он перекалывал ее из ладони в ладонь, словно она обжигала кожу и не было никакого терпения держать ее.

— А я уж думал — варнаки какие нагрянули, так шибко в ворота долбятя, — пошутил Тихон Трофимович.

Но поздний гость на его шутку не отозвался; не здороваясь и забыв лоб перекрестить, он прошел к столу, выкрутил до отказа фитиль в лампе, отчего в спальне стало светло, как днем, и грузно шлепнулся на стул, будто шматок сырого теста.

— Тут покруче забота навалилась, Тихон Трофимович, така забота, что варнаки по сравненью с ей — тьфу, семечки! — Тюрин перевел дух, выложил на стол бумагу и шепотом, оглянувшись, выговорил: — Царевич к нам едет...

— Куда? В Огневу Заимку? — опешил Тихон Трофимович.

— В том-то и дело, что через нас поедет. В волости я седни был, в Шадре, по вызову, начальства нагрянуло видимо-невидимо, настращали и бумагу вот выдали. Велено на сходе ее зачитать, ну и сделать все в точности, как там прописано... — Тюрин помолчал, со свистом потянул носом и вздохнул:

— Не было печали... Ты уж, Тихон Трофимыч, пособи мне, ты человек бывалый, со всяким народом видался, не то что я — тележного скрипа пужаюсь...

— Да в чем же я тебе пособию? — развел руками Тихон Трофимович.

— Вот прочитай эту бумагу, а после скажешь.

Тихон Трофимович помедлил и развернул скрученную в трубочку бумагу. Она оказалась толстой, лощеной и даже слегка поскрипывала. Четким каллиграфическим почерком с красивыми завитушками на ней было написано:

«Шадринскому волостному правлению

Во время проезда в начале июля месяца Его Высочества Наследника Цесаревича Николая Александровича, Его свиты и других высокопоставленных лиц, а равно и для чиновников, имеющих сопровождать Его Высочество, потребуется на каждой станции по Московскому тракту до 200 лошадей.

Имея в виду, что ни на одной из почтовых станций такого количества лошадей не имеется, а равно и нет во многих селах и деревнях по Московскому тракту, я поручаю волостному правлению вопрос этот разрешить немедленно и при этом нужно:

1. Немедленно, сейчас же, выбрать ямщиков, примерно по 10 экипажей, кроме нарочных, курьеров и т.п. На каждую станцию всем этим ямщикам составить список, который по каждой станции отдельно предоставить ко мне, указать тех ямщиков, которые повезут Его Величество, Его свиту, Томского губернатора и других высокопоставленных лиц примерно на 6 экипажей.

Раз составленный список изменению уже подлежать не может, так как каждого ямщика я должен знать лично и разъяснить ему порядок езды.

2. Кто и сколько должен доставить лошадей, из какой деревни, тоже должен быть составлен список и для предварительного обучения езды, по моему требованию, они должны явиться к сроку, мною назначенному, в известный пункт. Обучение будет проводиться при участии чиновников Г. Губернатора и почтово-телеграфного, при чем назначенные ямщики должны быть прилично одеты, сбруя новая с лишним

запасом веревок, постромок и т.п. Лошади должны быть вынуждены смирные, выносливые, не бешенные, красивые. В первые же четыре экипажа подобрать одномастных.

3. Сейчас же разрешить вопрос о фураже, необходимом для кормления лошадей в ожидании Его Высочества, так как ямщики с лошадьми должны явиться каждый на свою станцию за 10 дней до приезда Его Высочества. В продолжение этого времени снова будут делаться поездки лошадей и обучение ямщиков, причем ямщики должны быть выбраны люди хорошие, благонадежные, хорошо умеющие управлять лошадьми.

Окружной исправник Артоболевский».

Прочитав до конца казенную бумагу, Тихон Трофимович заволновался, что случилось с ним крайне редко, и сначала даже не нашелся что сказать, только крутил головой и удивленно хмыкал.

— Вот и я говорю, — подал голос Тюрин, — невиданное дело. Чуть оплошка — и мордой в грязь. А нам в грязь никак нельзя — прославят по всей округе да еще прозвище какое прилепят — так прилепят, что и внуков дразнить будут.

— Постой, постой, ты про каких внуков несешь? — удивился Тихон Трофимович.

— Да хотя бы про своих, — Тюрин даже рассердился на непонятливость хозяина, — у нас народ вострый, чего прилепят — сроду не отмоешь. Шадринских вон до сих пор говноедками кличут. А за что? Причину-то уж забыли все, а прозвище осталось. Причина какая? Да такая, простая. Лет двадцать назад приехали к ним крестьянский начальник с урядником со смертоубийством разбираться. Мужика одного по пьяному делу на масленицу порешили, колом по башке навернули, из него и дух вон. Правда, сам-то мужик занозистый был, сам напросился, назадирался. Ну, мертвого не подымешь, а в тюрьму своего отправлять, который колом махнул, — жалко. Вот и решили молчать, а говорить только одно: покойный спяну сам об заплот голову расшиб. Как решили, так и сделали. Урядник с крестьянским начальником и так и эдак, а шадрински ни в какую, одно твердят: покойный сам порешился, спяну. И до того у них дошло, что староста зачерпнул пригоршню из свежей лепехи коровьей да и давай жевать — вот, дескать, вам доказательство,

что народ не врет ни капли. Урядник-то покрепче оказался, а крестьянский начальник сблевал. А когда отпыхался, водки потребовал, выпил и говорит уряднику — поехали, говорит, по домам, все равно ничего не добьемся, говноеды они и есть говноеды. Вот...

— А ты чего боишься? — развеселился Тихон Трофимович, — что царевич тебя говно жевать заставит?

— Не шуткуй, Тихон Трофимыч, не до шуток.

— Да ладно тебе, раньше времени не помирай. Коли помощь потребуется — пособлю. Да только я так думаю, что все тебе расскажут — и куда идти, и чего говорить, и как голову держать. Все растолкуют.

Тюрин вроде бы успокоился, даже согласился чаю выпить, но едва только отхлебнул первый глоток, как сразу же и вскинулся, вспомнив:

— Вот еще беда — надо будет Митрия Зулина куда-то спрятать на то время.

— А зачем его прятать? — удивился Тихон Трофимович, — он парень тихий, безвредный.

— Тихий-то тихий, а с глазду окончательного съехал. Пророчествует, все страхи небывалые предсказывает. А ну как вылезет с глупым словом? И Зулиным про то сказать неловко — чай, не последние люди в деревне... Ты с имья в дружбе, Тихон Трофимыч, возьми труд, поговори ласково. Пусть они на тот день, когда царевич проезжать станет, припрячут куда-нибудь Митрия-то. Уж не откажи мне в услуге...

— Поговорить-то поговорю... А что с Митрием? И в самом деле?

Тюрин вздохнул и утвердительно кивнул головой.

### 34

Митенька об этой тревоге старосты, конечно, ничего не знал и жил так, как он жил в последнее время среди внезапных видений, которые накатывали на него не только по ночам, но и посреди белого дня. Иногда ему даже казалось, что кто-то, незримый, но властный, заставляет его видеть даже то, чего он сам, Митенька, совсем не желал. Порою он пугался увиденного так, что начинал дрожать, как в лихорадке, руки ходили ходуном и он никак не мог их успокоить. Дрожь проходила только после того, как об увиденном он кому-нибудь



рассказывал. Чаще всего его выслушивала Марья, но в последнее время видения становились настолько пугающими, что Митенька стал пересказывать их и другим людям, столь горячо и торопливо, что даже не замечал соболезующих взглядов или плохо скрытой ухмылки.

Вот и сегодня утром, когда он выгнал коров в денник и дал им сена, на него внезапно накатило видение. Столь внезапно, что он качнулся, как от удара, и едва успел ухватиться за жердь денника — иначе бы не устоял и грохнулся оземь. Дневной свет будто раздернулся перед ним, и в глубоком проеме Митенька увидел страшную картину: понурая лошаденка тащила тяжело груженную телегу, колеса которой вихлялись в разные стороны. Сбоку телеги, держа в руках вожжи, шел хромым мужик и плевал себе под ноги. Правил он к берегу Уени. Вода в реке светилась солнечными блестками; они играли, переливались и слепили глаза, заставляя зажмуриваться. Мужик подогнал телегу так, что она встала на самом краю обрыва. Сдернул грязное рядно, и оказалось, что в телеге навалом, как попало, лежат иконы. Мужик стал хватать их не глядя и швырять в реку. Темные иконы, мелькая ликами, падали в воду, то шлепаясь плашмя, раскидывая брызги, то вонзаясь ребром и беззвучно уходя на глубину. Солнечные блики дробились и снова смыкались. Иконы не тонули, они выныривали из глубины, переворачивались ликами вверх и медленно подплывали друг к другу, располагаясь в строгом порядке. И когда они расположились, вдруг увиделось, что это — иконостас храма в Огневой Заимке.

— Да что же это такое?! — закричал Митенька и захлебнулся собственным криком.

А иконостас между тем медленно и величаво уплывал по течению, и солнечные блики вокруг него бледнели и угасали.

Мужик плюнул себе под ноги, взгромоздился на телегу и понужнул понурую лошаденку. Она качнулась вперед, не трогаясь с места, затем нехотя переставила одну ногу, еще раз качнулась и медленно побрела, устало мотая головой.

И все — как сгинуло.

Митенька стоял у края денника, крепко ухватившись за жердь, а вокруг него буйствовал теплый и солнечный день, какие бывают только весной. Оглушающе пели скворцы,

пахло теплой землей, и откуда-то издали наносило едва ощутимым ароматом черемухи, еще не распустившейся, но уже готовой вот-вот выстрелить в мир белым цветом. Митенька растерянно оглянулся вокруг, пытаясь отыскать хоть какой-то остаток видения, но вокруг все было знакомо, привычно и никаких новшеств в окружающем мире даже не маячило.

Он оторвался от жерди, за которую держался, и торопливым шагом, забыв закрыть ворота денника, вышел в огород, стараясь проскользнуть так, чтобы его не увидели домашние. Талая черная земля проваливалась под ногами, большущими комьями налипала на сапоги, словно хотела стреножить Митеньку и никуда не пускать. Но он, задыхаясь, рвался вперед, и ему казалось, что, если он замешкается и опоздает, случится непоправимое.

Он перелез через забор, тяжело перекидывая ноги с налипшей на сапогах грязью, выбрался на сухую обочину улицы и устремился к церкви. На первой, еще ослепительно зеленой траве оставались темные следы жирной, унавоженной земли — будто ровная строчка прошивалась следом за ним.

Вот и храм. Митенька скинул на нижней ступеньке паперти сапоги, взошел босиком и увидел, что иконостас, как и положено, на месте, теплятся лампадки, а в церкви стоит благодатная тишина. Он подошел к иконостасу почти вплотную, перекрестился, прочитал молитву и тихо вышел, натянул сапоги, побрел обратно домой, но на полдороге вдруг остановился, словно его ударили, и снова увидел: мужика, плывущего под ноги, телегу, лошадь, иконы в воде и медленно гаснущие солнечные блики.

— Не надо! Не надо! — закричал Митенька, ноги у него согнулись, будто их подсекали, и он тяжело свалился на землю, судорожно цепляясь растопыренными пальцами за молодую траву.

Народ возле сборни начал толпиться задолго до назначенного часа. Все были по-особенному любопытны, и все ждали чего-то необыкновенного. Бабы вырядились, словно на праздник. Висел над площадью негромкий гул, а по са-

мой площади бегал косолапый, лопухий щенок и радостно тьякал на цветастых баб, словно хотел сообщить им что-то важное. Но бабы отпихивали щенка, судачили о своем и не терпеливо поглядывали на крыльцо сборни, на котором вот-вот должен был появиться староста Тюрин, а вместе с ним — крестьянский начальник и писарь из волости, прибывшие в Огневу Заимку еще вчера вечером.

С утра на дворе был морок, пытался даже хилый дождик накрапывать, но скоро выглянуло солнце, подсушило землю и она окуталась теплой дымкой, которая плавно перекатывалась волнами над ослепительно зеленой травой. Вверху, над людской толпой, чертили острыми крыльями теплый воздух легкие ласточки, кричали скворцы, и где-то неподалеку, невидная, без умолку тараторила сорока, словно хотела всех перекричать. Все в этот день было ярким, громким, будто народилось заново.

Тихон Трофимович нарадоваться не мог этой благодати и по дороге от дома к сборне часто останавливался, оглядывался вокруг, вслушивался и пришел на площадь крепко опоздав, когда уже толпилась здесь почти вся Огнева Заимка. Перед ним расступились, пропуская вперед, и он, степенно отвечая на приветствия, взшел на крыльцо, на котором уже стояли Тюрин, крестьянский начальник и писарь из волости — молодой и красивый парнина с богатым каштановым чубом. Писарь, не таясь, прищуривал правый глаз, как будто прицеливался, и выискивал в толпе девок, которые понарядней. Крестьянский начальник, пожилой уже и степенный мужик, видно, зная за ним эту слабость, недовольно дернул писаря за рукав, и тот притупил бойкий взгляд, а лицо у него стало постным.

— Погода-то нонче, Тихон Трофимыч, а? — Тюрин разгладил бороду, кашлянул и повернулся к крестьянскому начальнику: — Слышь, Иван Спиридоныч, погода, говорю, нонче — на загляденье!

— Так и быть должно, — важно ответил густым басом Иван Спиридонович и толкнул писаря в бок: — После меня — зачитывать станешь. И по сурьезу читай, а не стреляй глазами.

Вышагнул на самый краешек крыльца, опустил руки по швам, как солдат на плацу, и загудел своим мощным басом,

перекрывая людской гул, птичью разноголосицу и даже беспрерывное триндычанье сороки:

— Уважаемое общество! Чрезвычайно рад сообщить вам великую новость: скоро через наши места станет проезжать Его Императорское Высочество Наследник Цесаревич Николай Александрович...

По толпе после этих слов будто ветер прошел по макушкам берез, возник и стих сразу же внезапный негромкий шум.

— Событие для всех для нас, как вы распрекрасно понимаете, великое. И мы должны явить Наследнику Цесаревичу наши верноподданнические чувства, показать порядок и радушие. Для этого и собран сход. А теперь тихо и внимательно слушайте.

Писарь тоже вышагнул на краешек крыльца, развернул перед собой бумагу и, тряхнув тяжелым чубом, громко и звонко стал читать:

— «Шадринскому волостному правлению. В июле сего года будет проезжать из Восточной Сибири через Томский округ на Омск Его Императорское Высочество Наследник Цесаревич Николай Александрович. К этому времени можно быть вполне уверенным, для приветствия Высокого Путешественника в села и деревни, расположенные по Московскому и Иркутскому тракту, через которые будет проезжать его Высочество, соберется такая масса народа, что наблюдение за тишиной и благопристойностью в селах и деревнях, переполненных народом, одной Полиции при ее малочисленности без помощи самих жителей почти невозможно, а потому и является крайняя необходимость в выборе из местных жителей в помощь полиции людей, отличающихся трезвостью и безукоризненным поведением, притом таких, которые по своему состоянию могут быть прилично и чисто одеты, так как они во время остановки при перепряжке лошадей, завтраках и ночлегах Его Высочества будут находиться впереди всего народа, не допуская к экипажу Его Высочества никого из посторонних лиц и тем более совершенно им неизвестных, что для них будет чрезвычайно удобно, так как, живя в селениях, они знают всех своих однодеревенских, а также большинство жителей окрестных селений и потому могут оказать пользу

в этом случае и, заметив в селении незнакомое лицо, немедленно известить о том чиновника, который будет находиться на каждой станции, от коего будет зависеть дальнейшее распоряжение.

Уведомляя об этом, поручаю Волостному Правлению объяснить жителям: не пожелает ли кто из них принять на себя временную обязанность к ограждению тишины и благопристойности в селениях по тракту следования Его Высочества и желающим только таким, которые непременно соответствовали бы тем условиям, которые при этом необходимы, т.е., как уже сказано, отличаются трезвостью, безукоризненностью поведения. Составить список, который предоставить мне.

Окружной исправник Артоболевский».

Дочитав, писарь сложил бумагу и отступил от края крыльца, чтобы не маячить рядом с крестьянским начальником — не по чину.

По толпе снова прокатился легкий шумок и стих. Никто не спешил, не торопился высказать какие-то слова; даже выкриков, какие обычно случались на сходе, не последовало. Все стояли в раздумье, пытаясь уяснить для себя услышанное, и за всех за них тараторила, не умолкая, сорока.

Не спешили и Тюрин с крестьянским начальником, прекрасно понимая, что момент для спешки совсем непригоден, момент как раз и выдался для серьезного обдумывания, чтобы прониклись жители Огневой Заимки особой торжественностью. Кажется, прониклись. Кандидатов в помощники полиции, пятнадцать человек, выбрали степенно и без лишнего шума. Писарь, примостившись за маленьким столиком, специально вынесенным на крыльцо, быстро написал список выбранных и громко прочитал его, чтобы ни у кого никаких сомнений не возникло.

Первая половина дела была сделана, и Тюрин украдкой облегченно вздохнул. Крестьянский начальник, между тем, откашлявшись, снова выступил на краешек крыльца и забасил:

— А теперь, уважаемое общество, надлежит нам решить еще один вопрос. Народу с Наследником едет много — значит, и экипажей много надобно. Вам от Огневой Заимки надлежит вырешить десять троек. Кони, само собой разумеется, должны быть на ять, сбруя — как огонь горит, а мужик, кото-

рый за вожжи держится, — чинен, благороден и одет не в дырявый шабур. Вот таких нам нонче тоже предстоит выбрать. Давайте выбирать.

Толпа в ответ вздохнула общим вздохом, и поверх этого вздоха прорезался громкий скандальный голос:

— Ах ты, душа казенная, чего ж ты нас за нос-то водишь! Чего ж ты самое главное напоследок оставил! Выписывай меня с охранников!

И тут же к этому голосу дружно подсоединились другие, слились в непонятный сердитый гул, и крестьянский начальник даже отступил от края крыльца, словно исходила от толпы невидимая сила и сдвигала его.

— Ну, все, полетело ведро под гору, — Тюрин безнадежно махнул рукой, — теперь они все Наследника везти пожелают, как бы до драки дело не дошло.

— Да погоди, — успокаивал его Тихон Трофимович, — погоди, пускай проорутся.

— Да они же теперь до ночи базлать будут, — досадовал Тюрин.

— Не будут, выдохнутся, — усмехнулся Тихон Трофимович.

— Никакого порядку, — недовольно зарокотал крестьянский начальник, помолчал и гаркнул, глуша разрозненные выкрики: — А ну тиха! Не в кабаке собрались — горланить так!

Но жителя Огневой Заимки, ямщика исконного, который в дальних дорогах видел-перевидел всякого, на голый крик не возьмешь.

Захар Коровин, еще несколько минут назад гордый донельзя, что общество ему такое уважение оказало, протиснулся через толпу, подбежал к самому крыльцу и аж затопал кривыми ногами, закричал, протягивая руку к писарю, словно хотел ухватить того за шкирку:

— Вычеркивай меня с этого списка! Вычеркивай к едреной баушке! Я на своих лошадках желаю гостей везти!

— А заместо его, — вклинился развеселый бабий голос, — а заместо его Настасью запиши, она от любого варнака отшибется!

Качнулся над площадью дружный хохот. Не понимая его причины, но воспользовавшись передышкой, крестьянский начальник снова выступил на передний план и в конце концов обуздал толпу.

Народ успокоился, поутих, и дело дальше двинулось неспешно и разумно. Каждый, кто хотел выставить свою тройку для проезда, выходил на крыльцо и заявлял о своем желании. Тут же начинали обсуждать достоинства его коней и сбруи и порою находили в том и другом случае такое количество изъянов, о которых бедный хозяин даже и не подозревал. Захару Коровину мигом вспомнили, что у него лет этак десять назад на скачках в Шадре вожжи порвались и тройка едва не потоптала глазающий народ.

— Да у него сроду вожжи-то веревочны были, ими только титьки у Настасьи подвязывать! — пользуясь моментом, потешался кто-то из толпы, видно, имевший на Захара хороший зуб.

— Язык себе подвяжи! — не оставался в долгу Захар, — а кто в моих конях сомневается, выводи своих — померимся!

В конце концов после перепалки попал в заветный список и Захар Коровин.

Угомонились и стали расходиться только после обеда. Крестьянский начальник даже вспотел и охрип. Вытирая лоб, пробасил:

— Ну и народец тут — оторви да брось!

— А другого у меня нету, — развел руками Тюрин.

Тихон Трофимович, втихомолку посмеиваясь, пригласил всех стоявших на крыльце к себе в гости, отобедать.

— И то верно, — согласился крестьянский начальник, — а то проголодался, пока всех переслушал.

Довольные, спустились с крыльца и направились к дюжевскому дому.

### 36

Такие сходы, как в Огневой Заимке, проходили во всех притрактовых селах и были столь же обстоятельными и шумными. Судили-рядили, выбирали, спорили. Были обиженные и недовольные. А один из ямщиков, как гласила молва, даже свой дом продал, чтобы справить особую сбрую, чуть ли не с позолотой, чтобы удостоиться чести и оказаться в царском поезде.

Приводились в порядок дороги и мосты, ремонтировались плетни и заборы, красились наличники. А еще больше, чем этих работ, было разговоров, всяких разных — умных, рас-

судительных, глупых, а порою вовсе несурзных: якобы, кто больше иных понравится Царевичу, того заберут в столицу, чтобы возить там царственных особ.

За несколько дней до того, как поезд с высокими гостями должен был пересечь границу Томской губернии, вдруг зарядили обложные дожди. Стоял уже конец июня, теплый и тихий, и дожди выпали тоже нешумные, но плотные и тягучие. Они породили великую тревогу: а ну как будет лить без перерыва? Тогда тракт расквасится до жидкой грязи, а в грязи какая может быть торжественность? Никакой. Только стыдобушка одна. В иных селах даже молебны отслужили о даровании хорошей погоды.

И дожди стали стихать. Чаше выглядывало солнце, успевая за короткое время подсушить землю. И вот уже на буграх, где сильнее обдувал ветер, поднималась легкая и летучая пыль.

— Глянь-ка, Петр Алексеич, совсем ободняло, — Феклуша распустила узелок платка, опустила его на плечи и улыbnулась, подставляя лицо теплomu ветерку, — посуше станет, глядишь — и поедем быстрее. Скорей бы уж, — она вздохнула, — а то я притомилась от этой дороги...

Петр, ничего не говоря, нашел ее руку и ласково пожал. В этом пожатии было все: любовь, благодарность и неизбывная нежность. До сих пор, до сегодняшнего дня, Петр не переставал удивляться Феклуше, поражаясь ее беззаветной преданности. С того самого момента, когда увидел ее в полутемной каторжной конторе с Ванюшкой на руках. Она сидела на длинной засаленной лавке, на том месте, куда падал свет из маленького оконца, и в этом свете он сначала увидел ее радостные глаза и остановился, замер, невольно ощутив запах своего давно немытого тела, тяжесть цепей на ногах, липкую надоедливость рваной и грязной одежды. Даже хотел попятиться, но не успел. Феклуша положила Ванюшку на лавку, легко поднялась и летучими шагами приблизилась к нему, обняла и тихо прижалась головой к его груди, облегченно вздохнула:

— Вот и слава Богу, добралась... Теперь я спокойная...

Петр хотел сказать, что она зря это сделала; хотел сказать, чтобы она уезжала обратно, что он не желает от нее такой жертвы, но ничего не сказал, потому что в краткое мгновение

понял: он обидит Феклушу этими словами, да и не значат они ничего, слова, по сравнению с той радостью, которая светилась в глазах Феклуши. И он лишь пробормотал смущенно:

— Грязный я, и скажут по мне, как бы не перепрыгнули...

— Не беда, — не поднимая головы, тихо отозвалась Феклуша.

И все эти годы, проведенные на Нерчинской каторге, он не переставал ощущать на себе, каждый день, почти материнскую заботу Феклуши. Он знал теперь подробно историю ее короткой еще светлой жизни, историю ее горькой первой любви, сам рассказывал ей о себе, — наверное, впервые так подробно рассказывал, ничего не утаивая, твердо зная, что всегда найдет понимание и утешение.

Теперь они возвращались с каторги.

Ванюшка, сморенный дорогой, спал в передке телеги на охапке свежей травы, Петр с Феклушей мостились на неудобной седушке, а спиной к ним, то и дело оборачиваясь, сидел возница — бойкий, разговорчивый дедок Кузьма Павлович, которого они подрядили до Мариинска, потому что он согласился скинуть цену. Всю дорогу Кузьма Павлович забавлял их шуточками и притказками, но теперь сморился и начал задремывать, однако время от времени спохватывался и крепче перехватывал вожжи. При этом восклицал:

— Эть, кура-вара-буса-корова! Гляди у меня!

Кому он эти слова адресовал — было непонятно. А седенькая головка, накрытая старым истертым картузом, между тем снова начинала беспомощно клониться на грудь.

— Слушай, почтенный, — окликнул его Петр, — дай-ка мне вожжи, а то совсем тебя сморило.

— И бери, разлюбезный, — охотно откликнулся Кузьма Павлович, — а я вот тут с парнем прикорну...

Передал вожжи, быстренько сполз вниз и улегся на зеленой траве рядом с Ванюшкой, удобно свернув кругляшком худенькое тельце, и сразу же сладко засопел, тоненько прищипывая носом.

Зелень травы и деревьев, промытая дождями, под солнцем прямо-таки искрила. Земля парила, отдавая в воздух лишнюю влагу, буйно шумели птицы, тихо поскрипывало колесо телеги, и Петр, оглядывая округу, время от времени оборачивал-

ся к Феклуше и начинал весело насвистывать, совсем забыв о тревогах, которые одолевали его все сильнее, чем ближе они подвигались к Томску и Огневой Заимке. А тревога, которая не давала ему покоя, заключалась в одном: как и где жить дальше? Незадолго перед отъездом Феклуша пересказала ему давний разговор с Дюжевым, который хотел сделать их своими наследниками, но Петр к этому сообщению, ничего не сказав, отнесся холодно: не хотелось ему брать чужое богатство. А как и от каких трудов жить-кормиться — этого он не мог придумать. Но сейчас, правя лошадкой и оглядывая цветущую чистую округу, он ни о чем не тревожился.

Просто — было на душе светло и радостно.

А что еще нужно?

37

В Мариинск прибыли к полудню.

На постоялом дворе — приткнуться негде. Чиновники, выборные от окрестных сел, полицейские чины — все суетились, шумели, сновали туда и сюда по неотложным делам, у всех на лицах — серьезная озабоченность и важность. Здесь и узнали, что со дня на день ждут в Мариинске царский поезд. Петр еще и оглядеться не успел, а к нему уже подоспел полицейский и потребовал документы. Долго вертел казенные бумаги, читал написанное, шевеля губами, поочередно оглядывал Петра, Феклушу и даже Ванюшку. Наконец велел оставаться на месте, а сам с бумагами куда-то торопливо убежал.

— По начальству поскакал докладывать, — Кузьма Павлович сладко зевнул и предложил: — А поехали, ребятки, ко мне. У меня изба пустая, вдвоем со старухой, вот и переждете всю кутерьму эту. После и дальше вас отправлю, дорого не возьму.

— Может, и правда так сделать, Петр Алексеич? — Феклуша прижимала к себе Ванюшку и тревожно поглядывала вслед убежавшему полицейскому. — Заодно и отдохнули бы, выпались...

Подумав, Петр согласно кивнул, и они все терпеливо стали ждать полицейского. Тот появился нескоро, вернул документы, записал, где они останутся на постой, заодно приказал, чтобы трогались отсюда только на третий день, и, помолчав, грозно добавил:

— Сам приду и проверю. Если раньше выедешь — пеняй на себя.

Спрятав документы, Петр посадил на телегу Феклушу с Ванюшкой, и Кузьма Павлович, понужнув лошадку, повез их к себе на постой.

На берегу речки Ки, там, где был перевоз, беспрерывно стучали топоры и вверх поднималась красивая деревянная арка, а к ней вел пологий помост. Плотники еще прилаживали, прибавляли последние доски, а на возах уже подвозили свежую хвою и нарядные бабы тут же принимались плести из нее пышные гирлянды.

— Вона как готовимся, — восхитился Кузьма Павлович, — чай не самы в Сибири зачуханы, тоже кой-чего можем, когда пожелаем.

Петр на все эти приготовления смотрел отчужденно и даже равнодушно. Не трогала его людская суета. Зато Феклуша, не скрывая любопытства, оглядывалась вокруг и все показывала Ванюшке, приговаривая при этом:

— Здесь сам царевич поедет.

— На волке? — спрашивал Ванюшка.

— Нет, на лошадках. Вот здесь поедет, а люди встречать его будут.

— Как у нас этап встречают? — не унимался Ванюшка.

— Ой ты, Господи, да забудь ты про этапы, ласточка моя, забудь, — приговаривала Феклуша, поглаживая сына по голове.

Кузьма Павлович, между тем, подгонял лошадку, да она и сама, чуя недалекий дом, прибавляла ходу, и скоро они остановились на окраинной улице, где кучкой стояли на отшибе несколько старых домишек, вросших в землю и глядящих окнами на восток — на небольшое поле, заросшее кривыми ветлами. За полем дыбились два больших холма, на макушках которых темнел густой сосняк.

Возле одного из домишек Кузьма Павлович осадил лошадку, весело объявил:

— А вот и наши хоромы!

Ворота на живульку были сколочены из жердей, потемневших от времени, за ними до самого огорода тянулась просторная ограда, по которой ходили разномастные куры, охраняемые здоровенным рыже-красным петухом. С ни-

зенького крыльца уже торопливо спускалась худенькая старушка. Кузьма Павлович увидел ее и, не слезая с телеги, весело закричал:

— Здорово, мать, дурак приехал!

— Да ну тебя, неумный, дорога и та не уторкала. Никак с гостями прибыл? — привычно ворчливо выговаривала старушка, отпирая ворота и оглядывая из-под низко опущенного платка пассажиров.

Хозяева отвели постояльцам отдельную комнатенку, половину которой занимал широкий топчан, а из окна видны были недалекие холмы. Пока Петр с Феклушей заносили свои узлы, хозяйка — Прасковья Федоровна, как она представлялась — махом развела таганок в ограде, нажарила яичницы с салом, из огорода принесла охапку зеленого лука, из погреба достала квасу, и, едва только успели умыться, как стол был уже снаряжен — угощайтесь, люди добрые! С дороги все сильно проголодались и ели молча; лишь когда очередь дошла до чая, разговорились. Прасковья Федоровна стала докладывать хозяину о новостях, которые случились за время его отсутствия. Новости были небогатые: какой-то шибко злой коршун заклевал наемни молоденькую курочку и утащил ее.

— Уцепил вот так вот когтями и на крыло встал, — сокрушалась Прасковья Федоровна, — летит, а она, матушка ты моя, криком исходит, еще живая... Уж так жалко, такая справная курочка была.

— Эть, кура-вара-буса-корова! Меня не было. Я бы его, варнака, из своей берданочки срезал бы, как миленького, — горячился Кузьма Павлович.

— Да сиди уж ты, — махнула рукой Прасковья Федоровна, — срезал бы он. На аршин с подбегом никого не видишь, а туда же — стрелил бы... Чего теперь горевать — пропала курочка. Ты бы лучше жердей завтра привез. Огорожа у нас упала, я там палки кое-как прилепила, да надолго ли. Забредет скотина и вытопчет огород.

— Привезу, привезу и огорожу починим — все сделаем. Ты только не шуми много.

— Я еще не шумела.

Феклуша, поблагодарив хозяев, вышла из-за стола, повела Ванюшку, который после обеда совсем сморился, укладывать спать. Петр, еще послушав незлобивую перепалку хозяев, тоже выбрался из-за стола и вышел из дома. Присел на низком крыльце, чтобы выкурить трубочку, к которой пристрастился недавно. И только он ее раскурил, только потянул в себя запашистый дымок, как услышал внезапно возникший приглушенный шум. Будто накатывала невысокая волна на тихом озере. Что-то знакомое, накрепко впаявшееся в память, слышалось в этих звуках.

Петр поднялся с крылечка и, забыв о раскуренной трубочке, невольно пошел на этот медленно приближающийся звук, уже не догадываясь, а твердо зная — откуда этот звук происходит. И не ошибся. Выйдя за ограду, увидел: устало брели конвойные, а за ними, коляхаясь одной серой массой, тащились каторжные. Чем ближе они подходили, тем явственней в общем шуме слышалось звяканье железных цепей. Легкое облако пыли лениво вставало над бредущим этапом. Голова его медленно поравнялась с домишками окраинной улицы, выбралась в поле, к истоку едва различимой дороги, по которой, видно, мало ездили в последнее время, и там, послушная резкой команде, остановилась, дожидаясь, когда подтянется хвост вместе с подводами, на которых сидели, вперемешку с барахлишком, больные и увечные арестанты.

На Петра дохнуло от этого зрелища такой тоской и безнадежностью, что он повернулся и хотел уже уйти в дом, чтобы ничего не видеть, но тут после очередной команды этап повалился, как подкошенный, на мягкую траву, на привал. Из домишек стали выходить бабы с небогатой снедью в руках, потянулись к арестантам.

— Не пуцают их теперь на тракт, — сообщил Петру подошедший Кузьма Павлович, — чтобы, значит, вид не портили и Царевичу на глаза не попали. А там у нас старый этап, — махнул рукой на холмы, — брошенный, вот их туда и собирают, в отстой, ну а после снова на тракт выведут. Пойду скажу старухе, пусть чо-нить подаст, жалко христовеньких.

Петр сунул руку в карман, нащупал горсть медных монет и направился к арестантам. Каждого, кто подходил с милостыней, сразу же окружали расторопные невольники, выхва-

тывали прямо из рук хлеб, молоко, яйца. Петр, почти не глядя в лица, рассовал мелочь, повернулся, чтобы уйти, но его остановили, ухватив за рукав.

— Табачку курнуть разрешите, — услышал он над ухом вкрадчивый голос, — по нашей бедности будьте благодетелем.

В голосе явно слышалась насмешка.

Круто обернувшись, он увидел перед собой арестанта в рваном халате, подпоясанном обрывком веревки. Большая борода, закрывающая половину лица, была растрепана, и из нее выкатывался на висок широкий рубчатый шрам. «Никольский?!» — чуть было вслух не произнес Петр.

— Да, да, он самый, господин Щербатов. Я же говорил, что мы еще обязательно увидимся. Как в воду глядел. — Холодные, леденистые глаза смотрели в упор. — Наслышаны, что вас освободили. А мы вот маленько еще задерживаемся. Но скоро тоже освободимся. Я помню — выстрел за мной. Я ничего не забываю. А как табачку курнуть?

Петр машинально сунул ему потухшую трубочку. Никольский раскурил ее от своей спички, затянулся, и леденистые глаза потеплели, будто подернулись масляной пленкой.

— Премного благодарствую, господин Щербатов. До встречи. Надеюсь, что она последней будет. Трубочку на память оставите, очень уж удобная?

— Бери, пользуйся, — разрешил Петр.

— А жалеете, что меня тогда на небо не отправили. По глазам вижу — жалеете. Ну скажите — жалеете?

— Жалею, — согласился Петр, — но ошибку можно исправить.

— И я себя казню, надо было там, на заимке, застрелить, но это тоже дело поправимое. Все еще поправимо. Мы еще такой костер запалим! Не только такая мелочь, как вы, Щербатов, но и царьшики все ваши вместе с наследниками сгорят. Мы в России неистребимы. И спать вам спокойно не доведется.

«Пожалуй, что так,» — молча согласился Петр, глядя на Никольского, жадно втягивавшего в себя табачный дым.

— А-тай-ди! — нараспев закричали конвойные, отсекая сердобольных баб от арестантов. — А-тай-ди!

Петр, выполняя команду, пошел, не оглядываясь, к дому, но спиной чувствовал, что вслед ему глядят леденистые глаза Никольского.

По вороненому стволу берданки неторопко ползла яркая божья коровка. Двигалась медленно, с перерывами, и ни разу не оскользнулась, а когда добралась до конца ствола, учуяла, что перед ней обрыв, и замерла. Рука тянулась сощелкнуть ее на землю, в густую траву, но Петр боялся пошевелиться и божья коровка продолжала краснеть махоньким пятнышком на обрезе ствола. Солнце припекало сильнее, по лицу ползли капли пота, но Петр их тоже не вытирал, только иногда прижмуривал глаза и сразу открывал, зорко вглядываясь перед собой, стараясь не пропустить долгожданный момент.

Лежал он в развилке старой большой ветлы, положив на спину несколько разлапистых сломанных веток так, чтобы они и голову ему закрывали. Для надежности, чтобы не соскользнули, они были перехвачены веревочкой. Листья под солнцем увядали и пахли осенней прелью. Медленно тянулось тягучее время. Ныло тело от неподвижного лежания.

А долгожданный момент все не наступал.

«Плюнь, плюнь и забудь! — пытался приказать самому себе Петр, изнывая от неподвижности и тяжелого духа усыхающей листвы. — Ты же не убийца! Тем более — не в бою!» Но, мысленно произнося эти слова, он им не подчинялся и продолжал лежать и вглядываться в недалекий частокол, посеревший своими верхушками от дождей и ветров. За частоколом виделось приземистое здание этапа, крыша которого была подернута от старости зеленым мхом.

Вот конвойные лениво зашевелились и, поддегивая на плечах винтовки, стали расходиться по углам частоккола, другие вышли за ворота, третьи направились к зданию этапа и там образовали перед закрытыми еще дверями коридор.

Настал, настал долгожданный момент.

Ворота со скрипом распахнулись, из здания этапа повалили арестанты. Из общей серой массы Петр сразу же выделил растрепанную бороду Никольского. Подождал, когда он встанет вместе с другими в кривую шеренгу для переключки, и чуть-чуть повел ствол берданки, сдвигая его влево. Божья коровка оказалась прямо над головой Никольского.

Выстрел прозвучал совсем негромко.

Никольский взмахнул руками и наотмашь рухнул на спину. Сизый дымок окутал ствол, на котором уже не было божьей коровки.

Петр осторожно выполз из развилки, соскользнул, обдирая ладони, с ветлы на землю, и дальше пополз по дну небольшого овражка, который истоком своим как раз примыкал к стене соснового бора. Не поднимаясь, он и дальше прополз под первыми соснами и, только скрывшись за ними, встал на ноги. И сразу же побежал, как давно уж не бежал. Будто множеством иголок пронизывало затекшие ноги, но он не давал себе ослабления и бежал, бежал, задыхаясь и обливаясь потом.

Оставленная на поляне лошадь, впряженная в телегу, на которой сложены были и увязаны нарубленные жерди, подняла голову, кося на него темным взглядом, и переступила с ноги на ногу. Под самый низ, под жерди, Петр засунул берданку, прикрыл ее ветками хвои, запрыгнул поверх воза и, ухватив вожжи, понужнул лошадь. Она легко стронула телегу с маленького пригорка и бодро потрусила по узкой дороге.

Бор скоро кончился, осталось позади неширокое поле с корявыми ветлами, и вот уже — окраинные домишки. Навстречу, придерживаясь за поясницу, спускался с крыльца Кузьма Павлович.

— Да я сам открою, — опережая его, крикнул Петр.

Соскочил с воза, распахнул ворота и под уздцы завел лошадь в ограду. Первым делом вытащил берданку, вручил хозяину:

— Не повезло, разок пальнул по глухарю и то мимо!

— Да я тебе, милый, за такую помощь лучшую курицу порешу! Глухаря... его варить да варить надо. А курочку старуха изладит — пальцы проглотить.

— Сказать хочу, Кузьма Павлович... Там у арестантов заварушка какая-то, конные скачут... То ли кого ищут, то ли пристрелили... Ты ружьишко спрячь надежней, как говорится, от греха подальше.

— Эть, кура-вара-буса-корова! Не сомневайся, любезный! От казенных людей подальше — целее будешь. А берданочку я мигом припрячу.

Все так же прихрамывая и держась за поясницу, Кузьма Павлович протащился в дом, а Петр махом скидал жерди с



телеги, перенес их в огород, выпряг лошадь и, спутав ей передние ноги, выпустил за ограду на травку. Огляделся и сел на крылечке, перевел дух, удивляясь самому себе и тому, что он только что сделал.

Еще вчера, даже после неожиданной встречи с Никольским, Петр ни о чем подобном не помышлял. Однако ночью, которую он провел без сна, ему снова ясно вспомнилась вся его запутанная и странная жизнь. Уже почти полузабытая, она явилась в памяти такой зримой, такой осязаемой, будто он за короткие часы летней ночи пережил ее заново.

И к утру решился. Напросился помочь Кузьме Павловичу, которому прострелило спину, съездить за жердями, заодно выпросил берданку — вдруг глухарь подвернется... Но до последнего момента, втайне от самого себя, он еще надеялся, что произойдет непредвиденное и замысел его сорвется.

Не произошло. Замысел не сорвался, а Никольский так вскинул руки и так упал, как падают только мертвые.

— Прошу к столу, помощник ты наш дорогой, — позвала хозяйка, и Петр, не заставляя себя упрашивать, послушно поднялся.

Но когда сел за стол, понял, что есть не может. Хотел уже было извиниться и отказаться, но Кузьма Павлович проворно пошарился в кладовке и явился, счастливо улыбаясь и обтирая широкой ладонью бутылку казенки. Они вдвоем дружно ее распили, Петр вяло поковырял жареной картошки и как-то сразу, махом, сморился в сон. Едва успел добраться до топчана.

А на следующий день, под вечер, в Мариинск приехал Наследник.

Петр держал на руках Ванюшку, рядом стояла Феклуша, кругом колыхалось необъятное людское море. Впереди, на покато помосте, высилась украшенная арка, по обеим сторонам которой стояли учащиеся, дальше — чиновники, за ними — разные депутации с солью и хлебом, а по берегу, по ближайшим улицам — люди, люди, люди... И вот на противоположной стороне реки показался нарочный. Людской гул смолк, установилась мертвая тишина, и в этой тишине вылетели на дорогу экипажи, мелькнули, подкатывая к бере-

гу, у которого стоял наготове специальный баркас с гребцами, одетыми в богатые русские костюмы.

Единый крик «Ура!» колыхнул толпу. Уже начинало смеркаться, было плохо видно, но еще можно было различить блеск мундиров. Хор учащихся пел «Боже, царя храни!» Вспыхнула иллюминация. Городская депутация вручала хлеб и соль. Затем высокий гость сел в коляску и она покатила в сторону собора. Народ густой волной устремился за этой коляской. Петр с Феклушей едва успели отбиться в сторону.

Все вокруг гудело, шумело, переговаривалось, все было радостным, счастливым, все искрилось и покачивалось в неверных сполохах иллюминации. И все это так сильно напоминало давнее, почти забытое, так ярко являло невозвратно минувшие годы, когда жизнь переливалась лишь радужными цветами, что Петр не выдержал и застонал.

О Никольском он больше не думал.

Тихо оседала пыль, просекаемая косыми лучами солнца, медленно идущего на закат. Жители Огневой Заимки, от мала до велика, стояли возле храма и, прикрывая ладошками, картузами, платками глаза от солнца, смотрели вдаль, на эту оседающую пыль, и молчали, каждый по-своему переживая только что увиденное. Даже ребятишки, охваченные общей торжественностью взрослых, не кричали и не бегали наперегонки.

И когда поезд из множества экипажей окончательно растаял, уйдя в необъятное пространство окоема, когда осела и улеглась пыль, поднятая колесами и копытами резвых лошадей, все разом, громко, перебивая друг друга, заговорили. Каждый торопился вспомнить и пересказать свое, словно только с ним одним и случившееся.

Захар Коровин хвастался серебряными рублями, которыми одарил его высокий пассажир за лихую езду, и повторял, повторял, как заведенный:

— Князь! Ба-ря-тин-ский! Важнющий господин! Ты, говорит, добрый ездок и лошади у тебя справные. На, говорит, тебе за службу. И серебра отсыпал, вот...

Он встряхивал в заскоружлой пригоршне серебряные рубли, дивовался на них, шмыгал носом и после короткого перебива заводил с самого начала:

— Князь! Ба-ря-тин-ский!

Староста Тюрин, подносивший Наследнику хлеб-соль на серебряном блюде, награжден был серебряными часами. Он то открывал крышку, на которой выгравирован был герб империи, глядел на циферблат, то снова захлопывал ее и прикладывал часы к уху, слушая равномерное тиканье механизма, при этом так широко и довольно улыбался, что шевелилась вся его окладистая борода.

Тихон Трофимович за строительство храма, в котором Наследник изволил отстоять молебен, пожалован был портретом Его Высочества с собственноручной подписью. Портрет был оправлен в изящную серебряную рамку с короной наверху. Тихон Трофимович вглядывался в фотографию человека, которого совсем недавно видел перед собой, и как-то слабо верил, что это происходило именно с ним. «Надо же, сам Царевич, Наследник Государя...» — растерянно думал он, заново вспоминая ласковый взгляд и негромкий голос Наследника.

Мало-помалу народ стал расходиться, оживленный говор укатывался в улицы и в переулки. Пошел вместе со всеми и Тихон Трофимович, но скоро его догнал Тюрин, молча пристроился к неторопкому шагу, вздохнул и сказал:

— Хошь не хошь, Тихон Трофимыч, а надо будет нам у Зулиных появиться, а то неудобно получится... Получится, что сами придумали, а потом в кусты...

Тихон Трофимович молча кивнул и свернул к зулинской усадьбе. Да, действительно, получилось не шибко ладно. Два дня назад, выполняя просьбу Тюрина, сходил Тихон Трофимович к Зулиным и в разговоре с Устиньей Климовной, с глазу на глаз, попросил ее от всего общества не выпускать Митеньку из дома, когда будет проезжать через Огневу Заимку Наследник.

— Так-то мы знаем, что парень он тихий, но мало ли что... — мямлил Тихон Трофимович, сердясь и досадуя на самого себя, что наобещал, не подумав, старосте, а теперь вот расхлебывает — неловко, стыдно было ему перед Устиньей Климовной, не виновата же она, что с парнем такое несчастье приключилось. Но деваться было некуда, назвался груздем — прыгай в корзину. И он, ломая самого себя, продолжал: —

Случись какая осечка, скажет что ненужное, а это ведь не наш брат и не крестьянский начальник — докуки не оберешься. Я бы и не пришел к тебе, Устинья Климовна, если бы не уважал тебя и все семейство ваше. И хоть не шибко мне радостно говорить, да вот...

— Ну сказал и сказал, чего ты мучаешься, — отвечала Устинья Климовна, твердо глядя ему в глаза суровым взглядом, — сама понимаю. Не будет его там, дома оставим.

На том они с Устиньей Климовной и порешили, и Тихон Трофимович, довольный, что разговор так хорошо закончился, поспешил домой.

Да рано, как оказалось, радовался. Вчера, накануне приезда Царевича, Митенька ушел из дома, никому ни слова не сказав, и даже домашние не могли предположить — где он находится. Исчез, как растворился. Зулины сначала обыскали всю усадьбу, пораспрашивали соседей — может, кто видел? — но все было напрасно. Никто не видел и ничего не знал. Тогда Иван пошел к Тюрину и тот, не на шутку перепугавшись, велел кликнуть особо надежных мужиков, приказал им на конях прочесать округу, не поднимая особого шума.

Мужики добросовестно искали в бору, на ближних покосах, даже за Уень переплавились, но вернулись ни с чем.

Митеньки нигде не было. Как сквозь землю провалился.

Тюрин, выслушав вернувшихся мужиков, перепугался еще больше и кинулся к Дюжеву:

— Тихон Трофимыч, надо ведь по начальству доложить. Я ж не знаю — что ему в ум взбредет. А ну как явится в неподходящий момент да какой фокус выкинет! С кого спрос будет? С меня! Недоглядел, скажут, сукин сын, вот и хвоста накрутят.

— Погодим до обеда, — решил Тихон Трофимович, — вдруг объявится. А если нет, тогда иди и докладывай.

Но Митеньку обнаружили раньше, еще до обеда. Звонарь поднялся на колокольню, а там — вот он, голубчик, сжался, сидит на кукорках в уголке, плачет. Звонарь давай его стаскивать вниз, а Митенька — ни в какую. Цепляется, кричит, и сила в нем проснулась прямо-таки невероятная. Пришлось на помощь мужиков звать. Но и мужики, уже стащив его вниз,

на площадь перед церковью, вдруг разом отступили, как только закричал Митенька. А закричал он столь страшное и непонятное, что всем стало не по себе:

— Подвал вижу! Большой подвал! В нем Государя с детками убивают, штыками колют! Кровь! Кровь! На всей стене кровь! Детки кричат! Пустите меня! Пустите! Я ему скажу! Скажу, чтобы обергеся! Подвал вижу! Страшно мне! Пустите сказать, дайте мне слово вымолвить!

На шум из церкви вышел отец Георгий, положил руку на голову Митеньке, стал негромко читать молитву, и Митенька под его рукой и под слова молитвы стихнул, замолчал, понурился, и только чаще вздрагивал острыми лопатками под старой рубахой, потому что били его изнутри глухие рыдания.

Скоро прибежала Марья, взяла его за руку и увела домой.

Устинья Климовна слово свое сдержала — Митенька возле церкви сегодня не появился и все прошло чинно-благородно.

И вот теперь Тихон Трофимович с Тюриным шли к Зулиным, чтобы узнать — как там с парнем? А заодно и высказать участие.

Глухие тесовые ворота зулинского дома были настезь распахнуты, во дворе Иван торопливо запрягал лошадь в кошевку и никак не мог насунуть ей на шею хомут. Поднимал и опускал его. Завидя гостей, он отвернулся от них и, словно встряхнувшись, насадил хомут на лошадь, притянул дугу к оглоблям, выправил вожжи и тяжело полез в кошевку.

— Иван Аверьяныч, погоди, — окликнул его Тюрин.

— Некогда мне годить, — отозвался Иван, и голос у него дрогнул. — Митенька отходит, за батюшкой я... Нн-о-о!

Он понужнул вожжами лошадь, и легкая кошевка выкатилась за ограду. Тихон Трофимович молча переглянулись с Тюриным и, не сговариваясь, направились в дом, хоть и тяжело им было это сделать.

Митенька лежал в нижней избе под образами, над головой у него теплилась лампадка, и легкий отсвет блуждал по умиротворенному лицу, на котором сейчас были почти незаметны следы увечья. Тихими, светлыми глазами Митенька оглядывал домашних, стоящих возле него, и тонкими, исхудальными пальцами быстро-быстро перебирал чистую белую рубаху на груди, словно хотел что-то отыскать и никак не находил.

Тихо всхлипывала Марья, сидя у него в ногах, сурово молчала Устинья Климовна. Жены старших братьев плакали беззвучно, а ребятишки, приткнувшись к их подолам, только испуганно озирались и тарасили глазенки.

Тихон Трофимович с Тюриным молча прошли в передний угол, встали рядом со старшими Зулиными. Те лишь глянули на них и кивнули. Никто ничего не говорил, да и о чем было говорить, стоя над умирающим человеком.

Синие, в нитку вытянутые губы Митеньки тронула виноватая улыбка, он вздохнул, прерывистым голосом посожалел:

— Наделал вам хлопот. Уж простите... Жила во мне какая-то оборвалась, и сил не стало. Я такое увидел, страшное, что она и оборвалась. Так всех жалко, как вы будете жить... Терпите. Я-то счастливей вас, уйду, наяву этого не увижу, а вы... терпите, мои хорошие...

Пальцы быстрее засновали, перебирая белую рубаху. Нависла тягучая тишина. И в ней, в этой тишине, слышно было, как въехала во двор кошевка, как стукнули двери и все обернулись к порогу, на котором появился отец Георгий.

Тихон Трофимович медленно упятился из переднего угла на середину избы, затем вышел на крыльцо, спустился, пересек ограду и только на улице дал волю слезам, которые душили его цепкой хваткой. «Так всех жалко...» — повторял он про себя слова Митеньки, рвал воротник рубахи, осыпая пуговицы на землю, но все равно ему не хватало воздуха для полного вдоха. И впрямь — жалко было всех, без исключения.

Уже далеко за спиной остался зулинский дом, а Тихон Трофимович шел и шел по Огневой Заимке, не глядя по сторонам и не зная, куда идет. Просто ему надо было идти, и он шел.

За деревней дорога была мягкой от пыли, словно застелена одеялом, шаги совсем не слышались, и стояла вокруг первородная тишина, какая бывает только в тот момент, когда уходит из этого мира чья-то жизнь или появляется новая.

— Погоди, не торопись, — вдруг остановил его негромкий голос. Тихон Трофимович вскинулся: перед ним стояла согбенная старушка, опираясь на сухонький бадожок и ее остренькое, птичье лицо было серьезным и торжественным. — Не торопись, гости сами к тебе подъедут, совсем уж близко, скоро придут.

- Какие гости? — тихим шепотом спросил он.
- Твои, твои гости, дорогие. Жди...
- А что будет?
- Что Бог даст.

Старушка исчезла. Тихон Трофимович поднял голову и увидел, что из-за свертка дороги медленно выезжает подвода, увидел в телеге Петра, Феклушу с Ванюшкой, а дальше, за подводой, скользила следом, не касаясь земли, Марьяша и от быстрого движения шевелилась у нее на груди, как живая, до конца не расплетенная коса...



## **СОДЕРЖАНИЕ**

«Шукшинская литературная премия».....	5
Об авторе.....	7
РОМАН	
Ямщина.....	11

*Литературно-художественное издание*

Щукин Михаил Николаевич

Роман

# ЯМЩИНА

Редактор: А. В. Кирилин  
Дизайнер: Ю. В. Раменская  
Корректор: Ю. А. Зименкова  
Верстка: Е. П. Василенко

Подписано в печать 13.05.2022 г. Формат 62х90/16  
Тираж 1500 экз. Заказ № 22  
Отпечатано в типографии  
ООО «ЭКСЕЛЕНТ»  
г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 35.  
Тел. 8(953)-887-07-69









